ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге представлена научно-популярная биография Н.Г. Чернышевского. В приложении даются основные даты жизни и деятельности писателя; краткая библиография.

- ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
  - I. Детство и годы учения
  - II. В северную столицу «на долгих»
  - III. В университете
  - IV. Дружба и первое чувство
  - V. На рубеже новой жизни
  - VI. Знакомство с петрашевцем Ханыковым
  - VII. Первые беллетристические опыты
  - VIII. Иринарх Введенский
  - IX. «Казнь» петрашевцев
  - X. «Неодолимое ожидание революции…»
  - XI. Окончание университета
  - XII. Учитель словесности в саратовской гимназии
  - XIII. Женитьба и переезд в Петербург
  - XIV. Работа над диссертацией и начало сотрудничества в «Современнике»
  - XV. Защита диссертации
  - XVI. В борьбе за идеи Белинского
  - XVII. Кругозор критика
  - XVIII. Приход Добролюбова в «Современник»
  - XIX. У руля «Современника»
  - XX. «Мужицкий демократ»
  - XXI. Редактор «Военного сборника»
  - XXII. «Ободряющий голос…»
  - XXIII. Кругозор ученого и публициста
  - XXIV. Поездка в Лондон
  - XXV. Вдохновитель революционного движения
  - XXVI. «Что делать?»
  - XXVII. На Мытнинской площади
  - XXVIII. Кадая
  - XXIX. Александровский завод
  - XXX. Вилюйск
  - XXXI. Астрахань
  - XXXII. В Саратове
  - Основные даты жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского
  - Краткая библиография

- 1. Основные издания сочинений Н.Г. Чернышевского
- 2. Издание отдельных произведений
- 3. Литература о творчестве Н.Г. Чернышевского
- 4. Литература о жизни Н.Г. Чернышевского

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38

- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

I. Детство и годы учения

Днем 7 июля 1862 года в ворота Петропавловской крепости въехала черная карета, в которой жандармы привезли Николая Гавриловича Чернышевского, арестованного по приказанию царя.

Правительство Александра II уже давно замышляло расправу над великим революционером, писателем и ученым, нетерпеливо ожидая удобного предлога, чтобы пресечь его деятельность. Духовный вождь революционного поколения «шестидесятников», стоявший во главе «Современника» – лучшего журнала эпохи, был в глазах царя и его приспешников наиболее опасным противником существовавшего строя. Его арест был предрешен.

Но и в стенах Петропавловской крепости в ожидании суда и приговора великий революционер не сложил оружия. Здесь, кроме знаменитого романа «Что делать?», ставшего настольной книгой борцов за свободу народа, Чернышевский написал более 200 печатных листов: повести, рассказы, научные трактаты, воспоминания… Он начал писать здесь и обширную автобиографию, задуманную очень широко, но выполненную только частично.

В иных отношениях шутливо, а отчасти и серьезно он уподоблял писание автобиографии историческому повествованию, в котором должно было, начав со времен «доисторических», с легенд и мифов, перейти постепенно к фактам, к живым лицам, к действительной жизни. Он хотел воскресить обстановку, в которой жили его ближайшие предки, их понятия, бытовой уклад, чтобы дать читателям полное представление о тех впечатлениях, под влиянием которых вырастало поколение среднего сословия, родившееся на свет в коренных областях России в двадцатых годах XIX века.

Из рассказов бабушки со стороны матери, П.И. Голубевой, корни «родословного древа» были Чернышевскому известны смутно, не глубже, чем на полвека до собственного рождения. Чернышевский не знал толком, священником или дьяконом был его прадед, не знал даже и фамилии его. Генеалогические сведения о предках со стороны отца были не богаче и начинались годом его рождения (1793). Но и это Чернышевский запомнил лишь по его послужному списку. Он не поинтересовался узнать от отца отчество своего деда.

Жизнь предков Чернышевского была бедна и однообразна, как только могло быть тогда бедно и однообразно существование сельского духовенства, занимавшего на социальной лестнице низшие ступени. Некоторые из предков будущего «мужицкого

демократа» переходили из духовного в крестьянское сословие – в родословной его наряду с дьяконами и священниками были и простые землепашцы.

Гавриил Иванович родился в семье дьякона села Чернышева Чембарского уезда Пензенской губернии. Фамилию свою он получил при поступлении в семинарию по названию родного села. Еще в детстве лишился он отца, и овдовевшая мать, не имея средств кормить и воспитывать сына, привела его в грязных лаптях к тамбовскому архиерею и, кланяясь в ноги, со слезами на глазах просила не оставить ее. Из жалости Гавриила Чернышевского определили в тамбовское духовное училище на «казенный кошт». Мальчик вовсе не знал грамоты, но, видимо, жаждал учиться.

В духовном училище он пробыл до 1803 года, весьма успешно окончил его и был переведен в пензенскую семинарию. По окончании ее Гавриила Ивановича как лучшего ученика определили учителем греческого языка в той же пензенской семинарии. Затем последовали назначения его библиотекарем и учителем пиитического класса семинарии.

В 1818 году случай изменил течение его педагогической карьеры. В тот год в Саратове умер протоиерей Сергиевской церкви Е.И. Голубев.

И вот тогдашний губернатор Саратова Панчулидзев обратился к пензенскому архиерею с просьбой назначить на место Голубева «лучшего студента» из окончивших семинарию, с тем чтобы получивший назначение женился на дочери покойного протоиерея.

Не забывая и о своих интересах, губернатор добавлял, что просит прислать человека достойного, ученого, но небогатого, дабы тот взялся заодно преподавать науки губернаторским детям. Выбор архиерея пал на Г.И. Чернышевского, который вообще обращал на себя внимание как человек незаурядный.

Вскоре после свадьбы Гавриила Ивановича и Евгении Егоровны Голубевой состоялось и рукоположение его в священники «унаследованной» им Сергиевской церкви.

В приданое за Голубевой он получил дом на большом участке земли, спускавшемся от Сергиевской улицы вниз, к Волге.

Таким образом, преподаватель пензенской семинарии неожиданно для себя оказался возведенным в сан священника. Он вошел в семью, руководимую суровой и властной вдовой Голубева.

Выдав замуж старшую дочь Евгению, с целью оставить в «семейном владении» Сергиевскую церковь, Голубева вскоре выдала замуж и младшую дочь Александру. Если в первом случае

ей был нужен кандидат в священники, то во втором она искала уже лицо дворянского происхождения. Не честолюбивые соображения толкали ее на это, а «житейская» необходимость. У Голубевых была многочисленная прислуга из крепостных, еще при «батюшке купленных», приобретение которых приходилось записывать на чужое имя, подыскивая подставное лицо дворянского звания. «Меня выдала мать именно затем, чтобы перевести на мое имя крестьян…» – писала Александра Егоровна.

Женившись на Евгении Егоровне, Гавриил Иванович одинаково заботливо относился и к ней и к младшей сестре ее – Александре.

После смерти Котляревского, первого мужа Александры Егоровны, ее, двадцатилетнюю, с тремя детьми, мать вторично выдала замуж за дворянина Н.Д. Пыпина. Первоначально Пыпины и Чернышевские жили вместе, в одной квартире, а потом, с увеличением, семьи, Пыпины поместились во флигеле на том же дворе.

Семьи сестер были настолько дружны, что. в сущности как бы слились в одну семью, жившую общими интересами.

12 (24) июля 1828 года Гавриил Иванович записал: «Поутру в 9 часов родился сын Николай». Пиршество, устроенное родителями в честь этого радостного события, надолго осталось в памяти саратовцев.

К этому времени Гавриил Иванович достиг известного положения в обществе: он был протоиереем, благочинным, членом консистории; но, как отмечал впоследствии сам Н.Г. Чернышевский, семейство его отца «не принадлежало даже и к среднему кругу губернского почета и блеска».

Семья не бедствовала, не нуждалась, но достаток поддерживался здесь непрестанной работой старших и носил довольно своеобразный характер. Хозяйственный уклад семей своего отца и Пыпиных Н.Г. Чернышевский в одном из своих писем сибирского периода называет безденежным. Было все жизненно необходимое, но не было денег.

Все старшие были постоянно заняты. Гавриил Иванович и Н.Д. Пыпин (работавший по дворянским выборам) с утра до ночи писали каждый свои должностные бумаги. Гавриил Иванович, по расчетам сына, собственноручно писал от 1 500 до 2 тысяч «исходящих» бумаг в год. При всем том он находил время заниматься воспитанием и обучением младших членов семьи. Он обучал свояченицу не только французскому, но и греческому языку. Племянницы, сын, племянник А.Н. Пыпин, ставший впоследствии академиком, – все они прошли первоначально его школу. И какую школу! Н.Г. Чернышевский, совершенно свободно

говоривший на латинском языке, был целиком обязан этим отцу. «Я самоучка во всем, кроме латинского языка, которому хорошо учил меня отец».

Умение работать, многосторонность, внутренняя энергия, способности, получившие у сына совсем иное направление, передались ему от отца.

«Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги», – вспоминал Чернышевский. Книга была в почете в этой семье. Гавриил Иванович, человек весьма образованный и начитанный, не скупился на приобретение ценных изданий. Дети большею частью были предоставлены самим себе. Матери, погруженные в заботы безденежного хозяйства, могли только урывками уделять им внимание. Прислуга (крепостные Пыпиных) целиком была занята хозяйственными делами.

Мягкий, всегда сдержанный отец старался не стеснять свободы сына. Любовь беспокойной, болезненной матери, наоборот, была требовательна. И часто в юности Чернышевскому приходилось итти наперекор своим желаниям, чтобы не огорчать мать.

В привычном для себя кругу мальчик был оживлен, весел, разговорчив; в незнакомой среде – робок, застенчив, неловок. Одна особенность, отличавшая его с самого детства, наложила неизгладимый отпечаток на его внешнее поведение. У него была редкая степень близорукости. Он не узнавал в лицо детей, игравших с ним, если не приходилось в игре брать друг друга за руку. «В детстве я не мог выучиться ни одному из ребяческих искусств, которыми занимались мои приятели-дети, ни вырезать какую-нибудь фигурку перочинным ножичком, ни вылепить что-нибудь из глины, даже сетку плести (для забавы ловлей маленьких рыбок) я не выучился: петельки выходили такие неровные, что сетка составляла не сетку, а путаницу ниток, ни к чему не пригодную», – так писал о своем детстве Чернышевский из Сибири в 1876 году.

Близорукость порождала в мальчике ту связанность, ту напряженность в малознакомом кругу, о которых неизменно пишут знавшие Чернышевского люди Она же способствовала и некоторой обособленности его, приведшей к развитию ранней серьезности. Но дань детским забавам и играм, – хотя, может быть, и не в полной мере, – все же была отдана Чернышевским.

Игры протекали на соседнем дворе, получившем название «Малая Азия». Здесь собирались дети небогатых чиновников и дворовых людей. Играм он предавался с увлечением, был изобретателен и предприимчив, всегда умел подобрать компанию

и непременно привлекал к игре, наряду со старшими детьми, малышей.

Зимою одним из самых любимых развлечений их было катанье с гор на дровнях. Обычно происходило это без ведома родителей, когда те уходили в гости, поздним вечером. Соседи Чесноковы тайком посылали к Чернышевским своего крепостного мальчика Ваську, а то Чернышевский являлся и сам, перелезая через забор, так как ворота в их доме на ночь запирались. На безлюдной темной улице собиралось несколько ребят. Они снимали с дровней бочку, в которой доставлялась с Волги вода, запрягались в дровни, тащили их на Гимназическую улицу или, чаще всего, на Бабушкин взвоз, покато бегущий к Волге и кончающийся крутым спуском к реке. Разогнав дровни, ребята мчались мимо покосившихся домиков Бабушкина взвоза вниз.

Видимо, Чернышевскому доставляли удовольствие острые ощущения: в конце пути он непременно направлял дровни на высокий выступ, чтобы скатиться с него и пролететь на дровнях через прорубь у берега реки.

Наслушавшись рассказов дворовых людей о кулачных боях, ребята бегали любоваться ими на Воловую улицу. Там, около кабачка «Капернаум», по воскресным и праздничным дням «стена» семинаристов, во главе с кулачным бойцом Соболевским, вступала в бой со «стеною» тулупников и нередко разбивала ее.

Зрелище это захватывало Чернышевского. Глаза его сверкали, с замиранием сердца следил он каждый раз за ходом битвы, в которой так ярко проявлялись удаль и мужество народа, не знавшего, где применить свою богатырскую силу.

Саратов в ту пору был изрядною глушью. «Уж я был не маленький мальчик, – вспоминал Чернышевский, – когда каждую зиму все еще случалось, что волки заедали людей, шедших через реку из Саратова в Покровскую слободу – огромное село на другом берегу, несколько повыше города… И тоже, я был уже взрослый мальчик, когда слушал, стоя на дворе своего дома, близ берега Волги, как они завывают на той стороне реки».

Самым родным в детстве был свой двор, две-три близлежащие улицы – Покровская и Московская, площадь Нового собора, берег Волги от Соколовского оврага до местности на версту ниже Сергиевской улицы. Другие части города были ему мало знакомы.

Дома – обыкновенный, скромный (рассудительный, как сказал бы Чернышевский) порядок жизни. Игры, чтение, замкнутый мир священнической семьи с ее несколько обособленными интересами.

Церковь, священник, обедня, архиерей, исповедь – вот

обычные темы домашних бесед, вот предметы, чаще всего занимавшие мысль и взрослых и детей. Дело не менялось от того, что Пыпины, жившие с Чернышевскими одною семьей, олицетворяли, так сказать, «светское» начало. Оно не только не контрастировало, а, наоборот, растворилось и тесно переплелось с «духовным» началом в лице Чернышевских. Но «духовное» носило здесь совершенно земной характер. «Простой человеческий взгляд на каждый отдельный факт жизни господствовал в этой семье». Ни тени фанатического изуверства, аскетизма или мистических настроений не было здесь. «Церковь – это было у нас преимущественно «наша церковь», то-есть Сергиевская, в которой служил мой батюшка… «Белить церковь» – вероятно, наша семья столько же толковала об этом вопросе, сколько о том, делать ли вновь деревянную кровлю на нашем доме, когда прежняя изветшала, или крыть дом железом. «Священник» – это было у нас чаще всего Яков Яковлевич, товарищ моего батюшки по «нашей церкви»… Архиерей Иаков занимал собою всех нас с той стороны, что «не знает дел», то-есть законов и форм…» И так во всем.

Конечно, родные Чернышевского в глубине души относились к религии вовсе не безразлично. Гавриила Ивановича связывали с церковью не только лишь служебные интересы. И хотя Чернышевский впоследствии утверждал, что он целиком был обязан своей семье трезвостью взгляда на жизнь, религиозные предрассудки, вынесенные им из лона семьи, впоследствии еще долго давали себя чувствовать. Он не легко и не сразу, а, наоборот, только после напряженной борьбы сумел освободиться от них.

Влияние самой жизни с ее повседневными требованиями неизменно оказывалось сильнее религиозных традиционных понятий. Ведь старшие «не были теоретики, – говорит Чернышевский, – они были люди обыденной жизни, настолько придирчивой к ним своими самыми не пышными требованиями, что они никак не могли ни на два часа сряду отбиться от нее, сказать ей: ну, теперь ты удовлетворена, дай мне хоть немножко забыть тебя – нет, нет, она не давала, не давала им забыть о себе. А были они все… люди честные (потому-то она и была придирчива к ним). И, вырастая среди них, я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительною жизнью. Такой продолжительный, непрерывный близкий пример в такое время, как детство…, не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, что добро и что зло».

За очерченным кругом семьи и ее влияний текла другая

жизнь, и она не могла не отозваться на мировосприятии чуткого мальчика.

Он с ранних лет мог наблюдать, в каком тягостном состоянии живут низшие слои населения – так называемое «простонародье», как невыносимо гнетет крестьян крепостное право, рекрутчина, произвол и насилие властей.

На берегу Волги были раскинуты станы бурлаков и грузчиков, живших в ужасающих условиях и подвергавшихся неслыханной эксплуатации.

По Большой Царицынской улице мимо дома Чернышевских гнали партиями «кандальников». За десятилетие, с 1835 по 1845 год, из Саратовской губернии были сосланы в Сибирь за участие в бунтах сотни крестьян.

В деревенском соседстве Пыпиных, владевших небольшим имением в Аткарском уезде, откуда в дом Чернышевских приезжали пыпинские крепостные, был убит крестьянами помещик, деспотически обращавшийся с ними. Слухи о жестокой расправе властей с крестьянами дошли и до детей.

В жизни города обыденным явлением была так называемая «торговая казнь» (наказание кнутом) или же публичная экзекуция на плацу, где происходило учение солдат. В Саратове в ту пору стоял полк. На плацу производились маршировка и обучение ружейным приемам. Малейшая оплошность солдата влекла за собою немедленное публичное наказание тут же, на месте.

Двоюродный брат Чернышевского и младший друг его детства А.Н. Пыпин на всю жизнь запомнил сцены, свидетелем которых был в отроческие годы. Толпы народа перед зданием рекрутского присутствия, слезы матерей, расстающихся с сыновьями на двадцатипятилетний срок, бесшабашное пьянство и отчаянная гульба тех, кому «забрили лоб».

Сильно врезались в детское сознание Чернышевского подобные сцены. Отголоски их живут в автобиографическом романе «Пролог», где он изобразил себя под фамилией Волгин.

«Он вырос не в благородном обществе. Воспоминания его относились к жизни грубой и бедной. Ему вспоминались теперь сцены, от которых недоумевал он в детстве, – потому что и в детстве он уже был глубокомыслен. Ему вспомнилось, как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни», – так описывал Чернышевский саратовский период своей жизни.

Еще в детстве Волгин недоумевал от этих сцен. Его поражало, что достаточно было одного окрика дряхлого инвалида-будочника: «Скоты! Чего разорались? Вот я вас!» – чтобы сразу притихла и разбрелась шумная ватага бурлаков, «Стеньки Разина

работничков».

Забитость народа, бессилье массы перед притеснителями бросались в глаза, тревожили пытливую мысль Чернышевского даже в раннюю пору его жизни.

Примерно с середины 1836 года Гавриил Иванович начал более или менее систематически заниматься с сыном. К этому времени относится первая из ученических тетрадей Чернышевского – тетрадь с прописями: «Труд все преодолевает», «Честный человек всеми любим», «Един есть бог естеством» и т. п.

Отец решил самостоятельно подготовить сына к поступлению в семинарию. Эта задача не представляла для Гавриила Ивановича трудности, так как он обладал не только педагогическим даром, но и некоторым педагогическим опытом. Он свободно читал греческих и латинских классиков, хорошо знал математику, историю, географию. Известный историк Н.И. Костомаров, общавшийся с отцом Чернышевского в годы своей саратовской ссылки, говорит, что некоторая односторонность образования Гавриила Ивановича восполнялась не только природным умом, но и постоянным чтением.

Задачи обучения сына облегчались также редкостными способностями и восприимчивостью ученика. Успехи мальчика обращали на себя внимание всех близких.

Родственник его А.Ф. Раев в своих неизданных воспоминаниях пишет об этом периоде: «Без книги в руках трудно было видеть его; он имел ее в руках за завтраком, во время обеда и даже в течение разговора. Читал книги разнообразные, имевшиеся в библиотеке его отца. Мне чаще всего приходилось видеть его с энциклопедическим словарем Плюшара. Страсть Николая Чернышевского к чтению была поразительна. Под его влиянием я прочел в то время (Раев был лет на пять старше Чернышевского. – *Н. Б.*) много и даже всю «Историю» Роллена: переведенную на русский язык Тредьяковским. Чернышевский в десятилетнем возрасте имел столь обширные и разнообразные сведения, что с ним не могли равняться пятнадцатилетние ученики средних учебных заведений. Будучи тринадцатилетним мальчиком, он содействовал мне в подготовке к экзаменам для поступления в высшее учебное заведение».

Привычка к чтению превратилась у него в настоящую страсть, что вызывало протесты со стороны бабушки и, напротив, молчаливое поощрение со стороны отца. Гавриил Иванович считал, что благодаря усиленному чтению у мальчика вырабатывается хороший слог в переводах. «Удивительно, как Коля чисто по-русски передает мысль греков», – замечал иногда

Гавриил Иванович.

С уроками, заданными отцом, мальчик справлялся очень быстро, а затем уходил играть на улицу или садился читать, а то играл в шашки с бабушкой Пелагеей Ивановной, которая за доскою передавала внуку так хорошо запомнившиеся ему рассказы о старине.

5 сентября 1836 года Гавриил Иванович определил сына в духовное училище. Последовало, в сущности, лишь формальное зачисление его в списки учеников духовного училища, с оговоркою, что он имеет право не посещать школу, занимаясь дома, и обязан лишь держать экзамены.

Гавриил Иванович стремился уберечь сына от тягостных впечатлений, какие тот мог бы вынести из училища, где укоренились грубые нравы, телесные наказания и бессмысленная зубрежка.

Училище помещалось в грязном, запущенном двухэтажном здании на площади против Троицкого собора и старого Гостиного двора. Зимою школа плохо отапливалась, ученики сидели на уроках в пальто и в полушубках. Гавриил Иванович знал, что ректор училища склонен к пьянству, что преподаватели, жившие тут же в общежитии при училище, невежественны и грубы. Он рассудил, что разумнее обойтись без помощи такой школы.

Мальчик проявлял исключительную любознательность, был чрезвычайно памятлив, сообразителен и все, что усваивал, усваивал прочно и основательно.

Предполагалось, что ему предстоит духовная карьера. Его готовили к семинарии. Латынь и греческий язык составляли основу семинарского образования. Этим языкам и уделил особое внимание Гавриил Иванович в своих занятиях с сыном.

Правда, заниматься приходилось урывками. «Когда ему учить Колю? – жаловалась мать. – Придет из церкви, полчаса поговорит с ним, велит ему написать по-гречески и уйдет в консисторию, а Коля сядет за книгу, напишет и уйдет играть». Но и самостоятельный интерес у Чернышевского к языкам обнаружился с самых ранних лет, хотя не легко и не просто было удовлетворить жажду знаний, живя в глухом провинциальном городе, «в кругу священников и дьяконов». Семья его не была настолько обеспечена, чтобы дать ему воспитание, какое получали тогда дворянские дети, окруженные гувернерами и домашними учителями. Он сам проявлял инициативу и изобретательность. Так, познакомившись случайно с персом, торговавшим фруктами, Чернышевский предложил ему уроки русского языка, с тем что сам будет учиться у него персидскому.

По окончании торговли перс этот являлся в дом к Чернышевским, сбрасывал на пороге туфли, усаживался с ногами на диван, и начинались занятия, к которым мальчик относился с чрезвычайной серьезностью.

А.Н. Пыпин вспоминает: «Кажется, очень рано он был хорошим латинистом; мне ясно припоминается он за чтением латинской книги… Это было старое, первых годов семнадцатого столетия, издание Цицерона; помню, что он читал его свободно, не обращаясь к словарю».

Систематически учиться французскому языку Чернышевскому не пришлось. Он перестал посещать частный пансион, заметив, что товарищи посмеиваются над его произношением. Но, отказавшись от посещения пансиона, он усердно занимался сам. По-немецки двоюродные братья начали учиться вместе у немца-колониста Грефа, учителя музыки, согласившегося давать детям уроки немецкого языка взамен уроков русского, которые он брал у Гавриила Ивановича.

По уцелевшим ученическим тетрадям Чернышевского видно, что еще до поступления в семинарию он изучал латинский и греческий языки, зоологию, естественную историю, геометрию, русскую грамматику и теорию словесности, историю, географию, немецкий и французский языки, делал переводы со славянского на греческий и с греческого на русский. После же поступления в семинарию к этому, помимо общесеминарских предметов, прибавились занятия персидским, арабским, древнееврейским и татарским языками

От первых несложных стилистических упражнений для выработки слога он перешел через несколько лет к переводам из Корнелия Непота, Цицерона, Тита Ливия.

Наряду с обязательными занятиями – чтение. «Библиофаг, пожиратель книг», он «читал решительно все, даже ту «Астрономию» Перевощикова, в которой на каждую строку, составленную из слов, приходится чуть не страница интегральных формул».

Прежде всего были «исхожены вдоль и поперек более близкие книжные пажити». Библиотека отца размещалась в двух шкафах, в ней были писатели XVIII и начала XIX веков: «История государства Российского» Карамзина, «Энциклопедический лексикон» Плюшара, «Картины света» А. Вельтмана, обширная историческая литература. Не ограничиваясь наличием своей библиотеки и выписываемых журналов в газет – «Живописное обозрение», «Московские ведомости», отец Чернышевского, постоянно сносившийся с дворянскими семьями в городе, брал для домашних новые издания, и таким образом здесь появлялись

сочинения Пушкина, Жуковского, Гоголя, ежемесячные толстые журналы: «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Современник».

По «Отечественным запискам» Чернышевский еще да университета мог познакомиться с произведениями Герцена и Белинского.

В семинарии Чернышевский был зачислен в параллельную группу первого (по тогдашней терминологии – низшего) класса, носившего название класса риторики, за которым следовали еще средний класс – философии – и затем высший – специальный класс богословия. Семинария мало могла дать Чернышевскому. По уровню своего развития и знаний он стоял гораздо выше требований, предъявляемых к ученикам. Учиться в ней ему было почти нечему, кроме того, чему не следовало учиться. Семинария е ее схоластическими методами преподавания только отнимала у него время. Что он мог получить здесь? Философия была всецело приспособлена к требованиям богословия, словесность – к составлению проповедей и все прочее – в том же духе. Много лет спустя Чернышевскому пришлось в одной из работ обрисовать обстановку нижегородской семинарии, где учился его друг Добролюбов. «Даже те воспитанники, – говорит он, – которые по своим умственным силам не превышали уровня обыкновенной даровитости… не могли не досадовать на пустоту ее преподавания. Тетя тяжелее было тратить в ней время юноше такой силы ума, такой пламенной любви к науке, таких обширных знаний, как Добролюбов. Он презирал семинарскую программу и свои школьные за пятая по ней».

Должно быть, слова эти навеяны впечатлениями и воспоминаниями Чернышевского о пребывания в стенах саратовской семинарии в могут быть целиком отнесены и к нему самому.

На уроках он большею частью занимался выписыванием из лексиконов, стремясь расширить свое знание языков. Это осталось в памяти его одноклассников, отмечавших, впрочем, что как бы Чернышевский ни был погружен в свои лингвистические занятия, любой вопрос преподавателя не заставал его врасплох. Он тотчас отрывался от тетрадей, вставал а отвечал урок, обнаруживая при этом здания, идущие далеко за пределы обычной подготовленности.

Особенно любили ученики, когда наступала очередь Чернышевского отвечать по истории. Обыкновенно эти уроки протекали вяло. Преподаватель Синайский был отличным знатоком греческого языка, но историю знал плохо. Ученики

скучали в классе, во когда учитель заставлял отвечать Николаи Гавриловича, многолюдный и шумный класс мгновенно затихал. Чернышевский говорил увлекательно и живо, с подробностями, которых не было в учебнике.

Сочинения его (а именовались сочинения в семинарии «задачами») считались образцовыми. «Так развивать тему сочинений могут только профессора академии», – докладывал о них начальству учитель словесности.

О характере «задач» сам Чернышевский вспоминал позднее так: «У кого эти «задачи» составляли толстую книгу, тому было обеспечено благоволение начальства. Количество тем, находившихся в обращении при задании задач, было не слишком многочисленное: «страдания приближают нас к богу», «о пользе терпения», «дурное общество развращает нравы» и т. п. – в риторическом классе или низшем отделении семинарии; «о различии души и тела», «о преимуществе умозрительного метода над опытным» и т. п. – в философском классе или среднем отделении; всех различных тем, задававшихся в течение целых 5 или б курсов, то есть 10 или 12 лет, набралось бы не больше ста; а каждый год писалось несколько десятков «задач», стало быть, одни и те же темы очень часто повторялись».

Порою самостоятельность подхода к теме у Чернышевского-семинариста вызывала критические замечания преподавателей. Так, например, написанное в 1845 году на латинском языке «Рассуждение – следует ли отдавать предпочтение школьному воспитанию перед домашним», где Чернышевский решительно высказывается в пользу домашнего воспитания, осуждая методы и систему тогдашнего школьного преподавания, получило двойственную оценку преподавателя. «Изложение ясное и очень хорошее, – замечает последний, – но направление мыслей, обращение внимания только на школьные злоупотребления, – ложно. Ничего не сказано о цели, к которой направляет школу высшая власть».

Воздействие школьной среды всегда очень ощутительно. Чернышевский попал в школу, когда ему было уже четырнадцать лет, после привычной семейной обстановки он очутился в новой для него среде.

Вот каким рисует его один из товарищей по семинарии: «В то время он был несколько более среднего росту, с необыкновенно нежным, женственным лицом; волосы светложелтые, но волнистые, мягкие и красивые, голос его был тихий, речь приятная, вообще это был юноша, как самая скромная, симпатичная и невольно располагающая к себе девушка. К его несчастию, он был крайне близорук: книжку или тетрадь он

держал всегда у самых глаз, а писал всегда наклонившись к самому столу».

Застенчивый, женственный с виду, близорукий, тихий юноша… Казалось бы, налицо все качества, чтобы стать мишенью для насмешек озорных, грубоватых семинаристов. К тому же роль «первого ученика» в старой школе зачастую не только выделяла, но и отгораживала такого ученика от товарищей.

Но с Чернышевским этого не произошло. Он внушал товарищам и любовь и уважение. Они беспрестанно обращались к нему за помощью, а он в таких случаях был неизменно внимателен и отзывчив.

В век процветания особой грубости и дикости семинарских нравов обычаи тогдашней саратовской семинарии, пожалуй, были еще сравнительно мягки. Сечение здесь не вводилось в систему, хотя иные вспыльчивые наставники и не прочь были прибегнуть к рукоприкладству. Учеников ставили на колени в угол, заставляя за провинность класть земные поклоны.

Классные комнаты по зимам отапливались плохо, в окнах вторых рам не вставляли, двери были разбиты, – в классах стоял невыносимый холод. На переменах, чтобы согреться, ученики принимались бороться. «Комнаты были огромные, народу пропасть, все возятся, а Чернышевский засядет в угол, смотрит и улыбается. Вытащат и его, – начнет и он бороться. Нередко случалось, что когда он уставал, то борцы возьмут его на руки и с почетом, отнесут его опять на свое место».

Особой свирепостью отличался среди учителей семинарии латинист Воскресенский, человек резкий, грубый, необычайно противоречивый в своих поступках. Беднейшим ученикам он оказывал поддержку и деньгами и одеждою. Вместе е тем до крайности вспыльчивый «Зодка», как прозвали Воскресенского семинаристы, в раздражении бил учеников книгами по голове, трепал их за волосы и за уши, а одного семинариста даже сбросил с лестницы. Это не мешала ежу приглашать потерпевших к себе, угощать их чаем, что считалось известной честью для учеников.

Чернышевский, отлично зная латынь, всегда старался выручить товарищей. Он являлся в класс еще до начала урока, проверял и объяснял заданное. «Подойдет группа, человек в пять-десять, он переведет трудные места и объяснит; только что отойдет эта, – подходит другая, там третья и т. д., а там: то из одного угла кричат: «Чернышевский! Почему здесь стоит sipinum, или что-нибудь в этом роде, то из другого: «Какое значение дать здесь слову?..» И не было случая, чтобы Чернышевский выразил, хоть бы полусловом, свое неудовольствие…»

С большинством одноклассников у него установилась ровные

приятельские отношения, с некоторыми – что-то похожее на дружбу, но сокровенным и единственным другом Чернышевского в семинарии был Михаил Левицкий. За всю жизнь у него было лишь три таких друга: в школьные годы – М. Левицкий, в университете – В. Лободовский, в период «Современника» – Н. Добролюбов.

Образы первого и последнего не случайно соединены в «Прологе», где под фамилией Левицкого изображен Добролюбов. Видимо, писатель чувствовал что-то общее в этих лицах, как-то соединял их в своем воображении. Может быть, и в том и в другом его привлекали непокорность традициям, решительное отрицание условностей, бунтарство, прямолинейность в поступках. Эти черты своих друзей Чернышевский нередко сопоставлял со своею мнимою вялостью, нерешительностью. Как позднее его восхищали прямота и резкость в поведении Добролюбова, так теперь его привлекала независимость свободолюбивого Левицкого. Сам Чернышевский, при всей своей внутренней твердости, был в личном обращении мягок и застенчив. Эта мягкость в общении с окружающими, не вязавшаяся с внутренней непреклонностью, раздражала и мучила самого Чернышевского. Он часто осуждал себя, готов был считать свой характер «уклончивым», «податливым», хотя это была податливость чисто внешняя, не простиравшаяся на поступки и убеждения. Однако в молодости он ощущал это противоречие с особенной остротой.

Воля к действию созревала в нем постепенно и медленно, зато, созревши, становилась уже непреодолимою.

Порывистый Левицкий был в некотором смысле противоположностью Чернышевскому. Он открыто высказывал свое несогласие с преподавателями, постоянно спорил с ними и с учениками.

В классе они сидели рядом: Чернышевский – первым на первой скамье, Левицкий – вторым.

– Ты, Левицкий, настоящий лютеранин, – говорил ему законоучитель Петровский, – твои возражения не в православном духе. Ты споришь не затем, чтобы узнать истину, а затем, чтобы выведать мои познания, поймать меня на слове, сконфузить перед классом.

В конце концов Левицкий был даже лишен казенного содержания за то, что однажды на уроке древнееврейского языка исчеркал записки учителя и на вопрос последнего ответил ему: «Зачем вы здесь наврали?»

Вот этот-то «протестант» и стал самым близким другом Чернышевского. Они не могли двух дней прожить друг без друга.

Но когда однажды Николай Гаврилович заболел лихорадкой и недели три не являлся в семинарию, то Левицкий не решился навестить его, потому что у него не было сносного костюма. Зимой он ходил в синем зипуне, а летом в нанковом халате.

История с лишением Левицкого казенного содержания произошла, когда его друг уже вырвался из саратовской семинарии в Петербург. Получив там известие об этом и еще не зная в точности причин, вызвавших кару, Чернышевский был огорчен до глубины души. Еще бы! Ведь Левицкий был в его глазах чуть ли не будущей гордостью России. Лишение единственной материальной опоры ставило под удар судьбу талантливого, но неустойчивого юноши, и без того склонного топить неудачи в вине.

«Теперь он и вовсе сопьется с кругу, – решил Чернышевский. – Это человек с удивительною головою, с пламенною жаждою знания, которой, разумеется, нечем удовлетворить в Саратове… Эти мелкие, но ежеминутные… препятствия, естественно, каждого, кто не одарен слишком сильною волею, твердым характером, сделают раздражительным, несносным человеком… Верно, он думал, думал о том что д е л ь н о е, нужное, полезное могло бы из него выйти, но… и взрывало бедняка».

Должно быть, случилось именно так, как предполагал Чернышевский: Левицкий спился. Неизвестно в точности, когда он умер, но уже в 1862 году Чернышевский упоминает о нем, как о покойном.

II. В северную столицу «на долгих»

Обсуждение вопроса о том, следует ли Николаю избрать духовную карьеру или лучше поступить в университет, началось в семье задолго до его отъезда в Петербург. Существует версия, что неприятности по службе, которые возникли у Гавриила Ивановича, повлияли на его решение предоставить сыну полную свободу в выборе будущего пути. Гавриил Иванович был уволен от присутствования в консистории за нарушение формальности при записи новорожденного в церковных книгах. Обида как бы подсказала отцу, что сын может и не итти по его стопам.

Казус этот смутил и Евгению Егоровну, которая прежде твердо держалась того мнения, что сын должен остаться в духовном звании.

«Николай учится прилежно попрежнему, – писала она в одном из писем родственнику, – по-немецки на вакации брал уроки, по-французски тоже занимался Мое желание было и есть оставить его в духовном звании, но… согрешила: настоящие неприятности поколебали мою твердость; всякий бедный священник работай, трудись, а вот награда лучшему из них. Господь да простит им несправедливость».

С другой стороны, А. Пыпин, очень близко стоявший к семье Чернышевских, говорит, что Гавриил Иванович просто-напросто был вынужден уступить настойчивому желанию сына получить светское образование.

Должно быть, обе эти причины способствовали тому, что уже вскоре после определения Чернышевского в семинарию начались разговоры о возможности перехода его в университет.

Еще за полтора года до отъезда Чернышевского в Петербург Гавриил Иванович запрашивал своего родственника и земляка Раева, учившегося там на юридическом факультете, может ли Николай поступить в университет, не окончив и среднего отделения семинарии.

Вероятно, не последнюю роль сыграло здесь и влияние Саблукова, преподававшего в семинарии татарский и арабский языки.

Обучение этим языкам выходило за рамки обязательной семинарской программы, но Саблуков сумел заинтересовать Чернышевского, который усердно занимался у него.

Позднее, в университетские годы, Чернышевский с необыкновенным рвением и упорством проделывал чрезвычайно трудоемкие и кропотливые изыскания по славянской филологии у профессора Срезневского. Первые навыки в такого рода работах

он получил еще в семинарии, занимаясь у Саблукова.

Однажды Чернышевский начал составлять указатель топографических названий татарского происхождения в Саратовской губернии. Он раскладывал на полу огромную карту, собирал, проверял названия сел, деревень, урочищ, давал татарское написание названий и перевод их на русский язык.

Вообще длительный интерес Чернышевского к лингвистике, едва не заставивший его избрать чисто ученую деятельность на этом поприще, связан с занятиями у Саблукова, отметившего своего ученика покровительством и дружбой. В свою очередь, благодарный ученик признавался ему: «Из всех людей, которым я обязан чем-нибудь в Саратове, я уважаю вас более всех, как ученого и наставника моего, и люблю более всех, как человека».

Много лет спустя, томясь в Петропавловской крепости, Чернышевский вспомнил о нем, как об одном «из добросовестнейших тружеников науки и чистейших людей», каких он знал.

Вероятнее всего, что именно Саблуков убедил своего ученика не ограничиваться семинарским образованием, а добиться поступления в университет. В письме к Саблукову Чернышевский вскоре же по приезде в Петербург и поступлении на философский факультет писал: «Обстоятельства, известные Вам, не допустили меня избрать восточный факультет: но ни любовь моя к восточным языкам и истории, ни признательность и живейшая благодарность моя к Вам, как первому наставнику моему по восточным языкам, не могли и не могут уменьшиться от того, что другие предметы должен формально изучать я в продолжение этих четырех лет».

Обстоятельства, помешавшие Чернышевскому избрать восточный факультет, вам неизвестны. Но характерно намерение, внушенное Саблуковым. Весь тон письма подсказывает, что в Петербург Чернышевский отправился, вдохновляемый любимым учителем.

В декабре 1845 года было подано прошение ученика среднего философского отделения Николая Чернышевского об увольнении из семинарии.

«С согласия и позволения родителя моего, протоиерея церкви Нерукотворного Спаса, Гавриила Чернышевского, я желаю продолжать учение в одном из русских императорских университетов».

Успехи Чернышевского были аттестованы следующим образом: по философии, словесности и российской истории – «отлично хорошо»; по православному исповеданию, священному писанию, математике, латинскому, греческому и татарскому

языкам – «очень хорошо»; при способностях отличных, прилежании неутомимом и поведении очень хорошем.

Не сразу было решено, где лучше учиться сыну – в ближайшей ли Казани, в Москве ли, в Петербурге ли когда остановились все-таки на Петербурге, потому что там жил родственник Чернышевских Раев, будущий отъезд Николая Гавриловича стал главной темой домашних разговоров. Так продолжалось целый год. Безденежному хозяйству протоиерея предстояло серьезное испытание. Нужно было выкроить немалые средства на самый переезд в столицу, хотя бы и «на долгих»[1], что было значительно дешевле, чем ехать с почтовыми. Рассчитывать приходилось все: и цену меры овса, и стоимость содержания в пути извозчика с его тройкой, и «поборы» на шоссе, и плату на постоялых дворах. Дальше шли расходы на первое устройство – квартира, форма, учебники – и, наконец, расходы Евгении Егоровны на обратном пути. Мать ни за что не соглашалась отпустить сына одного и, пренебрегая слабым здоровьем, решила сопровождать его до Петербурга, чтобы своими глазами убедиться, как устроится их любимец вдали от родных. Волнение, с каким здесь ждали путешествия в Петербург, было тем острее, что ведь никто из семьи никуда не ездил, если не считать поездок отца по епархии в заволжские уезды.

Отъезд из Саратова был назначен на 18 мая. Сборы тянулись до вечера. Потом началось прощанье… Наконец путешественники разместились, лошади тронулись. В последний раз, выглянув из повозки, Чернышевский посмотрел на высокую фигуру отца, вышедшего на улицу в домашнем одеянии – в полукафтане из тонкой шерстяной материи, подпоясанном вышитым поясом. Таким и сберег его в памяти сын, уезжая в далекий сказочный Петербург…

Поездка предстояла длительная, трудная. В первый день отъехали всего верст двенадцать от Саратова и заночевали в Ольшанке. Эта медлительность настраивала Чернышевского на шутливый лад: «…простые извозчичьи лошади, пара с пятнадцатью пудами клади, могут нестись с быстротою трех с двумя третьими (3 2/3) верст в час», – писал он с дороги Саше Пыпину и приводил уравнение: x = 1 800 – 43, показывавшее, что число верст, которое оставалось проехать, равнялось 1 757. И далее из математических формул следовало, что остается ехать только 41 24/43 дня, или пять недель шесть дней и около 11 1/2 часов.

И шутка эта была недалека от действительности: путешествие Чернышевских из Саратова до Петербурга длилось (с остановками в дороге) тридцать два дня.

В пути его не оставляло радостное возбуждение. Мысль о том, что он едет учиться в столицу, приводила его в восторг. Он старался скрыть свою радость, чтобы Евгения Егоровна не подумала, будто ему легко далась разлука с родным гнездом.

Белгаз… Китоврас… Балашов – все было ново саратовцам. Но погода сначала не радовала. Холодный ветер гнал облака, частые дожди размывали и без того плохую дорогу. Повозку кидало на ухабах и рытвинах, при въездах в села она тонула в огромных непросыхавших лужах. По сторонам тянулись бесконечные взрытые поля, мелкий ельничек, одинокие полосатые версты…

В селе Баланды знакомый Чернышевских Протасов, прощаясь с ними, сказал после обычных напутственных пожеланий: «Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения и России». Слова эти поразили Чернышевского, потому что дней за пять до отъезда его из Саратова священник П.Н. Каракозов в разговоре о предстоящей Чернышевскому поездке в Петербург тоже сказал ему нечто похожее: «Дай бог нам с вами свидеться, приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы уже в то время поседеем».

Осталась дорожная запись Чернышевского об этих двух разговорах, красноречиво свидетельствующая об умонастроении восемнадцатилетнего юноши в пору его переезда в Петербург: «Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который хоть и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки сказал то, что ты сам думаешь, пожелал тебе того, чего ты жаждешь и чего почти никто не желает ни себе, ни тебе, особенно в таких летах, как я, я положении… Мне теперь обязанность: быть им с Петром Никифоровичем (Каракозовым. – *Н. Б.*) вечно благодарным за их пожелание: верно эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе и соделанию блага человечеству… Я вечно должен их помнить».

Только к концу месяца добрались, наконец, до Воронежа. Здесь передышка на несколько дней после немыслимой тряски, после ночевок в курных избах и на постоялых дворах. Начали, как подобало тогда, говеть, потом причащались, осматривали воронежские церкви, монастырь, кафедральный собор. Мать накупала образочки и колечки для племянниц, оставшихся в Саратове.

На десятый день по отъезде из Воронежа показалась Москва… Направили путь свой прямо к уроженцу Саратова Клиентову – священнику церкви Воскресенья Словущих на Малой Бронной, у которого Евгения Егоровна решила остановиться на несколько дней.

Отдохнув с дороги, саратовцы отправились осматривать

Кремль. Путь лежал мимо университета и манежа. А затем Чернышевский пошел на почтамт за письмами от отца и с письмами в Саратов. Удивлялся, проходя по Кузнецкому мосту, что моста-то и нет. Удивлялся обилию студентов – всюду мелькали их голубые воротники, даром что каникулы. Никак не мог свыкнуться с мыслью, что он в Москве, чудно казалось.

Наутро Евгения Егоровна объявила о своем решении везти сына в Троице-Сергиевскую лавру помолиться перед поступлением Николеньки в университет. Ей хотелось, чтобы в этой поездке их сопровождала старшая дочь Клиентова, Александра Григорьевна, заменявшая в доме хозяйку.

Александра Григорьевна невольно располагала к себе всякого своею сердечной мягкостью, естественным благородством, тактом и какою-то затаенною грустью. Чувствовалось, что дочерям несладко жилось под отчим кровом, и особенно заметно это было по поведению Александры Григорьевны, уже успевшей побывать замужем, овдоветь и снова возвратиться к отцу, чтобы принять здесь на себя тяжкое бремя материнских забот о большой семье.

Дурное обхождение с нею отца, пренебрежительно смотревшего на вдовую дочь, как на служанку, не ускользнуло от Чернышевского и сразу пробудило в нем острое чувство обиды за горькую участь молодой женщины, лишившейся личных радостей и всецело посвятившей теперь свою жизнь сестрам и отцу.

Ему поминутно хотелось обратить на себя ее внимание, но он был робок, неловок, все время терялся и упускал одну за другой возможности проявить свое расположение к Александре Григорьевне.

Только после настойчивых просьб Евгении Егоровны Клиентов дал позволение дочери отправиться к Троице-Сергию на богомолье вместе с Чернышевскими.

В лавре путешественники «молебствовали» о прекращении дождя, дабы не так трудна была дорога до Петербурга.

На возвратном пути, пока Евгения Егоровна дремала в повозке, Чернышевскому удалось завязать серьезный и длительный разговор, с Александрой Григорьевной, и он был поражен тонкостью понимания, верностью непредубежденных ее суждений, чистотой ее взгляда на жизнь.

Он и не подозревал тогда, что с ним говорит одна из ближайших подруг детства и юности Наталии Захарьиной (Герцен). Это открылось ему лишь несколько лет спустя, когда снова довелось ему столкнуться с Клиентовыми.

Александра Григорьевна очень неохотно говорила о себе. Но даже из отрывочных, беглых разговоров в дороге у него составилось более или менее ясное представление о собеседнице.

И теперь его все сильнее трогала грустная судьба ее и все большей симпатией проникался он к ней…

По возвращении с богомолья мать и сын подвели итоги многодневного путешествия от Саратова до Москвы, подсчитали все крупные и мелкие расходы. Вышло, что с ямщиком Савелием лучше расстаться и купить места в дилижансе. Это дороже, но быстрей и удобней. Правда, Савелий рядился везти не только до Москвы, но и от Москвы до Петербурга, но он оказался пьяницей, ненадежным человеком. Чернышевский писал отцу по-латыни:

«Si vis, alias etiam causas tibi adduco: a perpetuo motu in rheda nostra, carente elasticis sustentaculis (рессор), meum quoque pectus et totum corpus conflictabantur et aegrotabant: quid de matre dicam? Dei gratia sani sumus, sed valde motu in rheda conflicti (растрясены) quae omnia in diligenti locum habere non possunt». (Если угодно, и другую причину приведу: при отсутствии у повозки рессор даже у меня грудь и тело болели от постоянной тряски и ушибов; что же сказать про маменьку? Милостью божией мы здоровы, но очень растрясены тряской в повозке, чего в дилижансе не будет.)

Билетами запаслись заранее. В день отъезда на обширном дворе почтамта, где стояли огромные дилижансы, собрались пассажиры. По лестнице, укрепленной позади кузова дилижанса, носильщики тащили наверх багаж, пассажиры торопились занять места.

На рассвете 19 июня, после трех суток пути, дилижанс, в котором ехали Чернышевские, прибыл в северную столицу и остановился во дворе дома на углу Малой Морокой и Невского. Как только город проснулся, они отправились на поиски Раева. Тот радушно принял родственников и тотчас помог им отыскать временную квартиру близ своей, неподалеку от Невского.

Из оков был виден достраивающийся Исаакиевский собор. Огромный, уже вызолоченный купол его сиял на солнце.

Днем Чернышевский вышел на многолюдный Невский. От гуляющих прохода не было, «как за пятьдесят лет, говорят, не было хода судам по Волге от множества рыбы». Подолгу простаивал юноша у витрин книжных магазинов, обилие которых его изумляло. С ненасытным любопытством провинциала, выбравшегося из глуши, Чернышевский спешил все осмотреть в Петербурге, чтобы поделиться своими впечатлениями с родными.

В письмах к ним он старался применяться к интересам каждого из них. Бабушке рассказывал о том, что видел митрополита на Невском и что скоро, может быть, увидит царскую семью. «Видели мы и паровоз: идет он не так уже быстро, как воображали: скоро, нечего и говорить, но не слишком уже».

Отцу – о великолепии здешних соборов, о земляках, преуспевающих в Петербурге, о будущем своем устройстве, о хлопотах по приему в университет. «Я до смерти рад и не знаю, как и оказать, как Вам благодарен, милый папенька, что я теперь здесь… Теперешнее время очень важно для решения судьбы моей…» Саше и двоюродным сестрам шутливо изображал всю прелесть столичной жизни для тех, у кого 50 тысяч годового дохода.

До начала экзаменов было еще далеко, но Чернышевский не переставал исподволь готовиться к ним. Впрочем, и свободного времени оставалось немало. Не прошло и двух недель, как саратовский «библиофаг» изучил все каталоги знаменитых петербургских книготорговцев. Часами просиживал он в книжных ланках Беллизара, Смирдина, Ольхина, Грефе, Ратькова.

12 июля, в день своего рождения, Чернышевский подал прошение о поступлении на первое историко-филологическое отделение философского факультета Петербургского университета.

Евгения Егоровна считала, что вернее всего цель будет достигнута обходным путем. Посетить профессоров, которые будут экзаменовать сына, постараться разжалобить их, объяснить, что издалека приехали, затратили большие деньги, оросить о снисхождении. Это оскорбляло Чернышевского. Но он осторожно и сдержанно критиковал в письме к отцу план матушки, боясь выказать неуважение к ней. Он понимал, что не нуждается в снисхождении и милостыне. Затрагивались его самолюбие, его честь. «Как угодно, невольно заставишь смотреть на себя, как яа умственно-нищего, идя рассказывать, как ехали 1 500 верст мы при недостаточном состоянии я прочее… Да едва ль и выпросишь снисхождения к своим слабостям этим; ну, положим, хоть и убедишь христа-ради принять себя, да вопрос еще: нужна ли будет эта милостыня? Ну, а если не нужна?.. А ведь как угодно, нужна ли она или нет, а прося ее, конечно, заставляешь думать, что нужна. Как так, и дойдешь на вое четыре года с титулом: «Дурак, да 1 500 верст ехал: нельзя же!» …А вероятно, и «е нужно ничего этого делать. Не должно – это уже известно».

С утра 2 августа начались экзамены. Первый – по физике. На экзамене присутствовали ректор Плетнев и попечитель Петербургского учебного округа Мусин-Пушкин. Экзаменовали сразу за тремя столами. Пока сидел Мусин-Пушкин, экзаменующихся вызывали по алфавитному списку, а когда часа через два он ушел, вызывать перестали, и каждый подходил сам, как на исповеди. При попечителе очередь до Чернышевского не дошла. Профессор ответами его остался весьма доволен.

– Очень хорошо, – сказал он в заключение. – Где вы воспитывались?

Каждый из экзаменующихся дожидался выставления при нем отметки, но Чернышевскому показалось слишком неучтивым нагибаться к самому журналу, тем более, что и профессор отличался близорукостью и, проставляя отметку, низко склонился к столу.

Ободренный успешным началом, Чернышевский на другой день великолепно отвечал на экзамене по алгебре и тригонометрии. И снова был огорчен, что отметка осталась ему неизвестной. «Просто хоть очки надевай, – писал он домой, – профессор нарочно при тебе ставит, чтобы видел, тебе ли точно поставил он, не ошибся ли в фамилии, а ты не видишь».

На экзамене по словесности саратовцу выпало написать на тему «Письмо из столицы». Аттестовано оно было высшим баллом.

К Фрейтагу, на экзамен латинского, он шел полный самых радужных надежд. Он мог перевести без приготовления Тацита, Горация, любого автора, мог бы свободно объясняться с профессором по-латыни, тем более, что Фрейтаг плохо владел русским, и если экзаменующийся не говорил по-немецки, профессору помогал объясняться переводчик. Тут бы и заговорить по-латыни. Но сразу не догадался, а когда спохватился, то Фрейтаг уже занялся с другим. Только четыре. По латыни, которую Чернышевский так превосходно знал!..

В общем экзамены прошли более чем удачно. Для поступления нужна была сумма баллов, равная тридцати трем. Высшее число – пятьдесят пять. Чернышевский набрал сорок девять.

«Поздравляю, мой родной, с сыном-студентом», – писала мужу Евгения Егоровна, собираясь отъезжать домой в Саратов.

На другой день после экзаменов были заказаны шляпа и шпага. Сначала хотели поискать в Гостином дворе подержанные, подешевле, но радость была так велика, что и расход на заказ показался законным.

Евгения Егоровна только все огорчалась, что уедет, не увидев сына в студенческом сюртуке. Впрочем, образчики сукон, из которых заказали шинель и сюртук, она брала с собою, чтобы отец по достоинству оценил дорогой материал…

До самой заставы проводил Чернышевский свою мать, когда 26 августа она вместе с спутницей выехали на «троешных» в Москву, чтобы ехать оттуда в Саратов «на долгих».

Впервые предстояло ему остаться одному в огромном незнакомом городе. Не так ощутительна была разлука с родным

домом, пока мать еще была здесь. Теперь она уносила с собою последнее родное тепло, близость которого придавала ему силы. Но надо было крепиться, надо было поддержать и в ней твердость перед разлукой, и он с самым веселым лицом шутил, смеялся над тем, что матушка накупила в дорогу репы и тому подобных пустяков. Расстались со слезами, но гораздо спокойнее, чем он ожидал… Евгения Егоровна обещала не тосковать дорогой, не думать о разлуке, а «только молиться богу и играть в карты с Устиньей Васильевною…»

III. В университете

Как и предполагалось, Чернышевский переехал в комнату к Раеву, снимавшему ее в квартире француза Аллеза, в большом доме князя Вяземского на Гороховой улице, у Каменного моста.

После спокойной, размеренной провинциальной жизни в дружной семье, с ее домовитостью, уютом, хлебосольством, предстояло одинокое на первых порах и скудное студенческое существование.

Евгении Егоровне оно рисовалось далеко не в радужном свете:

– Ну, что это за жизнь? Тысячи полторы населяют дом, и никто друг другом не интересуется, никто, знать друг друга не хочет. Не знаешь – кто подле вас, кем вы окружены… Ни дворов, ни садика, за каждою мелочью беги в магазин.

Утешало ее лишь то, что все-таки не вовсе один будет жить ее сын, а на глазах у старшего родственника.

Раев в ту пору уже кончал юридический факультет Петербургского университета. Был он суховат, сдержан, подтянут, чрезмерно расчетлив, обладал многими задатками будущего делателя трудной чиновничьей карьеры а столице. У Евгении Егоровны эти качества Раева вызывали, пожалуй, даже уважение, но Чернышевскому они решительно не нравились. Впрочем, отступать было некуда, и он решил просто не выказывать своего нерасположения в этим чертам сожителя.

Впоследствии расхождение между ними углубилось еще и потому, что слишком, различны были их убеждения. В своих воспоминаниях, содержащих отдельные любопытные штрихи, Раев сам подчеркивает, что он никогда не разделял политических воззрений своего родственника.

В довольно большой комнате занимаемой Раевым и Чернышевским, стояло два дивана, заменявшие им кровати, полдюжины стульев, старый письменный стол и небольшая этажерка с книгами.

По свойственной Чернышевскому привычке всегда изображать свое положение с лучшей стороны он в письмах к родителям не уставал твердить о выгодах пребывания именно в этой квартире. Во-первых, хозяин ее – француз, следовательно – можно выучиться говорить по-французски, не теряя ни времени, ни денег, подобно тому как учился в Саратове у Грефа немецкому, а у торговца фруктами персидскому. Во-вторых… (но тут Чернышевский забивал, что вторая выгода исключает первую) вторая выгода заключалась в том, что дома, как правило, никого,

кроме старой служанки не бывает… Хозяин уходит на уроки с раннего утра и возвращается в одиннадцать вечера. Супруга его где-то гувернанткой и дома бывает только по воскресеньям, как в гостях. Сын Аллезов с утра до позднего вечера учится. Никто не может мешать занятиям, «мы решительно целый день одни…»

На поверку впоследствии оказалось, что отнюдь не бесшумно было в этой квартире. Возвращаясь с уроков, Аллез громко пел, беспрестанно разговаривал с сыном, – словом, сильно мешал своим квартирантам, а обучать их французскому языку и не думал.

Нельзя принимать за чистую монету все, что рассказывал Чернышевский в письмах к родителям о своем житье-бытье. Многое из того, что он писал о себе, сообщалось с явным расчетом усыпить их тревогу, обмануть их беспокойные предчувствия. Сначала это еле заметно и касается лишь пустяков. Потом, по мере того как окончательно складывается его особый внутренний мир, совершенно чуждый духу его семьи, это несоответствие начинает все чаще проскальзывать в письмах.

Духовная связь с семьей, традиции, общность представлений – все это было изжито Чернышевским вовсе не сразу, а после длительной и трудной внутренней ломки.

В начале своего пребывания в университете он был еще тесно связан с тою средой, от которой только что оторвался. Ее идеалы, привычки, обычаи были ему близки и дороги. Только с течением времени стало ему ясно, что те интересы, какими он постепенно проникался в новой обстановке, несовместимы с духовным укладом оставленной среды. С ростом нового круга интересов усиливалась внутренняя борьба в нем самом, приведшая в конце концов к кризису и решительному разрыву с прежними традициями и представлениями.

На другой день после отъезда Евгении Егоровны Чернышевский присутствовал на торжественном молебне в университетской церкви и слушал потом наставление, с которым обратился к студентам ректор университета Плетнев, тот самый Плетнев, другом которого был Пушкин.

Затем начались занятия. Чернышевский был целиком поглощен университетскими делами. Аккуратно посещал лекции, постепенно знакомился с товарищами, привыкал к университетским порядкам.

Со свойственной ему пунктуальностью он уже высчитал расстояние от дома до университета: 16 минут ходьбы, 960 его двойных шагов, 1 верста 300 саженей – немногим больше, чем в Саратове от дома до семинарии. Это не только пунктуальность, но и одна из привычек погруженного в себя человека, не

замечающего уличной жизни. Ведь и здесь, как в Саратове, нередко случалось ему спохватываться, пройдя мимо ворот своего дома.

Однообразный ежедневный маршрут – из дома е университет, из университета домой – примелькался скоро до мельчайших подробностей. «Если я выхожу из дому, то иду все по той же вечной Гороховой улице или Невскому, мимо Адмиралтейства, в университет и потому не вижу ничего нового, кроме картинок, беспрестанно сменяющихся, которыми увешаны стены дома, где магазин гравюр и литографий Дациаро».

С такою же пунктуальностью определил он и свой чрезвычайно скромный бюджет, точно установив, сколько потребуется ему на стол, на свечи, на перья, даже на ваксу, на баню и мыло[2], определил несложный распорядок дня, чтобы жить по расписанию, по часам и минутам…

Приподнятое, радостное состояние не оставляло его, хотя восторг по поводу того, что он в университете, довольно скоро сменился трезвой оценкой действительного положения вещей.

Уже через несколько дней после начала занятий он пишет отцу: «Все эта, как видите, нечто вроде пустяков. Я не знаю, как Вам писать эта. Вы сейчас и станете опасаться, что «если считает пустяками, то станет пренебрегать, опускать лекции». Но разве я не говорил того же о семинарских классах и опустил ли хоть один? Дружба дружбой, а служба службой: думай, как хочешь, а сиди и слушай… Та же отчасти история, что и в Саратове. Отчасти, слава богу, нет».

И он сидел и слушал, хотя уже твердо решил про себя, что лекционный метод во всем уступает методу тех университетов, где профессор читает предмет лишь двадцать, тридцать, много – пятьдесят часов в год, да и то преимущественно обозревая библиографию своей науки. Ведь настоящее средство образования – книги, а не беседы. Давно миновало то время, когда не было книг и ученики должны были итти в пустыню за Абеляром.[3]

Так думал Чернышевский, едва приступив к занятиям и университете. Из двадцати одной лекции, читавшихся в неделю, лишь пять показались ему достойными внимания: две по всеобщей истории (читал М. Куторга), две по психологии (читал Фишер) да одна по славянским наречиям (Касторский). Программы по латыни и греческому языку выглядели слишком уж элементарными. Он знал эти языки в гораздо большем объеме. С пренебрежением отнесся Чернышевский также к курсу богословия, преподаватель которого Райковский, с точки зрения чрезвычайно начитанного в богословии вчерашнего семинариста, недостаточно глубоко знал свой предмет.

Восемнадцатилетний Чернышевский был еще во власти религиозных предрассудков, привитых ему в семье. Он просит отца прислать ему роспись всем постам и постным дням, так как намерен строго соблюдать их. Но наряду с этими давно сложившимися представлениями в душе юноши постепенна пробуждаются новые, которым суждено не только вступить в борьбу с прежними, но и решительно преодолеть их..

Ничто так не облагораживает юность, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес, говорит Герцен. Широкие социально-этические проблемы общего характера волновали Чернышевского еще до поступления в университет. А.Н. Пыпин вспоминает, что двоюродный брат его, еще будучи семинаристом, нередко проводил время в разговорах на общественные темы с молодыми людьми из помещичьего круга, приезжавшими из столицы на каникулы в Саратов. В переходный между семинарией и Петербургом период Чернышевский, по словам Пыпина, был юношей, ревностно искавшим знаний и полным идеализма. Он зачитывался Пушкиным, Жуковским, Шиллером и, что особенно важно, увлекался не только поэтическими картинами, но и возвышенными социальными идеями.

В Петербурге это умонастроение его вступила в новую фазу быстрого развития. «Часто писал он мне длинные письма по-латыни, – рассказывает учившийся в то время в первых классах гимназий Пыпин, – он касался в письмах таких предметов, о которых было менее удобно писать письма по-русски. Здесь в первый раз к концу сороковых годов я увидел возможность *крестьянского* вопроса».

Чернышевскому, еще не успевшему завязать дружеские отношения среди однокурсников в университете, нужны были собеседники, перед которыми он развивал бы любимые темы. Родители не могли быть такими собеседниками. И вот он обращается к гимназисту Пыпину, пониманию которого эти темы едва ли по-настоящему были тогда доступны, обращается к Любови Котляревской, которую, вероятно, вовсе не волновали общественные темы. Несколько позднее, когда Чернышевский нашел друзей и собеседников в университетской среде, эти мотивы в письмах к близким людям детской поры стали звучать реже, а потом и вовсе исчезли.

Но в конце 1846 года студент Николай Чернышевский по праву старшего друга дает Александру Пыпину невинное с виду задание перевести с латинского несколько протеевых стихов, особенность которых состоит в том, что они допускают любую внутреннюю перестановку слов без нарушения смысла и размера.

[4] Переводя эти стихи, гимназист Пыпин усваивал опасные истины, показывавшие, в каком направлении работала мысль его старшего друга и брата: «Пусть исчезнет ложь, насилие и придет справедливость или рушатся небеса», «Пусть восторжествует справедливость или погибнет мир» – вот какие «лозунги» подбирал для протеевых стихов студент Чернышевский.

В Петербурге знакомится он с новым романом модного в ту пору писателя Эжена Сю – «Мартин Найденыш». Едва приступив к чтению романа, Чернышевский спешит посвятить Любовь Котляревскую в содержание и смысл этого произведения.

Интерес его к «Мартину» был подогрет тем, что он слышал еще раньше: цель романа – изображение бедственного состояния крестьянства во Франции и попытка указать средства к устранению насилия и гнета над низшими классами. Размышляя попутно и о «Парижских тайнах» того же Сю, Чернышевский задается вопросом о возможности нравственного возрождения людей, искалеченных социальными условиями. Он уже отчетливо видит, что в мире царит несправедливость, что человечество погрязло в пороках, что оно страдает и мучается не по своей вине, а в силу каких-то условий, борьба с которыми мыслится юноше еще в плане христианского вероучения.

«Какая высокая, священная любовь к человечеству у Сю!» – восклицает он. – «Удивительно благородный и, что всего реже, в истинно христианском духе любви написанный роман…»

И приверженность к возвышенным идеям, и увлечение свободолюбивой поэзией Пушкина, и пристальное внимание к крестьянскому вопросу, и страстное желание юноши, чтобы в мире восторжествовала справедливость, – все это показывает, что уже здесь мы имеем дело с некоторыми зачатками будущей системы взглядов утопического социалиста. Но это только зачатки, только первые попытки осмыслить миропорядок в свете общих социальных идей. Они еще сливаются с религиозным строем мыслей Чернышевского, но почва для их развития в ином направлении уже подготовлена.

Совсем не по возрасту были серьезны тогда запросы Чернышевского. Читая проникнутую глубоким патриотическим чувством поэму А. Майкова «Две судьбы», он стремится вместе с поэтом понять причины умственной закоснелости тогдашнего общества.

> И не зажгла наука в вас собой
> Сознания и доблестей гражданства…

Строки эти вызывают у него пылкие, искреннейшие,

пророческие мысли о своем призвании, о будущем родины.

Многим памятна отроческая клятва Герцена и Огарева на Воробьевых горах.[5]

Рядом с Чернышевским в то время еще не было такого друга, сердце которого билось бы в унисон с его сердцем. Взволнованный мыслями, вызванными чтением «Двух судеб», он пишет двоюродному брату письмо, которое звучит как клятва: «Решимся твердо, всею силою души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей… Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира… выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества… на великом поприще жизни – науке… И да совершится чрез нас хоть частию это великое событие!.. Содействовать славе не преходящей, а вечной, своего отечества и благу человечества, – что может быть выше и вожделеннее этого?»

Такова была уже в ту пору сила патриотического чувства Чернышевского. Мы помним, что своего семинарского друга Михаила Левицкого он считал человеком способным в иных условиях стать гордостью России. Не столь уж важно, преувеличенно ли это мнение, – гораздо важнее то, что оно обнаруживало желание юноши видеть и себя и своих друзей людьми, поддерживающими честь родины.

С таким ощущением, с такими мыслями вступил Чернышевский в университет, и ему казалось, что он встретит здесь немало достойных людей.

Верный «духу студенческого сословия», он радовался успеху каждого товарища, если даже тот не был знаком ему лично.

Вот о студенте Л. Плещееве пишут в «Отечественных записках» как об одном из лучших поэтов современности. Чернышевскому «вдвойне приятно» сообщить об этом родным – словно бы слава Плещеева коснулась его самого.

В это время начали у него устанавливаться очень близкие отношения с вольнослушателем университета Михаилом Ларионовичем Михайловым, впоследствии видным поэтом и революционером.

Познакомились они на первой же лекции и сошлись очень скоро, но более тесному сближению сначала несколько препятствовало заметное различие их характеров.

Насколько Чернышевский был замкнут, сдержан, осторожен в проявлении чувств, настолько Михайлов был открыто эмоционален, изменчив в настроениях. В его натуре, говорит ближайший друг Михайлова Шелгунов, «было слишком много нервности чисто женской, его легко было огорчить и вызвать на

Глазах слезы, но огорчения его обыкновенно сменялись веселым настроением».

Различие проявлялось и во внешнем поведении. Один был неловок, угловат. В манерах и движениях другого бросалось в глаза природное изящество, внутренняя грация, то сильно развитое «чувство формы», о котором говорит Шелгунов.

Михайлов получил хорошее домашнее образование, но экзаменов в университет не выдержал, потому что плохо подготовился к ним, всецело поглощенный литературной деятельностью. Ему пришлось поступить в университет вольнослушателем.

На первой же лекции Михайлов обратил внимание на близорукого бледного студента в сереньком форменном сюртуке.

– Вы, вероятно, второгодник? – обратился Михайлов к студенту.

– Нет, а вы, должно быть, судите об этом по сюртуку?

– Да.

– Так он с чужого плеча. Я купил его на толкучке, – отвечал Чернышевский, и между ними завязалось знакомство.

Под впечатлением встреч с Михайловым Чернышевский писал отцу, что он никак не думал встретить здесь таких даровитых и знающих людей.

В семинарии Чернышевский привык быть преимущественно полезным для других. Теперь дружба могла принести пользу и ему. В лице Михайлова он встретил редкого знатока мировой литературы. Недаром его называли «ходячей библиографией». Кроме восточных, древнегреческих и латинских поэтов, он знал всех видных английских, немецких, французских писателей.

Михайлов уже изведал первые, приятно кружащие голову успехи на литературном поприще. Он печатал в «Иллюстрации» свои оригинальные и переводные стихотворения, статьи, заметки.

Несомненно, что уже в раннюю пору знакомства Чернышевского с Михайловым их сближала общность социальных взглядов, присущая им обоим ненависть к угнетателям родного народа.

Михайлов несколько раньше Чернышевского освободился от религиозных предрассудков. В одной из первых книг о Михаиле Ларионовиче, вышедшей вскоре после его смерти, говорится:

«Юношеский жар своей души, требовавшей фанатических привязанностей и страстной любви, он перенес на дело свободы и мысли. Чернышевский впоследствии всегда говорил, что первый толчок на пути к развитию был дан ему Михайловым.

Со своей стороны Михайлов, развившийся в те времена, когда положение России казалось вполне безвыходным, безотрадным,

тем склоннее был к несколько апатическому отчаянию, чем сильнее любил свою родину, чем яснее понимал свои обязанности как человека и гражданина, В этом отношении влияние гениальной энергии Чернышевского было для него спасительною поддержкою».

Революционные убеждения Михайлова складывались, вероятно, под непосредственным впечатлением рассказов в семье о трагической участи его деда Михаила Максимовича, который был крепостным симбирской и оренбургской помещицы Надежды Ивановны Куроедовой, изображенной в «Семейной хронике» С.Т. Аксакова под именем Прасковьи Ивановны Багровой.

После смерти Куроедовой Михаил Максимович был отпущен на волю, но вольная не была соответствующим образом оформлена, Воспользовавшись этим, наследники Курседовой снова его закрепостили. Михаил Максимович протестовал; тогда его заключили в острог, судили и засекли до смерти за неповиновение помещичьей власти. Отец Михайлова (начальник Илецких заводов), умирая, говорил Михаилу Ларионовичу, «чтоб он помнил историю своею деда, никогда не делался барином и стоял за крестьян».

Чернышевский сразу понял, что Михайлова ждет большое будущее, что из него выйдет человек замечательный. Это знакомство способствовало расширению кругозора Чернышевского. Они стали бывать друг у друга чуть ли не ежедневно, вместе читали «Отечественные записки», «Современник», толковали по целым вечерам напролет о литературе, о политике, об университете. Но и по прошествии нескольких месяцев Чернышевский оговаривался, что «еще не так дружен с ним, чтобы говорить от души о том, что лежит на сердце». «Мы очень часто бываем друг у друга… он со много откровенен, очень откровенен, но у него уж такой характер, не то, что у меня. Впрочем, и я с ним гораздо более откровенен, нежели с другими. Не любить его нельзя, потому что у него слишком доброе сердце. Но все я еще не столько знаю его, чтобы совершенно сказать, что считаю себя его другом… Чем больше я стал узнавать его, тем более стал любить, хотя и не скажу, чтобы все в нем мне нравилось. Но все же я его более всех других люблю…»

Хотя Михайлов вскорости вынужден был оставить университет и уехать в Нижний Новгород, однако дружеские отношения их не прерывались.

На филологическом отделении первокурсников было сравнительно немного. Среди небольшого числа их человек восемь-десять – вчерашние семинаристы. Еще в тридцатых годах в

университет начался приток разночинцев, заставивший потесниться детей дворян.[6] В сороковых годах университеты уже решительно заполнились семинаристами – выходцами из чиновничьей и мещанской среды. Чернышевский попал в университет как раз в промежутке между наибольшим наплывом туда этой категории учащихся и последовавшими вскоре предупредительными мерами николаевского правительства, которое после революционных событий 1848 года на Западе старалось искусственно приостановить наплыв разночинцев в учебные заведения. Именно в 1848 году в секретном циркуляре министра народного просвещения Уварова (автора известной реакционной формулы – «православие, самодержавие и народность») указывалось, что «при возрастающем повсюду стремлении к образованию наступило время пещись о том, чтобы чрезмерным этим стремлением не поколебать некоторым образом порядок гражданских сословий, возбуждая в юных умах порыв к приобретению роскошных знаний».

И действительно, через год число вновь принятых в университет студентов было сведено к минимуму. На первый курс филологического отделения Петербургского университета в 1849 году попали только два человека!

Вступив в университет, Чернышевский вскоре отметил, что и среди профессоров встречаются люди из социально близкой ему среды. Он чувствовал особую симпатию к таким профессорам. Это сказалось даже в споре с отцом о важности изучения французского языка.

Гавриилу Ивановичу очень хотелось, чтобы сын в совершенстве овладел языком светских салонов. Сын возражал, доказывая, что не обязателен этот лоск, что неумение болтать по-французски теперь уже не говорит о плохом воспитании. Для дела необходимо знать язык книжно и не так уже важно хорошее произношение. Он берет в пример профессоров Никитенко, Устрялова, Неволина. Они не говорят ни на одном из новых языков. Где им было смолоду выучиться говорить? Никитенко и Устрялов – вольноотпущенники графа Шереметева, а Неволин – «ведь вы знаете, кто он?» – спрашивал сын, имея в виду духовное происхождение Неволина. «Органов загрубелых уже не переломить, а лучше вовсе не говорить, чем говорить так, чтобы смешить своим произношением».

Вчерашние вольноотпущенники-профессора, вступая в общество, нередко растворялись в нем, дух свободомыслия и протеста покидал их, они постепенно примирялись с существующим порядком вещей и начинали способствовать видам правительства. Они не были, конечно, такими

ревностными слугами самодержавия, как попечитель Петербургского учебного округа ярый крепостник граф Мусин-Пушкин. Их могли даже возмущать какие-нибудь «крайности» в правительственных мерах; однако они не шли дальше выражения тайного недовольства под маской полной внешней покорности.

Испытывая на себе постоянный гнет официальной самодержавно-бюрократической идеологии, они не решались, не смели прямо итти против нее, стараясь лавировать, и положение их поэтому было довольно жалким. Это инстинктивно и остро чувствовала разночинная молодежь, пришедшая к ним учиться. Вот почему Чернышевский так быстро разочаровался, перестал ждать чудес от университета. Вот почему Михайлов, проучившись год с лишним, предпочел отправиться в Нижний служить, а их общий приятель – Лободовский, пешком пришедший из Курска в Петербург, чтобы поступить в университет, также очень скоро осознал, что здесь учатся ради дипломов, а не ради подлинного просвещения. Понял это и Чернышевский.

Но другого выхода не было. Нужно учиться хотя бы и ради диплома, чтобы не пропасть, не затеряться потом в бесчисленной массе чиновников. Только обучение в столице и диплом открывали какую-то перспективу в будущем. В противном случае жизнь оттесняла, отбрасывала людей его круга на задний план.

Родным в Саратов Чернышевский писал: «Такой уже теперь порядок вещей, что для того, чтобы быть чем-нибудь (о выскочках не говорим: ведь это исключение), надобно учиться в высших заведениях и служить в столице: без этих двух условий так и останешься ничем, как был».

Дух застоя и реакции давал чувствовать себя на каждом шагу. Казарма и канцелярия, по выражению Герцена, сделались опорой политической науки Николая I. Пружинами этой «сильной» власти была слепая, лишенная здравого смысла дисциплина в соединении с мертвым формализмом чиновников. Квартальные, говорит Герцен, занимали и университетские кафедры. Гласными и негласными предписаниями, устными и письменными внушениями, «пожеланиями» и указками всякого рода стеснена была деятельность каждого из профессоров. А.В. Никитенко в своем дневнике рассказывает, как однажды на чрезвычайном собрании совета университета под председательством Мусина-Пушкина прочитано было предписание министра, составленное «по высочайшей воле», в котором разъяснялось, как должны были понимать господа профессора «нашу народность и что такое славянство по отношению к России».

Предписание гласило, что «народность… состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию, а

славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия». Оно, дескать, само по себе, а мы сами по себе. Его величеству угодно было считать тогда, что западное славянство уже «окончило свое историческое существование», и на основании этого министр Уваров изъявил желание, чтобы профессора с кафедры «развивали нашу народность не иначе, как по этой программе и по повелению правительства. Это особенно касается, – отмечалось в предписании, – профессоров славянских наречий, русской истории и русского законодательства».

Неудивительно, что у питомцев университета создавалось впечатление, что на филологическом отделении им приходится только даром терять время. Рутина и формализм, пустословие и буквоедство…

В дружеских беседах между собой студенты смеялись над «светилом эллинской мудрости» – престарелым профессором греческой словесности Грефе, которому без неправильных глаголов и жизнь была бы не в жизнь. По своим взглядам, точнее сказать – по совершенному отсутствию их, этот старец казался Чернышевскому младенцем. Грефе и знать ничего не хотел, кроме этимологии греческого языка.

Как и Фрейтаг, он читал свои лекции и экзаменовал на латинском языке. Был он, в сущности, добр, но вспыльчив до крайности. Рассердившись, бросал книгу на пол, топал ногами, крича: «Abi ad malem rem!» («Поди к чорту!»). Впрочем, формально удачный ответ заставлял его сразу смягчаться. Знания учеников проверял он пытливо, пуская в ход «римские сарказмы». «Да, склонения ты знаешь, но, может быть, на этом и кончаются твои познания?» – язвительно говорил Грефе по-латыни экзаменующемуся. «А ты спроси!» – отвечал ему в лад по-латыни последний.

Преподавание словесности и истории русской литературы не могло удовлетворить тех студентов, которые мыслили самостоятельно. Кафедру словесности занимал Никитенко, истории литературы – Плетнев. Оба были незаурядными литераторами – имена их остались в истории литературы, но менее всего сказалась их даровитость в преподавании. Студентов удивляло даже, почему Плетнев, высказывавший иногда в своих статьях дельные и верные мысли, предавался на лекциях «усыпительной болтовне», а Никитенко старательно избегал касаться «острых» вопросов, затронутых в том или ином произведении, останавливаясь главным образом на его внешней стороне.

Плетнев вечно искал «примиряющей середины», как-то особенно чурался «крайностей», недолюбливал оригинальность,

если она не подходила под его излюбленную мерку… И Никитенко тоже в тех случаях, когда ему все-таки приходилось освещать внутреннюю, «принципиальную» сторону разбираемого произведения, ловко лавировал между рифами, отделываясь туманными рассуждениями о высоких материях.

Чернышевский очень скоро по достоинству оценил либерализм этих видных университетских наставников, робкую половинчатость их идейных устремлений и, разумеется, не мог уважать профессоров, неукоснительно подчинявшихся требованиям казенной идеологии.

Внешняя жизнь Чернышевского текла очень однообразно. Он ходил на лекции, в библиотеки, встречался с товарищами, спорил, беседовал с ними. Так проходили дни, недели, месяцы. Он регулярно писал письма домой. Очень много читал. И книги заслоняли все. Случится ему достать намеченную книгу – и настроение становится радостным. Наоборот, не удастся достать нужную – он готов впасть в хандру. От посещения театров удерживался, боясь, что театр отвлечет его от занятий. Родителей уверял, что терпеть не может театра. Вознамерился было посещать музыкальные вечера по воскресеньям в университете, но раздумал: нужно было заплатить за зиму три рубля серебром. Лучше потратить их на книги.

Университетские танцевальные вечера показались ему просто смешными – и за кавалеров и за дам выступали студенты. Студенческие пирушки проходили без него. Вина он в рот не брал – нестерпимо скучными считал подобные развлечения. Ходил иногда в гости к землякам, знакомым и друзьям своего отца. В Петербурге было немало уроженцев Саратова. Иные успели добиться больших чинов, жили привольно и широко. Родители всячески внушали сыну, что необходимо поддерживать полезные знакомства. Порою он готов был подчиниться их желанию, но мешала присущая ему щепетильность. Мало-мальски неделикатное проявление покровительства с чьей бы то ни было стороны непременно бы задело его. Да и ненужным считал заводить знакомых для того, чтобы наносить им визиты, сидеть у них молча или толковать на безразличные темы.

Внешняя жизнь шла удивительно бессобытийно. Но ведь «есть жизнь другая, жизнь внутренняя, душевная, – писал он А.Н. Пыпину. – Это-то и есть истинная жизнь. В ком есть она, тот занимается внешнею жизнью и заботится о ней только настолько и постольку, чтобы она не мешала внутренней…»

Вот почему с таким стоическим спокойствием переносил Чернышевский все лишения, невзгоды, неурядицы в быту. А их было много. Отсутствие сколько-нибудь свободных денег давало

себя чувствовать на каждом шагу. Ему во всем приходилось ограничивать себя, все время изворачиваться, выкраивать рубли и копейки, чтобы сводить концы с концами. К этим грошовым заботам примешивалось постоянно мучившее его сознание, что родителям недешево обходится его жизнь в Петербурге. Каждый мало-мальски значительный расход был для него очень ощутителен.

Подступала зима. Требовалась экипировка. Он готов был обойтись без шубы – благо до университета пятнадцать минут ходьбы, а в баню можно ходить и в тулупе. Но как обойтись без парадного мундира и без шинели? Он намеревался купить подержанный мундир за полцены у какого-то сенаторского сынка, но, увы, воротник на этом мундире оказался бальный, то-есть был вышит не просто гладким золотом, а с блестками. Пришлось заказывать мундир. «О, как дорого здесь жить! Как все здесь дорого! Ужас!» Он сокрушается по поводу того, что белый хлеб в три с половиною раза дороже, чем в Саратове. Театр, извозчики – все это прихоти, о которых нечего и думать. Он будет пить чай только по воскресеньям или вовсе не пить его, чтобы свести расходы буквально к минимуму!

На первый взгляд это беспокойство кажется просто непонятным. Ведь он – единственный сын. Но семью Чернышевских нельзя отделять от многодетной семьи Пыпиных. Все тяготы жизни ложились на обе эти семьи равномерно.

Родители успокаивали Чернышевского. Не доверяя им, он старался стороною выведать, как отзывается его пребывание в столице на бюджете отца. Он с нетерпением ждет, когда же, наконец, будет самостоятельно зарабатывать, хотя бы уроками. Он убежден в том, что блага жизни сами по себе вовсе не должны быть предметом забот и желаний, что это только условие, только средство, без которого немыслима истинная, то-есть внутренняя, жизнь. Лишь бы хлопоты и заботы не мешали настоящей жизни. Но они-то не оставляли его в покое ни на минуту. И потому так часто приходилось писать своим о «материальностях», без конца делить и умножать, складывать и вычитать какие-то цифры, как будто и впрямь эти рубли и копейки могли занимать его воображение.

Отцу и матери представлялось, что редкие способности сына сразу же обратят на него внимание университетского начальства. Беспокойное честолюбие матери прорывалось в прямых вопросах: кто из профессоров отличил сына среди остальных студентов? И хотя Чернышевский отвечал, что Фишер и Касторский выказали свое расположение к нему, однако не это, в сущности, интересовало его теперь. Сам он, правда, намеревался в

дальнейшем пойти «по ученой части», но дух неверия в казенную науку уже коснулся его. Он видит, что в настоящих условиях ничего, кроме вершков, в университете не нахватаешь. Он не на шутку озадачен тем, что почему-то «нашим знаменитостям плохо удаются экзамены» и что они, знаменитости, «не в дружбе с правительством вообще». Перед ним встают примеры Белинского, Герцена и еще более близкий пример Плещеева, который «вышел в поэты и вышел из университета». Вот и Михайлов собирается покинуть «святилище наук». И новый друг Чернышевского, Лободовский, с злобной иронией твердит о пустоте университетского преподавания. Да и сам Чернышевский не скрывает от отца, что очень доволен приближением «невских каникул», которые наступят во время ледохода, когда разведут Исаакиевский мост через Неву и занятия поневоле прервутся, пока не наладится переход по льду.

Юноша был далек от полной откровенности с родными, но все-таки в письмах нет-нет, да и проскользнет какая-нибудь «еретическая» мысль, и тогда отец осторожно выпытывает: кто такие его друзья и смотрит ли начальство за частной жизнью студентов?

Письма из дому словно бы звали его назад. Иногда он читал их Раеву; кроме Раева, ему не с кем было поговорить о саратовцах, о прежнем житье. Временами он сильно скучал по дому и начинал считать, сколько месяцев и недель осталось до переходных экзаменов в мае будущего года и до летних вакаций, когда можно будет поехать на родину. Особенно тоскливо тянулось время в зимние праздники. День его именин, именин матери, рождество, Новый год – он» всегда так шумно проходили в «ругу семьи, а здесь воспоминания о них только подчеркивали его одиночество.

Некоторое оживление в застойную атмосферу факультета внес молодой профессор Измаил. Иванович Срезневский, переведенный в начале нового года из Харьковского в Петербургский университет на кафедру славянских наречий. Он читал с живостью и неподдельным воодушевлением, которые невольно увлекали слушателей. Рассказывая, он пользовался богатым запасом собственных наблюдений, вынесенных из путешествия по славянским странам.

Инициативный, преданный своей науке, Срезневский сумел вовлечь студентов в самостоятельную работу над летописями и другими памятниками старины, изучение которых считал необходимым условием основательного знакомства с историей развития отечественного языка. Чернышевский был одним из первых, кто сразу же с необычайным рвением отдался этому делу.

Нарезая из бумаги карточки, он заносил на них в алфавитном порядке, как учил профессор, все слова, встречающиеся в летописи Нестора. В такой кропотливой механической работе проходили у него целые месяцы. Случалось, что он просиживал над заполнением этих карточек по восьми, по десяти, иногда даже по двенадцати часов в сутки.

Трудно себе представить что-нибудь более несовместимое, чем живая, пытливая мысль молодого Чернышевского и мертвое буквоедство, о котором так насмешливо отзывался он сам спустя двадцать пять лет.

«И я в твои годы, – писал Чернышевский сыну в 1877 году, – был настолько наивен, что копался в каком-то шафариковском[7] мелкословии… Переписывал какую-то пустяковщину из каких-то харатейных драгоценностей Румянцевского музеума. Так велика была моя славянская ученость, что печатных книг уже недоставало для ее насыщения, и дошло дело до пожирания пергамента… Вообрази, в нем (в словаре. – *Н. Б.*) были перечислены все места летописи, в которых попадается слово «идти», или слово «ехать», или слово «земля», – можно верить такой невообразимой глупости? Так этого еще мало, друг; было там еще и не то: там были перечислены все места, где употреблено слово «ты», слово «я» и даже – о, ужас! – слово «и». Л слово «и» попадается почти на всякой строке!.. и пошел воин, и пришел воин, и звали его Иван, и пришел другой воин, и звали его Павел, и пришли Степан и Петр и Сидор и… и… и…

И все эти «и» были у меня собраны и перечислены с такою старательностью, как жемчужины по ореху величиною заботливо нанизываются на нитку, чтобы не затерялась ни одна из таких драгоценных редкостей.

Это была славянская филология».

По странной иронии судьбы, «партизан социалистов и коммунистов» (как называл себя впоследствии в дневнике 1848 года Чернышевский) должен был убивать время на «шафариковское мелкословие».

Секрет самой возможности подобного совмещения заключался, с одной стороны, в том, что узкий и специальный предмет Срезневского был все-таки связан в глазах молодого студента с самостоятельною деятельностью. С другой стороны, не только при первом знакомстве с Срезневским в 1847 году, но даже и несколькими годами позже Чернышевский еще не мог с уверенностью сказать, что его будущее связано с литературой, с публицистикой, с «Современником». Житейская необходимость толкала его на путь чисто научной деятельности.

Чернышевский предполагал получить по окончании

университета ученую степень, а в таком случае он должен был заранее наметить профессора, который выдвинул бы его и оставил потом при университете. А тут как раз Срезневский сразу оценил методичность и добросовестнейшую внимательность Чернышевского в работе. Навыки, полученные последним еще в Саратове от Саблукова, сказались теперь. Заслуженное поощрение удваивало энергию Чернышевского. Вот почему он мог так долго и рачительно заниматься самой черной работой по филологии.

Однако будь Срезневский только сухим ученый, вряд ли удалось бы ему увлечь Чернышевского в дебри «мелкословия». Живой и восприимчивый ум Измаила Ивановича, самостоятельность его мысли и беззаветная преданность науке импонировали юноше.

Срезневский не считал филологию основою основ, а рассматривал ее как вспомогательную науку, на которую опираются история, психология и т. п. Но вместе с тем он «не понимал дарования, если оно не погубило нескольких лет над составлением лексикона или разбором пары строк халдейских слов».

Может быть, судьба его собственного незаурядного дарования, замкнутого в слишком узкие рамки, прошедшего сложный путь, вызвала у него пренебрежительное отношение ко всему, что давалось без видимых усилий и напряженного труда.

Строгость Срезневского как экзаменатора скоро возбудила резкое недовольство им, которое студенты едва не перенесли и на Чернышевского, охотно выполнявшего учебные поручения профессора и намеревавшегося подготовить ему сочинение на медаль.

Приближались переходные экзамены. Чернышевскому и хотелось попасть поскорее в родной Саратов, и уже жаль было разлучаться с товарищами, с книгами, покидать Петербург, с которым о» успел свыкнуться. Настроение было такое, что хоть и не ехать… Однако он боялся оскорбить этим отца и мать. После долгих раздумий Чернышевский решил положиться на их волю и желание и только твердил им в письмах о больших расходах, связанных с возможностью свидеться лишь на короткое время. Родители все же настойчиво звали его на вакации в Саратов.

Экзамены прошли превосходно. Чернышевский получил полные баллы по всем предметам. Перед окончанием экзаменов он стал собираться в дорогу.

Под вечер 7 июня Чернышевский выехал в дилижансе «четвертого заведения» в Москву. Там он прожил трое суток, поджидая денег из дому, подыскивая попутчика и выправляя подорожную. Попутчиком оказался чиновник, отправлявшийся по

казенной надобности в своем экипаже. Путь их лежал через Рязань и Тамбов. В двадцатых числах июня Чернышевский приехал в Саратов.

IV. Дружба и первое чувство

Второй год пребывания Чернышевского в университете во многом был сходен с первым. Но были и перемены в его быту по возвращении из Саратова: он отделился от Раева. Тот, окончив юридический факультет, получил по протекции место младшего помощника столоначальника и начал медленное, трудное восхождение по ступеням чиновничьей лестницы. Пути их расходились.

Чернышевский нашел урок, стал зарабатывать. Он уже мог теперь мечтать, что будет содержать Сашу Пыпина, когда тот поступит в Петербургский университет. Забот и дел прибавилось; урок, кропотливые занятия славянской филологией отнимали у него немало времени, но душевное состояние было гораздо спокойнее: он перестал думать о том, что обременяет родных. Денежные посылки из Саратова приходили теперь реже, и это радовало Чернышевского.

Убеждение его в том, что университет сам по себе не принесет ему большой пользы, окончательно укрепилось. Некоторые лекции он изредка посещал уже не ради самих лекций, а для того, чтобы профессора присмотрелись к нему и не придирались потом на экзаменах. Зато целыми днями просиживал над книгами в Публичной библиотеке и в Румянцевском музеуме.

Новых знакомств почти не завязывалось. По-прежнему Чернышевский встречался чаще всего с Михайловым и Лободовским. Это о них он писал родным: «Некоторые из моих приятелей подвизаются на литературном поприще, на котором скоро, может быть, явлюсь и я (впрочем, это будет зависеть от обстоятельств)».

Первое упоминание о литературных проектах и планах носит еще очень неопределенный характер, но таит уже намек, что известную роль играл тут пример ближайших друзей.

Впрочем, общение с Михайловым вскоре поневоле прервалось, так как, оставшись без средств к существованию, тот в начале 1848 года уехал в Нижний служить писцом в Соляном управлении.

Расположение же к Лободовскому крепло с каждым днем. Несмотря на свою замкнутость и скрытность, молодой Чернышевский легко увлекался людьми. Этому очень способствовала склонность его находить хорошее в каждом человеке, та доверчивость, которая свойственна бесхитростным натурам, тайная восторженность еще ни разу не обманувшейся

души, юношеская жажда любви и дружбы.

В жизни юноши важен каждый час. Перед ним открываются новые миры. Он перерабатывает в себе разнородные влияния, выходя на путь самостоятельного мышления. Он особенно восприимчив, и неудивительно, что иногда какая-нибудь встреча с новым лицом может надолго предопределить дальнейшее направление его развития.

Юноша не успел накопить знаний, жизненный опыт его невелик и еще не взвешен им самим. Но он инстинктивно тянется к тому, что совпадает в чем-то главном с его наклонностями и понятиями, а они, в свою очередь, изменяются, то отступая перед новыми, то снова вдруг возникая на новой основе и в ином качестве. Его пристрастия могут быстро меняться. Он не успевает свыкнуться со своими взглядами, как жизнь заставляет его пересматривать их, иногда отрекаться и снова искать и искать, пока он не приблизится к более или менее последовательному мировоззрению. В этих колебаниях, переломах, даже в переходах от одной крайности к другой есть своя закономерность, порою, правда, трудно уловимая и не сразу понятная.

Для Чернышевского годы университетского учения, когда изменились все условия его жизни, когда он очутился в обстановке, совершенно не похожей на прежнюю, были очень важным этапом.

Чернышевский меньше, чем кто-либо другой, способен был быстро подчиняться разнородным влияниям, в нем была большая внутренняя цельность и собранность, он умел избирать себе друзей и учителей; осознав цель, он обычно уверенно и упорно шел к ней.

Но прежде чем определились достаточно четко его интересы и взгляды, он тоже должен был пройти полосу юношеских исканий, увлечений окружающими, на которые сам позднее смотрел с улыбкой. Сравнительно краток был этот период его юности, потому что духовное развитие Чернышевского шло гигантскими шагами. Он быстро оставлял позади себя людей, на которых вчера еще смотрел снизу вверх.

Легко понять, что значило для Чернышевского тесное сближение с Лободовским, у которого был уже большой жизненный опыт. После исключения из семинарии Лободовский скитался по России, некоторое время учился в духовной академии, потом служил, затем снова бродяжничал и вот, наконец, очутился в Петербурге, в университете.

Он был разносторонен, умен, начитан. Он знал философию, историю, литературу, языки, помнил наизусть много стихотворений Лермонтова, Пушкина. Когда бывал в настроении,

декламировал их или изображал в лицах смешные сцены из Гоголя. Он и сам писал стихи, в которых слышался, впрочем, голос Кольцова. У него были незаурядные литературные способности. Вскоре после своего прихода в Петербург Лободовский описал свои дорожные впечатления в очерках, которые безуспешно пытался напечатать.

В пору дружбы с Чернышевским он работал над стихотворным переводом «Коринфской невесты» Гёте и мечтал перевести «Фауста». Но удачи ему все как-то не было. Осознавая разрыв между своими способностями и своим положением, Лободовский стал проявлять нетерпение, требовательность к окружающим, легко раздражался. Ему наскучили уроки и спешные переводы ради грошовых заработков. Он предпочитал бедствовать в бездействии, громко жалуясь на судьбу.

Неудачи, усталость от скитаний делали его характер все более капризным. Утратив упорство, он незаметно для себя привыкал сваливать все на обстоятельства, объяснять свои срывы стечением непреодолимых препятствий. Ему нужен был друг, который верил бы в него, успокаивая этим уязвленную его гордость, проникался бы сочувствием к его неосуществленным замыслам и планам. В университете он и нашел такого друга в лице Чернышевского. Последнему характер Лободовского раскрылся не сразу. Чернышевский долго был убежден, что Лободовский – великий человек в настоящем смысле этого слова, какая-то высшая натура с сильной и одновременно нежной душой. Только иногда, словно бы предчувствуя неизбежность разочарования в друге, Чернышевский как бы заранее оправдывал свое преувеличенно-восторженное отношение к нему: «Я всегда принимаю людей с первого раза слишком к душе и ставлю их слишком высоко, а потом приходится их сводить с пьедестала, на который сам возводил их».

Когда Лободовский рассказывал, как его изгнали из семинарии за дерзкие выходки на уроках, то Чернышевский невольно вспоминал о своем саратовском друге Левицком.

В семинарии Лободовский всегда и по воем предметам шел первым. Товарищи любили его за находчивость, за постоянную помощь, которую он оказывал им в приготовлении уроков. Наставникам Лободовский вечно надоедал возражениями, указаниями на противоречия; даже самому ректору, читавшему богословие, приходилось из-за этого «сорванца-занозы» тщательно готовиться к лекциям. Наконец какая-то дерзкая выходка Лободовского переполнила чашу терпения начальства, и его исключили из семинарии.

Чем больше узнавал Николай Гаврилович Лободовского, тем

сильнее привязывался к нему. Как интересно прошлое Василия Петровича, полное тревог и приключений! Как благородно стремление вчерашнего бурсака выйти в светское звание, чтобы посвятить себя служению плодотворной идее! Сколько препятствий встретил он и, однако, не убоялся, не дрогнул, не внял предупреждениям своего отца, что «там, на пути светском», может быть, ждут его «токмо одни испытания и тернии». Чего стоит длительное тысячеверстное путешествие его пешком до столицы – ночевки в лесу, столкновения со становыми, необычные встречи, опасности, происшествия! Он видел в лицо жизнь бедных и жизнь богачей. Судьба то бросала его в помещичий дом репетитором, то в канцелярию писцом, то снова выводила его на дорогу бездомных скитаний. Как увлекательно рассказывал он о своем заступничестве за крестьянку, у которой на его глазах уводили со двора корову за недоимки, как живо обрисовывал характер попутчика-бродяги, отставного солдата Родиона Кулика, с какою ненавистью говорил Лободовский о высокопоставленных господах, о жирных лабазниках, о крупных и мелких казнокрадах, сосущих крестьянскую кровь!

Что мог противопоставить Чернышевский такому богатству событий? Мирное житье в родительском доме, незаметный, но на деле неусыпный надзор и заботы о нем со стороны старших, причудливые рассказы бабушки о глубокой старине, приезд в Петербург в сопровождении матушки и, наконец, водворение в квартире под опеку старшего родственника.

Как неуловимо и тонко с самого детства и по сей день обволакивали его родные, предоставляя ему некоторую свободу и вместе с тем стараясь быть в курсе всех его дел, чтобы в любую минуту предупредить первый же неверный его шаг!

Вот и теперь: не успел он отделиться от Раева, не успел вкусить сладость полной самостоятельности, как Саратов уже принял свои меры, в результате которых Николай Гаврилович незаметно должен был очутиться в еще более надежном родственном плену

Как раз в это время его двоюродная сестра Любовь Котляревская (Любинька) вышла замуж за саратовского чиновника Терсинского. Все клонилось к тому, что молодожены переедут в Петербург и поселятся в одной квартире е Николаем Гавриловичем. Терсинскому никогда не удалось бы добиться перевода в столицу без помощи сильной руки. Но у Гавриила Ивановича имелись на этот случай влиятельные знакомства: земляк его и товарищ по пензенской семинарии Репинский, достигший вершины бюрократического Олимпа, и саратовец Колумбов – прокурор гражданской палаты в Москве – помогли

ему в этом деле.

Николай Гаврилович уже готовился к приезду родственников, задерживавшихся то из-за болезни Любиньки, то из-за распространения холеры, приближавшейся к Петербургу.

Наконец в мае он получил известие, что Терсинские выехали, но теперь ему было вовсе не до них.

Пришла «пора надежд к грусти нежной» – Чернышевский влюбился.

История первой любви Чернышевского связана с браком его друга Лободовского.

В начале 1848 года Лободовский познакомился с дочерью станционного смотрителя и вскоре сделал ей предложение. Но, совершив этот шаг, он тотчас же стал предаваться сомнениям: сумеет ли он полюбить свою будущую жену? Лободовский откровенно расценивал такой брак, как неравный для себя. Его невеста представлялась ему ограниченной и неразвитой девушкой, перевоспитать и образовать которую едва ли удастся. Но вместе с тем он считал себя обязанным жениться на ней. Пусть сам он не будет счастлив с ней, но он приложит все силы, чтобы сделать счастливой ее. Брак явится для него побуждением к деятельности, заставит его покончить е беспечностью, заставит думать о деньгах, о службе, об ученой степени. «Но я не буду, кажется, в состоянии любить ее и разделять ее чувства», – твердил Лободовский много раз Чернышевскому, которого сделал своим конфидентом с самого начала этой истории.

Вскоре состоялась свадьба. Чернышевский был шафером. Надолго запечатлелась в памяти Чернышевского сцена благословения невесты, глубоко растрогавшая его.

Направились в церковь. Коляска, в которой поместился Чернышевский с отцом невесты, тронулась последней. На улицах повсюду еще видны были следы небывалой бури, пронесшейся над Петербургом за несколько дней до того. Им попадались навстречу опрокинутые заборы, опустошенные и обезображенные сады. Они проезжали мимо обломанных и вывороченных деревьев, снесенных будок, столбов, крыш, сараев и разрушенных карнизов домов. Бурей был поврежден Елагин мост и разорван Воскресенский, у которого затонуло девять плашкоутов; она свалила сотни вековых деревьев в парках, на островах, снесла множество крыш, и столица казалась теперь притихшей и еще не опомнившейся.

Свадьбу свою Лободовский описал много лет спустя в «Бытовых очерках», где Чернышевский изображен под фамилией Крушедолин. Крушедолин во время венчания «так был серьезно и безучастно ко всему, происходившему тут, сосредоточен в самом

себе, что, наверное, повергал строгому и всестороннему анализу только что прочитанные им последние сочинения, вышедшие в Англии…»

Однако Лободовский ошибся: Крушедолин думал вовсе не об английских книгах.

Впервые увидев Надежду Егоровну, Чернышевский нашел ее совсем не такою, как ожидал найти по отзывам Василия Петровича. Она показалась Чернышевскому красавицей, исполненной благородства и внутренней грации. «Разве такая девушка может быть ограниченной, напротив, во всем ее поведении виден природный ум», – говорил он себе.

«Когда венчали, я все смотрел на них обоих, и она мне казалась лучше и лучше. Проходя мимо меня, она несколько раз смотрела на меня, и каждый взгляд этот необыкновенно радовал – или как это сказать? – меня, – так чувствовал не в голове, а в сердце какую-то полноту, чрезвычайно приятную: мне казалось хорошо, если я буду пользоваться расположением Надежды Егоровны».

Он вернулся домой с сердцем, полным тихой радости, и образ Надежды Егоровны неотступно стоял перед его мысленным взором. Сначала, впрочем, он не мог даже определить, что это за чувство пробудилось в нем. Он стал размышлять, анализировать, взвешивать: «Может быть, это льстит мне мое самолюбие, что молоденькая, милая девушка будет расположена ко мне не так, как, например, любит меня сестра, ведь это будет не по привычке с ее стороны, а значит, будет то, что во мне действительно есть хорошее сердце, что я не эгоист, ничего не внушающий. И кроме того, может быть, я так дик, что для меня имеет особую прелесть необыкновенности быть хорошу, быть откровенну (быть любиму, как брат) с молоденькою, милою, хорошенькою, может быть, если угодно, красавицею; я не знаю, может быть…»

Когда Чернышевский смотрел на себя как бы со стороны, он называя себя росомахой, неповоротливым, диким, нерешительным. И в этом была известная доля правды, если говорить о чисто внешнем поведении. Где ему было набраться той светскости, которая позволяет держаться в любом обществе непринужденно и свободно?

Он так долго «воспитывался в пеленках», что теперь, освободившись от них, не умел ступить шагу без того, чтобы не проверять себя, не следить за собою, не оглядываться на каждый свой поступок. Эта напряженность еще более усиливалась в присутствии женщин; впрочем, он почти и не бывал в их обществе, между тем приближалось время, когда должна была возникнуть у него потребность любви. Призрак ее, как всегда в

таких случаях возникающий в неопределенных очертаниях, уже не раз являлся ему, волновал его. Этот трудный переход к зрелости омрачал его представления о любви, отличавшиеся редкой чистотой.

Итак, хоть простое общение с нею, может быть, разобьет лед, которым скован его необычный характер.

Его мысли о ней были святы, свободны от тайных намерений, но он думал о ней беспрестанно и был счастлив от одного сознания, что чувствует в себе «что-то похожее на понимание сладости любить».

Через день после свадьбы Лободовского Чернышевский начал вести свой дневник, писавшийся стенографической скорописью, по системе, придуманной им самим еще в семинарии. Дневник открывается описанием свадьбы и переживаний, вызванных встречей с Надеждой Егоровной.

Он пытается определить и объяснить свое отношение к Лободовским.

Почему мысль о них господствует над всеми остальными «и сердце постоянно как-то сжато от ожидания»? С ним никогда не случалось ничего похожего. Это не каприз свободного воображения. Он занят делами. Переходные экзамены в самом разгаре. Он читает записи лекции по древней истории. Появились первые, еще неясные литературные замыслы. Кроме того, он готовится к большой работе у Срезневского.

Но что бы ни делал тогда Чернышевский и чем бы он ни был занят, мысли его, как признавался он самому себе (признавался без преувеличений и даже с какой-то тревогой), постоянно возвращались к Лободовским. Его волновало все: как сложатся их отношения, будет ли правильно понят мужем характер Надежды Егоровны, на какие деньги будут они существовать, сумеет ли достаточно зарабатывать Василий Петрович?

Чернышевский вникал в каждую мелочь их жизни, сразу же принявшей дурной оборот. Он горевал, слушая жалобы Лободовского, мучился при мысли, что такой выдающийся человек, как Василий Петрович, должен страдать от окружающей пошлости и обыденщины, от дрязг и родственных пересудов. Родители Надежды Егоровны подозревают, что зять их таскается по трактирам, следят за ним, открыто порицают за дружбу с мальчишкой Чернышевским.

Николай Гаврилович и прежде, видя нужду своего друга, иногда выручал его. Теперь же он решил ограничить себя самым жестким минимумом расходов, а все остающиеся деньги отдавать Василию Петровичу. Он готов был как угодно бедствовать, лишь бы хоть немного облегчить положение Лободовских. Всякий раз,

как получались из дому деньги, он спешил к Лободовским и отдавал Василию Петровичу почти все, оставляя себе лишь три-четыре рубля на самое необходимое.

Ему казалось, что материальный достаток изменил бы отношение Лободовского к жене. Чернышевский часто размышлял, где бы достать денег, чтобы Лободовские зажили, наконец, безбедно.

Встречи друзей были так часты, что иногда они видались по нескольку раз в течение дня. Они научились понимать друг друга с полуслова и всегда чувствовали потребность делиться мыслями о людях, о книгах, о личной жизни. Но подобно тому, как родные жены Лободовского неприязненно относились к Чернышевскому, так сожители последнего, Терсинские, не очень-то дружелюбно встречали Василия Петровича. Это раздражало обоих, и если в разговоре случалось им касаться обывателей, коптящих небеса и мешающих жить другим, то примеры брались обычно каждым из его родственной сферы.

Совместная жизнь с Терсинскими угнетала Чернышевского. Он чувствовал себя стесненным, чужим в их обществе. Еще осенью 1847 года, когда Чернышевский был в Саратове на каникулах, он уловил оттенок какой-то сладкой пошлости в отношениях молодоженов. Они ласкались, любезничали, ворковали, не обращая внимания на окружающих. Теперь их показные нежности и восторги еще более раздражали Чернышевского. В памяти его всплывала картина из второй главы «Мертвых душ»: «И весьма часто, сидя на диване, вдруг совершенно неизвестно из каких причин один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить соломенную сигарку».

«Маниловы, – решил Чернышевский, – настоящие Маниловы с их пустым и праздным воображением».

Самодовольный сенатский чиновник из вчерашних семинаристов, недавно окончивший духовную академию, был ханжою и отъявленным рутинером. Часы домашнего досуга он проводил или в болтовне с женою о вздоре, или в рассматривании журнальных картинок, или в чтении «слова божия». Он любил поучать, читать наставления с цитатами из Ветхого и Нового завета. Слово «субординация» было для него священным словом; он молился на чины и отличия. Заветной мечтой его было сколотить копейку на черный день, свой покой и карьеру он ставил выше всего на свете. Для него не существовало иных мнений, кроме тех, что он усвоил на школьной скамье и по

службе. В любом споре этот ограниченный педант считал себя неукоснительно правым. К тому же Терсинский был безобразно скуп и расчетлив. «Всех не накормишь», – вздыхая, говорил он по уходе несолоно хлебавших гостей.

Упорно и ревностно проводимая экономия на свечах бесила Чернышевского. Если с наступлением темноты он хотел зажечь свечу, его осторожно и вежливо останавливали: «Что это, ты никак уже хочешь зажигать?» По их понятиям, непременно следовало, по крайней мере, минут двадцать посидеть без огня до наступления кромешной тьмы. Считалось также, что вечерами всем надо сидеть в общей комнате, чтобы обходиться одной свечой. И Чернышевский работал, писал и читал под их маниловские разговоры.

Он с самого начала не сумел определить отношения с Терсинскими, обособиться от них, поставить себя с. ними должным образом. Он сразу же во многом стеснил себя своей излишней деликатностью, неумением дать отпор без явного вызова с противной стороны и потом уже не решался разорвать эти узы, предпочитая размышлять о том, как бы незаметно выпутаться из них.

В быту этому великому характеру нужна была какая-то степень накала, чтобы действовать затем с холодной непреклонностью. А иначе он считал за лучшее отмалчиваться, таить про себя недовольство, уклоняться от объяснений с теми, кто не понимал его.

Много раз это скрытое раздражение против Терсинских, о котором они, может быть, и не подозревали, вот-вот готово было прорваться наружу; он жил тогда в напряженном ожидании вызова и схватки, но потом опять всё как-то незаметно рассасывалось. Ему казалось, что они игнорируют его, пренебрегают им. Повелительный тон, каким Терсинский однажды сказал ему: «Принесите свечу!», взволновал его и едва не толкнул на резкое объяснение. Но он молча выполнил приказание, не успев собраться с духом, чтоб отчитать Терсинского за неделикатность. Внутренняя пустота Терсинских, отсутствие у них духовных интересов, мелочность их суждений, пересуды и сплетни, снисходительность к себе и строгость к другим, постоянные прения о пустяках – все вызывало у Чернышевского отвращение. Но сначала он даже стыдился сознаться себе в этом, потому что еще с молоком матери ему передалось чувство уважения к понятиям о родстве. Временами ему было больно за сестру, и он жалел ее, когда видел, что она смутно сознает свое полное подчинение мужу.

Тесное и долгое соприкосновение с этим душным мирком

оттачивало его ненависть к беспробудному обывательскому эгоизму. Оно раскрыло ему глаза не только на личную ограниченность Терсинских, но и на те устои и условия, которые порождали ее и, в свою очередь, питались и усиливались жизнью несметного числа терсинских. Оно пробудило в нем возмущение авторитетами, которым здесь поклонялись, лживой моралью, за которой крылось поругание человеческого достоинства, оно впервые подвело его к теме, которую он потом, через полтора десятка лет, находясь в заключении, воплотил в романе «Что делать?». Эта тема рождалась тут, в разговорах с ними, в спорах с Иваном Григорьевичем Терсинским, когда Чернышевский горячо доказывал свойственнику, что женщина в современных условиях является жертвой семейного деспотизма, рабыней мужа, отторгнутой от общественной жизни. В дневнике Чернышевского этого периода есть запись: «Он (Терсинский) не понимает этот угнетения, которое нельзя показать пальцем перед судом, но которое ясно в каждом слове и движении сочетанных браком».

Эти строки прямо перекликаются с гневными тирадами автора «Что делать?» по поводу мечтаний Сторешникова о том, как он будет «обладать» Верочкою: «О грязь! О грязь! – «обладать», – кто смеет обладать человеком? Обладают халатом, туфлями. – Пустяки: почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-либо из вас, наши сестры; опять пустяки: какие вы нам сестры? – вы наши лакейки!..»

Он видел, что ложь до такой степени проникла во всю их жизнь, так слилась даже с лучшими их инстинктами, что они уже не могли освободиться от нее.

«Эти люди в сущности никого не любят, кроме нескольких, к которым бог знает почему привяжутся – потому что это брат и сестра, – да еще непонятная любовь, которая заставляет одну предполагать в женихе, а другого в невесте половину своей души. Однако он мне кажется довольно порядочным эгоистом и любит ее менее, чем она его, хотя, может быть, ее любовь и проистекает от безделья и оттого, что он надел на нее чепец и вывел из-под власти маменьки и тетеньки… Нет, это не истинная любовь в моем смысле…»

Тут мы находимся у самого, можно сказать, истока идей, которые позднее с захватывающей силой убеждения были развиты в романе «Что делать?», ставшем настольной книгой нескольких поколений революционеров.

Не только в «женском вопросе» расходился со своим сожителем Чернышевский, между ними все порождало споры. Хотя он и остерегался затевать их, считая это бесполезной тратой времени, однако порою все-таки не выдерживал и пускался в

прения с Иваном Григорьевичем, который в его глазах осквернял все, что есть возвышенного в жизни.

На каждое явление ее они смотрели по-разному. Шла ли речь о семье, о государстве, о революции во Франции, о Гоголе, Лермонтове, Байроне или, наконец, о роли чиновничьей касты в России – всегда точки зрения их резко расходились.

Чернышевскому порядки крепостнической России представлялись диким пережитком. Терсинский же, как истый бюрократ, не выносил никаких мнений, задевавших основы того строя, верным слугой которого он считал себя.

– Я не люблю, – сказал он как-то за ужином Чернышевскому, – когда при мне непочтительно говорят о высших правительственных лицах. От этого разрушается издревле установленный государственный порядок, и дело доходит до того, что творится теперь во Франции.

– По-вашему, хоть палка, да начальник… Начальники слишком много на себя берут, позабыв, что не подчиненные для них, а они для подчиненных. Не правда существует для государства, а оно для правды…

И, оборвав разговор, Чернышевский принялся раскладывать по алфавиту карточки со словами, выписанными из летописи Нестора.

На следующий день совершенно незаметно для обоих этот спор возобновился, как только Иван Григорьевич недоброжелательно заговорил об одном из саратовских чиновников.

– Он ничем не хуже других, – отозвался Чернышевский. – Большая часть занимающих места не имеет ни особых дарований, ни познаний, делающих их достойными занимать эти места. Большинство чиновников и правителей легко можно заменить: у нас не человек по уму достоин занимать место, а получил место, так оно и дает тебе ум или репутацию на ум.

Этим он вывел из терпения Терсинского, и тот раздраженно сказал:

– Однако этот спор ни к чему не поведет.

Через неделю противники снова схватились, заговорив о великих писателях.

– Коли Байрон пьяница, – сказал Терсинский, – так негодяй, как и всякий пьяница; всякий великий писатель – фигляр, между тем как правитель не то. («Правитель» был той печкой, от которой Терсинский всегда начинал танцевать.)

– Нет, это те, – горячо возразил Чернышевский, – о которых говорится: вы есте соль земли, это рука, двигающая рычагом… Если есть в них слабости, то не от тех причин, от которых

обыкновенно бывают у нас: Байрон пил не потому, почему пьет другой человек.

– Вздор, – заявил Терсинский, – все одно, издали они кажутся велики, вблизи все равно, что мы. Они совершают непростительные ошибки, сея в народе мятежи и раздоры.

До глубины души оскорбило Чернышевского это мелкое, неумное суждение о великих писателях. Он не на шутку разволновался и вспомнил, как однажды в детстве расплакался, вычитав где-то обвинение неблагодарному потомству, которое остается равнодушным к заслугам и подвигам богатырей, так много сделавших для общего блага.

«Теперь это же самое волнует меня: они наши спасители, эти писатели, как Лермонтов и Гоголь, а мы называем их фиглярами – жалкая, оскорбительная неблагодарность…»[8]

С Терсинским он спорил еще весьма осторожно, не развивая перед ним своих заветных мыслей. Иное дело – в среде университетских товарищей: там он чувствовал себя гораздо проще, говорил свободно и с большим жаром о революционных идеях.

Смутные вначале и отвлеченные стремления его к истине, добру и справедливости «вообще», теперь, по мере того как он все более «утверждался в правилах социалистов», начинали постепенно обретать живые очертания, облекаться в кровь и плоть, хотя с них еще не окончательно спала пелена религиозных предрассудков. Он еще вериг в Христа, преклоняется перед ним, но его религиозное чувство уже дало в это время заметную трещину.

Через несколько дней после спора с Терсинским Чернышевский сделал в дневнике первый «обзор своему положению за 2 ½ недели». Происходившая в нем душевная ломка была так интенсивна, что возникала необходимость подводить итоги за кратчайшие промежутки времени и намечать перспективы. В конце первого обзора есть беглые признания Чернышевского о его тогдашних взглядах на религию и политику. Он признавался, что в области религии держится старого скорее по привычке и что оно (старое) как-то мало клеится с его другими понятиями. Словно оправдываясь перед уходящими иллюзиями, он пишет: «Блеснула мысль: «без религии нет общества», говорит Платон и мы за ним, – да ведь у него самого не было положительной религии, поэтому он под этим словом, конечно, разумел совокупность нравственных убеждений совести, естественную религию, а не положительную».

Семейный и семинарский груз еще тянул Чернышевского назад, но уже не мог остановить поступательного движения

мысли, перед которой открывались широчайшие горизонты!

Сила привычки еще удерживала его от окончательного расставания с тлеющей верой. Иногда он предумышленно уклонялся от холодного анализа, ибо чувствовал, что конец веры близок.

«Сердце отстает, – говорит Герцен, – потому, что любит, и когда ум приговаривает и казнит – оно еще прощает».

На целых два года растянулся этот перелом, пока, наконец, чтение философов-материалистов не помогло Чернышевскому раз и навсегда освободиться от религиозных представлений и покончить с верой.

Рубежом окончательного перехода Чернышевского к материалистической философии был 1850 год. Предшествовавшие два года были подготовкой к этому переходу, этапом, на котором складывались общественно-политические убеждения будущего великого революционного демократа и просветителя.

«Другие понятия», которые тогда так плохо клеились с его отживающими религиозными представлениями, касались именно социалистических учении, постепенно овладевавших его сознанием.

От беглого чтения текущей прессы он переходит постепенно к изучению капитальных исторических работ и социалистической литературы, ища в них ответа на вставшие перед ним вопросы.

V. На рубеже новой жизни

Чернышевский был богато одарен тем, что мы называем теперь чувством нового. Люди, лишенные его, обычно быстро теряют способность к развитию. Питаясь затверженными истинами, слепо следуя устарелым авторитетам, они отвергают все, что звучит непривычно для их слуха и не укладывается в рамки установившегося кругозора.

Чувство нового не позволяло Чернышевскому довольствоваться только достигнутым, оно постоянно вело его вперед и вперед…

Оно помогало ему, особенно в юности, одолевать преграды, находить верное решение, даже если он и не вполне был подготовлен к нему.

На примере восприятия Чернышевским революционных событий 1848 года можно видеть, что значило для него это чувство. Давно ли он покинул отчий дом, где мирно и тихо протекли его детские и отроческие годы? Отец поразился бы теперь его умонастроению.

Он не устает спорить с Терсинским, которого начал уже в глаза называть отсталым; в университете, в беседах с товарищами он рьяно защищает социалистов.

С первых же дней, как Чернышевский узнал, что Париж стал огромным полем сражения, симпатии его были всецело на стороне тех, кто поднялся на защиту своих прав с оружием в руках.

Ему грустно было, что горячо любимый им отец, которого он уподоблял по благородству характера Олверти из «Тома Джонса» Фильдинга, не разделил бы теперь его мнений о революционных событиях. Ведь и отец тоже именем бога учит униженных и притесненных подставлять под удар свои ланиты и стремится связать им руки каким-то нравственным долгом. В эти дни Гавриил Иванович писал сыну: «Пусть холера идет туда, где не жалеют жизни, режутся».

Но сыну хотелось все-таки объяснить заблуждения отца только его незнанием истинного смысла того, что происходит. Ему хотелось думать, что, может быть, независимо от укоренившихся предрассудков, просто по самому существу своей натуры, по склонности быть справедливым, отец осознал бы, как подло устроено общество: «…Человек, чуждый партий и даже не знающий их, – что было бы, если по его мнению, конечно, глубоко беспристрастному, устраивать дела? Мог ли бы он отказывать в droit du travail (праве на труд. – *Н. Б.*), над которым так

безжалостно смеются и которое истинная причина переворотов (то-есть пауперизма)?»

Но могло ли быть беспристрастным мнение отца?

На летние вакации 1848 года Чернышевский домой не поехал. Он должен был остаться в Петербурге. Его удерживали дружба, занятия филологией (он готовил словарь летописи Нестора). А главное – хотелось отсрочить свидание с родными, чтоб не объясняться, не ставить точек над i, не поднимать волновавших его вопросов о религии, о ненавистных крепостнических порядках России, о революции на Западе.

Некоторые беседы с Лободовским, записанные в дневнике Чернышевского, показывают, что мысли обоих уже в то время были заняты вопросом о возможности близкой революции в России.

Как-то раз пошел Чернышевский проводить своего друга. Лободовский дорогою стал горячо говорить о том, что можно поднять и в России революцию и что он часто и много думает об этом.

– Элементы, – сказал Лободовский, – есть, ведь подымаются целыми селами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию; только единства нет, да еще – разорить могут, а создать ничего не в состоянии, потому что ничего еще нет.

И потом, помолчав, Василий Петрович признался, что «мысль участвовать в восстании для предводительства у него уже давно».

Продолжая разговор, Лободовский вспомнил о Пугачеве.

– Пугачев – доказательство, но доказательство и того, что скоро бросят, ненадежны, – возразил ему Чернышевский.

– Нет, Николай Гаврилович, они разбивали линейные войска, более, чем они, многочисленные.

Что же удивительного в том, что Чернышевского непреодолимо тянуло к Василию Петровичу? Время их сближения совпало с лучшей порой жизни Лободовского. Потом последовало постепенное умиротворение и отход от юношеского революционного романтизма. Шутка ли сказать – участвовать в восстании для предводительства! Поднять крестьянскую революцию в России 1848 года, возглавить ее, разбивать регулярные войска… Да об этом не снилось тогда и самым решительным головам.

Только со временем для Чернышевского стало ясно, что революционные настроения его друга были весьма непрочны и неустойчивы. Совсем различными путями пошли впоследствии они. Старший пылко и смело начал, но тихо кончил свой век в чине статского советника, а младший, начинавший с виду робко и

нерешительно, сделался великим революционером, человеком железной воли и непоколебимой стойкости.

Лето и начало осени 1848 года прошли в чтении «Мертвых душ», «Бэлы», «Тамани», «Княжны Мери». Впрочем, трудно даже назвать это просто чтением. Чернышевский вдумывался в каждое слово этих произведений, подолгу останавливался на деталях, изучал каждую сцену. Наконец он принялся переписывать лермонтовскую прозу. Большею частью он занимался переписыванием по ночам, когда Терсинские укладывались спать, но иногда и на глазах у них, хотя делал в таких случаях вид, что переписывает словарь летописи Нестора. Ему не хотелось, чтоб они видели, до чего он увлечен Лермонтовым. В эти минуты он должен был оставаться наедине с Печориным.

И Гоголь и Лермонтов входили в его жизнь, как живые люди. Нередко он представлял себе, как волновался бы он при встрече с ними.

Разговоры об этих писателях с Василием Петровичем были всегда особенно задушевны, словно бы речь шла о чем-то понятном по-настоящему только им двоим.

– А ведь «Мертвые души» Гоголя выше «Гамлета», – сказал ему как-то Лободовский. – Вот сказать это Никитенке – разинет рот, а почему разинет, сам не будет знать, – это удивительно.

Воображение Чернышевского так было занято любимыми книгами, что и в окружающей жизни на каждом шагу находил он подтверждение мыслей, вызываемых чтением Гоголя и Лермонтова. Это все более убеждало его, «как в самом деле важны повести и романы для знания и суждения людей».

«Вот ведь, – говорил он себе, – Терсинские решительно для меня были бы непонятны без Гоголя в своих взаимных отношениях».

Размышляя о том, как томительно-скучно бывает ему в обществе двоюродной сестры и зятя, как безучастен стал он к ним, Чернышевский невольно обращается к «Герою нашего времени»: «…Мелькнула мысль, хорошо объясняющая скуку Печорина и вообще скуку людей на высшей ступени по натуре и развитию: следствие развития то, что многое перестает нас занимать, что занимало раньше. Это я испытываю, сравнивая себя с Любинькою и Иваном Григорьевичем…»

Так повседневное, близкое, личное переплеталось с тем, что он черпал из книг. Но, конечно, этим дело вовсе не ограничивалось, иначе Чернышевский не стал бы впоследствии великим критиком.

С пристального изучения Гоголя и Лермонтова началось

развитие и формирование критических способностей Чернышевского. Он учится выделять основную идею произведения, взвешивать соотношение частей с целым, анализировать характеры и поступки героев, разбирать каждую деталь, то-есть учится критическому мастерству. Он читал любимых писателей с жаром и страстью, буквально боготворил их, называл «спасителями», за которых готов был «отдать жизнь и честь».

Каждая заметка двадцатилетнего юноши, касающаяся «Героя нашего времени» и особенно «Мертвых душ», ясно показывает, что в нем уже тогда пробуждалось природное критическое дарование огромной силы. Мало того, что Чернышевский тонко анализирует характеры основных персонажей «Мертвых душ»; мало того, что он схватывает самые, казалось бы, трудно уловимые поэтические частности, – он уже обнаруживает умение обнять общим взглядом всю сложность замысла и построения эпической поэмы Гоголя, отобразившей русскую жизнь в ее разнообразных сферах.

Временами в этих записях прорывается и публицистический пафос будущего революционера-просветителя, рассматривающего литературу как могучую силу, способную при известных исторических условиях оказывать громадное влияние на общественную жизнь.

Его предчувствия относительно своей будущей роли проникнуты настоящей любовью к родине, сознанием величия ее назначения, залог которого он видел тогда прежде всего в деятельности любимых писателей.

«Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, – не знаю, ведь это странно, – мне кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент в умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой. Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельными, которых произведения мне кажутся, может быть, самыми высшими, что произвели последние годы в европейской литературе, доказывают для меня… что только жизнь народа, степень его развития определяет значение поэта для человечества, и если народ еще не достиг мирового, общечеловеческого значения, не будет в нем и писателей, которые должны быть общечеловеческими…[9] Итак, Лермонтов и Гоголь доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее Франция, Германия, Англия, Италия».

Пошел третий год пребывания Чернышевского в университете.

Начало занятий не произвело на него никакого впечатления, Опять все те же примелькавшиеся лица однокурсников. Вихрастый Лыткин, скромный, тихий Славянский, заика Орлов, поражающий своею глупостью Залеман, неряшливый и грубый Герасим Покровский, Корелкин, с которым приходится соперничать в занятиях по славянской филологии у Срезневского, Галлер, Главинский, Воронин…

Те же профессора – педантичный Фрейтаг; дряхлый семидесятилетний Грефе; самодовольно рисующийся Куторга, добродушный Плетнев, никогда не расстающийся с черной тростью, которая досталась ему, как уверяют, на память от Пушкина; велеречивый Никитенко с его манерой усиленно жестикулировать, а при слове «изящное» как-то особенно поднимать вверх правую руку и складывать в кольцо указательный и большой палец. Цитаты из Гегеля, устаревшие положения, общие слова об истине, добре и красоте.

А ведь Никитенко еще один из лучших профессоров. Срезневский и Никитенко. Прочих Чернышевскому решительно не хотелось и слушать. Он стал горячо и убедительно доказывать студентам, что посещать лекции Грефе нет никакой надобности. «Довольно, довольно, господа классические филологи! Есть вещи более важные, более интересные, чем ваши склонения… 1789 год… Новая философия… Франция этих дней…»

Как-то раз Чернышевский, сидя в университетской библиотеке, просматривал энциклопедический словарь Эрша и Грубера. Ему попалась статья о якобинце Эбере, написанная резко осудительно, с нескрываемым пристрастием: «Эбер – только бесчестный демагог, которому грозные дни революции помогли завоевать свое счастье, враг церкви, беспринципный главарь какой-то кучки безумцев, жаждавшей власти».

Странное дело, эти обличения уже не оказывали теперь на Чернышевского никакого действия. В душе его не шевельнулось чувство осуждения кровавых дел. Ему показалось, что он и впрямь становится последователем «красной республики», если угодно – даже террористом. «Не революционист ли я?» – спрашивает он себя, и сам удивляется тому, что образ его мыслей успел претерпеть такие сильные изменения за два года его пребывания в Петербурге Теперь все чаще встает перед ним этот вопрос; по мере того как глубже и глубже впитывает он в себя историю, по-иному начинает воспринимать современность и проникается постепенно горячею верой в будущее.

В истории его влекут к себе суровая и величественная тень

Кромвеля и монументальные фигуры деятелей французского Конвента.

В современности – рыцарски прямодушный Барбес, избранник парижских предместий рабочий Альбер, пылкий Лун Блан, идеям которого юноша Чернышевский особенно сочувствует, потому что Блан – это *первый* из тогдашних его учителей в социалистическом духе.[10] Ведь именно из «Люксембургских бесед» Луи Блана Чернышевский узнал тогда «все эти вещи», то-есть получил представление о сущности новых начал, провозглашенных во Франции.

«Уж не решительно ли я революционист?» – снова спрашивает он себя, проверяя свое впечатление от знаменитого единоборства Прудона с Тьером в июле 1848 года.

Его поразил «необыкновенный жар» прудоновского ответа Тьеру, когда Прудон, как «неукротимый гладиатор», поднявшись вдруг во весь рост, заставил смолкнуть яростные, враждебные голоса, посылавшие его в дом для умалишенных.

Защитник буржуазного правопорядка, Тьер, отвергая перед Собранием финансовый проект безансонского утописта, пытался задеть личную честь своего противника намеками на моральное растление людей, проповедующих уничтожение собственности. И упорный плебей Прудон поднял перчатку, брошенную ему Тьером. «Говорите о финансах, но не говорите о нравственности; я могу принять это за личное оскорбление, я вам уже сказал это в комитете. Если же вы будете продолжать, я… я не вызову вас на дуэль (Тьер улыбнулся), нет, мне мало вашей смерти, – этим ничего не докажешь. Я предложу вам другой бой. Здесь, с этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, факт за фактом, каждый может мне напомнить, если я что-нибудь забуду и пропущу. И потом пусть расскажет свою жизнь мой противник!» (Маркс, характеризуя эту схватку, писал, что: «Рядом с Тьером Прудон казался каким-то допотопным колоссом».)

Взоры всего Собрания были обращены на Тьера, с лица которого исчезла улыбка. Ответа не последовало.

Через несколько дней после того, как Чернышевский прочитал об этом выступлении Прудона, ему пришлось услышать весьма недоброжелательный отзыв о проекте Прудона из уст профессора всеобщей истории Куторги.

Куторга, отклонясь от беседы о начале феодализма, раскритиковал перед студентами предложение Прудона о даровом кредите и вдобавок разбранил автора этого проекта.

Чернышевский, чувствовавший непреодолимое тяготение и симпатию к нововводителям, подрывавшим устои старого порядка, был так живо затронут словами профессора, что решил

даже написать в защиту Прудона[11] письмо и перед началом следующей лекции незаметно положить его на стол профессору. Но оно так и осталось лежать в кармане Чернышевского.

«Уж не становлюсь ли я человеком крайней партии?» – опять и опять спрашивал себя Чернышевский, возмущенный обвинениями, выдвинутыми следственной комиссией во главе с тупоголовым болтуном Одиллоном Барро против таких людей, как Коссндьер, Луи Блан и Ледрю Роллен.

И тут же он убеждал себя: «В сущности, нет ничего странного, что реакционному большинству Собрания люксембургские речи Блана кажутся «великим преступлением»: «…они в ужасе от этого, а мне кажется это самыми обыкновенными теперь речами, выражением мыслей, которые должен предполагать каждый умный человек во Франции у себя и у другого умного человека – что народ выше Собрания, – следовательно, имеет право повелевать им… Они, конечно, не могут удержаться от преследования этих идей, но эти идеи велики и в них благо человечества и грядущее его…»

«Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода – и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором девять десятых народа – рабы и пролетарии; не в том дело – будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого. И какое подлое лицемерство! «Мы не требуем приговора над ними», вы не суд! Vous ne prejugez rien! (Вы не предрешаете ничего!) Что за низость, – играют словами и накидывают маску! Если когда я был убежден а справедливости чьего дела, так. эта Ледрю Роллена и Луи Блана. Великие люди! Особенно я люблю Луи Блана, это человек духа, это великий человек!

А это сильное разочарование – видеть, что так преследуют этих людей те, которые ничто перед ними, и, может быть, несколько подобных вещей, как решение Национального Собрания о Луи Блане и Коссидьере, заставят меня оставить мое убеждение, что не те теперь времена, как в 1793 году, когда казнили все всех, и что настали времена новые и лучшие, где уважают убеждения в противнике, где не думают, что законопреступно всё высказать, всякое сильное убеждение, всякую новую (то-есть новую только для господ, которые не хотят видеть ее во всей истории) мысль. «На эшафот! На эшафот! туда его, – он говорит, что он сын божий! по закону нашему должен есть умрети!» Да, великую истину говорят Ледрю Роллен и Луи

Блан – не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты, а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились на всех! О, боже, дан победу истине! Да победит она!»

Хотя душа и мысль Чернышевского жили уже далеко за пределами университетских стен, он все же должен был каждодневно посещать лекции, записывать их, подавать профессорам свои работы, ждать их оценки, вникать во все интересы своего курса, вплоть до мелочей.

Между тем отношения его с профессорами классических языков – с Фрейтагом и Грефе, особенно с первым, обострились и, вот-вот готовы были обратиться в ссору. Она назревала постепенно и Чернышевский еще недели за две да возобновления занятий принял решение или вовсе уклоняться от посещения лекций Фрейтага и Грефе, или заниматься на них своими делами: писать, например, дневник или письма домой и, по возможности, не принимать никакого участия в собеседованиях, – словом, вроде как бы отсутствовать.

Одним, из поводов к такому молчаливому протесту была мелочная, бессмысленная, удручавшая его придирчивость этих профессоров и вдобавок еще грубость Фрейтага, не обращавшего внимания на то, что он попирает достоинство студентов своим гувернерски-строгим тоном.

Чернышевскому всегда были крайне неприятны чьи бы то ни было повадки повелевать, третировать других, распоряжаться ими, попирать чужую свободу.

В университете он сразу же проникся антипатией к инспектору Алексею Ивановичу только за предоставленное тому право подойти и в любую минуту сделать ему замечание, что он не при шпаге, что у него расстегнута пуговица на мундире, что пора подстричь волосы – они слишком длинны, и тому подобное. Уже одна эта возможность получить замечание заставляла Чернышевского оставаться в аудитории даже во время перемены – лишь бы не столкнуться в коридоре с Алексеем Ивановичем.

Можно представить себе, как раздражали Чернышевского, как ненавистны были ему высокомерие самоуверенного Фрейтага, злорадно ловившего студентов на ошибках, его замечания, его неуместные шутки на латинском либо на ломаном русском языке! Были еще свои особые причины у Чернышевского негодовать на Фрейтага. Профессор будто и не замечал его действительно превосходного знания латыни, а наоборот, при случае старался кольнуть, да посильнее, за какую-нибудь мелкую ошибку или сказать что-нибудь обидное, как сказал, например, в конце минувшего учебного года, что Чернышевский весь год подавал

переделки или переложения из древних писателей, – а это более легкое дело, – и что поэтому он, Фрейтаг, хоть и не осуждает, но «впредь ждет своего».

Демонстративное ли отсутствие Чернышевского на некоторых лекциях Фрейтага и Грефе, замеченное ими, или, может быть, что-то более серьезное привело в конце концов к вспышке затаенного недовольства и к ссоре его с профессорами. Тут вмешался и попечитель Мусин-Пушкин, сделавший Чернышевскому, по-видимому, резкое внушение. Самолюбивый юноша не мог ему этого простить и долго потом был одержим страстным желанием отомстить этой «гадкой развалине», нанести ему оскорбление, дать пощечину или что-нибудь в таком роде.

Кто-то из земляков – трудно было догадаться кто, – проведав об этом недоразумении, услужливо сообщил тогда же обо всем случившемся в Саратов. Обеспокоенный Гавриил Иванович, едва смиряя душевную боль и тревогу, спрашивал сына в письме: что за история вышла у него в университете?

VI. Знакомство с петрашевцем Ханыковым

Наибольший интерес для студентов представляли лекции по русской словесности, славянским наречиям и всеобщей истории.

Лекции Никитенки, которые назывались «педагогическими», проходили обычно довольно оживленно, так как были посвящены главным образом разбору самостоятельных работ студентов, чтению ими своих статей, обсуждению всевозможных литературных вопросов без какой-нибудь строгой программы.

Чернышевский намеревался взять одну из выдвинутых Никитенкой тем – анализ «Героя нашего времени»: каждую сцену этого произведения он столько раз и так внимательно читал! Хотя прошло уже несколько месяцев с тех пор, как юноша переписывал по ночам страницу за страницей лермонтовскую повесть, однако с прежнею свежестью ощущал он неотразимую ее силу. Но затем у него мелькнула мысль написать работу на более сложную тему из предложенных Никитенкой – например, об отношении искусства к действительности.

Размышляя над выбором тем, безвестный студент третьего курса философского факультета еще не угадывал и едва ли даже смутно предчувствовал тогда, что именно этой «отвлеченной» теме суждено будет сделать через несколько лет его имя знаменитым, что он, Чернышевский, наполнит ее животрепещущим содержанием, создавая свою магистерскую диссертацию, которая породит бурю споров и откликов за стенами университета, расколет читателей на два лагеря, заставит одних превозносить его, а других – клеймить и ненавидеть. Но в тот раз он так и не решился остановиться на этой теме или на теме о Грушницком, а принялся за другую работу, следствием чего явилось потом знакомство с петрашевцем Ханыковым.

Он начал писать для Никитенки психологический этюд о Гёте, находясь под живым и сильным впечатлением от «Поэзии и правды», только что прочитанной им в оригинале.

В один из ноябрьских дней 1848 года, после того как Чернышевский, прочитав на лекции у Никитенки свою работу «Об эгоизме Гёте», вышел в «шинельную», к нему вдруг быстро подошел незнакомый молодой человек и спросил:

– Вы, кажется, читали у Никитенки?

– Я.

– Так вас сильно интересует разгадка характера Гёте?

– Да, конечно, сильно.

– Ну, так это сделано уже в науке.

– Вы разумеете Гегеля, сумевшего обрисовать характер поэта в десяти строках о его мраморном бюсте?

– Нет, Фурье, который нашел гамму страстей, двенадцать первоначальных и их сложение, которое составляет основу всякого характера.

Молодой человек назвался Ханыковым. Оказалось, что он петербуржец, бывший студент восточного факультета, уволенный в прошлом году за «неблагонадежное поведение». Ему было около двадцати четырех лет, но выглядел он несколько моложе.

Они вышли из университета вместе. По дороге Ханыков продолжал рассказывать Чернышевскому о законах гармонического развития коренных человеческих стремлений или страстей, как их называет Фурье.

Чернышевский молча слушал его с неослабевающим вниманием. Все, о чем говорил Ханыков, было ново и незнакомо ему. Странно как-то звучали слова: фаланга, сериарная организация работ, ассоциация, фаланстер[12].

Первоначально ему показалось, что Ханыков говорит слишком порывисто и сумбурно.

«Уж не бестолковость ли это чересчур ревностного прозелита?» – подумал он, но потом упрекнул себя за предвзятость и поспешность своего заключения. В словах Ханыкова дышала такая вера в правоту идей его учителя, призванного, по его мнению, преобразовать планету и человечество, живущее на ней!..

Он рассказал Чернышевскому о жизни французского мыслителя. О том, как Фурье пришел к мысли о фаланстере, о сериарном распределении занятий. И, может быть, в этот день на Невском проспекте перед будущим автором снов Веры Павловны, в которых он хотел поднять завесу над «тайнами будущего» и показать картину радостной жизни освобожденного человечества, – может быть, еще в этот день впервые мелькнули перед ним смутные образы вечной весны и вечного лета на свободной земле счастливого труда.

– И это не мечта!.. Не утопия!.. – восклицал Ханыков. – Прочтите об этом в его «Теории всеобщего единства»; там все это доказано математически. Прочтите, и вы согласитесь, что самый последний из работников фаланстера будет счастливее сильнейшего из владык.

Идеи Фурье – это целый мир, заключающий в себе несметные богатства. Что будет, спрашиваю я вас, если мы разработаем весь этот рудник?

Невежество и косность большинства всегда противятся новым идеям. Но можно ли бояться этого? Он был не понят и не оценен на родине. Но слова его не потеряны для мира. И здесь, во льдах Севера, есть люди, которые понимают единство, связь, солидарность, свободу, стройный прогресс, непрерывное счастье.

– Отечество наше в цепях, – продолжал Ханыков, – деспотизм и невежество заглушили его натуральные влечения, но преображение близко…

Они остановились на углу Конюшенной. Ханыков стал говорить о народной вольнице, о Великом Новгороде.

– Надо восполнить пробел в системе Фурье. Увлекшись ею, он пренебрег историческими приданиями, а если касался их, то бегло и поверхностно. Надо заняться разбором русской истории, найти в ней авторитет народный…

Прощаясь, Ханыков сказал:

– Если хотите, я дам вам Фурье. Я живу в доме Мельцера, в Кирочной. Приходите в субботу вечером. Буду ждать вас.

Ханыков не случайно упомянул о льдах Севера. Он был одним из самых ревностных миссионеров и пылких пропагандистов учения Фурье, распространявшегося кружком Петрашевского. В марте 1848 года дошло до сведения властей, что «титулярный советник Буташевич-Петрашевский, проживающий в Петербурге в собственном доме, обнаруживает большую наклонность к коммунизму и с дерзостью провозглашает свои правила:», что он, «имея большой круг знакомства, около 800 человек, составил с некоторыми общество; что к нему постоянно в назначенный для приема вечер, по пятницам, собиралось от пятнадцати до тридцати разных лиц, гражданских и военных, одинаковых с ним мыслей; что они, оставаясь от трех и до четырех часов за полночь, в карты не играли, а читали, говорили и спорили».

Петрашевский и его друзья начали действовать еще в 1845 году. Сначала дело ограничилось устройством коллективной библиотеки и выписыванием через петербургского книгопродавца Лури запрещенных социалистических изданий. Постепенно библиотека стала «главной заманкою посещать Петрашевского».

Пошли вечера по пятницам, спевка немноголюдные и носившие «ученый характер». К Петрашевскому приходили побеседовать о новых книгах его знакомые, штатские и военные, молодые офицеры и юнкера, учителя и студенты.

Неустанно деятельный, много потрудившийся над самовоспитанием, Петрашевский был человеком сильной души и большой воли.

Будучи прирожденным агитатором и отличаясь кипучей

энергией, он всюду завязывал знакомства, ища возможности шире распространить свои заветные мысли.

Среди посещавших его в 1845–1846 годах бывали поэт Плещеев, публицист Милютин, критик В. Майков, будущий автор «России и Европы» Данилевский, Салтыков-Щедрин, гвардейский офицер Момбелли, студент Ханыков… В следующую зиму стали бывать Ф. Достоевский, А. Майков, Энгельсон и другие.

Знакомые Петрашевского приводили к нему своих приятелей, появлялись все новые и новые лица, собрания становились оживленнее и разнообразнее.

Велись теоретические споры о коммунизме, читались рефераты о политической экономии, о семье и религии, толковали о крепостном праве, о гласности судопроизводства, о свободе печатного слова, о городских новостях и мерах правительства.

При всем разномыслии петрашевцев, при всей пестроте состава посетителей его пятниц все же роднило их всех и как-то соединяло общее недовольство существующим порядком, желание перемен и улучшений в России.

Воспитывавшееся в беспросветной ночи николаевского царствования, страдавшее, по словам Герцена, болезненным надломом по всем суставам, поколение это словно бы успокаивало свои растравленные раны мечтами о грядущем общечеловеческом счастье.

Портрет одного из петрашевцев в «Былом и думах» начинается с общей характеристики самого типа петрашевцев: он «был тогда для меня довольно нов. В начале 40-х годов я видел только его зачатки, – пишет Герцен. – Он развился в Петербурге под конец карьеры Белинского и сложился после меня, до появления Чернышевского. Это – тип петрашевцев и их друзей. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные».

Свыше года жизнь кружка была предметом пристального наблюдения со стороны правительственных агентов. Известность и влияние кружка росли на глазах у полиции, ожидающей только сигнала, чтобы начать свое дело.

Между тем в среде петрашевцев стали обозначаться расхождения, наметились раскол и раздробление, естественные при отсутствии определенной программы и ясных целей. Одни стали поговаривать о тайном обществе и необходимости более решительных действий для подготовки восстания; других, наоборот, пугала всякая мысль о перевороте. Расслоение стало неизбежным.

Самого Петрашевского уже не удовлетворяли результаты собраний, происходивших у него. В марте 1848 года он жаловался Спешневу, что посетители пятниц «ничего не знают и учиться не хотят… споры ни к чему не ведут, потому что у них у всех основные понятия не ясны».

Знакомство Чернышевского с Ханыковым было, конечно, не случайным. Ханыков, в эту пору раскола оказавшийся в группе «чистых фурьеристов», вербовал будущих сторонников.

Он заметно выделялся в кружке Петрашевского самобытностью и живостью ума, решительностью характера и страстной убежденностью.

Благодаря этому знакомству двадцатилетний Чернышевский соприкоснулся с левым крылом революционной интеллигенции конца сороковых годов, приглушенная деятельность которой предшествовала гораздо более бурному и неизмеримо более плодотворному идейно-политическому движению шестидесятников, возглавленному впоследствии им самим.

Если петрашевцы еще смутно представляли себе сущность будущих социальных преобразований в России, то революционные демократы шестидесятых годов уже отчетливо осознали, что только революционным путем, путем решительного уничтожения самодержавия и крепостничества, народ может добиться освобождения.

Юноша Чернышевский стоял на пороге общества петрашевцев. Если бы кружкам этим суждено было просуществовать хотя бы еще один год, то Николай Гаврилович, безусловно, разделил бы тогда участь петрашевцев…

Знакомство с Ханыковым не успело, в сущности, углубиться, окрепнуть и перейти в тесную дружбу, в неразрывную идейную связь.

Даже в беглой передаче Ханыкова общие мысли Фурье заинтересовали юношу, хотя он с присущей ему проницательностью сразу понял, что большею частью это несбыточные мечты. Но и в этих стремлениях фантазии почувствовал он некое отражение здоровой, истинной потребности полного наслаждения действительной жизнью.

Его тронули вера и убежденность автора «Теории четырех движений», который тридцать лет, среди лишений и бедствий, вынашивал в голове план переустройства человеческого общества и изо дня в день проходил по парижским улицам к одному дому, в котором он ожидал в определенный, обусловленный час к а н д и д а т а, то есть того, кто согласился бы принести ему миллион для испытания на деле его учения.

Удивительны настойчивость и постоянство, с каким Чернышевский думал о том, что однажды заняло его воображение. Вот хотя бы изобретение perpetuum mobile. Он был еще четырнадцатилетним мальчиком, когда впервые пришла ему в голову мысль об устройстве особого часового прибора с помощью ртутного термометра. Как-то в Саратове, когда внезапно расхворалась бабушка, его послали за врачом. Ему пришлось довольно долго поджидать доктора. И вот тут-то, в неуютном врачебном кабинете, заставленном всевозможными препаратами и приборами, он и набрел на эту идею о двигателе, с которой не расставался потом в течение многих лет.

С того дня он очень часто с лихорадочным волнением размышлял над разными усовершенствованиями своего проекта, а проект между тем постепенно видоизменялся, становился все шире, пока Чернышевский не пришел к убеждению, что он стоит на пути к изобретению машины, способной, как ему казалось, производить непрерывное движение. Первые детские мечты о последствиях этого изобретения переносили его прямо в Зимний дворец. Император, призвавши к себе Чернышевского, говорит ему: «Вот ты изобрел машину, которая изменит теперь вид земного шара, избавит всех от работы телесной, от лишений, которые терпит человек в мире физическом. Что тебе надобно в награду за это?»

Чего же он может пожелать? Мысленный ответ юноши должен был показать властителю величие души, бескорыстие и простоту того, кто дарует миру ни с чем не сравнимое благо: «Переведите сюда, в Петербург, в Сергиевский собор, моего отца…»

Он любил возвращаться к мечтам о своей машине и нередко думал о себе, как об орудии провидения, как об избраннике, призванном снять с людей проклятие: «В поте лица твоего будешь добывать хлеб твой…»

Только бы добиться успеха в опытах! Человечество забудет навеки о нищете, невежестве, рабстве и лишениях. Тем самым будет устранено препятствие к решению величайших задач. «Я сострою мост, и человеку останется только итти в поле нравственности и познания». Тогда единственной наставницей его действительно будет природа, а первым правилом поведения – заповедь, которую Раблэ начертал на вратах Телемского аббатства: «Делай, что пожелаешь».

Неудачи с опытами не смущали и не разочаровывали его. Он упорно продолжал поиски новых, по его мнению, более верных путей, продолжал мысленно уточнять, исправлять, перестраивать детали своей машины. В этих исканиях прошло несколько лет,

пока практически он не убедился, наконец, в нереальности perpetuum mobile.

Сначала в Петербурге мечты о машине не то чтобы забылись, но были оттеснены на второй план. Юноша сознательно схоронил их до времени в глубине души, решив, что без средств невозможно приступить к практическим исследованиям.

Однажды у Чернышевского явилось сожаление, что никто другой не сможет прочитать его дневниковых записей, если он умрет, не успевши разобрать и перевести на общечитаемый язык то, что было записано условной скорописью. Глядя на тетради, испещренные бисерно-мелким, необычайно сжатым почерком, на эти сливающиеся торопливые записи, сделанные с помощью четырех алфавитов – русского, греческого, латинского и арабского, по системе понятных только ему самому замен и сокращений, где многие слова обозначались лишь буквами или особыми черточками, он думал о судьбе этих зашифрованных дневников и о своей будущности.

Он предчувствовал, что не останется в разряде людей обыкновенных, – более того, он понимал уже, что его ждет большая будущность, что он станет человеком замечательным, – так разве не следует сохранить для биографов эти бумаги?

Он решил, что ключом к его шифру может послужить лермонтовская «Княжна Мери», которую он и переписал по такой же точно методе, изобретенной им еще в Саратове.

Мог ли Чернышевский предполагать тогда, что не биографы будут первыми трудиться над расшифровкой его дневников, а что начало этому уже через тринадцать лет положат, по просьбе полиции, опытные чиновники министерства иностранных дел, которых призовет на помощь Третье отделение!

Кроме судьбы записок, беспокоила его еще судьба проекта задуманной им машины вечного движения, с которой главным образом и связывались еще с детских лет мечты об ожидавшем его бессмертии.

Ему хотелось привести на всякий случай в порядок все чертежи этой машины, доработать их.

До сих пор он не сделал еще ни одной доведенной до конца попытки построить ее модель, а только вынашивал в голове проект, в осуществимость которого верил нерушимо. Помимо основного плана, мысли его были заняты одно время побочным проектом, довольно близким в общих чертах к проекту прибора, изобретенного как раз в 1848 году Гаррисом.

Известие об этом изобретении Гарриса, вычитанное Чернышевским в хронике «Отечественных записок», в первую минуту смутило его – оно отнимало у него право на первенство.

Ведь он думал построить нечто схожее с этим прибором, использовав только вместо Брегетова термометра длинный цинковый прут, один конец которого должен был быть прикреплен, а другой бы растягивался и сжимался.

После этого он с еще большим усердием стал размышлять над своим изобретением.

Чем ближе знакомился Чернышевский-юноша с фантастически смелыми и разнообразными планами социалистов-утопистов, задавшихся целью облегчить существование человечества, тем реальнее казалась ему возможность утвердить и упрочить когда-нибудь всеобщее счастье изобретением вечного двигателя.

Будущее… Оно рисовалось ему еще неясным. Кем он будет – философом или ученым, писателем или политиком? Кому он будет равен? Порою внутренний голос говорил ему, что, может быть, именно он придаст когда-нибудь решительно новое направление науке, духовной жизни человечества, что имя его станет благодаря этому в одном ряду с именами Платона, Коперника, Ньютона, Ломоносова.

Такие люди оставляют наследие векам, дают работу целым поколениям: сотни талантов трудятся потом над разработкой их наследия.

Однако он не принадлежал к категории тех мечтателей, которые считают почему-то унижением для собственного достоинства трудиться над обыкновенными вещами, а мирятся лишь на том, что они призваны создать восьмое чудо, в итоге же погружаются в заурядную бездеятельную жизнь фантазеров.

Он старался оттеснить на второй план мечты о великом пути, хорошо сознавая, что только поверхностному взгляду такой путь кажется прямым и сразу открывающимся.

У студентов интерес к политике стал заметно угасать по мере того, как борьба во Франции принимала все более плачевный для революционеров оборот. Редко теперь слышались политические разговоры, которые еще весною постоянно поддерживал между студентами малознакомый Чернышевскому морской офицер, приходивший время от времени на лекции Куторги.

Уловив перемену в настроении молодежи, он стал реже и реже появляться в университете, а потом и вовсе исчез с горизонта, о чем Чернышевский жалел, потому что намеревался как следует познакомиться и сблизиться с ним.

Это нараставшее вокруг безразличие к политической жизни не коснулось Чернышевского. Напротив, его интерес к: ней углублялся и становился острее. С неподдельным волнением и

трепетом следил он за быстрой сменой событий в потрясенной Европе, и ему хотелось как можно полнее изучить новейшую историю, которая пролила бы свет на все происходящее, показала бы истинные цели и намерения современников, помогла бы раскрыть подлинный смысл совершающегося.

«Как, в самом деле, не знать, что и кто теперь действует на свете, и что думать, и за кого бояться, кому сочувствовать, чего надеяться».

Богатейшее разнообразие эмоциональных оттенков, которыми окрашено отношение юноши Чернышевского к идеям, к событиям, к действующим на исторической арене лицам, поразительно. Можно подумать, что речь идет не о государствах, не о нациях, классах и партиях, не о философских доктринах и социальных программах, а о самых близких ему людях. Это были дела, непосредственно касающиеся его самого, заставляющие его то восторгаться, то благоговеть, то разражаться гневными тирадами, та благословлять, то презирать и ненавидеть.

С каким энтузиазмом и даже благоговением говорит он о самоотверженных и смелых поступках революционеров, о мужестве их и твердости, которые поразили мир!

Гневные восклицания вырываются у него по адресу тогдашних усмирителей народных волнений во Франции, Германий, Австрии, Италии и Венгрии. Смертельной ненавистью ненавидит он Кавеньяка, Виндишгреца, Радецкого. «Прусское правительство – подлецы, австрийское – подлецы, во этого названия для них мало, я не нахожу слов, чтобы выразить то отвращение, которое я питаю к убийцам Блюма».

Чернышевский был потрясен (казнью Роберта Блюма[13]. Мысль об этом вопиющем злодеянии не дает ему покоя.

Поистине библейским пафосом проникнуто проклятие, которое шлет он убийцам: «Да падет на их голову кровь его и прольется их кровь за его кровь! И да падет дело их, потому что не может быть право дело таких людей!..»

Со всею остротой встала впервые тогда перед молодым Чернышевским идея жертвы. Его решимость и готовность отдать всю свою жизнь для блага закрепощенного народа вылилась в одной из самых ярких дневниковых записей: «… в сущности, я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если б только был убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убежден».

Уже тогда основанием его взгляда на жизнь стала мысль, что если человек решается на благородный поступок наперекор личным интересам, эгоистическим расчетам и наклонностям, то они не покидают его, а «переходят в это его состояние и прилепляются, как могут, к его поступку и стараются и здесь найти удовлетворение». Желания, подчиняясь долгу, сливаются с ним и находят в этом состоянии гармонию.

Делом всей своей последующей жизни доказал Чернышевский, что его юношеские мечты о жертве во имя будущей революции были не порывами мимолетного благородства, а твердым убеждением в том, что «человек, самоотвергающийся из разумных целей, всегда пожертвует собою для них».

Через много лет он всесторонне развил эту тему в романе «Что делать?». Но еще в юности мысль его билась над решением вопроса – как согласовать свои убеждения с поступками, как стать последовательным в своих действиях и неразрывно слить свои взгляды с жизнью?

Сближение с Ханыковым оказалось благотворным для Чернышевского, который нашел в своем новом друге умного, философски образованного собеседника. Из бесед с Ханыковым и из книг, которые Чернышевский брал читать у него, он за короткое время узнал по-настоящему об учении утопистов, о «Положительной философии» Конта, о системе Гегеля и, наконец, о Фейербахе. С этого времени Чернышевский стал систематически и основательно изучать сочинения этих философов, читая уже не отрывочные изложения их (как случалось ему прежде знакомиться, например, с Гегелем), а подлинники.

Ханыков не расположен был к немецкой философии, представлявшейся ему слишком абстрактной, тяжеловесной и отталкивающей своим схоластическим языком. Его влекли к себе жизнь, а не отвлеченность.

По окладу своего ума Чернышевский еще менее, чем Ханыков, способен был довольствоваться отвлеченными логическими категориями, неприложимыми к действительности. Но Чернышевский еще не успел в ту пору освободиться от недавнего благоговейного трепета, какой незадолго до встречи с Ханыковым внушал ему (Чернышевскому) Гегель. Ему представлялось тогда, что истины, провозглашенные Гегелем, озарят все и дадут ему невозмутимый внутренний мир.

«Мне кажется, – писал он в октябре 1848 года, – что я почти решительно принадлежу Гегелю, которого почти, конечно, не знаю… Какое великое дело я решаю, присоединяясь к нему, то-

есть великое дело для моего я, а я предчувствую, что увлекусь Гегелем…»

Удивительно, конечно, вовсе не то, что молодой Чернышевский с волнением и энтузиазмом брался за Гегеля, а то, что вскоре же, при более близком знакомстве с его философией, он без чьей-либо помощи со стороны вскрыл двойственность самой системы Гегеля, глубокое внутреннее противоречие между ее принципами и выводами, между ее методом и содержанием. Это могло быть под силу лишь совершенно зрелым, сложившимся умам, а Чернышевскому в ту пору шел лишь двадцать первый год.

Глубина и самобытность мысли юного Чернышевского оказались при первом же внимательном изучении им «Философии права», которую Ханыков дал ему для перевода отрывков из нее в конце января 1849 года. Он тотчас же подметил самую слабую сторону в системе немецкого мыслителя: реакционность, умеренность и узость его выводов.

Лет сорок спустя, уже незадолго до смерти, вспоминая об этих своих философских занятиях в молодости, Чернышевский писал: «В подлиннике Гегель оказывался более похож на философов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким являлся он в русских изложениях его системы».

От взгляда юноши не укрылось тогда, что мысли Гегеля «не дышат нововведениями», что выводы его робки, что «он раб настоящего положения вещей, настоящего устройства общества».

Примечательно, что и предшественники Чернышевского – Герцен и Белинский, – каждый по-своему, также способствовали освобождению русской философской мысли от ига «гегельянщины». С нескрываемой и законной гордостью Герцен писал: «…Мы скоро увидим, как русский дух переработал Гегелево учение и как наша живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое».

С такой же гордостью и Чернышевский впоследствии (в 1855 году) говорил о том, что развитие последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля совершалось у нас собственными силами и не зависело ни от каких посторонних авторитетов. Об этом ярком поворотном моменте в истории русской общественной мысли рассказано в шестой главе «Очерков гоголевского периода русской литературы».

«Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества, – шикал Чернышевский, – произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свате их учеников, как бывало прежде. Прежде каждый у нас имел между европейскими писателями оракула или оракулов; одни находили их во

французской, другие – в немецкой литературе. С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету».

Одного этого примера с Гегелем было бы уже достаточно, чтобы судить о проницательности молодого Чернышевского. Но есть еще и другие, не менее красноречивые примеры, говорящие о том же.

Каждое замечаний Чернышевского о Фурье, высказанное им при первом знакомстве с сочинениями французского утописта, показывает, что Чернышевский сразу сумел обнаружить в них зародыши великих истин, скрытые под причудливым покровом. Не закрывая глаз на слабости французского мыслителя, на известную ограниченность его взглядов и неосновательность его притязаний, Чернышевский тем не менее понял, что это глава целой школы, которая, неоспоримо, займет значительное место в истории.

Форма, в которую были облечены рассуждения Фурье, напоминала порой Чернышевскому о гоголевских «Записках сумасшедшего», мистическая окраска иных мечтаний великого утописта заставляла Чернышевского сравнивать Фурье со средневековыми мистиками и с нашими раскольниками. И все же он сразу увидел, что в книгах Фурье таятся истоки плодотворных специальных идей.

В это же время Чернышевский познакомился с системой главы позитивистов – Огюста Конта, которая произвела на него неблагоприятное впечатление. «Может быть, это просто довольно ограниченная голова вздумала подвести под свою математическую систему социальные и исторические и философские науки», – кратко резюмировал Чернышевский.

Спустя более четверти века в письме к сыновьям из вилюйского острога он в несколько иных выражениях и более подробно повторил эту оценку позитивной философии «бедняги» Огюста Конта, «вообразившего себя гением».

Мысль Чернышевского смолоду не знала над собою слепой власти авторитетов. Истина была ему дороже любых имен, какими бы общепризнанными ни были эти имена.

Обнаружив ложную идею даже у великого мыслителя, он, не колеблясь, отвергал ее. Вот один из многих примеров. Известно, что Чернышевский всю жизнь был непримиримым противником «расовой теории» во всех ее разновидностях.

Начало такому взгляду Чернышевского на «расизм» было положено еще в университетские годы. Статья Е. Ковалевского «Негриция. Из путешествия во внутреннюю Африку»,

напечатанная в «Отечественных записках» в 1849 году, привлекла тогда внимание юноши потому, что автор ее, говоря о неграх, подчеркивал, что они «ровно ничем не хуже нас».

«…С этим я от души согласен, – пишет в дневнике Чернышевский, – когда говорят противное, мне всегда кажется, что это такой же вздор, как слова Аристотеля, что народы (живущие) на север от Греции самим климатом и *своею расою* осуждены на рабство и варварство».

VII. Первые беллетристические опыты

Желание писать и печататься все сильнее овладевало Чернышевским. Он верил, что недалек, может быть, тот день, когда двери редакций распахнутся перед ним и он войдет в них полноправно и смело.

С некоторых пор каждый новый том «Отечественных записок» и «Современника» он уже рассматривал не просто как читатель, а словно бы участник изданий, которому важна и интересна всякая мелочь: формат листов, шрифты, расположение статей внутри отделов, подзаголовки.

В это время у Чернышевского созревал замысел описать полную драматизма историю, слышанную им от знакомого земляка, – историю одной девушки, попавшей в дурное общество и очутившейся в конце концов на скамье подсудимых.

Некоторое время он колебался, не зная, остановиться ли ему на повествовательной форме, или написать нечто вроде рассуждения о воспитании.

Горестная история Жозефины (так звали эту девушку) заинтересовала Чернышевского как яркое подтверждение его мыслей о негодности принятой системы воспитания.

Следуя ей, все стараются скрывать от детей темные стороны жизни, тогда как надлежало бы объяснять им все, безбоязненно показывать все в истинном свете, быть товарищами во всей их жизни, чтобы не было у детей причин замыкаться и таить от взрослых что бы то ни было.

Писалась «История Жозефины» трудно и медленно. Только предисловие, в котором Чернышевский доказывал необходимость знакомить детей с отрицательными сторонами действительности, вылилось у него свободно и легко. А потом стали одолевать его всевозможные сомнения.

Несмотря на то, что он из предосторожности решил назвать в повести девушку не настоящим ее именем, а Казимирою, все же подлинность события стесняла его свободу, – он опасался, что сочинение это может когда-нибудь попасть в руки тех, кто без труда узнает в героине Жозефину.

Написанное казалось ему временами настолько невыразительным и бледным, что у него пропадала всякая охота продолжать. Он видел, что достоверность происшествия исчезает под его пером, а придать этой истории характер поэтической истины он еще не умел. Несколько раз Чернышевский вовсе

бросал повесть, но потом опять возвращался к ней и снова испытывал изнуряющие муки авторства. И все-таки мало» помалу она двигалась вперед и приближалась к концу.

Контора «Современника» помещалась у Аничкова моста, в доме Лопатина. Бывая в гостях у своего однокурсника Славинского, жившего поблизости от этого дома, Чернышевский часто проходил мимо редакции и на раз испытывал острое желание хоть одним глазком взглянуть на скрытую от посторонних взглядов обстановку, в которой создавался журнал. Он был одним из тех читателей «Современника», которые с волнением ждали в начале каждого месяца появления очередного номера журнала. Пока что он был только читателем. Несколько лет отделяло тогда Чернышевского от той короткой, но необыкновенно бурной поры его жизни, когда, вступив в редакцию, он сам стал у руля «Современника».

Намеченный Чернышевским день для похода в «Современник» с повестью «История Жозефины» падал на среду. Накануне вечером он набросал короткое письмо в редакцию, в котором объяснял цель своего сочинения, основанного на достоверном происшествии, и окончательно проверил большую часть аккуратна переписанной рукописи.

Сдав ее в «Современник») Чернышевский долго с нетерпением ждал ответа из редакции, но проходили дни и месяцы, а никакого известия не было.

Между тем предстояли переходные экзамены. Он намеревался писать у Срезневского сочинение «на медаль», если окончательно выяснится, что в «Современник» его повесть не принята.

Немногие из профессоров умели так увлечь студентов как это удавалось Срезневскому. Он заставил их горяча полюбить Колара, Мицкевича, славянскую речь и славянскую музу. Но вместе с тем не многие из профессоров были так взыскательны, так неподкупно строги, как Срезневский. После экзаменов симпатии студентов к нему сразу остыли. Наиболее нерадивые из них роптали на него и требовали от других, чтобы и они «прекратили сношения с Срезневским».

Чернышевский и Корелкин считались лучшими учениками Срезневского на втором и третьем курсе. Оба они работали для него над словарем к русским летописям, и оба начали готовить в 1848 году сочинение «на медаль» по кафедре славянских наречий, за что и подверглись нападкам со стороны товарищей. Корелкин, однако, остался глух к упрекам недовольных и продолжал искать сближения с профессором. Но Чернышевского эти выпады смутили и заставили задуматься. После долгих колебаний он

принял все-таки окончательное решение не писать «на медаль». Оставив мысль о сочинении, он не бросал, однако, работы над словарем к летописям, надеясь довести ее до конца, сколько бы времени это ни потребовало. Если Срезневский не переменится и отношения с ним останутся натянутыми, то работу можно будет представить непосредственно в Академию наук.

В глубине души Чернышевский жалел, что сам лишил себя возможности представить сочинение «на медаль». И чем меньше оставалось времени до акта, на котором объявлялись результаты соискания студентами наград, тем острее становилось его сожаление. Ведь на 1849 год будут объявлены темы сочинений по другим кафедрам, и со славянской филологией придется проститься…

Ежегодно 8 февраля, в день открытия университета, происходил торжественный акт в присутствии министра просвещения, попечителя учебного округа, представителей знатнейшего духовенства, почетных членов университета и других высокопоставленных лиц. По заведенному обычаю, ректор делал в этот день годичный отчет о работе университета. Затем следовал ученый доклад кого-либо из профессоров, а в заключение – раздача наград за сочинения. Тайна конкурса позволяла участвовать в нем не только тем, кто мог безошибочно рассчитывать на успех, но даже и тем, кто уповал лишь на слепую удачу. Фамилии авторов были скрыты под девизом. По рассмотрении сочинений сначала каждым профессором «по принадлежности предмета», а потом в факультетских собраниях заключения последних поступали на утверждение совета, в присутствии которого вскрывались пакеты с именами тех, чьи сочинения оказались не отвергнутыми.

Таким образом, самолюбие потерпевших неудачу не подвергалось публичному испытанию. Существовало три вида наград: почетный отзыв, серебряная и золотая медали. Получение золотой освобождало награжденного от обязанности представлять впоследствии особую диссертацию на степень кандидата.

Чаще всего сочинения «на медаль» писались студентами старших курсов, успевшими присмотреться к профессорам и до некоторой степени освоить избранную дисциплину.

Когда в феврале 1848 года по философскому факультету были предложены две «задачи» – одна относительно летописи Нестора, а другая касательно персидских поэтов Саади и Гафиза, – большинство однокурсников Чернышевского считало, что ему обеспечена золотая медаль по первой теме. И только немногим, рьяно руководившим «борьбою» против Срезневского,

еще в середине года стало известно, что Николай Гаврилович отказался на этот раз от мысли подавать свою работу. Но и они, впрочем, не были окончательно убеждены в том, что Чернышевский останется верен своему заявлению и действительно удержится от соблазна получить неоспоримую награду.

После краткого выступления Срезневского, прочитавшего очерк истории русского языка, приступили к раздаче наград.

Чернышевский знал, что за диссертацию о летописи Нестора, которую он не захотел окончить и подать, награда будет дана сегодня Корелкину. И все же он несколько пожалел о том, что не стал писать сочинения «на медаль», когда услышал, как зачитывали, что «В силу 103-го параграфа устава императорских российских университетов диссертация под девизом: «А словеньск язык и русской – един» призвана достойной издания в свет иждивением университета, а сочинитель ее, студент 3-го курса разряда общей словесности Николай Корелкин, по определению совета университета, награждается золотой медалью…»

После оглашения тем на 1849 год Чернышевский решил непременно представить сочинение на тему «Жизнеописание афинянина Клеена».

Чем более приближалась пора окончания университета, тем настойчивее вставал перед ним вопрос об избрании будущего пути. Завязать связи с журналами все не удавалось. Ни «Отечественные записки», куда он пробовал обращаться несколько раз с прошлого, 1848 года, ни «Современник», в который он отнес «Историю Жозефины», не открыли перед ним дверей.

Надо было запастись терпением и подумать об иных возможностях зарабатывать на существование. Надо было искать сближения с профессорами факультета и готовиться к научному поприщу.

В мае 1849 года прошли последние переходные экзамены. Чернышевский почти не готовился к ним и все-таки получил пятерки по всем предметам, кроме греческого.

По рекомендации Срезневского Чернышевский некоторое время работал сотрудником «у исследователя Сибири, члена Географического общества И.Д. Булычева, делая выписки различных сведений о Сибири для будущего ученого труда этого исследователя.

Случилось так, что и Чернышевский и его будущий ближайший соратник по «Современнику» Добролюбов, оба

прошли в разное время «школу Срезневского». Начало научно-литературной деятельности того и другого связано с этой школой. У Чернышевского – в 1848–1853 годах, у Добролюбова – в 1853–1856 годах. И узнали они друг о друге (еще до личного знакомства) через своего профессора.

Убеждения, характер дарований, темперамент Чернышевского и Добролюбова не позволили им замкнуться в узко научной сфере филологии. Рано или поздно они должны были «изменить» и своему учителю и его дисциплине.

Покровительство, проявленное Срезневским по отношению к двум будущим вождям освободительного движения шестидесятых годов на заре их юности, примечательно и вовсе не так уж случайно. Отчасти по собственному опыту, а еще более по биографии своего отца Срезневский превосходно видел, что значило тогда выбраться на дорогу даже и весьма талантливому человеку из среды разночинцев.

Несгибаемого упорства и выдержки требовала жизнь от людей этого круга, и он не мог не сочувствовать их стремлению проложить себе путь к науке.

Чернышевский принадлежал к первому поколению учеников Срезневского по философскому факультету Петербургского университета. Из всех профессоров, которых довелось ему здесь слушать, самое сильное впечатление осталось у него от Срезневокого. Привлекал он к себе оригинальным окладом ума, вдохновенного и иронического одновременно, смелостью анализа, насмешливым отношением ко всякой казенщине, к «приказным», как называл он администрацию университета, и главное – неугасимой верой в науку, энергией и трудолюбием, желанием пробудить в каждом ученике самостоятельность взглядов.

Срезневский старался привлечь лучших студентов в возделыватели того поприща, на котором подвизался сам. Теперь уже окончательно убедился Чернышевский, что хотя и очень строг и требователен молодой профессор, но вместе с тем справедлив и сердечен к людям. И чем ближе узнавал Измаила Ивановича, тем большим уважением проникался к нему и даже готов был последовать его советам посвятить себя всецело изучению славянских наречий, несмотря на то, что предмет этот привлекал Чернышевского гораздо менее, чем история или философия.

То была самая живая пора славянских увлечений Срезневского. Он хлопотал перед Академией наук о периодическом издании, посвященном славистике. Второе отделение Академии наук, образованное из бывшей Российской академии, словно ожило с появлением в нем первого в России

доктора славяно-русской филологии. И когда он сказал Чернышевскому, что пришла пора подготовлять исподволь работу, которую можно будет опубликовать в будущем журнале, тот, ни слова не говоря, ревностно принялся – благо подошли каникулы – за оставленный им с прошлого года словарь к летописи Нестора.

Много предстояло ему потрудиться, но упорству его не было границ. Обдумав сперва самую систему составления словаря, испробовав всевозможные способы расположения материала и остановившись на том, который показался ему наилучшим, он приступил к делу, не подозревая, насколько трудоемкой окажется эта работа.

В прошлом, 1848 году Чернышевский ограничился лишь отрывочными опытами – он начал тогда прямо с княжения Изяслава. Теперь его труд должен был охватить всю «Повесть временных лет».

По всегдашней своей привычке быть в работе пунктуальным до мелочей, он точно рассчитал, сколько времени потребуется на каждый отдельный ее процесс: на разлиновывание листов, на выписку слов, на разметку страниц и строк, – словом, на всю ту подготовительную стадию исследования, которая сопряжена была с чисто механическими процедурами. Чернышевский подбирал различные сорта бумаги, цветные чернила и карандаши, делал смеси чернил, ища упрощений, выточил цифры из дерева, чтобы не писать их, а прямо печатать. Были дни, когда он по восемь-десять часов, не разгибая спины, возился с этим словарем, желая представить Срезневскому не проект, а уже выполненную вчерне работу.

Казалось бы, все у него было рассчитано наперед: столько-то недель на выписки, столько-то дней на проверку текста, столько-то часов на линование. Но выписки и разметки составляли только малую и далеко не главную часть работы, трудоемкость которой увеличивалась по мере того, как он продвигался вперед.

Порой Чернышевского приводила в отчаяние все возраставшая медлительность, с какой осуществлялось это непомерно кропотливое дело. Только спустя полгода после начала работы над словарем, когда он попробовал окончательно отделать букву Д, он ясно понял, что для завершения работы потребуются еще не месяцы, а годы.

Срезневский не ошибся: исследование увидело свет. Но случилось это лишь через четыре года.

И в ту пору, когда Чернышевскому пришлось править корректурные листы этого словаря, он жил уже совсем иными интересами, готовясь вступить на боевое поприще критики и

публицистики.

Вскоре у Чернышевского снова возникла мысль попытать свои силы в беллетристике. Это была уже третья попытка после «Истории Жозефины».

Одним из толчков к рождению замысла новой повести была, между прочим, незадачливая судьба Лободовского. Как-то вечером после разговора с ним Чернышевский раздумывал, о чем написать повесть: «Вывести ли главным лицом Василия Петровича и его характер я то, как подобным людям тяжело жить на свете, или о том, как вообще тяжела участь женщины, или, наконец, о том, как трудно всякому человеку следовать своим убеждениям в жизни, как тут овладевают им и сомнение в этих убеждениях, и нерешительность, и непоследовательность, и, наконец, эгоизм действует сильнее, чем в случаях, когда он должен отвергать его для общепринятых уже в свете правил, и т. д.». Он выбрал последнее.

Так возникла повесть, которую он назвал «Теория и практика». Неопытность его как беллетриста сказалась тогда не только в наименовании повести. Тут слишком много рассуждений, сюжет развивается чересчур искусственно, в обрисовке героев преобладает схема. Но этот ранний опыт интересен тем, что отдельные мотивы и общая идея его были впоследствии широко развиты в романе «Что делать?», хотя с первого взгляда кажется, что ничего сходного произведения эти между собою не имеют.

Повесть эта особенно интересна потому, что является одним из ярких примеров непосредственного влияния Герцена-философа на молодого Чернышевского.

Несомненно, что не только общая идея, но и название повести связано с рассуждениями Герцена в третьей главе его статьи «Дилетантизм в науке», где автор ставит и решает в духе материалистического миропонимания философский вопрос о соотношении теории и практики, убедительно доказывая необходимость их неразрывного единства.

Герцен рассматривает в статье высказывания различных мыслителей на эту тему и ясно показывает на множестве примеров, что мысль бессильна в отрыве от живой действительности, что *«слово не есть еще деяние, которое выше речи».*

В статье приведено, между прочим, одно из положений Аристотеля, которое и взял Чернышевский в основу не только идеи, но и названия своей повести – «Деяние есть живое единство теории и практики».

Обращая свой взгляд в будущее, Герцен писал: «Может, мы

(русские. – *Н. Б.*), мало жившие в былом, явимся представителями единства науки и жизни, *слова и дела»* (то-есть *теории и практики. – Н. Б.*).

Теперь легко лонять, насколько тесно связаны между собою юношеская повесть Чернышевского и его знаменитый роман «Что делать?», – связаны не только по идее, но даже и по названию.

Две темы особенно роднят ранний беллетристический опыт Чернышевского с его романом «Что делать?». Это, во-первых, участь женщины в тогдашнем обществе и, во-вторых, вопрос о новых нормах поведения. Многостороннее содержание «Что делать?» далеко не исчерпывается этими темами, но они занимают очень большое место в романе. Над решением проблем, поставленных в нем, Чернышевский задумывался уже в ранней молодости. «Теория и практика» писалась в ту пору, когда только началось формирование его революционно-политических убеждений. Роман же явился плодом зрелой мысли сложившегося писателя, обогащенного опытом революционной борьбы. В повести многое лишь смутно намечено, тогда как в романе писатель ясно показал, что значит следовать своим убеждениям в жизни, что значит слить свои интересы с интересами передовых слоев общества, при каких условиях женщина будет окончательно раскрепощена. Идея, вложенная в название ранней повести Чернышевского, со всею силою проявляется в романе, где автор, характеризуя поведение своих героев – Лопухова и Кирсанова, постоянно напоминает о том, что их дела и поступки неразрывно связаны с их убеждениями, с их особой теорией «эгоизма» («Зато и какое же наслаждение было Кирсанову, как *теоретику*, любоваться своею ловкостью на *практике…»* «Приятно человеку, как *теоретику,* наблюдать, какие шутки выкидывает его эгоизм на *практике»* и т. д.).

Решение, которое ускользало от двадцатилетнего Чернышевского, автора повести «Теория и практика», было впоследствии найдено им в «Что делать?». Создавая «Теорию и практику», он только смутно предчувствовал неизбежность нарождения людей новой формации. В шестидесятые годы сама жизнь поставила перед ним прототипы его героев.

Юноша Чернышевский намеревался показать в своей повести исключительного человека – с «совершенным отсутствием эгоизма». Но эта задача не была решена им, может быть, потому, что герой остался без среды и как бы повис в воздухе. В романе «Что делать?» мы видим реальную растущую силу носителей освободительных идей шестидесятых годов.

«Недавно зародился у нас этот тип, – писал Чернышевский. – Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они

были исключениями и, как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными и от этого бездействовали, или унывали, или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то-есть не могли иметь главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности… Недавно родился этот тип и быстро распложается. Он рожден временем, он знамение времени…»

Еще в одном отношении интересен ранний беллетристический опыт Чернышевского: герой «Теории и практики» наделен чертами характера самого автора. Вот как характеризовал своего героя Чернышевский: «Не встречалось мне никогда человека, жизнь которого была бы так верна его убеждениям, который бы в такой степени неуклонно принимал в расчет то, чего требовала, по его мнению, совесть, истина или обязанность… «Как думает, так и поступает он», – говорили про него все, как бы ни странно делал он, как бы поступок ни противоречил общепринятому порядку вещей, он не колебался делать его, как скоро, по его мнению, должно было поступить так, а не иначе… Точно так же еще менее, разумеется, можно было ожидать от него, чтобы он когда бы то ни было отступил от исполнения своих убеждений, потому что оно потребует какой бы то ни было жертвы, – ни денежные расчеты, ни противоречие естественных склонностей тому, что требует от него его убеждение, …ни даже то, что через это разрушится его спокойствие или что для этого нужно будет пожертвовать какой-нибудь дорогой для него привязанностью, не могли заставить его не сделать то, что он, по его мнению, должен был сделать…»

Любопытно, что сходство главных черт характера героя «Теории и практики» с характером автора было тогда же угадано двоюродным братом Чернышевского А.Н. Пыпиным. В письме к Д. Мордовцеву в 1850 году Пыпин писал: «Он (Чернышевский) такой человек, которого я никогда не видал, да и никогда, верно, не увижу. Я не знаю, как описать тебе его характер (ты его не знаешь); если бы где-нибудь был изображен такой характер, я бы указал тебе… Недавно читал он отрывок из повести, рассказа, или как угодно назови это… он говорил мне, что ее написал один из его приятелей, но я с большей вероятностью предполагаю, что писал он ее сам; всё в ней его, и, между прочим, там был один характер, совершенно снятый с него, – характер не из обыкновенных, пошлых характеров… Как ошибся бы тот, кто сказал бы, что нет в нем участия ни к чему; нет, в нем так много участия, что я до сих пор не могу привыкнуть видеть в нем это».

VIII. Иринарх Введенский

Давно уже намеревался Чернышевский возобновить знакомство со своим земляком Иринархом Введенским, который был лет на пятнадцать старше его. Об Иринархе Ивановиче он много наслушался еще в бытность свою в Саратове. Толковали о нем вкривь и вкось, сплетничали, резко осуждали за смелость, с какой этот бурсак одним из первых оставил саратовскую духовную семинарию и перебрался в столицу, стремясь получить светское образование.

Тернист и извилист был жизненный путь Иринарха Ивановича. Многое пришлось испытать и изведать ему, прежде чем он достиг, наконец, некоторой известности и устойчивости положения.

Восьмилетним мальчиком Иринарх разлучился с родителями и сестрами – его определили в пензенское духовное училище (в то самое, где в свое время учился отец Чернышевского).

Иринарх попал туда среди учебного года, не зная ровным счетом ничего из того, что уже успели пройти одноклассники. Однако редкие способности и необычайная память Введенского быстро выдвинули его в ряды лучших воспитанников училища.

Любознательный и неутомимый в занятиях, мальчик еще в училище пристрастился к книгам; они стали единственным его наслаждением в ту пору. Запоем читал он все, что попадалось ему под руку, и познакомился таким образом со многими произведениями русской и переводной литературы.

В половине учебного года отец Иринарха, навестив его в Пензе, привез ему сочинения Ломоносова и карамзинские «Письма русского путешественника». Эти книги произвели сильное впечатление на душу мальчугана: «Тятенька, не посылай мне лепешек, а пришли еще Карамзина; я люблю его; я буду читать его по ночам и за то буду хорошо учиться», – писал он отцу, который с трудом высылал ему десять-двенадцать рублей в год.

По окончании пензенского духовного училища Введенский поступил в саратовскую семинарию, в ту самую, где несколько позже его начал учиться Николай Гаврилович (когда Чернышевский поступил в семинарию, память о Введенском была там еще свежа).

С возрастающим усердием будущий известный переводчик романов Диккенса стал грудиться над своим образованием, усердно изучая древние и новые языки (впоследствии он знал их семь), словесность и историю. Наставники дивились его

трудолюбию, обширной начитанности и разносторонним знаниям. «Диссертации» его, написанные большей частью на латинском языке, переплетенные в виде фолианта, ходили в семинарии по рукам, как образцовые работы, достойные подражания.

Окончив в 1834 году саратовскую семинарию, Введенский решил перебраться в Москву, лелея надежду получить доступ к светскому образованию. Однако ему не удалось устроиться в университет, и он поступил в духовную академию. Ни малейшей склонности к предметам, преподававшимся в академии, Иринарх не питал. Иногда он ходил пешком из Сергиевского посада в Москву слушать университетские лекции, продолжая совершенствоваться в изучении языков и литературы.

«Скоро, скоро кончится мое академическое учение, – писал он матери незадолго до выпускных экзаменов, – но что я буду делать в духовном звании?.. Я не приготовлен к нему; мои наклонности влекут меня в другую сторону. Я обману себя, вас, людей… если пойду в противность голосу своей природы. Безотрадное положение!»

Месяцев за пять до окончания академии, которое дало бы ему степень магистра православной теологии и прибило бы его, наконец, к какому-то берегу, Введенский был уволен из академии.

В начале 1840 года пешком отправился он пытать счастья в Петербург. Неприветливо встретила на первых порах Иринарха Ивановича северная столица. Случалось ему и не есть ничего по целым суткам, случалось и ночевать в садовых беседках, за отсутствием другого крова. Почти полгода прожил он так, «преданный всем родам унижения и ужасной нищеты», ревностно добиваясь осуществления своей цели, и добился в конце концов поступления в Петербургский университет. В двадцать семь лет он чувствовал себя многоопытным и безмерно усталым от жизненных невзгод. «Прощай, золотая юность, – писал он, – я не знал ни твоих радостей, ни восторгов… Грустно вспоминать прошедшее, еще грустнее подумать о будущем. Если жизнь измеряется силою ощущений, желаний, опытов, страданий, я прожил не мене ста лет. Сколько благословений и проклятий я разбросал на дороге своего бедного существования; сколько было стремлений к добру и славе, – и все это брошено даром… Прощай, моя юность!»

Вскоре судьба столкнула Иринарха Ивановича в Петербурге с известным профессором арабской словесности, редактором «Библиотеки для чтения» Сенковским, подписывавшимся в своем журнале иногда «Тютюнджи-Оглу», чаще «Бароном Брамбеусом».

Опытный журналист оценил способности Введенского

работать быстро и неутомимо. Он привлек его к сотрудничеству в журнале, поселил у себя на квартире, зорко следил за тем, чтобы страсть к чарке не возобладала у Иринарха над чувством долга. С этой целью, случалось, даже запирал его на ключ в часы неотложной работы для журнала.

И вот трудолюбивый Иринарх стал усердно заполнять страницы «Библиотеки для чтения» своими переводами и критическими статьями, продолжая одновременно учиться в университете. В августе месяце. 1842 года он успешно окончил Петербургский университет со званием кандидата по философскому факультету. По выходе из университета Введенский получил место преподавателя русского языка и словесности в Дворянском полку, а затем и в Артиллерийском училище.

В этом питомце саратовской семинарии была ломоносовская жилка. Недаром, выдержав через несколько лет магистерский экзамен и читая в университете пробную лекцию, он смутил чинных профессоров восклицанием: «Ломоносов потому и сделал так много, что был мужик!» И ударил при этих слонах кулаком по кафедре. Но зато и не дали ему этой кафедры в университете.

«Труд, труд и труд – вот что упрочивает счастье человека в этой жизни», – твердил своим слушателям Введенский.

В 1847–1848 годах у него собирались по пятницам гости, вели политические разговоры, толковали о необходимости перемен в России, обсуждали европейские события. Кружок этот был в чем-то, должно быть, сродни петрашевцам.

Весною 1849 года и над Иринархом Ивановичем нависла опасность. Вигель доносил следователю по делу петрашевцев: «Нечаянный случай дал мне по заочности узнать об одном Введенском, поповиче, говорят, с чрезвычайным умом и с изумительными правилами безнравственности и безбожия… Он задушевный друг Петрашевского, но так благоразумен, что не принадлежит ни к какому обществу».

К счастью, гроза прошла стороной. Иные из посетителей кружка попрежнему стали захаживать к Иринарху, но уже не по пятницам, как бывало, а по средам. Разговоры на первых порах велись осторожнее – больше о способах зарабатывать деньги пером, об издателях и журналах, о переводах, о школах. С конца 1849 года стал появляться здесь по средам и Чернышевский.

Вскоре между ними завязались дружеские отношения, что сыграло свою роль на первом этапе деятельности Чернышевского на педагогическом поприще и в журналистике. Участие его в кружке Введенского, родственном кружку Петрашевского, также имело некоторое значение в развитии мировоззрения будущего

вождя освободительного движения шестидесятых годов.

Должно быть, он хорошо запомнился тем из гостей Введенского, которые были склонны лишь к самым умеренным либеральным разговорам, да и то ведущимся шепотом и с оглядкой «Помню очень хорошо, – неприязненно писал один из них, – на вечерах Введенского этого рыжеволосого юношу, который рьяно защищал фантазии коммунистов и социалистов».

Сам хозяин дома был весьма благорасположен к своему новому посетителю. «Беседуя с ним, поверите ли, – говаривал Иринарх Иванович, – право, не знаешь, чему дивиться: начитанности ли, массе ли сведений, в которых он умеет отличнейшим образом разобраться, или широте, проницательности и живости его ума. Замечательно организованная голова! Он, может быть, превзойдет Белинского».

IX. «Казнь» петрашевцев

Ранним декабрьским утром 1849 года множество народа двигалось по направлению к Семеновскому плацу, на котором колоннами выстроились войска частей Петербургского гарнизона. Они образовали параллелограмм по сторонам деревянного помоста с входною лестницею. Помост был обтянут траурной материей. Городовые оцепили плац, чтобы сдерживать народ, стекавшийся массами. Около восьми часов утра осужденных вывезли из крепости. При каждом из них сидел рядовой внутренней стражи, а по бокам карет следовали верховые. Кортеж открывался отрядом жандармов, ехавших с обнаженными шашками. Окна карет замерзли, разглядеть лица заключенных было невозможно. На валу стояли толпы безмолвного народа. Вся площадь была покрыта свежим, выпавшим за ночь снегом.

Неподалеку от эшафота приговоренных выводили из карет и ставили в ряд. С волнением оглядывали они осунувшиеся, бледные лица друг друга после восьмимесячной разлуки, здоровались, переговаривались между собою.

Кареты продолжали подъезжать. Один за другим выходили из них заключенные: Петрашевский, Львов, Филиппов, Спешнев, Ханыков, Кашкин, Европеус, Достоевский, братья Дебу, Пальм…

Прежде чем ввести осужденных на эшафот и объявить им приговор, их повели перед фронтом. Впереди шел священник, замыкали процессию Кашкин, Европеус и Пальм. С трудом шагая по глубокому снегу, осужденные переговаривались между собою:

– Что с нами будут делать?

– Для чего поставлены столбы около эшафота?

– Должно быть, привязывать будут… Военный суд, казнь расстрелянием…

– Неизвестно, что будет… Может быть, всех на каторгу…

Непроницаемо-холодными глазами встречали и провожали проходивших ряды выстроенных батальонов, сомкнутых в каре.

Обойдя их, осужденные поднялись по тряским ступеням лестницы на эшафот. Вслед за ними вошли и тотчас выстроились на помосте конвойные. Аудитор выкликал петрашевцев по фамилии. Плац-адъютант следил за тем, чтобы преступники были расставлены в порядке, определенном приговором генерал-аудиториата.

Их поставили двумя неравными рядами, перпендикулярно к городскому валу

Хриплый звук рожка тревожно разнесся в морозном воздухе.

– На караул! – раздалась команда.

– Шапки долой! – приказал осужденным плац-адъютант и, видя, что только немногие исполнили приказание, сердито крикнул: – Снять шапки, говорю! Приговор будут читать!

Солдаты, стоявшие позади осужденных, стали стаскивать шапки с тех, кто мешкал.

После того как аудитор невнятно и торопливо прочитал каждому формулу обвинения и приговор военного суда, осужденных облачили в предсмертное одеяние – белые холщовые саваны с капюшонами и длинными рукавами. Священник взошел на эшафот, держа в руках евангелие и крест. За ним принесли и установили на эшафоте аналой. Священник обратился к приговоренным с краткой проповедью. Когда он удалился, солдаты по знаку плац-адъютанта свели с эшафота Петрашевского, Григорьева, Момбелли и привязали их к столбам, вкопанным перед тремя ямами. На лица им надвинули капюшоны. Взвод солдат, выстроившийся напротив, по команде взял ружья на прицел. В эту самую минуту раздался барабанный бой, и прицеленные ружья разом вдруг были подняты стволами вверх…

К эшафоту подъехал экипаж. Из него вышел фельдъегерь, привезший указ, которым царь заменял смертную казнь каждому особым наказанием. Петрашевского, Момбелли и Григорьева отвязали от столбов и снова ввели на эшафот. Снова аудитор, обращаясь к каждому из приговоренных, прочел окончательный приговор.

Палачи – их было двое – в старых цветных кафтанах взошли и стали позади ряда, начинавшегося Петрашевским. Ссылаемые в Сибирь опустились на колени, и палачи начали ломать шпаги над изо головами. Это длилось более двадцати минут. Затем на середину помоста вышли кузнецы, неся в рунах тяжелую связку ножных кандалов, предназначавшихся для Петрашевского. Они бросили их на дощатый пол эшафота у самых его ног. Потом, опустившись на колени, принялись не спеша заковывать его в кандалы. Некоторое время он стоял спокойно, чуть склонив, по всегдашнему своему обыкновению, голову набок, но затем вдруг нервным, порывистым движением выхватил у одного из них тяжелый молоток и, сев на пол, с ожесточением стал сам заколачивать на себе кандалы.

Скрипя по снегу полозьями, к эшафоту подъехала кибитка, запряженная тройкой лошадей. Из нее вылезли жандарм и фельдъегерь. На Петрашевского напялили казенный тулуп и шапку с наушниками. Единственный из всех осужденных, он, по «высочайшей» конфирмации, ссылался без срока в каторжные работы в рудниках, и его решено было немедленно везти в

Сибирь, прямо с Семеновского плаца с остальными не так спешили…

– Пора отправляться, – сказал фельдъегерь и предложил Петрашевскому итти в кибитку.

– Я еще не окончил все дела, – ответил Петрашевский.

– Какие у вас еще дела? – удивленно спросил его плац-адъютант.

– Я хочу проститься с моими товарищами.

– Ну, это вы можете сделать, – недовольно пробормотал плац-адъютант.

С трудом передвигая ноги в кандалах, Петрашевский переходил от одного узника к другому, обнимая и целуя их на прощание. С иными он прощался молча, иным бросал два-три слова. У некоторых на глазах видны были при этом слезы.

– Прощайте, более мы уже не увидимся, – сказал он, поклонившись в последний раз всем, и хотел уже было направиться к кибитке, но, словно бы вспомнив что-то, остановился и, осмотрев свое одеяние, возбужденно произнес, язвительно улыбнувшись: – Ей-богу, как они умеют одевать людей! В таком костюме делаешься противен сам себе!

Должно быть, это дерзкое замечание его вывело из себя одного из генералов, находившихся подле эшафота.

– Экий ты негодяй! – крикнул он и с этими словами плюнул в лицо Петрашевскому.

– Сволочь! – громко ответил Петрашевский. – Хотел бы я видеть тебя на моем месте…

Торопливо подталкиваемый солдатом и жандармом, сошел он с лестницы и влез в кибитку. Рядом с ним уселся фельдъегерь. Жандарм с саблей и пистолетом у пояса поместился около ямщика.

Лошади тронулись, медленно выбираясь на дорогу мимо сгрудившихся экипажей и толпы В это самое время кто-то, выйдя из толпы, снял с себя меховую шубу и шапку и бросил Петрашевскому в кибитку. Повернув на московскую дорогу, кибитка стала быстро удаляться и скоро пропала из виду…

До глубины души потрясенные пережитым за короткие часы, остальные ожидали, что станут делать с ними. Комендант, взойдя на эшафот, возвестил им, что они не уедут прямо с плаца, но до отъезда будут доставлены на свои места в Ордонанс-гаус для отсылки впоследствии.

– Лучше бы уж расстреляли, – сказал Ипполит Дебу Ахшарумову.

Пальм, избавленный от всякого наказания, малодушно воскликнул: «Да здравствует царь!» Никто на это не откликнулся.

Стали подъезжать кареты. Узники, не прощаясь друг с другом, садились в них и уезжали по одному…

Так закончилась эта зловещая инсценировка казни, задуманная царем и его приспешниками.

В кондитерской Вольфа в эти дни было необычно шумно и многолюдно. Посетители переходили из комнаты в комнату – из «газетной» в бильярдную, из бильярдной в буфет, где за столиками, расположенными вдоль окон, выходящих на проспект, сидели завсегдатаи кафе, любители пробежать глазами свежий листок газеты за стаканом кофе.

В «газетной» комнате было значительно тише, хотя и здесь слышался неумолкавший сдержанный шепот, приглушенные разговоры, шелест перелистываемых страниц.

У мальчика, подававшего гостям журналы и газеты, нетерпеливо спрашивали «Санкт-петербургские ведомости» и «Русский инвалид», в которых опубликовано было сообщение о Буташевиче-Петрашевском и его единомышленниках.

С еле скрываемым волнением окинул Чернышевский быстрым взглядом газету, очутившуюся у него в руках, и увидел на первой же странице, под линейкой, отделявшей изображение двуглавого орла и название газеты от текста, сообщение, начинавшееся словами:

«Пагубные учения, народившие смуты и мятежи во всей Западней Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния…»

И далее привычные официально-лживые, витиеватые фразы:

«…По произведенному исследованию обнаружено, что служивший в Министерстве иностранных дел титулярный советник Буташевич-Петрашевский первый возымел замысел на ниспровержение нашего государственного устройства, с тем чтобы основать оное на безначалии. Для распространения своих преступных намерений он собирал у себя в назначенные дни молодых людей разных сословий…

В конце 1848 года он приступил к образованию, независимо от своих собраний, тайного общества, действуя заодно с поручиком лейб-гвардии Московского полка Львовым 2-м и служащим дворянином Спешневым. Из них: Момбелли предложил учреждение тайного общества под названием «Тайного товарищества» или «Братства взаимной помощи и людей превратных мнений»; Львов определил состав общества, а Спешнев написал план для произведения общего восстания в государстве.

Генерал-аудиториат, по рассмотрении дела, произведенного военно-судною комиссиею, признал, что 21 подсудимый, в

большей или меньшей степени, все виновны: в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка, а потому и определил: подвергнуть их смертной казни расстрелянием…»

В перечне фамилий всех осужденных, начиная с Петрашевского и кончая Пальмом, под номером восьмым значилась хорошо знакомая Чернышевскому фамилия «приватного слушателя Санкт-Петербургского университета Александра Ханыкова (23-х лет)».

Встречи и дружеские беседы с Ханыковым были свежи в его памяти. Ведь именно от Ханыкова услыхал впервые Чернышевский о тех «элементах возмущения», которые должны были, по убеждению петрашевцев, сыграть свою роль в надвигающемся перевороте.

«Элементы эти, – говорил Ханыков, – раскольники, общинное устройство удельных крестьян, недовольство большей части служащего класса и многое другое».

Ханыков горячо и убежденно доказывал Чернышевскому, что революция в России вполне осуществима и что, может быть, недолго придется ее дожидаться Он с такой ясностью обрисовывал распад и разложение загнивающего крепостнического строя, внутреннюю слабость царского правительства, стремившегося всеми силами держать народ в оцепенении и немоте…

«Крушение неизбежно и близко, – сказал Ханыков в одно из свиданий с Чернышевским. – Можно ли предупредить землетрясение? Помните, как говорит Гумбольдт в «Космосе»: «Этот твердый неподвижный Boden (грунт), на котором стояли, в непоколебимость которого верили, вдруг видим мы, волнуется, как вода»?»

В эти дни Чернышевский записал в дневнике, что на вечере у Введенского, где он был, с возмущением рассказывали о расправе над петрашевцами. Здесь он с радостью узнал, что не Ханыков, как это говорили ранее некоторые, а Пальм унизил себя публичным раскаянием.

X. «Неодолимое ожидание революции…»

В середине января 1850 года Чернышевский был подвергнут «аресту» инспектором университета Фицтумом за то, что явился в университет без шпаги и шинель его была расстегнута.

Оставшись в сборной, куда ему приказано было явиться, Чернышевский, чтобы отвлечься, занялся при свете свечи своим дневником, с которым не расставался в последнее время Ему захотелось взвесить свой теперешний образ мыслей и, сопоставив с прежними мнениями, очертить его возможно полнее.

Как далеко вперед шагнул он, освобождаясь мало-помалу от противоречий и предрассудков, еще так недавно стеснявших его мысль! В самом деле, примерно год тому назад, когда он, двадцатилетний юноша, уже считал себя «партизаном социалистов и коммунистов», он все-таки продолжал питать иллюзии, что, может быть, мыслима на путях общества к свободе и равенству диктатура или даже наследственная неограниченная монархия, ратующая за низший класс земледельцев и работников, защищающая их интересы.

Он был тогда еще так наивен, что представлял себе подобную монархию стоящей над классами и якобы созданной для защиты утесняемых.

Эта власть, казалось ему, должна сама отчетливо сознавать, что она лишь средство, а не цель, и что развитие общества, которому она будет всемерно содействовать, неизбежно приведет к ее же уничтожению. Так, грезилось ему, будет построен рай на земле.

Теперь, по прошествии года, самая мысль о подобной возможности представлялась ему вздорной и фантастической. Вспомнив все это, он раскрыл дневник и стал писать мелким сжатым почерком, прибегая к шифру, с помощью которого ему удавалось с необыкновенной быстротой заносить свои мысли на бумагу.

«…Теперь я решительно убежден в противном – монарх, и тем более абсолютный монарх, – только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежащее к ней. Это все равно, что вершина конуса аристократии…

Итак, теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше: пусть народ не приготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится…»

Сознавая, что с падением крепостнической монархии все

классовые противоречия еще более будут обнажены, Чернышевский продолжал: «Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетаемые сознают, что они угнетаемы при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетаемы… Вот мой образ мысли о России: неодолимое ожидание близкой революции и жажда ее, хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д. – что нужды? Человек, не ослепленный идеализацией, умеющий судить о будущем по прошлому и благословляющий известные эпохи прошедшего, несмотря на все зло, какое сначала принесли они, не может устрашиться этого; он знает, что иного и нельзя ожидать от людей, что мирное, тихое развитие невозможно. Пусть будут со мною конвульсии, – я знаю, что без конвульсий нет никогда ни одного шага вперед в истории. Разве и кровь двигается в человеке не конвульсивно? Биение сердца разве не конвульсия? Разве человек идет не шатаясь? Нет, с каждым шагом он наклоняется, шатается, и путь его – цепь таких наклонений. Глупо думать, что человечество может итти прямо и ровно, когда это до сих пор никогда не бывало».

Охваченный желанием привести эту замечательную мысль к математической ясности и наглядности, он тут же порывисто начертил три горизонтальные линии: одну – подобную лезвию зубчатой пилы, под нею другую, совершенно прямую, и еще ниже – третью, изломанную и неровную, изображающую взлеты и падение, подъем и упадок.

«Хорошо, – говорил он себе, – если путь человека и человечества мы могли бы уподоблять первой из этих трех линий (прямым он не бывает никогда), а чаще его можно представить себе лишь как третью начерченную здесь линию…»

Как только достигли Саратова слухи и пересуды о деле Буташевича-Петрашевского и его сподвижников, Николай Гаврилович стал получать из дому тревожные письма.

Сначала родители косвенными расспросами старались дознаться: не причастен ли кто-нибудь из товарищей их сына к этой истории? Не нарушен ли ход занятий в университете? Каков круг знакомств Николеньки? С кем он общается? У кого бывает? С кем особенно близок? Чем заполнены его дни?

Словно чувствовало беспокойное сердце матери, что не все уж так ладно и гладко идет у сына, как ей хотелось бы и как изображает он в письмах домой. Но сын успокаивал ее: «О своих занятиях я не знаю, что Вам написать, милая маменька; больше

всего это мелкие занятия по университету. Иногда нужно бывает несколько приготовиться к лекции, иногда поправить или переписать записанное на лекции. Если я не писал вам ничего о своих знакомствах, милая маменька, то это потому, что новых ни одного нет, а о старых писал я вам тогда, когда начинались они, когда я был в первом или во втором курсе. Чаще всех видаюсь я с В.П. Лободовским и А.Ф. Раевым». (О знакомстве с петрашевцами – Ханыковым, Дебу, Толстовым, даже и о Введенском, – конечно, ни звука.)

Фамилия студента Филиппова, мелькавшая в прежних письмах Николая Гавриловича к родителям, заставила их особенно насторожиться, как только известен им стал из столичных газет приговор по делу петрашевцев, в котором фигурировал между прочими студент Петербургского университета Филиппов.

Это оказался лишь однофамилец однокурсника Чернышевского. «Я виноват, – писал Чернышевский родителям, – что еще не отвечал Вам, милый папенька, на вопрос Ваш о Филиппове, студенте здешнего университета, замешанном в деле Петрашевского. Лично я его не знал; кто знал, говорят, что он много занимался естественными науками и некоторые (например, геогнозию и минералогию) знал чрезвычайно хорошо (он шел по естественному факультету)».

Раз уж зашла речь о «заговоре», надо было сказать и о нем, сдержанно, правда, и поневоле весьма осторожно:

«Говорят тоже, не знаю только, интересно ли Вам будет знать это, что замешался он в это дело потому, что был в коротком знакомстве с другими обвиняемыми, что его выпустили бы, как совершенно ни в чем не виновного, если бы у него не был такой горячий характер; он, раздраженный тем, что без вины сидел несколько месяцев в крепости, слишком дерзко отвечал судьям, то-есть не отвечал, а укорял или слишком горячо упрекал их в неосмотрительности, и поэтому был сочтен очень опасным человеком…»

И, как бы спохватываясь, что он посвящен в такие подробности дела (где же, как не в кружке Введенского?), скромно добавляет: «Не знаю, правда ли это, или он в самом деле участвовал в чем-нибудь. Да никто почти не знает и того, было действительно что-нибудь, в чем бы можно было участвовать… Вообще здесь об этом деле очень мало говорили, то-есть, кроме тех, у кого были тут замешаны знакомые, никто и не говорил и не думал, потому что считали это все слишком пустым шумом. В провинциях, должно быть, думали, что тут есть что-нибудь серьезное, потому что приезжие обыкновенно спрашивали: «Ну

что тут было у вас?» Иной просто отвечает: «А что такое? Я ничего не слыхал», – и в самом деле он или не слыхал, или уже успел позабыть. Вообще было это дело, не заслуживающее внимания. Кажется, жалели, что и подняли шум из-за него; но раз поднявши шум, разумеется, уже нельзя же было кончить ничем…»

И сыну саратовского купца Полякова, приехавшему тогда в Петербург и доставившему Николаю Гавриловичу посылку от родных, точно так же силился он представить «дело Ханыкова и компании», как не заслуживающее внимания. Но сам почувствовал, что версия такая показалась Полякову неубедительной («кажется, заслужил его недоверие»)

Это показное спокойствие совсем не вяжется с той короткой гневной записью в дневнике, помеченной 25 апреля 1849 года, когда Чернышевский узнал об аресте петрашевцев. Все возмущение произволом, накипевшее у него тогда на душе, вылилось в одной фразе о шефе жандармов Орлове и управляющем Третьим отделением Дуббельте, которых он назвал скотами, достойными виселицы.

XI. Окончание университета

Чернышевскому предстояло решить не туманный вопрос о далекой будущности, а простой, обыденный вопрос о месте по выходе из университета: оставаться ли в Петербурге, или ехать в Саратов и поступать там служить?

Твердое намерение «пойти по ученой части», принятое им вскорости после переезда в Петербург, оставалось с тех пор неизменным, но все еще далеко не ясно было, каким образом удастся осуществить его Настолько не ясно, что Чернышевский затруднился за полгода до начала выпускных экзаменов ответить на вопрос матери, каковы же его «виды и отношения в Петербурге» и что предполагает он делать в ближайшем будущем.

Подошло время выпускных экзаменов. За неделю до них Чернышевский получил известие, что в Саратове освободилось место учителя гимназии. Получение этого известия положило начало длиннейшей истории, тянувшейся почти целый год и приведшей в конце концов к тому, что Чернышевский в 1851 году очутился в Саратове на месте покойного Волкова учителем словесности в тамошней гимназии.

Мысли его были уже далеки от университета. Глубоко и по-настоящему его волновало совсем иное. Живая, горячая вера в будущее и крепнувшая воля к действию все более и более сливались воедино. В нем созревали широкие замыслы, начинала бить ключом надежда на неизбежное и близкое пробуждение закабаленного, обманутого народа.

Вериги векового рабства не спадут сами собою – их надо сбросить. Право на свободное и разумное развитие не явится само собою – его надо отвоевать.

Вот почему в тех случаях, когда ему доводилось говорить на эти темы с людьми из народа, он старался внушить им мысль, что добром они ничего не получат, что должно добиваться силою.

В таком именно духе толковал он с крестьянином, нашедшим наконечник ножен его шпаги, с солдатом, переезжавшим с ним в одной лодке через Неву, с извозчиком, который вез его однажды поздним февральским вечером 1850 года на Петербургскую сторону к Иринарху Ивановичу Введенскому.

Его заветные желания и надежды личного свойства все теснее сливались с мыслями о благе народа и родины.

Размышляя тогда о своем будущем, он уже угадывал в общих чертах, как оно сложится после университета и поездки в Саратов. «…Через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны…»

Теперь, в дни выпускных экзаменов, на пороге иной, новой жизни, он еще острее чувствовал, что политика главенствует над всеми его помыслами и интересами, что она становится в самом центре его внутреннего мира.

В толпе врагов, в кругу друзей,
Среди воинственного шума
У верной памяти моей
Одна ты, царственная дума.

Ему захотелось напомнить о себе другу ранней университетской поры – Михайлову. «…Кончаю курс, остаюсь здесь служить или делать что попадется под руки… Скорее всего достану где-нибудь учительское место. Если нет, принимаюсь писать и переводить…

С самого февраля 1848 года и до настоящей минуты все более и более вовлекаюсь в политику и все тверже и тверже делаюсь в ультрасоциалистическом образе мыслей».

Теперь он уже бесповоротно укрепился в своем революционном мировоззрении. Отвращение к крепостническим порядкам, к социальному неравенству, революционные настроения, питаемые окружающей обстановкой, привели его постепенно к убеждению в необходимости способствовать всеми силами и всеми средствами подготовке переворота в России. Наряду с сочувствием социально-утопическим теориям у молодого Чернышевского выкристаллизовалось понимание важнейшей роли борьбы классов, как движущей силы истории. В осознании этого, как и в готовности к действию, уже и тогда сказывалось его огромное преимущество над теми, кто не шел дальше отвлеченных мечтаний о грядущем «золотом веке».

Замечательно, что уже тогда возникал у него план устройства тайного печатного станка, на котором он будет печатать – придет время – призывы к восстанию крестьян, чтобы расколыхать народ, дать широкую опору движению возмущенной массы. Он понимал, что осуществление этих планов не так близко. Это будет тогда, когда он поселится в собственной квартире, когда будет свободно располагать деньгами. Но он уже ощущал в себе и сейчас силу решиться на это и не пожалеть, если даже придется погибнуть за это дело. В мае 1850 года Чернышевский писал в своем дневнике, что по отношению к самодержавию он чувствует себя «так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой…»

Университетская пора его жизни окончилась. Из робкого, застенчивого мальчика, каким он явился в Петербург четыре года тому назад в сопровождении матери, Чернышевский превратился в двадцатидвухлетнего юношу с необыкновенно богатым внутренним миром и широким кругозором. Начитанности его мог бы позавидовать любой ученый. При этом ученость его была не отвлеченной, не схоластической, а, напротив, тесно связанной с жизнью. Не ученость для учености, а животрепещущая мысль, вооруженная знаниями, пытливо исследующая прошлое для настоящего и будущего. «Полнее сознавая прошедшее, – говорит Герцен, – мы уясняем современность, глубже опускаясь в смысл былого, раскрываем смысл будущего…»

Чернышевский стал собираться в Саратов, чтобы повидать родных. Четыре года тому назад, при поступлении в университет, его радовало, что вот он облачится в студенческую форму, а теперь он чувствовал облегчение, расставаясь с нею, меняя ее на штатское платье и с удовольствием рассматривая свои покупки: пальто, манишку, галстук, перчатки и фуражку.

15 июня утром он выехал с дилижансом, отправлявшимся из Петербурга в Москву; далее предстояло путешествие до Саратова на перекладных.

Двухдневная остановка в Москве позволила ему навестить семью Клиентовых, в доме которых Чернышевские останавливались в 1846 году по пути в Петербург. У него осталось тогда самое отрадное впечатление от поездки в Троицкую лавру в обществе Александры Григорьевны. Теперь он узнал, что вскоре после того на семью Клиентовых обрушилось несчастье: одна за другой умерли три сестры Александры Григорьевны… Одна из них, Антонина, была кумиром всех сестер, ценивших ее поэтический дар. В памяти Чернышевского навсегда осталось стихотворение Антонины Клиентовой «Там, где липа моя…» Много лет спустя он вспомнил это стихотворение, когда писал в каземате Петропавловской крепости «Повести в повести». Приведя в одном из отрывков повести несколько строф этого стихотворения, он говорил о силе скорби, проникающей их, и вспоминал о молодой жизни, увядшей без радости и без любви, посреди обыденщины и скуки.

Об Александре Григорьевне он неожиданно для себя узнал теперь, что она была связана в юности узами теснейшей дружбы с будущей женою Герцена, Наталией Александровной. Заговорили они об этом случайно, когда Чернышевский увидел на столе у Александры Григорьевны роман «Кто виноват?», подаренный ей женою автора.

– Вы знаете его? – спросила Чернышевского обладательница

книги.

– Каи же не знать… – ответил он с энтузиазмом. – Я его уважаю, как не уважаю никого из русских, и нет вещи, которую я не был бы готов сделать для него…

Александра Григорьевна показала ему письма своей подруги детства с приписками автора «Кто виноват?». Перебирая письма, она заметила: «Я хотела показать вам, что она достойна его». – «Помилуйте, Александра Григорьевна, – отвечал он, – для того, чтобы быть в этом уверену, довольно было знать, что она – ваш друг…»

Чувство дружбы и сострадания к Александре Григорьевне с новой силой пробудилось тогда в душе Чернышевского, и, вспоминая о своем прежнем намерении именно ей посвятить свой первый литературный опыт, он начал по приезде в Саратов писать о ней повесть, озаглавленную им «Отрезанный ломоть». Название возникло из жизни. Это образное определение унизительного положения женщины, которую родителям удалось *пристроить* замуж, Чернышевский запомнил по очень давним своим разговорам с Лободовским. В этом уподоблении, как в капле воды, отразилось все уродство социальных условий, обрекавших тогда женщин на жалкую роль чуть ли не вещи, сбываемой с рук. После первой встречи с Александрой Григорьевной Чернышевский в Петербурге нередко вспоминал о ней. Вот, например, как передавал он в дневнике одну из многочисленных бесед с Василием Петровичем о его браке: «Снова говорил в ее (Надежды Егоровны. – *Н. Б.*) пользу; привел, как дурно обходится отец с Александрой Григорьевной. «И с Надеждой Егоровной, умрите вы, то же будет – взять к себе возьмут, потому что не взять неприлично, но принуждена будет итти в служанки». – «Да, – говорит он (Лободовский), – сам (то-есть тесть, разумеется. – *Н. Б.*) говорит – *отрезанный ломоть…»*

Отрывочная запись этого разговора дает нам возможность ясно представить себе, каков был замысел утраченной повести молодого Чернышевского, которую он мечтал напечатать в «Отечественных записках» и от которой, как и от повести «Теория и практика», протянуты нити к роману «Что делать?».

Позднее мы увидим, как созвучна тема «Что делать?» темам публицистических очерков друга Чернышевского, М.Л. Михайлова, напечатанных в «Современнике». На это указывает и Герцен в статье «Порядок торжествует» (1866 г.): «Стоя один, выше всех головой, середь петербургского брожения вопросов и сил, середь застарелых пороков и начинающихся угрызений совести, середь молодого желания иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решил схватиться за

руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся, *что им делать?»*

Герцен подчеркнул глубокое общественное значение темы романа, указав, что «Чернышевский и Михайлов и их друзья первые в России звали не только труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унизительного несовершеннолетия, от жизни на содержании, и в этом – одна из величайших заслуг их. Пропаганда Чернышевского была ответом на *настоящие* страдания, словом утешения и надежды гибнущим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход…»

Мы заглянули далеко вперед – очерки Михайлова и знаменитый роман Чернышевского были написаны в шестидесятые годы, явившиеся кульминационным пунктом их бурной и плодотворной революционной деятельности. А в описываемое время оба они только готовились к ней, делали лишь первые попытки вступить на этот путь. Но характер всей последующей деятельности шестидесятников, духовным вождем которых стал Чернышевский, выступит перед нами отчетливее и яснее, если мы проследим шаг за шагом, как зарождались его юношеские верования и убеждения, что подготавливало и укрепляло их. Еще в студенческие годы Чернышевский хотел изобразить в повести «Теория и практика» человека, жизнь и поступки которого ни в чем не расходились бы с теориею, то-есть с убеждениями и взглядами. Эта характерная особенность, эта главная отличительная черта *новых людей* (а им-то и посвящен роман Чернышевского) была в сильнейшей степени присуща ему самому еще с юношеских лет. Даже мир его интимных переживаний, область его личной жизни не составляли исключения из этого правила. Чернышевский остался верен ему до конца.

«Разбирать слова людей полезно, чтобы узнавать их мысли, – писал он сыновьям из вилюйской ссылки. – Но наука дает нам другое средство узнавать мысли людей, – средство более верное и несравненно более могущественное. Это – анализ дел человека».

Когда юноша Чернышевский был влюблен в Надежду Егоровну и думал, что чахотка может внезапно оборвать жизнь его друга Лободовского, он готов был, если бы понадобилось, на фиктивный брак с нею, чтобы только дать ей возможность не возвращаться под опеку и власть отца, считавшего ее «отрезанным ломтем».

И вот теперь Александра Григорьевна… Это уже не чета жене Лободовского. Уровень ее развития был неизмеримо выше. Он

говорил с нею о Герцене, о русской литературе, об иллюзорности надежд на провидение, о новой философии… И она без труда понимала его.

«Я говорил постоянно с энтузиазмом к ней», – отмечает в дневнике Чернышевский и спрашивает себя: «Что побуждало этот энтузиазм? Конечно, главным образом, ее несчастная участь, которую хочу теперь описать в повести… («Отрезанный ломоть». – *Н. Б.*) «Ты не должна любить другого, нет, не должна; ты мертвецу святыней слова обручена», – вот что, – это доходило до того, что я, пожалуй, готов был жениться сам на ней, лишь бы избавить ее от этого положения».

Расставаясь с нею, он сказал: «Конечно, я, может быть, никогда не буду иметь случая доказать на деле то, что я говорю вам, Александра Григорьевна, но вы всегда можете требовать от меня всего – я все готов для вас сделать; я не знаю, почему это, но ни к кому никогда не чувствовал я такого сильного расположения, как к вам».

Это уже язык объяснений…

Но, видимо, не суждено было подруге детства Наталии Герцен соединить свою судьбу с судьбою будущего автора «Что делать?», хотя на возвратном пути из Саратова в Петербург он опять остановился в Москве, виделся с нею несколько раз, часами бродил с нею по Никитскому и Пречистенскому бульварам и снова сказал на прощанье, что посвятит ей первое, что напечатает…

Еще по пути к родному городу Чернышевский думал о том, что хорошо было бы избегнуть вовсе разговора с отцом о «деликатных», как он сам выразился, предметах (о религии, правительстве и т. д.). Но ему даже не пришлось прибегать ни к каким ухищрениям: отец, с присущим ему тактом, не стал ни о чем расспрашивать сына и касаться острых тем. Заметив это, Чернышевский сам осторожно затрагивал иногда «запретные» темы и убедился в том, что мог «высказать довольно много», ибо Гавриил Иванович был, повидимому, не слишком сведущ в этих вопросах и не мог ясно уразуметь всей глубины коренных изменений во взглядах и убеждениях сына.

Но вне дома, среди знакомых, среди товарищей по семинарии Николай Гаврилович держался свободнее, прямее и с увлечением распространял свои заветные мысли. Одному из старших современников Чернышевского, настроенному весьма реакционно, хорошо запомнилось содержание беседы с ним, возникшей при первой же их встрече летом 1850 года.

«…С первого же взгляда на него, – пишет этот мемуарист, – я не мог не заметить большой перемены: вместо легкой

согбенности стан выпрямился; взор открытый, руки в движении; есть что-то размашистое, признаки какой-то удали. Жмем друг другу руки, целуемся; сели.

Вижу, дорогой мой гость довольно быстрым взором осматривает мое скромное жилище и как будто чего-то ищет. Наконец нашел то, с чего хотелось бы ему начать речь, которая сразу дала понять, что Чернышевский уже не тот незрелый юноша, которого я знал.

– Что это, Иван Устинович, вы все попрежнему живете? (При этом рука моего гостя указала на икону, занимавшую передний угол моей комнаты.)

– Попрежнему, – отвечал я.

– И за Николая Павловича молитесь?

– Молюсь.

– И свечки нерукотворному ставите?

– Ставлю.

– Да перестаньте жить «по преданьям старины глубокой», – заметил Чернышевский своему собеседнику. Затем он стал горячо убеждать его в том, что наука в близком будущем вытеснит из сознания людей религиозные предрассудки. – Люди будут признавать за истину только то, что проверено опытом, – заключил он свою мысль.

Выслушав эти слова, знакомый Чернышевского заметил:

– Неужели, скажите, пожалуйста, таким светом просвещает вас Санкт-Петербургский университет?

– Может ли что добро быть от этого Назарета? – отвечал Чернышевский. – Там читают по засаленным тетрадкам. Если пошло на откровенность, то скажу вам, что теперь еще нет настоящего света; светятся огоньки, подобные блуждающим огонькам на болоте. Мы соберем эти огоньки в один фокус, из которого разольется свет по всей подсолнечной. Но вы, пожалуйста, не передавайте нашего разговора в простоте верующему Гавриилу Ивановичу; чего доброго, он оставит меня в глуши саратовской, а «мне душно здесь, я в лес хочу»…

Запомнился молодой Чернышевский и декабристу А.П. Беляеву, жившему в то время в Саратове после отбытия каторги в Сибири и службы рядовым на Кавказе. Впоследствии, еще при жизни Чернышевского, уже вернувшегося в Астрахань из вилюйского заточения, Беляев напечатал в одном из журналов свои мемуары, где, между прочим, была отмечена встреча его с Чернышевским в Саратове в 1850 году…

Прожив на родине месяц, Чернышевский стал готовиться к отъезду в Петербург.

Возвращался он не один: вместе с ним ехал Александр

Пыпин, который пробыл год в Казанском университете и решил теперь перейти в Петербургский. Путь их лежал через Казань, где Пыпину надлежало выправить документы по переходу из университета.

Ехали на простой телеге, меняя лошадей на больших станциях. Невзирая на решительные возражения сына, Евгения Егоровна уложила в телегу обильные запасы сластей, грецких орехов и банок с вареньем. Она была грустна, расставаясь со своим любимцем. Усевшись рядом с ним на телеге, она сказала: «Вот как прекрасно, так бы и поехала с вами до Москвы; ничего, решительно ничего, прекрасно и спокойно…»

«…В ней было так много грусти, сожаления, что мне стало жалко, и я сам сидел в каком-то онемении, – писал в дневнике Чернышевский. – Наконец расстались со слезами на глазах. Едва отъехали мы от того места, где расстались, на две версты… и мне стало более не видно наших, на которых я постоянно смотрел, пока было видно, как я понял свою подлость, бесчувственность, что оставляю своих в Саратове в одиночестве, что, как негодяй, покидаю маменьку в жертву тоске, – и я раскаялся, и мне стало так, что хоть бы сейчас воротиться назад… Я думал, думал об этом две первые станции, и в моей голове созрела мысль хлопотать в Казани о назначении меня учителем в Саратовскую гимназию, как это я сделал раньше в Петербурге, и это меня успокоило, как будто я получил уже это место; но пока я дошел до этого решения, я был грустен, сердце мое сжималось, теперь я успокоился. «Что можно будет сделать, – сказал я, – я сделаю, и если не ворочусь в Саратов, это будет уж не моя вина, а вина невозможности…»

В Нижнем Новгороде они остановились у Михайлова, который был чрезвычайно обрадован встречей с Чернышевским после долгой разлуки. Он с воодушевлением пустился в воспоминания о петербургской жизни, рассказал, как сначала по приезде в столицу он жил на широкую ногу, сняв квартиру на Невском у француза, своего прежнего гувернера, и как потом мало-помалу дела его ухудшались: с Невского пришлось перебраться на Гороховую, а затем спускаться все ниже, ниже, к самому концу Вознесенского проспекта; как после смерти отца, когда прекратились денежные подкрепления, он вынужден был оставить университет, покинуть Петербург и перебраться на жительство в Нижний.

Здесь у него нашелся дядя, советник Соляного управления, и молодой поэт в начале 1848 года благодаря дядюшке был принят туда на службу писцом первого разряда. Через два года он был произведен в коллежские регистраторы и теперь исправлял уже

должность столоначальника, но чиновничья служба и беспросветные провинциальные будни не убили в Михайлове поэтических стремлений и литературных интересов. Он продолжал писать, переводить; от времени до времени его произведения появлялись то в местной газете, то в «Москвитянине».

Нижегородская жизнь дала Михайлову богатую пищу для сатирических сцен и бытовых повестей.

В это свидание с Чернышевским и Пыпиным, прожившими у него два дня, Михайлов прочел им свои комедии «Тетушка», «Дежурство» и начальную главу повести «Адам Адамыч», которая по напечатании принесла ему вскоре известность, что позволило ему через два года бросить службу в Соляном управлении и снова перебраться в Петербург, чтобы целиком посвятить себя литературе и революционной деятельности.

Желая как можно скорее вытянуть друга из провинциальной тины, Чернышевский стал развивать перед ним проект переезда в Петербург, с тем чтобы тот, выдержав испытательные экзамены, получил бы с помощью Введенского место преподавателя в военно-учебных заведениях.

Уезжая из Нижнего, Чернышевский захватил с собою беллетристические произведения Михайлова, чтобы ознакомить с ними кружок Введенского и пристроить некоторые из них в журналах. Последнее так и не удалось ему тогда из-за «свирепой цензуры», но комедия «Тетушка» действительно была прочтена на вечере у Введенского и произвела самое благоприятное впечатление на слушателей.

До Москвы двоюродные братья добрались в бричке и, остановившись здесь на несколько дней, позаботились о приобретении билетов до Петербурга на «наружных» местах в дилижансе. Таких мест было всего два – в особой колясочке по соседству с кондуктором, впереди дилижанса. Они были открытыми и потому наиболее дешевыми.

В пути Николай Гаврилович рассказывал Александру Пыпину об университете, о своих друзьях, о профессорах, читал будущему слависту наизусть стихи Мицкевича, отрывки из Краледворской рукописи, тут же переводя и объясняя их. Рассказы прерывались шутками и шалостями. Так длилось это путешествие двое суток, с остановками для перемены лошадей, для чая и обеда. Они проезжали мимо сел, деревень, городов, лежавших на пути от Москвы к Петербургу.

11 августа Чернышевский и Пыпин прибыли в столицу и поселились у Терсинских. Уже на следующий день Николай Гаврилович, повидавшись с Введенским, принялся деятельно

хлопотать об устройстве на место учителя в одном из военноучебных заведений столицы. Прежде всего надлежало «выдержать» пробную лекцию перед комиссией учителей и инспекторов военноучебных заведений на две заранее предложенные темы. Чернышевскому назначили: из грамматики – «О способах сочетания предложений» и из словесности – «О том, содействует ли теория словесности искусству писать, и в какой степени».

Он тщательно подготовился к лекциям, привлекши наиболее важные исследования по данным темам. Характерно, что он стремился построить «трактат» по теории словесности на основе материалистической философии, и выступление его от начала до конца, по собственному его признанию, было проникнуто этим духом.

Запись лекции не уцелела, но из письма Чернышевского к Михайлову (конца 1850 года) можно заключить, что в основу ее были положены статьи Белинского из «Отечественных записок».

Не обинуясь, можно сказать, что эта лекция Чернышевского по теории словесности явилась в какой-то мере прообразом его знаменитой диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности».

Выступая 15 сентября 1850 года перед преподавателями и профессорами военноучебных заведений – а их собралось в тот вечер до двадцати человек, – Чернышевский приготовился решительно и смело подвергнуть острому анализу и критике обветшалые, реакционные теории искусства. Однако Чернышевскому не дали закончить лекцию, признав начало ее превосходным, и поэтому ему уже невозможно было развернуть во всей широте набросанную им картину исторического развития искусства и литературы. «Все это, – с молодым задором писал он тогда же своему другу. – было пересыпано гимнами Ж. Санд, Диккенсу, Гейне и Гоголю (то-есть *социальному роману и социальной поэзии. – Н. Б.*); но, к счастью, – добавляет он иронически, – дело до этого не дошло…»

И действительно, если бы выступление Черныщевского было доведено до конца, то уж, конечно, он не заслужил бы одобрения слушателей.

Воспоминания Александра Николаевича Пыпина о первой поре его пребывания в Петербурге, написанные вообще с оглядкой и осторожностью, свойственной либералам, отчасти передают все же атмосферу, в которой он очутился с осени 1850 года. Чрезвычайно интересна в них одна деталь, показывающая, что разгром петрашевцев не ослабил стремлений молодого поколения знакомиться с социалистическими учениями.

Живя в одной квартире с Чернышевским, Пыпин был невольным свидетелем тех «недозволенных» способов, с помощью которых его старший брат расширял свой кругозор. «То, что читали в кружке Петрашевского, – вспоминал Пыпин, – продолжали читать и теперь, конечно, только с гораздо большею осторожностью. Я сам имел в руках эти книги, но досконально их не читал: вопросы экономические меня не интересовали… Около этого времени в Петербурге, как мне говорили, очень широко обращалась эта социалистическая иностранная литература, конечно, строго запрещенная. Один книгопродавец, Лури, вел торговлю этой контрабандой даже очень неосторожно и, уличенный в ней, был сослан из Петербурга. Но эта ссылка не остановила контрабанды. Я очень хорошо помню особого рода букинистов-ходебщиков – тип, с тех пор исчезнувший… Эти букинисты, с огромным холщовым мешком за плечами, ходили по квартирам известных им любителей подобной литературы (через которых находили и других любителей) и, придя в дом, развязывали свой мешок и выкладывали свой товар: это бывали сплошь запрещенные книги, всего больше французские, а также немецкие… Один такой букинист прихаживал и к нам…»

Занятый хлопотами об устройстве на место преподавателя в кадетском корпусе, Чернышевский забыл и думать о том, что в недрах канцелярии попечителя округа лежит его заявление о предоставлении места в Саратовской гимназии. Казалось, все устроилось само собою так, что в Саратов он не вернется, а останется в Петербурге; но в один из сентябрьских дней, когда он зашел за книгами в университетскую библиотеку, его увидал инспектор Фицтум и оказал:

– Где ваш адрес? Приходите в канцелярию попечителя завтра же.

Чернышевский думал, что дело касается перевода Александра Пыпина из Казанского университета, и был буквально ошеломлен, услышав от Фицтума:

– Вы просите себе места в Саратове? В канцелярии получена бумага, что место имеется.

Известие это отнюдь не обрадовало Чернышевского. Желая, вероятно, усложнить и затянуть дело, он заявил попечителю, что не имеет средств для переезда в Саратов, и, кроме того, поставил непременным условием своего перехода на службу в Саратов освобождение от вторичного экзамена, надеясь, что попечитель не согласится на выдвинутые им условия. Потому в письмах к родителям он «расписал», что обязательно возьмет место в Саратове, если примут условия. А сам между тем согласился на предложенное ему место во 2-м Петербургском кадетском

корпусе.

«Конечно, – признавался он самому себе в дневнике, – я писал это более потому, что думал, что условия будут не приняты, потому что странное имеет влияние петербургская жизнь и ужасную силу имеет правило: с глаз долой – и из памяти вон. Когда был в Саратове, жалко было расстаться со своими, а как приехал в Петербург да обжился в нем несколько, так жаль стало расстаться с ним, потому что, как бы то ни было, все надежды в нем, всякое исполнение желаний от него и в нем… Да, страшное дело эта мерзкая централизация, которая делает, что Петербург решительно втягивает в себя, как водоворот всю жизнь нашу! Вне его нет надежд, вне его нет движения ни в чинах, ни в местах, ни в умственном и политическом мире».

XII. Учитель словесности в саратовской гимназии

Вопреки ожиданиям Чернышевского условия были приняты попечителем, и в январе 1851 года последовал приказ об определении его на должность учителя словесности в Саратовскую гимназию.

Все пути к отступлению были отрезаны, и 12 марта, дождавшись попутчиков – уроженцев Симбирска Д.И. Минаева (ехавшего служить в Симбирск) и тамошнего учителя Н.А. Гончарова (брата романиста), Чернышевский выехал с ними в повозке Гончарова на родину.

Первый из попутчиков был уже довольно хорошо знаком ему по кружку Введенского, где они часто встречались за последние месяцы пребывания в Петербурге. Дмитрий Иванович долгие годы провел на военной службе, дослужился до чина подполковника, затем вышел из строевой службы и стал военным чиновником. Любя литературу и живопись, он отдавал весь свой досуг рисованию и литературным опытам, писал и печатал иногда стихи в «Библиотеке для чтения», в «Иллюстрации», переводил, сочинял повести и драмы в романтическом вкусе и выпустил отдельной книгой свое переложение «Слова о полку Игореве».

Он был лет на двадцать старше Чернышевского и тем не менее относился к юноше с нескрываемым уважением.

Сын Дмитрия Ивановича, известный впоследствии поэт-сатирик, учился в это время в одном из военно-учебных заведений – Дворянском полку, где русскую литературу преподавал Иринарх Введенский. Посещая кружок Введенского, Дмитрий Иванович не скрывал своих политических симпатий к петрашевцам, по делу которых привлекался в свое время к допросу.

Познакомившись здесь с Минаевым, Чернышевский не раз имел случай убедиться в том, что Дмитрий Иванович хотя и не слишком хорошо разбирался в социально-политических теориях, но инстинктивно тянулся к проповедникам революционных идей.

Однажды Чернышевский был свидетелем того, как Минаев среди многолюдного общества, собравшегося у Введенского, «рассказывал о жестокости и грубости царя и говорил, как» бы хорошо было бы, если бы выискался какой-нибудь смельчак, который решился бы пожертвовать своей жизнью, чтоб прекратить его».

Нельзя отказать в смелости Минаеву, если принять во

внимание, что эта речь о цареубийстве произносилась вскоре после расправы над петрашевцами.

Кончилось это собрание у Введенского чтением статей Герцена. После этого Чернышевский сам посетил Минаева и с интересом слушал рассказы Дмитрия Ивановича, хорошо знавшего жизнь военной среды и провинциальных чиновников. По просьбе Минаева Чернышевский тогда же достал и отнес ему роман Герцена «Кто виноват?».

Идеи Герцена были светильником для передовой русской интеллигенции в темной ночи николаевской реакции после разгрома кружка петрашевцев.

Оказавшись теперь попутчиками, Чернышевский и Минаев «дорогою рассуждали между собою о коммунизме, волнениях в Западной Европе, революции, религии». Передавая характер этих дорожных разговоров, Чернышевский отмечает, что он рассуждал об этих вопросах с позиций убежденного сторонника материалистической философии и социалистических идей, а о Минаеве говорит, что он показался ему «человеком еще лучше того, чем раньше, – человеком с светлым умом и благородною душою, я имел, – говорит Чернышевский, – на него, как мне кажется, довольно большое влияние своими толками о Штраусе[14] и коммунизме». И хотя собеседник Чернышевского был почти вдвое старше его, убежденность юноши неотразимо подействовала на него; к концу совместного путешествия Чернышевский мог сказать: «Он теперь причисляет себя к коммунистам, хотя, может быть, и не понимает хорошо, куда они хотят итти и какими путями».

Эти беседы с Минаевым, разговоры с Александрой Григорьевной, краткая, но выразительная запись в дневнике – «распространяю здесь довольно много свои мысли», – запись, относящаяся ко времени пребывания его летом 1850 года в Саратове, участие в спорах, происходивших в кружке Введенского, – все это рисует юного Чернышевского как неутомимого пропагандиста революционных идей, всецело захвативших его в последние годы пребывания в университете.

В Москве на этот раз останавливались лишь на несколько часов, так как надо было торопиться из-за близившейся с каждым днем и часом весенней распутицы. Последнее свидание Чернышевского с Александрой Григорьевной было поэтому очень кратковременным. Он, узнал, что единственная сестра ее вышла замуж, уехала из дому и одиночество Александры Григорьевны стало еще беспросветней. Прощаясь, он звал ее приехать в Саратов, хотя сам слабо верил в то, что она решится на это.

Остановка в Нижнем была еще более короткой. Не застав

Михайлова дома, Чернышевский не мог дожидаться его, несмотря на то, что ему очень хотелось поделиться мыслями и чувствами со своим другом.

Через полтора часа повозка Гончарова уже выехала на Казань. На второй станции после Нижнего ямщик смутил путников рассказами о том, как опасно ездить в такую пору, особенно по Кудыме – теплой речке, которая проела лед, и они просили его ехать шагом.

Прибыв к вечеру в Казань, путники тотчас же хотели перебраться на другой берег Волги, чтобы с утра спешить дальше. Но повозку через реку не пустили, принудив их ночевать на почтовом дворе и дожидаться утреннего заморозка. Переезд через реку в такое время года был так опасен, что только привычный человек мог совершить его, не теряя присутствия духа. К утру ветер разогнал облака и подсушил дорогу, затянув лужи тонким слоем льда. Ехали медленно, продвигаясь шаг за шагом, старательно объезжая полыньи и трещины, и с огромным трудом, наконец, добрались до ямщицкого двора на другом берегу реки.

Путь из Казани до Симбирска, затрудненный весенним разливом, тянулся двое суток. Первоначально Чернышевский предполагал, что последнюю часть пути, от Симбирска до Саратова, ему придется ехать одному, без спутников, но Минаев дорогою решил, что и он заедет в Саратов по каким-то своим делам. Симбирский почтмейстер присоветовал им задержаться в городе на несколько дней, чтобы переждать, пока спадет вода в мелких речках и переезд через них станет сносным. Они так и сделали, рассудив, что действительно лучше пробыть несколько суток в городе, нежели простоять в поле над каким-нибудь затопленным оврагом.

Наконец, в первых числах апреля после многодневного путешествия Чернышевский завидел очертания родного города, широко раскинувшегося над Волгой…

Он не сразу приступил к занятиям в гимназии, так как приехал в каникулярное время.

Из окон мезонина, где он поселился, видна была Волга во всей своей необъятной ширине, зеленый остров, левый берег реки с Покровской слободой и лесными чащами, темный мыс с деревенькой Увек…

В первые дни по приезде он, осмотревшись, возобновил старые знакомства, навестил товарищей по семинарии, посетил будущих сослуживцев.

В намерения его не входило обосноваться в Саратове на все время. Напротив, он с самого начала рассчитывал через год, через два вернуться в Петербург. Покидая столицу, Чернышевский

записал в дневнике, что возвратится туда уже степенным человеком, между тем как теперь многим он еще кажется слишком юным. Ведь вот, например, начальник Пажеского корпуса в ответ на просьбы Иринарха Ивановича о месте учителя для Чернышевского откровенно заявил Введенскому: «Как же можно принять такого молодого человека, который сам не старше своих учеников?»

Вероятно, этим же объяснялось и то, что ученики 2-го кадетского корпуса, куда он поступил незадолго до определения в Саратовскую гимназию, вели себя на его уроках «ужасно скверно».

Ни от родных, ни от друзей, ни от своих воспитанников не скрывал Чернышевский, что. Саратовская гимназия только переходный этап для него, что он поступил сюда ненадолго, что его настоящие надежды и чаяния не здесь, а в Петербурге.

Уже месяца через два после приезда на родину он писал Михайлову: «В Саратове я нашел еще большую глушь, чем нашли Вы в Нижнем. До сих пор я об этом, впрочем, мало тужу, потому что чем менее людей, тем менее развлечений, следовательно, тем скорее кончу свои дела, а кончивши их, потащусь в Петербург».

Перед отъездом Чернышевского в Саратов Срезневский взял с него слово, что и там он не оставит работы над словарем к Ипатьевской летописи, а затем, закончив Словарь, защитит диссертацию и посвятит себя университетской науке. Кроме того, Срезневский посоветовал ему познакомиться с адъюнкт-профессором Киевского университета, автором ряда выдающихся работ по русской истории – Николаем Ивановичем Костомаровым, жившим тогда в Саратове на положений ссыльного. Срезневский отзывался о Николае Ивановиче как о человеке большого ума и замечательных дарований.

Костомаров был арестован в Киеве в марте 1847 года за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве, мечтавшем о демократической федерации всех славян (в это братство входил и Тарас Шевченко). После годичного заключения в Петропавловской крепости Костомаров был выслан в июне 1848 года в Саратов, где ему пришлось прожить много лет.

Чернышевский по приезде на родину не замедлил посетить ссыльного профессора, числившегося на службе при губернском правлении в должности переводчика, хотя переводить, как он сам говорил, было нечего. Близко познакомившись с ним и с его матерью, Татьяной Петровной, бывшей крепостной, Чернышевский стал часто бывать у Николая Ивановича, проводя время в жарких спорах, в беседах на ученые темы, в игре в шахматы и в совместных прогулках по Саратову и его

окрестностям. Они видались почти ежедневно, бывая друг у друга на протяжении многих месяцев. Костомаров, как и Введенский, был значительно старше Чернышевского, – в пору их знакомства и сближения Костомарову шел уже тридцать четвертый год, – тем не менее обществом молодого учителя Саратовской гимназии он дорожил.

Много лет спустя, вспоминая об этом времени в «Автобиографии», Костомаров писал: «…судьба поставила меня с ним в самые близкие, дружественные отношения, несмотря на то, что в своих убеждениях я с ним не только не сходился, но был в постоянных противоречиях и спорах. Близость с ним сложилась в Саратове и продолжалась в Петербурге до тех пор, пока события по поводу студенческих демонстраций (в начале шестидесятых годов. – *Н. Б.*) не развела нас совершенно. Чернышевский был человек чрезвычайно даровитый, обладавший в высшей степени способностью производить обаяние и привлекать к себе простотою, видимым добродушием, скромностью, разнообразными познаниями и чрезвычайным остроумием…»

Несмотря на то, что в политических взглядах Чернышевского и Костомарова уже и в ту пору было резкое различие, приведшее их впоследствии к разрыву, знакомство с крупным ученым, обладавшим огромным запасом разносторонних знаний, не могло не импонировать тогда юноше.

Вот что писал в конце 1851 года Чернышевский Срезневскому: «Вы, Измаил Иванович, в таких выражениях говорили мне об уме и характере Николая Ивановича, что я тотчас же по приезде своем в Саратов поспешил быть у него; я нашел в нем человека, к которому не мог не привязаться… Ожидая разрешения выехать отсюда и жить в столицах, может быть, даже разрешения продолжать службу по прежнему ведомству, если не профессором, то, по крайней мере, библиотекарем, редактором какого-нибудь журнала или чем-нибудь подобным, Николай Иванович не решается ни поступить серьезным образом в гражданскую службу, ни основаться прочно в Саратове. Можно надеяться, что в скором времени ему и действительно дадут подобное разрешение… Но теперь пока живет он в Саратове без определенного занятия… Естественно, что, видя свою карьеру расстроенною, видя себя оторванным от своих любимых занятий, лишившись, на время по крайней мере, цели в жизни, Николай Иванович скучает, тоскует; он пробует заниматься, но невозможность видеть свои труды напечатанными отнимает охоту трудиться: так писал он историю Богдана Хмельницкого – цензура обрезала ее до бессмыслия; он не захотел портить своего труда и оставил его у себя в бюро. А история эта

разливала новый свет на положение Малороссии в XVII веке и присоединение ее к России. Надолго это отбило его от новых трудов; наконец, принялся он за эпоху Ивана Васильевича Грозного. Он верит в возможность этому труду пройти малоизмененным в печать и горячо взялся за него…»

Впоследствии Чернышевскому не раз доводилось высказываться на страницах «Современника» об исторических работах Костомарова, и он неизменно отзывался о них с большим одобрением. В 1857 году Чернышевский отметил, что «мало людей, которые по всей справедливости заслуживали бы имя замечательных ученых, потому что для этого мало трудолюбия и учености, – нужна, кроме того, особенная сила ума, нужна широта и проницательность взгляда, нужно соединение слишком многих и слишком редких качеств. Своим «Богданом Хмельницким» г. Костомаров доказал, что принадлежит к подобным людям».

И в самом конце своего жизненного пути Чернышевский снова подтвердил высокую оценку работ Костомарова. В приложениях к своему переводу «Всеобщей истории» Вебера Чернышевский дал в XI томе отрывок из «Истории России в жизнеописаниях главнейших ее деятелей» Н. Костомарова, сопроводив отрывок следующим примечанием: «Немецкие ученые считают Костомарова замечательнейшим из современных русских историков; их мнение справедливо… Труды его имеют очень высокое научное достоинство… Должно желать, чтобы молодые люди, готовящиеся разрабатывать русскую историю, внимательно изучали мнения Костомарова».

Однако, отдавая должное ученым заслугам историка, Чернышевский и в саратовский период своей жизни и позднее в Петербурге справедливо осуждал ограниченность его политического кругозора.

«Мое знакомство с ним, – вспоминал уже в восьмидесятых годах Чернышевский, – было знакомство человека, любящего говорить об ученых и тому подобных не личных, а общих вопросах с человеком ученым и имеющим честный образ мыслей. Мой образ мыслей был в начале моего знакомства с ним уж довольно давно установившимся. И его образ мыслей я нашел тоже уж твердым. Потому, если мы думали о каком-нибудь вопросе неодинаково, то спор мог итти бесконечно, не приводя к соглашению. Были вопросы, о которых и шли бесконечные споры. Но в те времена в России было между учеными мало людей, в образ мыслей которых входили бы элементы, симпатичные мне. А в образе мыслей Костомарова они были. На этом было основано мое расположение к нему».

Что же привлекало Чернышевского к исторической концепции Костомарова, какие «элементы» в ней были симпатичны ему и что, напротив, вызывало у него отпор и резкое отрицание?

Костомаров был одним из первых русских историков, обративших серьезное внимание на великую роль народа в историческом процессе. Вдумываясь в исторические труды, рассказывает Костомаров в «Автобиографии», «…я …пришел к такому вопросу: отчего это во всех историях толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик, земледелец-труженик как будто не существует для истории; отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе проявлений его радостей и печалей? Скоро я пришел к убеждению, что историю нужно изучать не только по мертвым летописям и запискам, а и в живом народе…»[15]

Вот это понимание Костомаровым великой роли народа в историческом развитии страны, его страстная любовь к народному творчеству, неутомимое собирание им памятников этого творчества – исторических песен, легенд и преданий, глубокое изучение народного быта и нравов, положенное в основу его исторических работ, делали их чрезвычайно ценными в глазах Чернышевского.

Но он оговаривается в статье об «Автобиографии» Костомарова, что только «элементы» образа мыслей выдающегося историка могли быть близки и симпатичны ему. В остальном же политическое мировоззрение Костомарова резко разнилось от цельного революционного и материалистического образа мыслей будущего вождя «мужицких демократов».

Различие это уже тогда давало чувствовать себя на каждом шагу: стоило им коснуться в беседе вопроса о судьбах славянских племен, или о роли религии, или об отношении к власти, – тотчас же вспыхивали между ними горячие споры, длившиеся без конца.

Но, разумеется, не в одних только спорах проводили время Чернышевский и Костомаров. Знакомство это быстро прекратилось бы, не будь у них никаких общих интересов и точек соприкосновения. Кроме глубокого интереса к истории, сближала их в то время и любовь к литературе и поэзии. И тот и другой обладали исключительной памятью и знали наизусть бесчисленное количество произведений не только русской, но и европейской поэзии. Вероятно, не раз разбирали они в разговорах произведения Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, чешских поэтов.

С уверенностью можно сказать, что Костомаров посвятил

Чернышевского во все детали дела Кирилло-Мефодиевского братства. Ведь, сойдясь с Чернышевским, он делился с ним всеми мыслями и чувствами, вплоть до сокровенных личных переживаний. Вероятно, рассказ о трагической участи замечательного народного поэта Украины Тараса Шевченко Чернышевский услышал впервые (в подробностях) по приезде в Саратов от Костомарова. Подружившись с автором «Кобзаря» в 1846 году, Костомаров с восхищением зачитывался стихотворениями Шевченко, который видел путь к освобождению украинского народа прежде всего в революционном единении всех славянских народов с русским народом и обращался к ним с пламенным призывом:

…Вставайте,
Цепи разорвите
И злодейской вражьей кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте, помяните
Добрым, тихим словом.

Некоторый опыт в деле преподавания у Чернышевского был еще до поступления учителем в гимназию. В течение многих лет он давал уроки в семье крупного петербургского чиновника Воронина. В студенческие годы, кроме этого, были у него и другие частные уроки. До отъезда из Петербурга месяца три он учительствовал во 2-м Петербургском кадетском корпусе.

Таким образом, не вовсе новичком в педагогике явился Чернышевский в Саратовскую гимназию. Вскоре после начала занятий он поделился своими впечатлениями от гимназии с Михайловым в письме к нему от 28 мая 1851 года: «Воспитанники в гимназии есть довольно развитые. Я по мере сил тоже буду содействовать развитию тех, кто сам еще не дошел до того, чтоб походить на порядочного молодого человека. Учителя – смех и горе, если смотреть с той точки зрения, с какой следует смотреть на людей, все-таки потершихся в университете, – или позабыли всё, кроме школьных своих тетрадок, или никогда и не имели понятия ни о чем. Разве, разве один есть сколько-нибудь развитой из них. А то все в состоянии младенческой невинности, подобные Адаму до вкушения от древа познания добра и зла. Вы понимаете, что я поставляю условием того, чтобы называться развитым человеком. Они и не слыхивали ни о чем, кроме Филаретова катехизиса, свода законов и «Московских ведомостей» –

православие, самодержавие, народность. А ведь трое из них молодые люди…»

В затхлую атмосферу казенщины, муштры и формализма ворвался свежий ветер. Первые же уроки Николая Гавриловича поразили учеников своей новизной и необычайностью.

Устаревший учебник он заменил живой, увлекательной беседой, подробным разбором лучших произведений русской литературы.

Один из учеников Чернышевского, М.А. Воронов (ставший в конце пятидесятых годов его секретарем и сотрудником «Современника»), писал: «Особенно полное и глубокое впечатление он произвел на нас чтением Жуковского, к поэзии которого питал тогда особенную наклонность наш детский мечтательный ум. Мы, помню, плакали над сказкой «Рустем и Зораб», прочитанной, правда, с необыкновенным умением и чувством».

По словам другого ученика, И.А. Залесского, читал Чернышевский образцово и увлекательно. Он «входил в характер действующих лиц и менял, смотря по содержанию, голос, тон и манеры. Казалось, он сам переживал те события, о которых читал. Так, помнится, прочитаны были им: «Ревизор» Гоголя, «Обыкновенная история» Гончарова, несколько стихотворений Жуковского и др.». Особенно охотно он читал и разбирал с учениками сочинения Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Об этих писателях тогдашние гимназисты или имели самое смутное представление, или не имели никакого. Детальный разбор их произведений позволял Чернышевскому касаться в беседах с учениками и тех язв, которые разъедали тогда русское общество. Крепостное право, суд, система воспитания и тому подобные «запретные» темы становились предметом обсуждения в классах Чернышевского.

Он будил мысль учеников, подготовляя их к широкому пониманию вопросов жизни и науки. «С поступлением его в учителя бессмысленное зубрение уроков словесности прекратилось и дан был ход живому слову и мышлению. Но что особенно нас поразило, – рассказывает один из учеников Чернышевского, – то это его живая, понятная нам речь и затем его уважение к нашей личности, которая подвергалась всевозможным унижениям со стороны нашего начальства и учителей».

Он стремился развить в своих воспитанниках самостоятельность мышления путем совместного обсуждения с ними достоинств и недостатков школьных сочинений, умело вовлекая в собеседования каждого ученика.

Удостоверившись в том, что многие предметы проходятся в

гимназии поверхностно, что ученики плохо знакомы с историей, географией и другими общественными дисциплинами, Чернышевский не стал ограничиваться рамками преподаваемого им предмета, восполняя при каждом удобном случае сведения гимназистов в области смежных наук, особенно истории.

На живых примерах показывал он ученикам теснейшую связь выдающихся литературных явлений с событиями исторической жизни народа.

В своей преподавательской работе молодой учитель Саратовской гимназии применял на деле те теоретические положения, которые позднее были развиты им во многих статьях, посвященных вопросам педагогики.

Великий просветитель считал, что недостаточно давать учащимся знания, – надо наряду с этим прививать им честные и благородные убеждения, воспитывать в них общественные навыки, готовить их к жизненной борьбе, вооружать передовым мировоззрением.

Не довольствуясь классными занятиями, Николай Гаврилович приглашал иногда учеников старших классов к себе на дом и здесь совместно с Костомаровым вел с ними беседы на литературные и исторические темы. Он приохотил многих учеников к самостоятельному чтению, давая им книги из своей библиотеки.

Если прежде из пятнадцати-семнадцати учеников, оканчивавших курс Саратовской гимназии, в университеты поступало не более трех-четырех человек, то в 1853 году из того же числа выпущенных гимназистов отправилось в университеты сразу десять человек. Это, разумеется, было следствием влияния Чернышевского.

Немудрено, что гимназисты страстно привязались к учителю словесности; с нетерпением ожидали они его урока, и в классе, когда он начинал говорить, воцарялась всегда мертвая тишина: «даже самые шаловливые мальчики затихали и напрягали слух, боясь проронить хотя бы одно слово».

«Ежедневно, возвращаясь после классов домой, – пишет И.А. Воронов, – Чернышевский был сопровождаем множеством учеников, с которыми он, как отец с детьми, дружески беседовал, узнавал о здоровье их домочадцев, где они живут, шутил и смеялся и пожимал руки тех, кому приходилось, приближаясь «своему дому, прощаться с учителем. Летом, по вечерам, Чернышевский делал прогулку, и если видел, что в каком-нибудь дворе идет игра гимназистов, то заходил во двор и принимал участие в забавах. Тут Чернышевский до того оживлялся и увлекался развлечением игрою, что от чрезмерной усталости

усаживался для отдыха на каком-либо обрубке или доске, ведя разговор с мальчиками. Все это свидетельствовало о его любви к ученикам, которые, в свою очередь, чтили и уважали Чернышевского…»

Реакционная часть учительства неприязненно относилась к нововведениям молодого учителя. Особенно резкий отпор встретил он со стороны директора гимназии А.А. Мейера.

Сухой формалист, чинопочитатель и педант, желчный и раздражительный, Мейер был типичным представителем школьной администрации николаевского времени. Среди гимназистов была распространена песенка, заканчивавшаяся словами:

Уж нам наскучили петлицы,
Галун, фуражки и мундир,
И все учительские лица,
И наш директор-командир!

Он свысока смотрел на учителей и крайне грубо обращался с учениками. Нередко можно было услышать, как он кричал кому-нибудь из гимназистов: «На барабане велю остричь волосы, если не снимешь их к завтрашнему дню! Каналья! Прогрессист!»

Мейер не принимал прошений, подаваемых на его имя, если проситель забывал после слов «г-ну директору училища» добавить: «и кавалеру ордена»… Он не садился в клубе играть в карты с лицами, имевшими чин ниже статского советника.

У такого директора не могли не возникнуть трения с Чернышевским. Заметив, что учитель словесности пренебрегает формальной стороной дела, Мейер заявил инспектору в присутствии учеников: «Что это Чернышевский допускает какую вольность? Он в журнале отметки ставит карандашом. Велите ученикам подавать ему чернила». Когда Чернышевскому передали это, он ответил: «От этого знания учеников не прибавятся…»

Пренебрег Чернышевский и другим требованием директора – не выходить за рамки одобренного начальством учебника и прекратить в классе чтение и разбор произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Гончарова. Тогда Мейер стал чаще заглядывать в дверное окошко во время уроков русской словесности, чтобы посмотреть, что делается в классе, стал заходить в класс, спрашивать учеников, вмешиваться.

Нередко происходили такие сцены: «Войдет, бывало, Мейер в класс, а Николай Гаврилович рассказывает о чем-нибудь. «Спросите учеников урок», – скажет Мейер. «Я еще не кончил своих объяснений. Позвольте прежде окончить их, и тогда я

спрошу урок ученика по вашему выбору», – скажет Николай Гаврилович. Но Мейер, недовольный таким ответом, повернется, не сказав ни слова, и выйдет из класса… Иногда Николай Гаврилович при входе Мейера в класс вовсе прекращал занятия. «Что вы делаете? – спросит он Николая Гавриловича. – Продолжайте ваши объяснения». – «Не могу, утомился, – ответит он, – да и ученики тоже устали: нужно дать им отдых…»

Происходили у Чернышевского столкновения с Мейером и из-за отметок ученикам на экзаменах: он резко противодействовал придиркам директора, несправедливо оценивавшего успехи его учеников. Однажды он даже вынужден был демонстративно покинуть класс, не дождавшись конца экзамена.

Чернышевский не хотел уступать директору, прекрасно понимая, что тот придирается к его ученикам только потому, что недоволен им самим. По городу с некоторых пор уже стали распространяться слухи о том, что Чернышевский занимается в классах революционной пропагандой. Эти слухи могли исходить от самого Мейера, который не раз восклицал: «Какую свободу допускает у меня Чернышевский! Он говорил ученикам о вреде крепостного права. Это вольнодумство и вольтерианство! В Камчатку упекут меня за него!»

Действительно, мысли Чернышевского попрежнему были всецело поглощены политическими вопросами. Он никогда не упускал случая распространять революционные идеи среди друзей, знакомых и учеников. Эту неутомимую страсть свою он образно, сравнивал (в одном из писем к Михайлову) со страстью Пигмалиона, изображенного в «Идеалах» Шиллера:

Как древле рук своих созданье
Боготворил Пигмалион —
И мрамор внял любви стенанье,
И мертвый был одушевлен:
Так пламенно объята мною
Природа хладная была —
И, полная моей душою,
Она подвиглась, ожила…

Судя по тому, что Чернышевский избрал для сравнения с собою *Пигмалиона*, страсть его часто встречала глухое непонимание, но он не впадал в уныние, не опускал рук, не останавливался, не прекращал усилий, твердо веря, что рано или поздно мрамор «оживет».

Из воспоминаний преподавателя Саратовской гимназии Е.А. Белова известно, что Чернышевскому пришлось выдержать

объяснение с Мейером по поводу того, что он рассказывал гимназистам на своем уроке о Французской буржуазной революции 1793 года, после чего по городу и пошли слухи, что учитель словесности «проповедует революцию».

Чернышевский понял, что ему придется покинуть гимназию. Да ему и узким уже казалось педагогическое поприще. Его манил к себе Петербург, где он мог бы развернуть свои силы в литературе и в журналистике.

Ведь еще в студенческие годы мечтал он о трибуне журналиста, борца за дело революционной демократии.

«Да что ж, наконец, я делаю здесь? – писал он в дневнике. – И до каких пор это будет продолжаться?.. Неужели я должен остаться учителем гимназии или быть столоначальником, или чиновником особых поручений, с перспективою быть асессором? Как бы то ни было, а все-таки у меня настолько самолюбия еще есть, что это для меня убийственно. Нет, я должен поскорее уехать в Петербург».

Перемена в личной жизни Чернышевского, происшедшая весною 1853 года, ускорила его отъезд из Саратова.

XIII. Женитьба и переезд в Петербург

Чернышевский пережил несколько увлечений до знакомства в 1853 году с будущей своей женой – Ольгой Сократовной Васильевой. Было время, когда он благоговел перед Надеждой Егоровной. Что-то похожее на влюбленность было в его отношении к Александре Григорьевне Клиентовой (Лавровой). Через год после своего приезда в Саратов он увлекался некоторое время сестрою своего ученика Кобылина. Он «бредил» ею, по собственному его признанию, и даже попытался однажды объясниться ей в любви, но она отклонила этот разговор, может быть потому, что отлично понимала, какая пропасть разделяет их: ее отец занимал весьма видное положение в городе; родители Кобылиной не захотели бы породниться со вчерашним семинаристом.

Однако все эти увлечения померкли перед тем чувством глубокой и сильной любви, которое овладело им, когда он познакомился с Ольгой Сократовной.

Первая встреча их произошла в доме дальней родственницы Пыпиных, жены саратовского брандмейстера Акимова, 26 января 1853 года.

«Марья Евдокимовна будет именинница завтра, поезжай, поздравь ее», – сказали мне наши… И я поехал. Меня пригласили на вечер. Этого мне и хотелось… И вот там Палимпсестов, и вот приехала Катерина Матвеевна Патрикеева и Ольга Сократовна Васильева…»

Так открывается «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье», начатый Чернышевским 19 февраля, то-есть несколько недель спустя после описываемого вечера, на котором завязалось это знакомство.

Она была дочерью саратовского врача Сократа Евгеньевича, которого заглаза обыватели просто называли Сократом. Чернышевский слышал о ней и прежде: один его знакомый рассказывал ему, что однажды она, поднимая на вечеринке бокал, провозгласила тост «за Демократию». Уже одно это всецело расположило Чернышевского в пользу Ольги Сократовны, а теперь, встретившись лицом к лицу с живой, веселой, своеобразно красивой девятнадцатилетней девушкой, он стал сначала полушутливо, а затем все более пылко говорить ей о своих чувствах. «Начну откровенно и смело: я пылаю к вам страстною любовью, но только с условием, если то, что я предполагаю в вас, действительно есть в вас».

Так среди веселья, шума и танцев, улучая минуты, когда

можно было продолжать начатое объяснение, он все настойчивее уверял ее в искренности своей любви.

Его товарищ по семинарии Палимпсестов, как бы подтверждая слышанное Чернышевским о тосте Ольги Сократовны, заметил ему: «Она демократка». Тогда Чернышевский, подойдя к ней, оказал: «Мое предположение верно, и теперь я обожаю вас безусловно». Затем, танцуя с нею кадриль, он говорил: «Вы не верите искренности моих слов – дайте мне возможность доказать, что я говорю искренно. Требуйте от меня доказательств моей любви».

После уже Ольга Сократовна говорила своему жениху, что его поведение в тот вечер показалось ей чрезвычайно странным, что «это даже показалось ей слишком дерзко прямо в первый раз объясниться в любви, но что она подумала: «Оскорбиться мне или не показывать этого? обратить в шутку? Лучше обращу в шутку».

Но поздно уже было обращать это в шутку. Много лет спустя, анализируя в одной из статей характер любимого своего писателя – Гоголя, Чернышевский писал: «Многосложен его характер, и до сих пор загадочны многие черты его. Но то очевидно с первого взгляда, что отличительным качеством его натуры была энергия, сила, страсть… Таким людям не всегда безопасны бывают вещи, которые всем другим легко сходят с рук. Кто из мужчин не волочится, кто из женщин не кокетничает? Но есть натуры, с которыми нельзя шутить любовью…»

К числу именно таких натур принадлежал и сам Чернышевский. Первая любовь стала для него единственной: он сохранил ее на всю жизнь. И хотя чувство это подвергалось впоследствии многим испытаниям, ничто не могло поколебать его или ослабить хоть на иоту.

Мысль о возможности брака с Ольгой Сократовной возникла у него вскоре после их первой встречи. Когда он узнал от знакомых, что Ольга Сократовна тяготится жизнью в своей семье, что у нее тяжелые отношения с матерью, он проникся к ней еще большим сочувствием. Таково уж было коренное свойство его характера: «Всякое несчастье, всякое горе заставляет меня более интересоваться человеком, усиливает мое расположение к нему. Если человек в радости, я радуюсь вместе с ним. Но если он в горе, я полнее разделяю его горе, чем разделяю его радость, и люблю его гораздо больше…»

Много раз он отмечал в себе эту черту, эту особенность: «Вот уж сколько людей привлекали меня к себе грустностью, томительностью своего положения. Василий Петрович, Александра Григорьевна – два человека, к которым я чувствовал истинную привязанность, – конечно, эта привязанность много

обусловливалась их положением, а не одними их личными достоинствами».

Он не хотел скрывать от Ольги Сократовны, что он не знает, сколько времени пробудет на свободе; он говорил ей, что в любой день его могут арестовать и заточить в крепость, быть может навсегда.

19 февраля у него произошло решительное объяснение с Ольгой Сократовной. Разговор с нею еще раз подтверждал, насколько ясно сознавал он уже тогда, какая участь может постигнуть его в будущем. Сделав в тот день предложение Ольге Сократовне, он не скрыл от нее, что, давая согласие, она должна быть готова к любым опасностям и неожиданностям.

– Я не имею права сказать того, что скажу; вы можете посмеяться надо мною, но все-таки я скажу, – начал Чернышевский. – Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домашние отношения тяжелы.

– Да, это правда. Пока я была молода, ничего не хотелось мне, я была весела; но теперь, когда я вижу, как на меня смотрят домашние, моя жизнь стала весьма тяжела. И если я весела, то это больше принужденность, чем настоящая веселость.

Увидев, что Ольга Сократовна не таится от него, откровенна с ним, он продолжал:

– Выслушайте искренние мои слова. Здесь, в Саратове, я не имею возможности жить… Карьеры для меня здесь нет. Я должен ехать в Петербург. Но это еще ничего. Я не могу здесь жениться, потому что не буду иметь никогда возможности быть здесь самостоятельным и устроить свою семейную жизнь так, как бы мне хотелось. Правда, маменька чрезвычайно любит меня и еще больше полюбит мою жену. Но у нас в доме вовсе не такой порядок, с которым бы я мог ужиться; поэтому я теперь чужой дома – я не вхожу ни в какие семейные дела… Я даже решительно не знаю, что у нас делается дома. Итак, я должен ехать в Петербург. Приехавши туда, я должен буду много хлопотать, много работать, чтобы устроить свои дела/ Я не буду иметь *ничего* по приезде туда: как же я могу явиться туда женатым?

Однако не об этих трудностях хотел предупредить Ольгу Сократовну Чернышевский. Другая забота лежала у него на душе. Он высказал ее так:

– С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен в том, долго ли буду я пользоваться жизнью и свободою. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени. Я делаю здесь такие

вещи, которые пахнут каторгой, – я такие вещи говорю в классе.

– Да, я слышала это.

– И я не могу отказаться от этого образа мыслей – может быть, с летами я несколько поохладею, но едва ли.

– Почему же? Неужели в самом деле не можете вы перемениться?

– Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем, что я вижу кругом себя. И я не знаю, охладею ли я когда-нибудь в этом отношении. Во всяком случае до сих пор это направление во мне все более и более только усиливается, делается резче, холоднее, все более и более входит в мою жизнь. Итак, я жду каждую минуту появления жандармов, как благочестивый христианин каждую минуту ждет трубы страшного суда. Кроме того, у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем.

Она почти засмеялась, – ей показалось это странно и невероятно.

– Каким же это образом?

– Вы об этом мало думали или вовсе не думали?

– Вовсе не думала.

– Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Вот готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно – когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю, скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие.

– Вместе с Костомаровым?

– Едва ли – он слишком благороден, поэтичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня.

– Не испугает и меня. (О, боже мой! Если бы эти слова были сказаны с сознаньем их значения!)

– А чем кончится это? Каторгою или виселицею.

Вот видите, что я не могу соединить ничьей участи со своей.

(На ее лице были видны следы того, что ей скучно слушать эти рассказы.)

– Довольно и того, что с моей судьбой связана судьба маменьки, которая не переживет подобных событий. Вот видите – вам скучно уже слушать подобные рассуждения, а они будут продолжаться целые годы, потому что ни о чем, кроме этого, я не

могу говорить. А какая участь может грозить жене подобного человека? Я вам расскажу один пример. Вы помните имя Искандера?[16]

– Помню.

– Он был весьма богатый человек. Женился по любви на девушке, с которою вместе воспитывался. Через несколько времени являются жандармы, берут его, и он сидит год в крепости. Жена его (извините, что я говорю такие подробности) была беременна. От испуга у нее родится сын глухонемой. Здоровье ее расстраивается на всю жизнь. Наконец его выпускают. Наконец ему позволяют уехать из России. Предлогом для него была болезнь его жены (ей в самом деле нужны были воды) и лечение сына… Вдруг Людовик Наполеон, теперь император Наполеон, думая оказать услугу Николаю Павловичу, схватывает его и отправляет в Россию. Жена, которая жила где-то в Остенде или в Диэппе, услышав об этом, падает мертвая. Вот участь тех, которые связывают свою жизнь с жизнью подобных людей. Я не равняю себя, например, с Искандером по уму, но должен сказать, что в резкости образа мыслей не уступаю ему и что я должен ожидать подобной участи.

Ольгу Сократовну не смутили эти предупреждения. Правда, ее вопрос, – неужели не может переменить свой образ мыслей ее избранник, – а также и подмеченные Чернышевским следы скуки на лице Ольги Сократовны во время его рассказа показывают, что, должно быть, не по твердому убеждению и не с полным сознанием, а скорее инстинктивно она не отшатнулась от того, кто с таким прямодушием и прозорливостью рисовал перед нею опасности предлагаемого ей пути. В рассказе его об участи Наталии Александровны Герцен, которая скончалась в 1852 году, были некоторые неточности, может быть, сознательно им допущенные, но дело, разумеется, не в них, а в том, что уже тогда молодой учитель видел в судьбе Герцена – Искандера прообраз своей судьбы. Он ошибся в одном – неизмеримо горше и тяжелее были ожидавшие его впереди испытания.

Многое знаменательно и чрезвычайно интересно в этом объяснении Чернышевского с его невестой. Оказывается, она знала, она слышала о том, что он такие вещи говорит в классе, которые пахнут каторгой. Она могла знать это через своего брата Венедикта, учившегося в гимназии у Чернышевского. Любопытно и то, что в сознании саратовских обывателей соединилось несоединимое – они могли ставить на одну доску пламенного революционера Чернышевского и профессора, никогда и не помышлявшего о революции.

Отголоском этого смешения и явился вопрос Ольги

Сократовны, который она задала Чернышевскому, выслушав его уверение в том, что он (непременно примет участие в народном бунте, если бунт вспыхнет. «Вместе с Костомаровым?» – спросила его Ольга Сократовна, сама еще не понимая, как наивен был этот вопрос.

Первоначально Чернышевский условился с невестой, что весною он уедет на несколько месяцев в Петербург, чтобы устроить там свои дела, а затем вернется за нею в Саратов. Но скоро они изменили это решение. Ольга Сократовна слишком тяготилась домашней обстановкой, отношениями с матерью и старшим братом. Она откровенно и прямо выразила желание, обвенчавшись, поехать в Петербург вместе с Николаем Гавриловичем, не дожидаясь, пока устроятся его дела.

Родители Чернышевского сначала отнеслись отрицательно к намерению его жениться на Ольге Сократовне. На них, повидимому, повлияло то, что обывательская молва рисовала ее чрезмерно бойкой девицей. Николаю Гавриловичу предстояло сломить нежелание родителей. Он с глубокой нежностью любил их, но всегдашняя уступчивость его не могла простираться тан далеко. В эти дни он писал в дневнике: «Я сильно огорчу их. Это так. Но это меня не колеблет… Они не судьи в этом деле, потому что у них понятия о семейной жизни, о качествах, нужных для жены, об отношениях мужа к жене, о хозяйстве, образе жизни решительно не те, как у меня. Я человек совершенно другого мира, чем они, и как странно было бы слушаться их относительно, например, политики или религии, так странно было бы спрашивать их совета о женитьбе».

Как он и предвидел, добиться согласия отца было значительно легче, чем склонить к согласию Евгению Егоровну. Но, попытавшись противодействовать сыну, она сразу же увидела, что он непоколебим в своем решении и готов до, конца итти наперекор ее воле. После долгих объяснений она вынуждена была уступить.

Свадьбу назначили на 29 апреля. Но счастье Чернышевского было омрачено тяжелой болезнью и последовавшей 19 апреля смертью горячо любимой матери.

Через несколько дней после свадьбы Чернышевский с женой выехал в Петербург. В день его отъезда гимназисты теснились, окружая его квартиру, и со слезами проводили его.

Дорогою его не покидали мысли об оставленном отце, которого он так преданно любил. Он писал ему с пути, пользуясь остановками в Чунаках, в Арзамасе, в Нижнем… Потрясение, вызванное смертью матери, надломило Николая Гавриловича, но утешая отца, он сообщал ему, что чувствует себя лучше: слабость

проходит и лихорадки уже нет.

Медленно продвигались вперед, потому что ехали только днем, а на ночь всякий раз останавливались отдыхать. Ольгу Сократовну, впервые отправившуюся в такое длительное путешествие, поездка в тарантасе изрядно утомила. В Москве задержались только на два часа – так торопился Николай Гаврилович скорее попасть в Петербург, чтобы еще застать там Введенского, собиравшегося отправиться за границу. Содействие Введенского обеспечило бы ему получение уроков в военноучебных заведениях, а это было необходимо на первых порах, пока не определятся отношения с редакциями журналов.

От Москвы до Петербурга ехали по новой, недавно открытой железной дороге. Много толков было тогда об этой дороге, строившейся под началом бывшего адъютанта Аракчеева – графа Клейнмихеля, не щадившего ни здоровья, ни жизни рабочих, чтобы щегольнуть перед царем быстротою постройки. Сотнями сгоняли на постройку дороги голодных землекопов, размещали их в сырых землянках и заставляли за бесценок работать в каторжных условиях. Спустя несколько лет Некрасов увековечил в своей знаменитой поэме нечеловеческие страдания подневольных строителей Николаевской дороги:

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские…
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

…Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цынгой….

За два года, прожитые в Саратове до женитьбы, Чернышевский воочию увидел в глубине России, как тяжела, страшна и безотрадна жизнь народа, каким унижениям и мукам подвергают бесправных, темных, нищих крестьян, вынуждая их трудиться в поте лица для довольства и счастья верхушки общества. Он и прежде, в отроческие годы, наблюдал на каждом шагу картины жестокой и мрачной действительности: нищету и угнетение большинства, безнаказанный произвол тунеядцев, живущих за счет лишений и слез трудового народа. Но прежде он не сознавал с такою ясностью, где коренятся причины социального неравенства и что надо делать, чтобы разрушить многовековой уклад жизни, основанный на несправедливости.

Университетская пора до неузнаваемости расширила его духовный горизонт, а годы жизни в Саратове, когда он учительствовал, снова дали ему обильную пищу непосредственных бытовых впечатлений, и теперь он был преисполнен решимости посвятить свои силы борьбе за освобождение родины от гнета и насилия.

По приезде в Петербург Чернышевские до приискания удобной квартиры остановились у Терсинского. Жена Терсинского умерла годом раньше, но Ипан Григорьевич попрежнему поддерживал родственные связи с Пыпиными и Чернышевскими.

Николай Гаврилович сразу же с поразительной энергией принялся за осуществление своих планов, намеченных еще в Саратове. Одно из самых главных его желаний – широко выступить на литературном и публицистическом поприще – не могло быстро осуществиться. Для этого требовалось время, подготовка, установление связей в журнальном мире и т. п. Поэтому он занялся прежде всего осуществлением ближайших целей, не упуская все же из виду и главной.

«Житейская необходимость» толкала его на путь научно-академической деятельности. Предполагая получить ученую степень, он подал попечителю учебного округа прошение о том, чтобы его допустили к магистерским экзаменам, которые тот и предложил ему держать осенью. Место профессора в университете или место ученого библиотекаря в Публичной библиотеке представлялось тогда Чернышевскому единственно привлекательным, раз уж надлежало служить. Он и надеялся добиться подобного места через год, через два, а до того времени решил учительствовать в корпусе.

Строя в Саратове планы своей будущей жизни, Николай Гаврилович рассчитывал, что участие Введенского и Срезневского облегчит ему первоначальное устройство дел в Петербурге. И он не обманулся в этих надеждах. И тот и другой приняли его радушно, радушнее даже, нежели он ожидал.

Уезжая на время за границу, Введенский передал Николаю Гавриловичу большую часть свои уроков по теории поэзии и по истории всеобщей литературы в военноучебных заведениях. Из Саратова Чернышевский привез законченный «Опыт словаря к Ипатьевской летописи» и отдал его Срезневскому для напечатания в «Известиях Академии наук». Работа была принята Срезневским. Правда, это не сулило материального вознаграждения, но появление подобного труда в печати должно было придать вес Чернышевскому в университетских кругах. Сам он уже скептически относился к этой работе. «Это будет, – писал

он отцу, – самое скучное, самое неудобочитаемое, но вместе едва ли не самое труженическое изо всех ученых творений, какие появлялись на свет в России».

В сущности, это был бескорыстный труд в пользу науки и своей ученой репутации, потому что гонорар за него по тогдашним правилам не платили. А чего стоило подготовить словарь! Он трудился над ним в течение нескольких лет. Теперь же одно только наблюдение за печатанием словаря влекло за собою пропасть работы. Между тем надобно было думать и о заработках. Не ограничиваясь уроками в корпусе, он ищет частных уроков, берет на себя правку корректуры исторической грамматики русского и церковно-славянского языка, начинает переговоры о постоянном сотрудничестве в журналах. Наряду с этим готовится к магистерским экзаменам и обдумывает тему будущей диссертации. Уже тогда проявилась в полной мере замечательная способность Чернышевского работать одновременно в различных областях и планомерно осуществлять одну за другой поставленные перед собою задачи.

Летом Николай Гаврилович начал переговоры с редактором «Отечественных записок» А.А. Краевским о своем сотрудничестве в журнале. Вскоре он сообщил отцу, что дела с «Отечественными записками», кажется, устраиваются. И действительно, уже в июльском номере журнала появились его рецензии на книгу А. Гильфердинга «О сродстве языка славянского с санскритским» и на антологию д-ра Нейкирха «Собрание поэтов». Эти рецензии были началом литературно-критической деятельности Чернышевского, его дебютом в большой прессе.

Деловая обстановка, хлопоты и заботы всякого рода сразу же до такой степени захватили его в Петербурге, что у него положительно не оставалось свободной минуты, чтобы почитать книгу просто для удовольствия или написать пообстоятельнее письмо в Саратов. Но Николай Гаврилович не огорчался, что у него так много дел. «Дай бог, – шутил он, – чтобы их было не меньше и на будущее время, потому что отсутствие работы в Петербурге страшнее всякого наводнения». (Как раз в год их приезда в Петербург случилось наводнение, слухи о котором дошли до Саратова.)

На первых порах Чернышевские жили чрезвычайно скромно, дорожа каждой копейкой, потому что приработки Николая Гавриловича были случайными, а из сорока рублей, получаемых в месяц за уроки в корпусе, большая часть уходила на стол и квартиру. Всего только два-три раза побывали они в театре в первый год своей петербургской жизни. В гости ходили редко, еще реже принимали гостей у себя. Из университетских друзей

Чернышевского чаще других посещал его Михайлов. Давняя мечта Михаила Ларионовича исполнилась: он уже переехал ив Нижнего Новгорода в Петербург, сотрудничал у Некрасова в «Современнике», печатал свои стихотворения и повести в различных журналах.

Живость, простота, природный ум и непринужденность Ольги Сократовны в обращении с окружающими расположили к ней поэта, и однажды он набросал в альбом Чернышевской посвященное ей стихотворение «Портрет»:

У нее, как у Хитаны,
Взор, как молния, блестит,
Как у резвой польской панны
Голос ласково звучит;
Как у юноши от раны,
Томен цвет ее ланит.
Есть возможность не влюбиться
В красоту ее очей,
Есть возможность не смутиться
От приветливых речей;
Но других любить решиться
Нет возможности при ней.

Приветливо встретили Ольгу Сократовну и в семье Срезневских. Летом 1853 года Чернышевский в связи с печатанием словаря приезжал к ним в Павловск с женою и гостил у них по нескольку дней. «Семейство Срезневского, особенно сам он и его мать, – писал Николай Гаврилович в Саратов, – понравились Ольге Сократовне. Срезневский даже бегает с нею в перегонки по Павловскому парку… Мать Срезневского от души радуется, что у меня такая жена, и говорит, что мы с нею будем очень счастливы».

В августе Чернышевские переехали в квартиру Введенского на Петербургской стороне, близ Тучкова моста. Введенскому, у которого было трое детей, квартира эта стала тесна, и он перебрался на другую.

У Николая Гавриловича были связаны с этой квартирой живые воспоминания студенческой поры. Здесь нашел он тогда дружеский приют, сердечное участие, среду честных и мыслящих людей, любивших Россию и ненавидевших деспотизм. Здесь с любовью и уважением произносили имена декабристов, Белинского, Герцена, Петрашевского и его друзей. Здесь выражали горячее сочувствие революции 1848 года, учению социалистов о всеобщем равенстве в будущем обществе. Здесь

доводилось Чернышевскому-юноше рьяно доказывать некоторым из посетителей вечеров Иринарха Ивановича правоту тех, которые поднялись с оружием в руках на защиту коренных интересов народа.

Он давно любил эту набережную и так хорошо знакомый путь по ней влево от Тучкова моста, к дому Бородиной во дворе, где квартировали на втором этаже его друзья. Большая медная доска с надписью: «И.И. Введенский» была теперь снята с двери. В трех просторных комнатах разместились Чернышевские и Александр Пыпин. Правда, дороговата была для Чернышевских эта квартира – двадцать рублей серебром в месяц, но что ж делать, когда другой такой же за меньшие деньги не могли отыскать!

Репутация Пыпина, заканчивавшего тогда весьма успешно университет и выступившего в «Отечественных записках» со статьей о драматурге XVIII века Лукине, уже успела упрочиться в ученом мире. Профессора предсказывали ему хорошую карьеру, поражались его неутомимому трудолюбию и солидным библиографическим познаниям.

Внутренне двоюродные братья были далеки друг от друга. Духовные интересы будущего профессора и академика представлялись Чернышевскому слишком узкими. Расплывчатый либерализм Пыпина, его весьма умеренные общественные идеалы были чужды Николаю Гавриловичу. Но Пыпин не стоял на его пути, не вступал с ним в споры, не мешал ему, целиком погруженный в свои изыскания в области древней словесности и литературы минувшего века, и потому между ними не только не происходило в быту никаких столкновений, а, напротив, царило полное внешнее согласие. Пыпин не отрывался от письменного стола, готовя словарь к Новгородской летописи, новые ученые статьи для журналов и университетское сочинение на медаль.

Иногда они бывали вместе на вечерах у Никитенки, у Введенского и Срезневского. Зная, как ласкают гордость родителей Пыпина достижения Сашеньки, Чернышевский писал им в Саратов, что статья о Лукине имела очень большой успех. «В пятницу м,ы с ним были у Никитенки, – сообщал он родственникам. – Там очень много о ней говорили. Между прочим Булич (казанский профессор и историк русской литературы. – *Н. Б.*), недавно приехавший сюда держать докторский экзамен, как вошел, начал говорить, что какой-то Пыпин написал прекрасную статью и т. д. Ему сказали: «А вы знаете, где этот г. Пыпин?» – «Нет». – «Он сидит рядом с вами». Такие сцены приятно действуют на близких людей. Говорили о том, что Надобно хлопотать для Сашеньки о месте в Харьковском университете, которое на днях открылось. Конечно, может

случиться, что эти хлопоты останутся без успеха, но они показывают, как смотрят на Сашеньку».

Но в глубине души эти труды Сашеньки не очень, разумеется, интересовали Николая Гавриловича. Гораздо более важным, чем историко-литературные экскурсы, представлялось ему распространение в широких слоях читателей революционных идей передовой русской мысли и прежде всего – идей Белинского.

«Часто приходится вспоминать с сожалением о тех одушевленных разговорах, которые, бывало, вел я в беседе с вами, – писал в эти дни Чернышевский в Саратов Н.И. Костомарову. – Апатия в Петербурге достигла чрезвычайно высокой степени развития; нельзя узнать тех людей, которых я знал года два назад… Как пример перемены, происшедшей во всех областях умственной деятельности, укажу вам современное направление литературной критики. Она обратилась в чистую библиографию».

Его возмущало, что место Белинского в журналах заняли библиографы, знающие наизусть редкие каталоги книг и поглощенные буквоедскими изысканиями. «Эти господа с презрением смотрят на прежние стремления людей, занимавшихся критикой как средством распространения человеческого взгляда на вещи…»

Чернышевский отлично понимал, что менее всего можно было влиять на жизнь общества составлением словарей к летописям и трактатами о падежах в древнеславянском языке. Живая, страстная мысль революционного демократа искала другого применения своим силам. Еще в первый год пребывания в университете мечтал он, что приближается время, когда Россия мощно и самобытно выступит на поприще науки, и верил уже тогда, что будет участвовать в этом движении.

XIV. Работа над диссертацией и начало сотрудничества в «Современнике»

Изменив свое первоначальное намерение писать диссертацию по славянским наречиям у Срезневского, Николай Гаврилович принимается с жаром работать над новой темой – «Эстетические отношения искусства к действительности». Показать реакционную сущность идеалистических представлений об искусстве, наиболее ярко выраженных в теории Гегеля, противопоставить ей революционно-материалистическую эстетику, опирающуюся на великие традиции передовой философской мысли России, – вот в чем заключался главный смысл задачи, поставленной перед собой Чернышевским. Профессор Никитенко утвердил эту тему, предложенную им самим еще несколько лет назад Чернышевскому-студенту для курсовой работы. Но, утверждая ее, профессор, конечно, не предполагал, что тема диссертации будет разработана с революционных позиций.

Одновременно с диссертацией Чернышевский начал писать несколько популярных статей на эту же тему, предполагая, что ему удастся поместить их в «Отечественных записках». Таким образом, думал он, это новое эстетическое учение, провозглашенное и с университетской кафедры и на страницах распространенного журнала, сделается достоянием широкого круга русских читателей.

Но легче было написать ученый трактат и эти статьи об искусстве, чем получить доступ с ними на университетскую кафедру или в журнал Краевского. И реакционные университетские круги и издатель «Отечественных записок» холодно встретили замысел Чернышевского.

Краевский отказался напечатать его статью «Критический взгляд на современные эстетические понятия», найдя ее «недостойной печати», а профессура и Совет университета сделали все от них зависящее, чтобы помешать Чернышевскому тогда же выполнить его намерение. Формальных поводов к запрещению защиты диссертации не было, и тогда прибегли к излюбленному способу бюрократов – к нескончаемой проволочке. Волокита с утверждением сочинения и с магистерскими экзаменами тянулась так долго, что автор диссертации успел за это время совершенно охладеть к мысли о профессорской

деятельности, всецело отдавшись критико-публицистической работе в журналах.

Именно на примере получения Чернышевским ученой степени видно, как старательно сопротивлялись «жрецы» науки проникновению в нее революционной мысли. Достаточно сказать, что между написанием диссертации и ее защитой прошло почти два года. Два года под теми или иными предлогами отодвигался срок напечатания работы Чернышевского и назначения публичного диспута. Он начал писать ее и закончил в ту пору, когда еще только готовился к широкой журнально-публицистической деятельности, а защищал, уже создав себе прочную известность как литературный критик и публицист.

В течение нескольких недель, среди всевозможных дел и забот успел он написать вчерне основную часть диссертации и уже в сентябре 1853 года отнес ее к Никитенке, уговорившись с ним, что тот просмотрит ее «частным образом» до представления в факультет.

Ознакомившись с работой, профессор, должно быть, не сумел сразу распознать ее полемическую направленность и не увидел в ней ничего «опасного». Он предложил только ослабить открытую критику основ идеалистической эстетики, посоветовав Чернышевскому заменить повсюду имя Гегеля какими-нибудь иносказательными обозначениями. Поэтому Николаю Гавриловичу пришлось, говоря о «гегелевской школе», называть ее «господствующей школой», ее учение – «общепринятыми понятиями» и т. д.

Но когда Чернышевский спустя некоторое время вторично отдал профессору законченную работу, Никитенко, видимо внимательнее перечитав ее, заметил, что идеи, развиваемые молодым ученым, гораздо шире вопросов о прекрасном в искусстве и в действительности, что эти идеи резко противостоят традиционным идеалистическим взглядам на цель и назначение искусства.

Почти в течение целого года не решался Никитенко представить диссертацию в факультет со своим одобрением и не давал окончательного ответа, ссылаясь то на болезнь, то на занятость другими делами. Так и пролежала она в профессорском кабинете до самой весны 1855 года.

И экзамены, на которые у других магистрантов уходило не более двух недель, растянулись на этот раз на несколько месяцев. То «не успеют» предуведомить кого-либо из профессоров о заседании факультета, и они не являются на него, то отложат заседание «по недостатку времени», то придумают еще какие-нибудь причины. Лишь в конце ноября дошло дело до экзамена

по русской словесности у Никитенки, который экзаменовал Чернышевского только для формы, давно убедившись в его блестящем и глубоком знании предмета. Затем следовали экзамены по русской истории и языковедению. Последний экзамен он сдавал весною 1854 года.

Отец Чернышевского всегда с нетерпением ждал известий из Петербурга. И хотя он не знал сокровенных стремлений и планов сына, хотя, разумеется, не понял бы и не одобрил их, если б знал, тем не менее его, конечно, живо интересовало все, что касалось жизни сына в столице.

Каждый шаг, предпринятый Николаем Гавриловичем, по-своему преломлялся в сознании отца. Ему казалось, что никакие успехи Николеньки в журнальном мире или на университетском поприще не должны заслонять «главной» цели – устройства на «казенную службу», которая одна только и могла, по понятиям Гавриила Ивановича, сулить спокойное существование, прочное положение в обществе и уверенность в будущем.

И когда он получал известия из Петербурга о том, что Николенька уже сотрудничает в «Отечественных записках», или о том, что он переменил тему диссертации и скоро будет держать магистерские экзамены, то, радуясь этим успехам, Гавриил Иванович спешил напомнить сыну о том, что надобно все-таки хлопотать о служебной карьере, о солидном устройстве, о хорошем месте. «Вы утверждаетесь жить в Питере, – писал он сыну и невестке, – это хорошо, но я все-таки до тех пор буду беспокоиться, пока ты, Николенька, не поступишь на должность казенную».

Получив по почте «Словарь к Ипатьевской летописи», составленный Николаем Гавриловичем, он тотчас принялся за чтение, и у него хватило терпения осилить от доски до доски даже эту неудобочитаемую работу. «Словарь твой читал. Труда много, а пользы ни тебе, ни другим от него не видится: стало быть, ты трудишься над этой древностью без пользы для твоего кармана. Лучше б написал какую-нибудь сказочку. А сказочки еще и ныне в моде бонтонного мира…»

Никто решительно не разубедил бы предусмотрительного Гавриила Ивановича, что казенная должность есть самое важное в жизни: «Частная служба неполезна в будущем. Пожалуй, пристройся где-нибудь на казенном месте, чтобы лета и силы не истощались даром. С нетерпением жду этой вести. Еще – не изнуряй себя излишне; всего, что плавает и плывет по житейскому морю, не перехватаешь и не усвоишь. Хорошо писать в издание Краевского, но это должно быть второстепенное занятие – от безделья не без дела…»

Он одобрительно отнесся к намерению сына держать магистерский экзамен и защищать диссертацию, но с еще большим сочувствием отозвался о поступлении его преподавателем в Петербургский кадетский корпус: «Только об одном прошу, чтобы служба была не частная, а казенная. Вам, милая, бесценная Оленька, поручаю это, а я буду смотреть высочайшие приказы…» (По существовавшему тогда порядку определение на государственную службу по какому-либо департаменту сопровождалось опубликованием в официальном органе «высочайшего приказа» о зачислении – имярек – на такую-то должность.)

Николай Гаврилович понимал, что беспокойство отца и настойчивые просьбы о поступлении на казенную службу были вызваны не чем иным, как любовью, желанием видеть его счастливым, обеспеченным и устроенным. Поэтому он, с присущей ему мягкостью, «уступал» слабостям Гавриила Ивановича, делая вид, что и сам озабочен более всего поступлением на хорошую должность, а на все остальное смотрит, как на нечто второстепенное и маловажное.

Чернышевский в эту пору не отказывался ни от какой работы: уроки, корректура, журнальные рецензии… «У кого есть состояние, может делать только то, что ему нравится; у кого нет состояния, печатает не для славы, а по житейской надобности, работает не из удовольствия, а из необходимости. Это не унижает», – писал он спустя десять лет после начала своей журнальной деятельности.

Создавая «Эстетические отношения искусства к действительности», Чернышевский одновременно вынужден был сотрудничать в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и даже в таком журнале, как «Мода». Но мы не должны удивляться этому. Разве мало знаем мы примеров, когда необходимость заставляла выходцев из разночинской среды, таких, например, как Белинский, Некрасов, Чехов, отдавать свое время и силы мелкожурнальной работе? «Было время, – вспоминал Чернышевский в 1863 году, – я – я, не умеющий отличить кисею от барежи, – писал статьи о модах, в журнале «Мода» – и не стыжусь этого. Так было нужно, иначе мне нечего было бы есть. Вот. как надобно смотреть на свои произведения, и с этим взглядом можно пытаться, не удастся ли иметь от них кусок *своего* хлеба, который очень вкусен».

Работы в «Отечественных записках» Краевского на первых порах было у Чернышевского очень мало. Это заставило его искать возможности печататься и в другом из двух тогдашних

солидных журналов, в «Современнике» Некрасова, Задуманное увенчалось скоро успехом, что значительно сократило для Чернышевского период подыскания регулярной литературной работы.

Эти два журнала занимали тогда различные позиции. Лучшая пора «Отечественных записок», связанная с сотрудничеством в них Белинского, уже миновала. В критико-библиографическом разделе журнала не было четкости и единства идейного направления. Статьи главенствовавших в журнале критиков носили откровенно эпигонский характер.

В «Современнике», напротив, еще был жив дух Белинского. Во главе журнала стоял Н.А. Некрасов, превосходно понимавший значение традиций и заветов великого критика. Но до прихода в «Современник» Чернышевского в критико-библиографическом отделе журнала не было человека, способного с честью продолжать и развивать эти традиции в новых условиях.

Некрасов со свойственной ему редакторской проницательностью сумел угадать по первым же рецензиям Чернышевского, что в его лице русская литература обретает достойного продолжателя дела Белинского.

Чернышевский явился в редакцию «Современника» осенью 1853 года безвестным рецензентом, ищущим заработка, а Некрасов с первого же знакомства с ним стал посвящать его во все редакционные дела и затем постепенно предоставлял все большие и большие возможности решительно определять направление «Современника».

До конца жизни сохранил Чернышевский благодарную память о Некрасове-человеке и преклонение перед его поэтическим гением. Он считал даже, что всем, что он сделал для родины, он обязан Некрасову.

Все подробности первой встречи с любимым поэтом так глубоко врезались в сознание Чернышевского, что даже спустя три десятилетия после нее он сумел восстановить их в своих воспоминаниях о Некрасове настолько живо, будто встреча произошла только вчера. Невозможно без волнения читать эти страницы воспоминаний. Чернышевский рассказывает, как в один из осенних дней 1853 года он принес И.И. Панаеву (номинальному редактору «Современника») рецензии, заказанные ему накануне Панаевым для журнала.[17]

«Через несколько времени, – через полчаса, быть может, – вошел в комнату мужчина, еще молодой (в описываемое время Некрасову было 32 года. – *Н. Б.*), но будто дряхлый, опустившийся плечами. Он был в халате. Я понял, что это Некрасов (я знал, что он живет в одной квартире с Панаевым). Я

тогда уж привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня поразило его увидеть таким больным, хилым. Он, мимоходом поклонившись мне в ответ на мой поклон и оставляя после того меня без внимания, подошел к Панаеву и начал: «Панаев, я пришел…» спросить о какой-то рукописи или корректуре, прочел ли ее Панаев или что-то подобное, деловое; лишь послышались первые звуки его голоса: «Панаев…» я был поражен и опечален еще больше первого впечатления, произведенного хилым видом вошедшего: голос его был слабый шепот, еле слышный мне, хоть я сидел в двух шагах от Панаева, подле которого он стал. Переговорив о деле, по которому зашел к Панаеву, – это была минута или две – он повернул, – не к двери, а вдоль комнаты, не уйти, а ходить, начиная в то же время какой-то вопрос Панаеву о каком-то знакомом; что-то вроде того, видел ли вчера вечером Панаев этого человека и если видел, то о чем они потолковали; не слышал ли Панаев от этого знакомого каких-нибудь новостей. Кончив вопрос, он начал отдаляться от кресла Панаева. Панаев отвечал на его вопрос: «Да. Но вот прежде познакомься: это…» – он назвал мою фамилию. Некрасов, шедший вдоль комнаты по направлению от нас, повернулся лицом ко мне, не останавливаясь, сказал своим шепотом «здравствуйте» и продолжал идти. Панаев начал рассказывать ему то, о чем был спрошен. Он ходил по комнате. Временами предлагал Панаеву новые вопросы, пользуясь для этого минутами, когда приближался к его креслу, и продолжал ходить по комнате. После впечатлений, произведенных на меня его хилым видом и слабостью его голоса, меня, разумеется, уже не поражало то, что ходит он медленными, слабыми шагами, опустившись всем станом, как дряхлый старик. Это длилось четверть часа, быть может. В его вопросах не было ничего, относившегося ко мне. Спросив и дослушав обо всем, о чем хотел слышать, он, когда Панаев кончил последний ответ, молча пошел к двери, не подходя к ней, сделал шага два к той стороне, где сидели Панаев и я, и приблизившись к моему креслу (против кресла Панаева) настолько, чтоб я мог расслышать его шепот, сказал: «Пойдем ко мне». Я встал, пошел за ним. Прошедши дверь, он остановился; я понял: он поджидает, чтобы я поравнялся с ним; и поравнялся. И шли мы рядом. Но он молчал. Молча прошли мы в его кабинет, молча шли по кабинету, направляясь там к креслам. Подошедши рядом со мной к ним, он сказал: «Садитесь». Я сел. Он остался стоять перед креслом и сказал: «Зачем вы обратились к Панаеву, а не ко мне? Через это у вас пропало два дня. Он только вчера вечером, отдавая ваши рецензии, сказал мне, что вот есть

молодой человек, быть может пригодный для сотрудничества. Вы, должно быть, не знали, что на деле редижируется журнал мною, а не им?» – «Да, я не знал». – «Он добрый человек, потому обращайтесь с ним, как следует с добрым человеком; не обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; вы будете иметь дело только со мной. Вы, должно быть, не любите разговоров о том, что вы пишете, и вообще о том, что относится к вам? Мне показалось, что вы из тех людей, которые не любят этого». – «Да, я такой». – «Панаев говорил, вы беден, и говорил, вы в Петербурге уже несколько месяцев; как же это потеряли вы столько времени? Вам было надобно тотчас позаботиться приобрести работу в „Современнике“. Вы, должно быть, не умеете устраивать свои дела?» – «Не умею». – «Жаль, что вы пропустили столько времени. Если бы вы познакомились со мною пораньше, хоть месяцем раньше, вам не пришлось бы нуждаться. Тогда у меня еще были деньги. Теперь нет. Последние свободные девятьсот рублей, оставшиеся у меня, я отдал две недели тому назад». – Он назвал фамилию сотрудника, которому отдал эти деньги. – «Он» – этот сотрудник – «мог бы подождать, он человек не бедный. Притом часть денег он взял вперед. Вы не можете ждать деньги за работу, вам надобно получать без промедления. Потому я буду давать вам на каждый месяц лишь столько работы, сколько наберется у меня денег для вас. Это будет немного. Впрочем, до времени подписки недалеко. Тогда будете работать для „Современника“, сколько будете успевать. Пойдем ходить по комнате». – Я встал, и мы пошли ходить по комнате…»

Словно бы предчувствуя, какую огромную роль будет играть впоследствии Чернышевский в жизни журнала, поэт с удивительной для первого знакомства откровенностью обрисовал ему истинное положение вещей. Он, не таясь, сказал сразу же, что денежные дела «Современника» в тяжелом положении и поэтому он не советует Чернышевскому порывать с «Отечественными записками» Краевского. «Вы видите, в каком положении наши дела. Они очень плохи, и нет вероятности надеяться, чтоб они улучшились. Время становится год от году тяжелее для литературы, и подписка на журналы не может расти при таком состоянии литературы. А без увеличения подписки «Современник» не может долго удержаться; наши долги в эти годы хоть не быстро, но росли. Чем это кончится? Падением журнала. И кем держится пока журнал? Только мною. А вы видите, каков я. Могу ли я прожить долго?»

Мы знаем, что предположения Некрасова, к счастью, не оправдались. Благодаря тому, что в редакцию влились новые силы, дело кончилось не падением журнала, а напротив, новым

подъемом его авторитета в глазах широких читательских кругов, когда «Современник» стал трибуной, с которой русские передовые публицисты, критики, писатели и поэты выступили на защиту интересов порабощенного народа и вдохновляли лучших представителей общества на борьбу с самодержавием и крепостничеством.

Начало этому новому подъему было положено Чернышевским, который в поразительно короткий срок занял в «Современнике» руководящее положение. Однако некоторое время он, по совету Некрасова, участвовал одновременно и в «Современнике» и в «Отечественных записках». Несомненно, это было со стороны Некрасова желанием, с одной стороны, проверить будущего сотрудника и, с другой, – помочь Чернышевскому быстрее завоевать известность в литературном мире. В каждом слове этого совета чувствуется богатый опыт и доскональное знание законов, царивших тогда в журналистике: «Панаев говорил, вы уже работаете для Краевского. Он враг нам… Когда он увидит, что вы полезный сотрудник, он не потерпит, чтобы вы работали для нас и для него вместе. Он потребует, чтобы вы сделали выбор между ним и нами. Он человек в денежном отношении надежный. Держитесь его. Но пока можно, вы должны работать и для меня. Это надобно и для того, чтобы Краевский стал дорожить вами. Он руководится в своих мнениях о писателях моими мнениями. Когда он увидит, что я считаю вас полезным сотрудником, он станет дорожить вашим сотрудничеством. Когда он потребует выбора, вы сделаете выбор, как найдете лучшим для вас…»

Все пошло именно так, как предрекал Некрасов. Нечего и говорить, что Чернышевский без колебаний остановил свой выбор на «Современнике», когда весною 1855 года Краевский поставил перед ним вопрос ребром.

Исключительное участие, с каким Некрасов отнесся к Чернышевскому, было не случайным. Поэт прошел тяжелую школу жизни и знал, что такое бедность. В юношеские годы бывали у него периоды такой безысходной нужды, что он отправлялся на Сенную площадь и там за пять копеек или за кусок белого хлеба писал крестьянам письма и прошения, а в случае отсутствия такого рода «заказов» устремлялся в казначейство, чтобы за несколько копеек расписываться там за неграмотных. Исключительная выдержка, упорство и настойчивость, свойственные Некрасову, помогли ему вынести эту мучительную борьбу с нищетой.

Сладость *своего* куска хлеба, о которой говорит Чернышевский, была слишком хорошо знакома поэту,

изведавшему в ранние годы своей деятельности опасный искус литературной поденщины.

Он вступил на эту стезю не по доброй воле, а по необходимости. Ему не приходилось гнушаться никакой работой. Он составлял азбуки, писал сказки, детские пьески, водевили, исправлял рукописи других авторов (Григорович, например, однажды застал его за редактированием брошюры об уходе за пчелами), сочинял афишки в стихах для «кабинета восковых фигур», переводил, писал библиографические заметки, театральные рецензии, злободневные куплеты, фельетоны, пародии, повести… Кажется, нет такого журнального жанра, который бы не был испробован Некрасовым. Подводя итоги этого сизифова труда, Некрасов исчислял его в сотнях печатных листов. «Уму непостижимо, сколько я работал! Господи! Сколько я работал!» – говорил он, вспоминая с далеких годах своей молодости.

Медленно, но неуклонно продвигался он вперед даже в этих тесных рамках поденной литературной работы. Дарование стихийно прорывалось в любом стихотворном пустяке, в шаржах, в гротесках, в поспешно набрасываемых бытовых зарисовках.

Начало журнальной карьеры Некрасова совпало с пышным расцветом «предпринимательства» в литературе. Многие не лишенные таланта литераторы, вступив однажды на опасный путь ремесленничества, незаметно для себя мельчали, теряли постепенно лицо, утрачивали сопротивляемость и уже навсегда превращались в покорных поставщиков занимательного чтива.

Стезя эта могла бы оказаться гибельной и для Некрасова. Однако он вышел победителем, и не только потому, что силен был его талант, – одного таланта было бы мало, – требовалась еще огромная воля и ясное сознание отдаленных целей, никогда не покидавшее Некрасова.

Скитаясь по редакциям журналов и по приемным издателей-барышников и театральных дельцов, он верил, что рано или поздно вырвется из этой литературной трясины на настоящую дорогу. Он отчетливо видел, как пуста, бесцельна и никчемна работа в угоду невзыскательным вкусам, как жалок удел нетребовательных к себе ремесленников. В нем не умирала жажда подлинного творчества, он смутно чувствовал свою скованную силу, которой предстояло развернуться впоследствии.

Огромную роль сыграло тут знакомство, а в дальнейшем тесное сближение Некрасова с Белинским.

Над уровнем тогдашним приподняться
Трудненько было: очень может статься,

Что я пошел бы тарного тропой,
Но счастье не дремало надо мной.

Счастьем называл Некрасов свою встречу с Белинским.

Кто знал его, кто был с ним лично близок,
Тот, может быть, чудес не натворил.
Но ни один покамест не был низок…
Почти ребенком я сошелся с ним.

Белинский, вспоминал И. Панаев, сразу полюбил Некрасова «за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано… за тот смелый практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни».

Благодаря общению с Белинским и кругом литераторов, группировавшихся около него, Некрасов очутился в сфере передовой общественной мысли своего времени. Здесь горячо обсуждались животрепещущие политические вопросы, глубочайшие социально-философские проблемы, шли споры о назначении литературы, об обязанностях писателя-гражданина.

Великий критик был страстным поборником искусства для жизни, искусства социального, отвечающего насущным потребностям века. Он смотрел на литературу как на одно из могущественных орудий преобразования действительности. Первостепенной обязанностью художника он считал беззаветное служение народу и родине, делу освобождения их от самодержавия и крепостничества.

Ведя беспощадную борьбу с защитниками «искусства для искусства», эпикурейской поэзии и реакционного романтизма, отвлекавшими читателей от острых вопросов современности, Белинский ратовал за принципы народности и реализма, за поэзию полнокровную, насыщенную глубоким содержанием, понятную и близкую народу.

Девизом его была «социальность», он не уставал твердить, что не хочет блаженства, если оно не общее с «меньшими братьями» и принадлежит одному из тысяч. Часто и подолгу Белинский беседовал с Некрасовым, и каждое его слово падало на благодатную почву.

Под влиянием Белинского инстинктивные прежде симпатии и антипатии поэта становились мало-помалу вполне осознанными и осмысленными, сложилось определенное мировоззрение, ярким выражением которого явилась дальнейшая замечательная

поэтическая деятельность Некрасова.

Не следует понимать так, что Некрасов просто заимствовал у великого критика готовую систему воззрений. Нет, прививаемые Белинским взгляды совершенно своеобразно преломлялись и окрашивались в сознании Некрасова. По складу своего ума он воспринимал не столько философскую основу новых взглядов, сколько жизненные предпосылки их.

Чутко уловив в ранних произведениях Некрасова задатки своеобразной силы, Белинский раскрыл поэту глаза на сущность его натуры, на ее настоящие возможности, указал ему высокую и благородную цель. Впоследствии поэт многократно писал, как благотворна была для него дружба с великим критиком и революционным борцом.

Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!..
Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе…

Не сразу, конечно, воплотились в поэзии Некрасова новые начала, не сразу стал он певцом народного горя и вместе с тем выразителем лучших надежд и стремлений русского народа. Но с той поры, как Белинский пробудил в нем сознание великого долга, он до конца жизни не изменял его заветам.

Не только поэтическое творчество Некрасова вошло тогда в новую колею, – иное направление получила и его издательская работа. Склонность к ней никогда не оставляла Некрасова и занимала весьма значительное место в его творческой и общественной деятельности.

Сколько сборников и альманахов было задумано и выпущено им в 1845–1846 годах! Две части «Физиологии Петербурга», обозначавшие новое направление в тогдашней литературе, маленький «летучий» альманах, или, точнее сказать, сатирический журнал «Зубоскал» (так и не увидевший света по цензурным условиям), нашумевший «Петербургский сборник» с «Бедным» людьми» Достоевского, альманах «Первое апреля» и т. д.

Успех «Петербургского сборника», к участию в котором Некрасов привлек Тургенева, Белинского, Герцена, Достоевского, Майкова, укрепил его решение издавать собственный журнал.

«Если бы явился новый журнал *с современным направлением,*

– говорил он, – то читатели нашлись бы. С каждым днем заметно назревают вее новые и новые общественные вопросы: надо заняться ими не с снотворным педантизмом, а с огнем, чтобы он наэлектризировал читателей, пробудил бы в них жажду деятельности».

«Современник», право на издание которого Некрасов приобрел в самом конце 1846 года, стал благодаря неутомимой энергии поэта центром лучших литературных сил России и оставил неизгладимый след в истории русской культуры и русского освободительного движения.

С января 1847 года, когда вышел первый номер обновленного «Современника» под редакцией Некрасова, на протяжении почти двадцати лет (до запрещения в 1866 году) журнал этот, несмотря на все цензурные строгости, был проводником передовых идей, воодушевлявших русских публицистов, философов и писателей.

Здесь печатались произведения Герцена, Тургенева, Достоевского, Гончарова, Льва Толстого. Здесь развернулся во всем блеске публицистический талант Чернышевского и Добролюбова. Некоторые из писателей, завоевавших впоследствии мировую известность, именно Некрасову обязаны были началом своей литературной деятельности.

Это был, как писал Антонович, «образцовый редактор: умный, дельный, энергичный, практический и усердный».

Белинскому недолго суждено было быть идейным руководителем журнала: в 1848 году великого критика уже не стало. Но Некрасов стремился сохранить его традиции, хотя издание журнала в эпоху цензурных гонений стало делом исключительной трудности. Печатание почти каждого номера сопровождалось запрещением обширных статей. В этих случаях Некрасову приходилось самому заполнять «зияющие бреши». Нужна была его нечеловеческая трудоспособность, чтобы успевать с заменой то и дело устраняемых цензурой материалов новыми. «Я, бывало, запрусь, – вспоминал он, – засвечу огни и пишу, пишу. Мне случалось писать без отдыха более суток. Времени не замечаешь; никуда ни ногой, огни горят, не знаешь, день ли, ночь ли, приляжешь на час-другой и опять за то же дело».

Он писал повести, романы, критические статьи, редактировал рукописи, читал корректуры, вел переписку с авторами и читателями. Некрасов-редактор неотделим в нашем сознании от Некрасова-поэта. Недаром журнальный мир так широко и многообразно отражен в его стихах и поэмах. Он обессмертил в своей поэзии образы творцов печатного слова, начиная от наборщиков, редакционного рассыльного и кончая журналистами и поэтами. Вспомним рассыльного Миная из поэмы «О погоде»,

невольного свидетеля цензурных мытарств, выпавших на долю русских издателей и журналистов:

– А какие ты носишь издания?
– Пропасть их – перечесть мудрено.
Я «Записки» носил с основания,
С «Современником» няньчусь давно:
То носил к Александру Сергеичу,
А теперь уж тринадцатый год
Все ношу к Николай Алексеичу,
На Литейной живет…»

Вот сюда, на Литейную, к Николаю Алексеевичу Некрасову и явился молодой Чернышевский поздней осенью 1853 года, чтобы начать работать рука об руку с великим поэтом и стать затем через некоторое время у руля журнала. Всего восемь с половиной лет длилось сотрудничество Чернышевского в «Современнике», но за этот короткий срок при его ближайшем участии, а позднее и при участии Добролюбова (с 1857 года), «Современник» стал боевым органом русской революционной демократии.

Дружба Некрасова с вождями освободительного движения шестидесятых годов, теснейшее общение и работа с ними имели огромное революционизирующее влияние не только на его выступления как журналиста, но и на его поэтическое творчество этого периода. Идейная связь с Чернышевским и Добролюбовым во многом помогла поэту удержаться на верном пути служения народу и родине. Ленин писал об этом: «Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского. Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и *публично каялся* в них…».[18]

Нечего и говорить, как важен был, в свою очередь, для Чернышевского дружелюбный прием, оказанный ему Некрасовым. Атмосфера «Современника» позволила развернуться критическому дарованию Чернышевского быстро и полно.

Первые печатные произведения Чернышевского (рецензии в «Отечественных записках» на книгу Гильфердинга «О сродстве языка славянского с санскритским», «Опыт словаря к Ипатьевской летопись») носили еще узкоспециальный характер. Но будучи филологом по образованию, Чернышевский вовсе не предполагал посвящать себя всецело этой науке, – интересы его были значительно шире. Отчетливо сознавая, что его труды в этой области были бы необходимы и полезны исключительно для

специалистов, он твердо намеревался оставить филологию для литературной критики и публицистики.

«Филология наука очень важная, – писал Чернышевский спустя два года, – но для того, кто хочет ею специально заниматься; человеку, который не намерен сделаться филологом, санскритский язык не принесет ни малейшей пользы. Еще менее пользы приобретет он, научившись отличать большой юс от малого. Странно даже доказывать такие простые истины. Но как же не защищать их, когда модное направление стремится к тому, чтобы вместо сведений о человеке и природе набивать голову юноши теориями придыханий, приставок, корнями и суффиксами».

Приход в «Современник» дал возможность Чернышевскому заняться разработкой животрепещущих вопросов, волновавших широкие круги читателей, а не узкую аудиторию специалистов.

Уже в молодые годы Чернышевский руководился в своих занятиях не личными вкусами и наклонностями, а потребностями общественного развития. Тут сказывалась та «историческая сознательность», которая заключается в ясном понимании писателем своего назначения и в стремлении его разрешать в первую очередь задачи, выдвигаемые эпохой.

В черновых вариантах «Очерков гоголевского пери да русской литературы» Чернышевский говорит, что Белинский, как и великие европейские критики прошлого (в первую голову Лессинг), «сочинял рецензии» вовсе не потому, что это доставляло им удовольствие или было единственным их призванием. «Мы не знаем, назначала ли его природа исключительно к критической деятельности: гениальной натуре доступны бывают многие поприща, она действует на том, которое в данных обстоятельствах находит самым широким и плодотворным…» (Подразумевается, конечно, плодотворность воздействия на общественное сознание.) В другом месте «Очерков» Чернышевский замечает о своем предшественнике: «… Он чувствует, что границы литературных вопросов тесны, он тоскует в своем кабинете, подобно Фаусту: ему тесно в этих стенах, уставленных книгами, – все равно хорошими или дурными; ему нужна жизнь, а не толки о достоинствах поэм Пушкина или недостатках повестей Марлинского и Полевого».

В «Лессинге» Чернышевский точно так же показывает, что этот прирожденный философ не посвятил философии ни одной страницы в своих книгах, сознавая, что «не время еще было философии стать средоточием немецкой умственной жизни». «Не тяжелое ли самоотречение было это с его стороны? С первого взгляда может показаться так… Но для натур, подобных

Лессингу, существует служение более милое, нежели служение любимой науке, это – служение развитию своего народа».

Понимание этого закона исторической необходимости Чернышевский обнаружил с первых же шагов в литературе. Вот почему он так быстро занял руководящее положение в критике. Вот почему в смятении стали отступать литературные противники «Современника» с приходом туда Чернышевского, а влияние последнего на читателей росло не по дням, а по часам. Вот почему он оставил неизгладимый след в истории отечественной литературы, хотя критикою собственно он занимался не более четырех лет. Встретив впоследствии в лице Н.А. Добролюбова достойного преемника, Чернышевский с 1857 года уже покинул эту область работы, чтобы перейти к публицистике, истории, экономике.

В «Отечественных записках» Чернышевскому приходилось рецензировать главным образом научные или справочные издания, в «Современнике» он получил возможность писать о беллетристических произведениях. Однако первые же статьи и рецензии Чернышевского в «Современнике» (о романе и повестях М. Авдеева, о «Трех порах жизни» Евгении Тур, о «Бедности – не порок» А.Н. Островского) послужили «Отечественным запискам» предлогом для нападок на «Современник» с упреками в резкости, непоследовательности и противоречивости критических оценок этого журнала. Обстоятельство это вовлекло самого Чернышевского в полемику с «Отечественными записками», а между тем, после того как началась эта полемика, он в течение всего 1854 года и первых месяцев 1855 все еще продолжал, по совету Некрасова, сотрудничать и в том и в другом журналах. Случалось иногда так, что в одном и том же номере «Отечественных записок» печатались статьи, рецензии Чернышевского[19], а на соседних страницах заметки с выпадами против его же статей из «Современника». Так продолжалось до весны 1855 года, когда Чернышевский решительно расстался с «Отечественными записками».

Что же в литературных статьях молодого критика вызвало с самого начала возмущение «Отечественных записок»?

Анонимный автор первого обозрения в «Отечественных записках», содержавшего выпады против Чернышевского, не скрывает, что его неприятно поразило нарушение идиллического покоя, царившего до сих пор в критических отделах журналов: «В последнее время в отзывах наших журналов о разных писателях привыкли мы встречать тон умеренный, хладнокровный; если же и читали подчас приговоры несправедливые, по нашему мнению, то самый тон статей, чуждый всякой запальчивости,

обезоруживал нас».

Но вот в эту атмосферу вялого благодушия, тишины и покоя резким диссонансом ворвался вдруг смелый и живой голос, в котором ясно различимы ноты сарказма и гнева.

Чернышевскому не нужны уклончивые и позолоченные фразы, затемняющие существо дела. Ему чуждо слепое поклонение авторитетам и известностям. Он не хочет повторять одни и те же стереотипные фразы о том или ином писателе «от самого его отрочества до самой его дряхлости». «Русская критика, – заявляет он, – не должна быть похожа на щепетильную, тонкую, уклончивую и пустую критику французских фельетонов; эта уклончивость и мелочность не во вкусе русской публики, нейдет к живым и ясным убеждениям, которых требует совершенно справедливо от критики наша публика».

И вот, хотя произведения Евгении Тур получили некоторую известность (после того как И.С. Тургенев снисходительно и сдержанно похвалил их в «Современнике»), новый ее роман из великосветского быта «Три поры жизни», лишенный какого бы то ни было общезначимого содержания, Чернышевский, не обинуясь, называет натянутым, аффектированным, пустым и никому не интересным.

И вот хотя «Вариньку» М. Авдеева относили несколько лет тому назад в том же «Современнике» к числу «замечательных явлений литературы» и ставили в одном ряду с «Записками охотника», новые повести этого писателя настолько далеки от насущных вопросов современности, настолько легковесны и внутренне ложны, что Чернышевский, не обинуясь, бросает автору обвинение в постыдной лакировке действительности, в подкрашивании помещичьего быта розовой водицей сентиментализма. «Что за странность! – восклицает он. – Все это мило, но все это будто бы неправда, будто бы не клеится, будто бы, *не так*… Что же не клеится? Отчего не ладится? Ответа искать недалеко; но мы, – говорит он, разбирая повесть «Ясные дни», – сначала украсим свой разбор грациозным стихотворением:

О домовитая совушка,
О милосизая птичка!
Грудь красно-бела, касаточка,
Летняя гостья, певичка… и т. д.

Что за странность? Что-то не так! Грациозная песенка оказывается нескладицею! Виноваты, виноваты! Мы вздумали про сову пропеть то, что можно пропеть толыко о ласточке!

Г. Авдеев хотел в «Ясных днях» опоэтизировать, идеализировать всё и всех в избранном им для идиллии кругу. Но дело известное, что не всякий кружок, не всякий образ жизни может быть идеализирован в своей истине. Трудно идеализировать бессмыслие и дрязги… Г. Авдеев говорит нам: полюбуйтесь на всех выводимых мною людей всецело, во всей обстановке, полюбите их жизнь; посмотрите, какая светлая, чистая, славная эта жизнь! Посмотрим же, что это за люди и какова их жизнь! Идут ли к ней розовые краски? Не будем даже рассматривать, прикрашивает или нет он своих милых идиллических любимцев; возьмем их такими, какими он их выводит нам на аркадский лужок… Может быть, эти голуби, в сущности, вовсе не голуби, а просто-напросто осовевшие под розовыми красками коршуны и сороки; может быть, от этих сов плохо приходится очень многим, потому что тунеядцы должны же кого-нибудь объедать…»

Трудно было с большею ясностью в подцензурном журнале обвинить писателя в идеализации паразитического времяпрепровождения людей помещичьего круга.

Евгения Тур и Михаил Авдеев были третьестепенными писателями. Но и об ошибках первоклассных художников-мастеров Чернышевский писал с присущей ему прямотой и последовательностью, которую он понимал вовсе не так, как рекомендовал ему понимать ее безыменный критик «Отечественных записок». Чернышевский отказывался ратовать за худшее только из привязанности к именам. «Если хочешь быть последовательным, – писал он, – то смотри исключительно только на достоинство произведения и не стесняйся тем, хорошими или дурными находил ты прежде произведения того же самого автора; потому что одинаковы вещи бывают по существенному своему качеству, а не по клейму, наложенному на них».

Комедия А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся» (1850 г.) создала заслуженную славу замечательному драматургу. Еще до появления в печати она в течение целой зимы читалась с необыкновенным успехом в литературных кругах. Комедия была воспринята современниками как одно из ярчайших явлений в литературе гоголевского направления. А.Ф. Писемский назвал «Свои люди – сочтемся» купеческими «Мертвыми душами»; ее ставили в один ряд с «Недорослем», «Горем от ума» и «Ревизором». Но в следующих затем комедиях Островского наметился отход великого драматурга от принципов критического реализма, столь ярко проявившихся в первой его комедии. Тут проявилось отрицательное влияние на него реакционных славянофильских идей. Комедия «Бедность – не

порок» (1854 г.), в которой сильнее всего сказалось это влияние, вызвала шумный восторг славянофильствовавшего критика Аполлона Григорьева. Он почти коленопреклоненно прославлял ее не только в критических статьях, но и в стихотворениях.

Борясь за Островского, Чернышевский на страницах «Современника» в статье «Бедность – не порок» смело поставил вопрос о путях развития таланта автора «Своих людей». В противовес Аполлону Григорьеву, он осудил комедию, дающую «апофеозу старинного купеческого быта», и констатировал, что в двух последних своих комедиях («Не в свои сани не садись» и «Бедность – не порок») Островский «впал в приторное приукрашивание того, что не может и не должно быть прикрашиваемо». Произведения, по мнению Чернышевского, вышли «слабые и фальшивые», тем не менее Островский еще не погубил своего таланта, дарование его «еще может явиться попрежнему свежим и сильным, если г. Островский оставит ту тинистую тропу, которая привела его к пьесе «Бедность – не порок».

Последующие произведения великого драматурга показали, что он действительно оставил «тинистую тропу», преодолел славянофильские влияния, и уже через три года Чернышевский в статье о комедии «Доходное место» отмечал, что «сильным и благородным направлением она напоминает ту пьесу, которой он обязан большей частью своей известности, – комедию «Свои люди – сочтемся».

Четкость общественно-политических позиций молодого критика, ясность его эстетических критериев, его страстная убежденность и прямота смутили не только критика «Отечественных записок», но и некоторых либерально настроенных сотрудников некрасовского «Современника». Один из мемуаристов рассказывает:

«Многие из крупных сотрудников «Современника» долго не знали, кто помещает в журнале критические и библиографические статьи. Когда к Некрасову приставали за объяснениями Тургенев, Боткин, Григорович и другие, Некрасов обыкновенно как-нибудь уклонялся от прямого ответа, и имя нового сотрудника оставалось неизвестным. Один раз Боткин настойчиво стал допрашивать поэта и сказал: «Признайся, Некрасов, ты, говорят, выкопал своего критика из семинарии?» – «Выкопал, – отвечал Некрасов. – Это мое дело». Помещенный в «Современнике» небольшой разбор повестей Авдеева, печатавшихся раньше в том же журнале, произвел целую бурю в литературных кружках. Многие были задеты, другие

заинтересованы, все расспрашивали, кто этот отважный критик, осмелившийся так резко разбранить Авдеева, известного в свое время литератора и постоянного сотрудника «Современника». Авдеев до того обиделся, что послал Некрасову ругательное письмо».

Рецензии и статьи Чернышевского в «Современнике» сразу выделили его среди тогдашних критиков. За каждой строкой его чувствовалась стройная система взглядов на искусство, цельность отношения к явлениям литературы, глубокое знание законов искусства.

Он выступил на литературном поприще в период упадка в критике, влачившей после смерти Белинского жалкое существование. Журналы были переполнены жалобами на оскудение критики. Но этим и ограничивались журналы.

В статье о сочинениях полузабытого в то время писателя Погорельского Чернышевский остановился на рассмотрении причин этого явления.

Статья является образцом ранней публицистической манеры Чернышевского. Он писал: «Один мыслитель, тревожимый в своих созерцаниях скрипом дверей в его квартире, нашел, что двери могут скрипеть от семнадцати различных причин. Почти столько же причин можно найти и для упадка русской критики в последние годы. Из них первая… но зачем говорить о первой? Лучше скажем о второй. *(Прием типичный для эзоповской манеры письма Чернышевского. Он «отказывается» говорить о первой причине упадка, имея в виду цензурный гнет. – Н. Б.)* Вторая причина бессилия современной критики – то, что она стала слишком уступчива, неразборчива, малотребовательна, удовлетворяется такими произведениями, которые решительно жалки… Современная критика слаба, – этим сказано все: какой силы хотите вы от слабости? Г.А. начинает писать плохие, лживые фарсы; читатели грустят о падении прекрасного таланта; критика находит лживые фарсы замечательными, высокими, правдивыми драмами; Г.Б. начинает писать из рук вон плохие стихи; читатели с неудовольствием пожимают плечами; критика находит стихи пластичными, художественно прекрасными. Г.г. В. и С., г-жи Д. и Е. пишут пустые, вялые, приторные романы и повести; читатели не могут дочитывать романов до второй части, повестей – до второй главы – критика находит эти повести и романы полными содержания, ума, наблюдательности… Как же вы хотите, чтобы она имела живое значение для публики? Она ниже публики; такою критикою могут быть довольны писатели, плохие произведения которых она восхваляет; публика остается ею столько же довольна, сколько теми стихами, драмами и

романами, которые рекомендуются вниманию читателей в ее нежных разборах».

Сочинения Погорельского, изданию которых посвящена статья, послужили, в сущности, только поводом для того, чтобы сопоставить критику начала пятидесятых годов с критикой тридцатых годов, напомнить о высокой миссии подлинной критики, призванной влиять на читателей и воспитывать их.

Однако регресс ее зашел, по мнению Чернышевского, так далеко, что нельзя было сравнивать ее даже с предшествующей Белинскому критикой Н.А. Полевого и Н.И. Надеждина.

Когда против Чернышевского ополчились на страницах «Отечественных записок» за резкость тона и мнимую непоследовательность мнений, он не мог обойти молчанием эти выпады представителей узкоэстетической критики. Ответом его явилась статья «Об искренности в критике», в которой Чернышевский подробно изложил свои взгляды па задачи ее, выдвинув на первый план требование мысли и содержания при оценке художественных произведений и подчеркнув в то же время огромное значение художественной формы.

Острие этой статьи было направлено против уклончивых, осторожных ценителей литературы, боявшихся говорить откровенно и прямо о слабых произведениях, если они принадлежали перу известных писателей. В ней зло высмеян тип «умеренного» и «смиренного» рецензента, не осмеливающегося сказать ни одного решительного слова о разбираемом произведении, сопровождающего свои утверждения всевозможными оговорками из боязни задеть самолюбие критикуемой известности. «Сначала он как будто хочет сказать, что роман хуже прежних, потом прибавляет: нет, я не это хотел сказать, а я хотел сказать, что в романе нет интриги; но и это я сказал не безусловно, напротив, в романе есть хорошая интрига, а главный недостаток романа в том, что неинтересен герой, впрочем, лицо этого героя очерчено превосходно; однако, – впрочем, я не хотел оказать и «однако», я хотел сказать «притом»… нет, я не хотел сказать и «притом», а хотел только заметить, что слог романа плох, хотя язык превосходен».

Точка зрения, развиваемая Чернышевским, чрезвычайно близка к мнению, которое Белинский высказал в 1842 году в статье «Похождения Чичикова или Мертвые души»: «Есть два способа выговаривать новые истины. Один – уклончивый, как будто не противоречащий общему мнению, больше намекающий, чем утверждающий; истина в нем доступна избранным и замаскирована для толпы скромными выражениями: *если смеем так думать, если позволено так выразиться, если не ошибаемся* и

т. п. Другой способ выговаривать истину – прямой и резкий; в нем человек является провозвестником истины, совершенно забывая себя и глубоко презирая робкие оговорки и двусмысленные намеки, которые каждая сторона толкует в свою пользу, и в котором видно низкое желание служить и нашим и вашим. «Кто не за меня, тот против меня» – вот девиз людей, которые любят выговаривать истину прямо и смело, заботясь только об истине, а не о том, что скажут о них самих… Так как цель критики есть истина же, то и критика бывает двух родов: уклончивая и прямая…»

И в разборе сочинений Погорельского и в статье «Об искренности в критике» Чернышевский настойчиво напоминал читателям о Белинском, хотя имя его после 1848 года было цензурно запретно. Чернышевский искусно обходит этот запрет – он не называет Белинского по имени, но говорит о нем иносказательно с достаточной ясностью. И в дальнейшем он нередко прибегает к тому же приему, говоря в своих статьях о тех лицах, имена которых были тогда запретны (Герцен, Бакунин, Фейербах).

Беспощадно зло и остроумно высмеял Чернышевский «литературные забавы» своих современников-писателей в пародийной рецензии на вымышленную детскую книжку «Новые повести», где многие из тогдашних беллетристов могли узнать себя, хотя действующими лицами «рецензии» была некая почтенная тетушка и ее племянники и племянницы, занимавшиеся писанием повестей и рассказов. В рецензии была дана картина семейных литературных чтений, на которых выносились приговоры повестям и рассказам племянников: «По развитию мысли Ваничка стоит выше Лермонтова», «юмор Петруши глубок и бичует самые мрачные явления современности» и т. д.

Пародия эта была одним из первых проявлений открытой борьбы революционных демократов с безыдейной и салонной литературой, с либерально-дворянским «народолюбием» писателей, опошлявших крестьянскую тему, с мелкотравчатыми обличителями «недостатков общества», отвлекавшими внимание читателей от коренных, насущных и глубоких вопросов эпохи.

Жизнь Чернышевских в первые два года их пребывания в Петербурге текла по-провинциальному уединенно. Николай Гаврилович был так занят, что у него не оставалось времени для знакомых. Каждый месяц необходимо было ему написать не менее ста двадцати страниц: кроме статей и рецензий в «Современнике», регулярно печатались в «Отечественных

записках» его заметки в отделах «Новости наук», «Журналистика» и «Смесь»; с некоторых пор стал он также переводить для этого журнала романы и повести с английского.

По заведенной им системе, в первую половину месяца он обычно читал то, о чем надобно было писать, а во вторую половину – писал. Лишь иногда позволял он себе отдохнуть день-другой в начале нового месяца, закончив всю необходимую работу по журналу. В такие дни ездили они с Ольгой Сократовной куда-нибудь за город: либо в Павловск, либо в Екатерингоф.

Ольгу Сократовну очень тревожило, что Николай Гаврилович так немилосердно изнуряет себя работой.

– Какого здоровья может достать надолго при такой работе? – твердила она друзьям. – Придешь поутру звать его пить чай, он сидит и пишет, уверяет, что недавно проснулся; потом пьет чай, а у самого слипаются глаза; как же поверить ему, что он спал?.. И всегда работает целый день: как встал, так и за работу, – и до поздней ночи.

– Я вовсе не так много работаю, как ты воображаешь, – возражал в таких случаях Николай Гаврилович. – Нельзя иначе: и так я не успеваю сделать всего, что нужно.

Напрасно Ольга Сократовна ссылалась на печальный пример Введенского, для которого неожиданно настали теперь тяжелые дни: он начал слепнуть от длительных напряженных занятий, от постоянного чтения. Лучшие петербургские окулисты, лечившие его, в бессилии опустили руки, говоря, что лекарствами дела уже не поправишь, а можно надеяться лишь на благодетельное действие спокойной жизни решительно без всякой работы. Николай Гаврилович на все эти сетования неизменной отвечал шутливыми фразами о своем железном здоровье.

Сфера умственных интересов мужа не могла быть вполне доступна Ольге Сократовне, хотя бы по тому, что у нее не было для этого достаточных знаний. Но, отрываясь от своих занятий, Николай Гаврилович любил проводить время с женой в дружеских беседах, ценя ее природный ум и наблюдательность.

По нескольку раз в день заходила она в кабинет к Николаю Гавриловичу, садилась возле него и начинала подробно рассказывать ему обо всем, что видела, слышала и думала. Но часто она замечала, что хотя он и слушает ее как бы с интересом, однако мысли его далеки и через минуту он уже забывает о предмете разговора.

В августе 1854 года, вскоре после рождения сына Александра, Чернышевские переехали в более просторную квартиру в Хлебном переулке, в доме Диллинсгаузена. Николай Гаврилович

поселился здесь главным образом потому, что хотел перебраться ближе к редакциям журналов. Да и до кадетского корпуса, где он продолжал преподавать, легко и удобно было добираться отсюда на омнибусе, ходившем по Невскому проспекту почти до самого здания корпуса.

Не желая больше обрекать жену на одиночество, Николай Гаврилович охотно согласился на просьбу Ольги Сократовны о том, чтобы вместе с ними поселилась ее новая знакомая – Генриетта Михельсон, которая давала уроки французского и немецкого языков. «Мы оба, я и жена, – писал Чернышевский отцу, – главным образом то имели в виду, чтобы жена могла предаваться дружеской беседе, когда я занят».

Со времени переезда в новую квартиру круг знакомых Николая Гавриловича постепенно расширился. По воскресеньям стали приходить к нему некоторые из бывших его учеников по Саратовской гимназии, – закончив там курс, они переехали в Петербург и учились теперь в Педагогическом институте. Прежние ученики приводили с собою товарищей, которым они уже успели внушить уважение к своему учителю, чье имя становилось все более известным в литературном мире.

Так образовался здесь кружок молодежи, где Чернышевский развивал те же идеи, что и в своих журнальных статьях, с тою разницей, что он говорил перед своими посетителями подробнее и свободнее, не стесняемый цензурными соображениями. Здесь шли вольные беседы на исторические и литературные темы. С жадным вниманием слушали гости Чернышевского все, что он говорил им о Пушкине и Лермонтове, о Гоголе и Белинском.

Здесь прививались молодому поколению революционные идеи, распространявшиеся потом юными посетителями Николая Гавриловича дальше, в более широких кругах студенческой молодежи, уже прислушивавшейся к голосу Чернышевского в «Современнике». Популярность его среди передовых слоев общества неизменно ширилась и крепла.

В тот год, когда Чернышевские переехали из Саратова в столицу, над страной уже сгущались тучи войны… «Всего более занимают Петербург толки о предстоящей турецкой войне, – писал летом отцу Николай Таврилович. – Иностранные газеты уверены, что война будет и обратится из войны между Россией и Турцией в войну между Россиею и Англиею. У нас, по слухам, делаются очень большие приготовления».

И действительно, Россия постепенно втягивалась в военный конфликт с Турцией, следствием которого явилась потом война с коалицией европейских держав, война, потрясшая до основания крепостнические устои России и обнаружившая с неумолимой

очевидностью бессилие царизма.

Ближайшим поводом к войне послужило занятие летом 1853 года русскими войсками дунайских княжеств Молдавии и Валахии. После того как Николай I отказался удовлетворить требование Турции об оставлении этих княжеств. Турция в октябре начала военные действия против русских войск на Дунае.

Дальнейшее расширение войны было вызвано захватническими стремлениями правящих кругов западноевропейских государств, главным образом Англии и Франции. В начале следующего года эти государства также предъявили России ультиматум об очищении княжеств. Он был отвергнут, и через две недели, 15 марта, обе державы объявили России войну. К осени 1854 года, после высадки англо-французских войск в Крыму, здесь сосредоточились все военные действия. Решающим и самым драматическим моментом Крымской кампании была беспримерно героическая оборона Севастополя, длившаяся почти год и окончившаяся его сдачей.

XV. Защита диссертации

Осенью 1854 года Чернышевский сообщил отцу, что дело о магистерстве, «так несносно тянувшееся, опять подвигается: скоро, – писал он, – начну печатать свою диссертацию…» Впрочем, нисколько не обольщаясь, тут же добавлял: «Из этого не следует, однако, чтобы конец был уже близок…»

В это время он еще не расстался с мыслью о деятельности ученого, намереваясь после магистерского экзамена держать докторский, но впоследствии, когда ему стало ясно, что в верхах министерства просвещения всячески препятствуют его намерению, он охладел к этим планам.

В конце сентября Никитенко удосужился, наконец, прочитать диссертацию и уполномочил «пустить ее в дело». Но до окончания было еще далеко. Пока декан препроводил диссертацию на официальный отзыв Никитенке, пока тот представил свой отзыв, прошло более двух месяцев, и только 21 декабря Чернышевский получил от декана извещение, что диссертация вскоре будет утверждена советом к печатанию. В действительности это утверждение состоялось значительно позже.

Наступил 1855 год… Из далекого Крыма приходили все более и более тревожные вести, ожидавшиеся с лихорадочным нетерпением. Несмотря на беспримерный героизм защитников Севастополя, исход войны стал уже ясен, как ясны были и причины надвигавшегося поражения. Они коренились в общественно-политическом укладе царской России. «Неслыханнейшая оргия» хищений и казнокрадства охватила круги высших чиновников и помещиков, наживавшихся на военных поставках. «Отечество продавалось всюду и за всякую цену», – писал Салтыков-Щедрин.

В обществе открыто говорили о лживости официальных реляций, об отсутствии надлежащего вооружения войск, о хаотическом состоянии лазаретов и провиантской части, о развале снабжения армии, рассказывали о злополучном курском ополчении, выступившем с топорами против дальнобойных орудий.

Даже люди консервативных и умеренных взглядов становились в оппозицию к царскому правительству, поставившему страну в безвыходное положение, несмотря на поразительное самоотвержение и мужество русского войска, несмотря на бесчисленные жертвы, принесенные народом для спасения родины от позора военного поражения.

18 февраля в столице все были изумлены неожиданным известием о внезапной смерти Николая I, последовавшей в самый разгар Севастопольской обороны и воспринятой всеми прогрессивными людьми в стране как знак неизбежного крушения самодержавно-крепостнического строя.

«Россия точно проснулась от летаргического сна», – вспоминал впоследствии один из друзей Чернышевского Шелгунов. – «Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг «новых людей», точно небо открылось «ад ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень».

Чувство ликования и надежды на возможность революционного взрыва, охватившее демократически настроенные круги русской интеллигенции, ярко выразил Герцен, находившийся в изгнании:

«С 18 февраля (2 марта) Россия вступает в новый отдел своего развития. Смерть Николая – больше, нежели смерть человека: *смерть начал,* неумолимо строго проведенных и дошедших до своего предела…

Севастопольский солдат, израненный и твердый, как гранит, испытавший свою силу, так же подставит свою спину палке, как и прежде? – спрашивал Герцен. – Ополченный крестьянин воротится на барщину так же покойно, как кочевой всадник с берегов каспийских, сторожащий теперь балтийскую границу, пропадет в своих степях? И Петербург видел понапрасну английский флот? – Не может быть. Все в движении, все потрясено, натянуто… и чтоб страна, так круто разбуженная, снова заснула непробудным сном?!. Но этого не будет. Нам здесь вдали слышна другая жизнь. Из России потянуло весенним воздухом».

Весть о смерти Николая I застала Чернышевского за работой над второй статьей о сочинениях Пушкина, которую он готовил для «Современника». В рукописи Чернышевским отчеркнут весь последний абзац статьи и написано на полях и внизу статьи: «Здесь получено известие» и «дописано 18 февраля 1855 г. – под влиянием известного события написаны последние строки».

Вот эти последние строки: «Будем же читать и перечитывать творения великого поэта и, с признательностью думая о значении их для русской образованности, повторять вслед за ним:

Да здравствуют Музы, да здравствует Разум!

И да будет бессмертна память людей, служивших Музам и Разуму, как служил Пушки»!»

Конечно, в эту минуту он думал о свободолюбивой поэзии

Пушкина, о друзьях поэта – о Рылееве, о Кюхельбекере и других декабристах, «вышедших сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия» (Герцен).

Атмосфера общественного подъема не могла не отразиться благоприятно и на судьбе диссертации Чернышевского, защиту которой Никитенко решил теперь долее не задерживать.

4 апреля Чернышевский писал родным в Саратов: «Я надеюсь скоро напечатать свою несчастную диссертацию, которая столько времени лежала и покрывалась пылью. Эта жалкая история так долго тянулась, что мне и смешно и досадно. И тогда я думал и теперь вижу, что все было только формальностью; но формальность, которая должна была кончиться в два месяца, заняла полтора года… Дело… тянулось невыносимо долго. Но теперь оно уже дотянулось до окончания».

Утверждение диссертации советом последовало 11 апреля, и Чернышевский тотчас же сдал ее в типографию.

Диссертация вышла из печати за неделю до диспута в четырехстах экземплярах. Даже внешняя форма ее существенно отличалась от обычных «ученых» трудов. «Наперекор общей замашке шарлатанить дешевой ученостью», автор диссертации, как бы бросая своеобразный вызов застывшим академическим формам университетских трактатов, освободил свою работу от цитат и ссылок на всевозможные книжные источники. Живыми, неиссякаемыми источниками были для него революционные идеи Герцена и Белинского, но разве мог он открыто указать на них в диссертации? «Я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого, – писал он отцу. – Вообще у нас очень затмились понятия о философии с тех пор, как умерли или замолкли люди[20], понимавшие философию и следившие за нею».

Наступила дружная весна – быстро стаял на улицах снег, и петербуржцы, сбросив с облегчением шубы, щеголяли в весеннем платье. Теплая погода, установившаяся необычно рано, позволила Чернышевским уже в конце апреля переехать на дачу, расположенную в Беклешевском саду под Петербургом.

В эту памятную весну 1855 года, отмеченную нарастанием общественного подъема после смерти Николая I, состоялась защита знаменитой диссертации Чернышевского.

Уверенный в том, что прения будут проходить вяло и скучно, потому что предмет, о котором он писал, был мало знаком его оппонентам, Николай Гаврилович не стал даже готовиться к диспуту. И в канун этого дня и в самый день диспута он

занимался редакционными делами, чтением корректур «Современника» и своим переводом английского романа для «Отечественных записок».

10 мая, ровно в час пополудни, под председательством ректора университета Плетнева начался диспут. Официальными оппонентами были профессора Никитенко и Сухомлинов. Среди слушателей присутствовали близкие, друзья и знакомые Чернышевского: Ольга Сократовна, Пыпин, Анненков, Введенский, Краевский, поэт Мей, Панаев, Сераковский, Шелгунов, земляки: И.В. Писарев, А.Ф. Раев, И.Г. Терсинский.[21]

Описание этого знаменательного дня сохранилось в воспоминаниях Н.В. Шелгунова. «Задолго до публичной защиты, – пишет он, – о ней было уже известно в кружках, более близких к автору… Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодежи, Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах. Я тоже был в числе этих, а рядом со мной стоял Сераковский (офицер Генерального штаба, впоследствии принявший участие в польском восстании и повешенный Муравьевым)… Чернышевский защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения».

Оппоненты не сумели выдвинуть никаких веских возражений по существу. Прения протекали именно так, как предполагал Чернышевский. Отметив целый ряд неоспоримых достоинств диссертации, Никитенко тем не менее попытался отвергнуть ее философскую основу и защитить «незыблемые цели искусства, установленные существующей эстетической теорией». Возражая ему, Чернышевский с легкой иронической улыбкой на губах говорил о господстве рабского преклонения перед устаревшими мнениями, о предрассудках и заблуждениях, о боязни смелого, свободного исследования и свободной критики. «Только этим обстоятельством, – сказал он в заключение, – и можно объяснить, что в нашем образованном и ученом обществе держатся до сих пор устарелых и давно уже ставших ненаучными эстетических понятий… Они уже отжили, и их надо отбросить».

Вся процедура защиты заняла не более полутора часов. «После диспута, – пишет Шелгунов, – Плетнев обратился к Чернышевскому с такими словами: «Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!» И действительно, Плетнев читал не то, а то, что он читал, не было бы в состоянии привести публику в тот восторг, в который ее привела диссертация. В ней было все ново и все заманчиво: и новые мысли, и аргументация, и простота, и ясность изложения Но так на диссертацию смотрела только

аудитория. Плетнев ограничился своим замечанием, обычного поздравления не последовало, и диссертация была положена под сукно».[22]

Можно было положить под сукно «Дело о магистерском испытании» Н.Г. Чернышевского, но уже нельзя было замалчивать великие идеи, провозглашенные в его диссертации.

Понятен восторг молодой аудитории, слушавшей защиту Чернышевским тезисов «Эстетических отношений искусства к действительности». Ведь после «Писем об изучении природы» Герцена и замечательных статей Белинского по эстетике диссертация эта открывала новую страницу в развитии передовой русской философской и общественной мысли, продолжавшей и в пятидесятые годы, несмотря на цензурные тиски, могучее движение вперед в борьбе с проповедниками реакции, идеализма, застоя, крепостничества.

Перед автором «Эстетических отношений» стояли, казалось бы, непреодолимые трудности. Чернышевский, по собственным его словам, «занимался эстетикой только как частью философии». Однако в самой диссертации он был лишен возможности обрисовать во всей полноте распад идеалистической философии и со всею ясностью заявить об освободительной силе материалистического учения.

И все же, с величайшим искусством обходя эти препятствия, Чернышевский проводил в диссертации революционные идеи своего времени, вскрывая с замечательной глубиной и последовательностью реакционную сущность идеалистических представлений об искусстве и действительности и провозглашая новые взгляды на искусство, вытекающие из материалистического мировоззрения и одухотворенные революционным пафосом.

Анализ основных положений диссертации показывает, что она была теоретическим обобщением, философским обоснованием и дальнейшим развитием взглядов Белинского на сущность и значение искусства. Для Чернышевского, как и для его предшественника, вопросы искусства были «только полем битвы, а предметом борьбы было влияние вообще на умственную жизнь» (слова Чернышевского о Белинском). Вот почему, несмотря на кажущуюся отвлеченность темы диссертации, она приобрела в освещении Чернышевского животрепещущую остроту и актуальность.

Трактат его призван был сыграть колоссальную роль в борьбе с идеалистической эстетикой. Это была первая попытка создать систематическую научную эстетику с материалистической точки зрения.

«Эстетические отношения искусства к действительности»

посвящены не только критическому анализу теории Гегеля и гегельянца Фишера: трактат этот выходит за пределы своего специального назначения, являясь в известной мере и общефилософским трактатом.

Выдающаяся роль Чернышевского как философа-материалиста была отмечена Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1908 г.) и в статье «О значении воинствующего материализма» (1922 г.).

Пункт за пунктом опровергает Чернышевский основные положения идеалистической эстетики, которая от Плотина до Канта и Гегеля покоилась на религиозном истолковании идеи прекрасного. Идеалистическая эстетика видела в искусстве один из способов познания и выражения «абсолютной идеи» и ставила красоту в искусстве выше красоты в природе. Исходя из предпосылок материалистической философии, Чернышевский выдвигал взамен идеалистических абстракций свое определение прекрасного: «прекрасное есть жизнь». Красота мыслится не как воплощение «абсолютной идеи» в «конечных образах», – она понята как свойство объективной действительности. В произведениях искусства нет ничего, что не было бы дано этой действительностью.

Такое определение прекрасного вытекало из правильного понимания отношений действительного мира к воображаемому и вело к верному взгляду на истоки искусства и на его назначение. Чернышевский не ограничивался утверждением превосходства действительности над искусством, не ограничивался низведением искусства в сферу реальной жизни. Он утверждал также, что само понятие красоты не одинаково для всех людей, классов, сословий, и указывал на активную преобразующую роль искусства.

Эстетика Чернышевского, как первая развернутая материалистическая теория искусства, представляет для нас не только исторический интерес. Многие стороны эстетического учения Чернышевского близки нашему времени. Когда мы вдумываемся в тезисы его диссертации, мы видим, что в целом ряде их затрагиваются проблемы, волнующие мастеров советского искусства.

Строя свою эстетику на возвышении действительности, жизни, природы, Чернышевский тем самым закладывал основы реалистической эстетики. Этой своей стороной она особенно родственна нашей современности. Чернышевский отрицал искусство, оторванное от жизни, тяготеющее к призрачным образам бесплодной фантазии, он отрицал тепличные цветы «искусства для искусства» и призывал художников к полнокровному воспроизведению жизни во всем ее многообразии.

Ложные направления искусства – формализм и натурализм – решительно осуждались им. Формализм, как мы его понимаем, начинается там, где «искусство, – по определению Чернышевского, – переходит в искусственность», формализм там, где «господствует мелочная отделка подробностей, цель которой не приведение в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности».

Чрезвычайно важно отметить, что многие возражения Чернышевского против формалистических ухищрений обращены вместе с тем и против бессмысленного, ничем не одухотворенного копирования, когда мелочное выписывание отдельных черт и бесконечных деталей заводит художника в дебри натурализма. Натурализм, или «мертвая копировка», «дагерротипное копирование», бесполезное подражание, как выражался Чернышевский, порождается пассивным «воспроизведением действительности», против которого он предостерегает в своей эстетике.

Необходимым условием для всякого большого художественного произведения, будь то картина, роман, скульптура или поэма, Чернышевский считал наличие в этом произведении ответа на запросы современности, ибо истинный художник в основание своих произведений всегда кладет идеи современные.

Писатель должен быть в гуще жизни, его не могут не волновать вопросы, порождаемые действительностью, и тогда в его произведениях выразится стремление дать свою оценку, «свой живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными)».

Товарищ А.А. Жданов в своем докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» подчеркивал действенный, революционный характер эстетики Чернышевского. «Боевое искусство, – говорил А. А. Жданов, – ведущее борьбу за лучшие идеалы народа – так представляли себе литературу и искусство великие представители русской литературы. Чернышевский, который из всех утопических социалистов ближе всех подошел к научному социализму и от сочинений которого, как указывал Ленин, «веяло духом классовой борьбы», – учил тому, что задачей искусства является, кроме познания жизни, еще и задача научить людей правильно оценивать те или иные общественные явления».

Низведение искусства в сферу реальной жизни, критика

ложных течений в искусстве – формализма и натурализма, отрицание пассивного подхода художника к изображаемому, отстаивание идейности в искусстве, взгляд на искусство как на одно из могущественных орудий преобразования действительности – таково было в общих чертах содержание диссертации Чернышевского, которая явилась огромным шагом вперед в развитии материалистической эстетики.

Выход из печати диссертации, несмотря на важность затронутых в ней вопросов, не вызвал оживленной полемики. Журнальные отклики были немногочисленны. В 1855 году появились лишь две рецензии: одна в «Отечественных записках» (т. 6), где дан довольно подробный анонимный разбор диссертации с резко отрицательной оценкой ее, и другая – в «Библиотеке для чтения» (т. 132), где безыменный рецензент (повидимому, А. Дружинин) поддержал выступление «Отечественных записок», назвав их разбор диссертации справедливым.

Ко времени появления «Эстетических отношений» в свет Чернышевский уже занимал в редакции «Современника» видное положение. Книга не могла пройти незамеченной в среде писателей. Первые отклики их были крайне неблагожелательны.

Настоящего, обстоятельного анализа и освещения диссертация Чернышевского в то время не получила, да едва ли и могла получить. Вероятно, это обстоятельство заставило самого Чернышевского тотчас же после издания книги взяться за разбор «Эстетических отношений», чтобы восполнить, насколько было возможно, свои упущения и под видом критики изложить подробнее то, что недостаточно ясно было развито в его сочинении.

Прежде всего Чернышевский попытался яснее подчеркнуть в авторецензии связь своей эстетики с общей системой материалистических философских воззрений. Готовя свое сочинение как университетскую диссертацию, Чернышевский, конечно, чувствовал себя гораздо более связанным, нежели при выступлении в «Современнике» под псевдонимом Н.П. – ъ, с автокритической статьей, посвященной «Эстетическим отношениям искусства к действительности».

В диссертации Чернышевский вуалировал все намеки на родство своей теории с материалистической философией. По мнению самого Чернышевского, эти вынужденные недомолвки явились важнейшим и чрезвычайно ощутительным недостатком его трактата, так как в нем отсутствовал анализ общих начал, из приложения которых к эстетическим вопросам образовалась его теория искусства.

В журнале он имел возможность изъясняться свободнее, и потому здесь гораздо яснее говорится о «внутреннем смысле теории, принимаемой автором диссертации», об общих истоках его эстетической концепции Именно под тем предлогом, что «г. Чернышевский слишком бегло проходит (в диссертации) пункты, в которых эстетика соприкасается с общею системою понятий о природе и жизни», автор рецензии (то-есть Чернышевский же) постарался более обстоятельно осветить этот вопрос.

Не имея возможности упомянуть имя Фейербаха, Чернышевский тем не менее все время стремится хоть намеками указать на его философские воззрения, послужившие толчком для создания диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», которая, разумеется, была совершенно самостоятельным трудом, новым словом в развитии философской мысли.

Чернышевский в авторецензии отметил ряд недочетов своего трактата (неполнота изложения, беглость указаний на связь его эстетической теории «с общей системой понятий о жизни и природе», отсутствие анализа идей Гегеля и, наконец, отсутствие примеров живой связи «общих начал науки с интересами дня»). Но все эти лукавые упреки, которые обращает к самому себе Чернышевский, укрывшийся за инициалами Н.П. – ъ, должны быть отнесены, конечно, не к автору трактата, а к цензуре того времени, к общей политической обстановке первой половины пятидесятых годов.

XVI. В борьбе за идеи Белинского

В статьях о Пушкине, написанных в 1855 году, как и в «Эстетических отношениях» и в рецензии на «Пиитику» Аристотеля, Чернышевский выдвинул на первый план забытые со времен Белинского общие вопросы о путях развития литературы, о смысле художественного творчества, о его общественном назначении.

Эти работы явились как бы вступлением к знаменитому спору о пушкинском и гоголевском направлениях в русской литературе, завершившемуся затем созданием «Очерков гоголевского периода».

Вопрос об этих двух направлениях был намечен еще в 1842 году Белинским в его рецензии на брошюру К. Аксакова о «Мертвых душах». «Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине, – писал Белинский, – ибо *Гоголь поэт более социальный,* следовательно более поэт в духе времени, он также менее теряется в разнообразии создаваемых им объектов и более дает чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть солнцем, освещающим создание поэта нашего времени».

Совершенно в духе Белинского решается этот вопрос и Чернышевским в рецензии на «Пиитику» Аристотеля. «Кто, по вашему мнению, – говорит он, – выше: Пушкин или Гоголь?.. Если сущность искусства действительно состоит, как ныне говорят, в идеализации; если цель его – «доставлять сладостное и возвышенное ощущение прекрасного», то в русской литературе нет поэта, равного автору «Полтавы», «Бориса Годунова», «Медного всадника», «Каменного гостя» и всех этих бесчисленных благоуханных стихотворений; если же от искусства требуется еще нечто другое, тогда…»

Чернышевский прерывает эту свою фразу недоуменным вопросом от имени читателя, предубежденного в пользу старых эстетических понятий. «Но в чем же, кроме этого, может состоять сущность и значение искусства?» «Мы знаем, – писал по этому поводу Плеханов, – в чем состоят они, по мнению Чернышевского, и мы сами должны дополнить прерванную фразу: «Если цель искусства состоит не только в том, чтобы доставлять сладостные и возвышенные ощущения прекрасного, то «Ревизор» и «Мертвые души» выше «Каменного гостя» и «Полтавы», и Гоголь выше Пушкина, а те писатели, которые превзойдут Гоголя сознательностью своего отношения к жизни, будут еще выше Гоголя».

В статьях о сочинениях Пушкина Чернышевский снова возвращается к этому вопросу и приходит к выводу, что «великое дело свое – ввести в русскую литературу поэзию, как прекрасную художественную форму, Пушкин совершил вполне, и, узнав поэзию, как форму, русское общество могло уже идти далее и искать в этой форме содержания. Тогда началась для русской литературы новая эпоха, первыми представителями которой были Лермонтов, и особенно, Гоголь».

Нетрудно заметить, что взгляд Чернышевского на творчество Пушкина очень близок к взгляду Белинского в последний период его деятельности. Чернышевский также очень высоко ценил поэзию Пушкина, но считал ее, по ряду исторически обусловленных причин, поэзией переходной к литературе «гоголевского направления», то-есть к литературе критического реализма.

Известная односторонность такого подхода к Пушкину была вскрыта и объяснена еще Плехановым.

В борьбе с теоретиками «чистого искусства» Чернышевский, полемически заостряя свои статьи, пришел к ряду ошибочных утверждений, например, что Пушкин «по преимуществу поэт формы», что он не был поэтом какого-нибудь определенного воззрения на жизнь, как Байрон, не был даже поэтом мысли вообще, как, например, Гёте и Шиллер. Художественная форма «Фауста», «Валленштейна», «Чайльд Гарольда» возникла для того, чтобы в ней выразилось глубокое воззрение на жизнь; в произведениях Пушкина мы не найдем этого. У него художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе».

Марксистская критика должна была внести и внесла существенные поправки в такого рода суждения о великом русском поэте, основоположнике нашей литературы, сделавшем огромный вклад в сокровищницу мировой культуры.

«Мы не можем, – как правильно заметил А.В. Луначарский, – относиться к пушкинской поэзии, как к своего рода дворянской забаве, «приятной, как лимонад», но не имеющей большого социального значения… Теперь мы ценим Пушкина не только за «пленительную сладость» его стихов. Вдумываясь в него, мы открыли в этой, на вид до поверхностности счастливой натуре глубинные мысли и переживания, зародыш почти всех важнейших мотивов, которые развернула потом русская литература. Целый ряд проблем, над которыми мы еще и сейчас можем биться, получил определенные стимулы от Пушкина. Нам незачем уступать Пушкина сторонникам искусства для искусства, нам незачем говорить: «Некрасов – наш поэт, а Пушкин – ваш поэт:

оба наши».

При известных неправильных, но исторически объяснимых нотах, имевшихся в суждениях Белинского и Чернышевского о Пушкине, взгляд их на творчество поэта в целом был широк, плодотворен и справедлив. Белинский первый исторически объяснил творчество великого поэта – в одиннадцатой статье о сочинениях Пушкина он называл его наряду с Гоголем родоначальником реалистической школы, «пошедшей, как известно, не от Карамзина и Дмитриева, а от Пушкина и Гоголя».

Почти столетие отделяет нас от того времени, когда были написаны Чернышевским «Очерки гоголевского периода русской литературы», появившиеся в «Современнике» в 1855–1856 годах. Однако эта замечательная работа не утратила до сих пор своего огромного значения. Чернышевский выступил в ней решительным поборником высокоидейного передового искусства, призванного служить коренным интересам народа в его борьбе с самодержавием и крепостничеством.

Он отстоял в своих «Очерках» великие принципы материалистической эстетики Белинского от нападок реакционного лагеря критики, подвел итоги развития русской литературы тридцатых-сороковых годов и показал писателям-современникам, что в новых исторических условиях самой главной задачей литературы является дальнейшее углубление гоголевских традиций критического реализма.

«Очерки» Чернышевского вышли в свет в период быстрого назревания революционной ситуации, когда поражение царизма в Крымской войне с неумолимой ясностью выявило, по словам Ленина, «гнилость и бессилие крепостной России»[23], показало неизбежность крушения феодально-крепостнических устоев.

«Современник», объединивший вокруг себя лучших русских писателей, становится в эту пору органом пропаганды революционно-демократической мысли, смело выступает на защиту попранных прав многомиллионных масс угнетенного крестьянства. Для того чтобы эта пропаганда стала успешной, надо было парализовать противодействие реакционного и либерально-дворянского лагеря литературы, враждебного народу и освободительной борьбе. Все усилия этого лагеря были направлены на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшему развитию в русской литературе сатирического направления, основоположником которого был Гоголь.

На всем протяжении «мрачного семилетия» 1848–1855 годов, то-есть до самого начала нового подъема освободительного движения в стране, лагерь реакции стремился похоронить гоголевские традиции, противопоставить им в корне порочную

идеалистическую теорию чистого искусства, искусства для искусства, совершенно чуждого общественным интересам.

Политическая обстановка в последний период царствования Николая I особенно благоприятствовала этим стремлениям реакционеров. Царское правительство, опасаясь, что в России может начаться широкое народное движение, беспощадно подавляло не только бунты крепостных, но и всякое проявление свободной мысли в обществе. Оно считало просвещение, науку, литературу рассадниками революционных идей, преследовало их, тщетно силясь держать в немом оцепенении духовную жизнь страны. Николай I и его подручные с хладнокровной жестокостью расправились в 1849 году с участниками кружка Петрашевского, где пропагандировали революционные воззрения Белинского, с особенной силой выраженные в его нелегальном «Письме к Гоголю». Имя Белинского после расправы над петрашевцами было запрещено упоминать в печати.

От взгляда властей не укрылась тогда внутренняя связь обличительного гоголевского направления литературы с освободительным движением эпохи. В докладной записке шефа жандармов Орлова «об особенном характере новой нашей журналистики», которую он представил в 1848 году Николаю I, отмечалось, что Белинский «одобряет только тех писателей, которые подражают Гоголю», и что следствием того «в народе, сверх уничтожения чистого вкуса, могут усилиться дурные привычки и даже дурные мысли».

Совершенно ясно, какие «дурные мысли» имел в виду автор этой докладной записки. Именно Белинский был первым критиком, глубоко оценившим революционизирующее влияние реализма Гоголя и показавшим, что произведения гениального сатирика раскрыли русским читателям глаза на уродливость общественных отношений крепостнической России, на ужас рабского положения народа.

Создав учение о критическом реализме на основе раскрытия художественного опыта Гоголя и последующих писателей, пошедших по пути автора «Мертвых душ», Белинский руководил движением передовой русской литературы сороковых годов, давшей России повести Герцена, стихотворения Некрасова, «Записки охотника» Тургенева и другие произведения, обличавшие николаевскую монархию.

Со смертью Белинского в русской критике наступила пора застоя и упадка. «Девять лет, прошедшие после смерти Белинского, были бесплодны для русской критики», – говорит Чернышевский в «Очерках гоголевского периода».

Пользуясь тем, что в годы реакции невозможно было полным

голосом говорить об истинном смысле творчества Гоголя, о взрывчатой силе его реалистических произведений, о его бичующей сатире, дворянско-буржуазные литераторы и публицисты стали исподволь подвергать пересмотру взгляды Белинского на искусство и объявили поход против писателей гоголевской школы, произведения которых были проникнуты духом протеста и обличения.

Выход в свет новых изданий сочинений Пушкина и Гоголя в 1855 году реакционные критики сочли одним из удобнейших внешних поводов для ревизии взглядов Белинского, а также для возобновления нападок на сатирическое направление в литературе. Обсуждение в печати этих изданий явилось толчком к началу широкой журнальной дискуссии о пушкинском и гоголевском направлениях в литературе. Либерально-дворянские критики – П. Анненков, А. Дружинин и др., стоявшие на страже монархии и помещичьих интересов, восставали против реалистического изображения писателями крепостнической действительности, против гоголевских обличительных традиций. Они силились опорочить эстетические принципы Белинского, объявить «неосновательными» и «устаревшими» его взгляды на роль литературы. Консервативно настроенный Дружинин, называвший себя непримиримым противником гоголевского реализма, демагогически противопоставил этому направлению пушкинское, якобы внеобщественное, чисто эстетическое. Идеологи реакции пытались использовать имя Пушкина для защиты теории «чистого искусства», которое явилось бы средством обороны от литературы критического реализма, подтачивавшей основы близкого им строя. Пушкин, по утверждению Дружинина, «создавал идеальные образы, находил положительно идеальные черты в тех явлениях и сферах нашей жизни, которые после него вызывают исключительно чувство отрицания».

Дружинин призывал вернуться к пушкинским традициям. «Против того сатирического направления, – писал он, – к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может послужить лучшим оружием».

Писатели революционно-демократического лагеря, руководившие «Современником», отстаивали прямо противоположную точку зрения. Дальнейшее развитие гоголевского сатирического направления Некрасов считал священной обязанностью передовой русской литературы.

Единственно это направление, обличающее и протестующее, называл он живым и честным. В августе 1855 года поэт писал Тургеневу о Гоголе, как о самой гуманной и благородной

личности в русском мире, как о художнике-патриоте, «который писал не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества… Надо желать, – добавлял Некрасов, – чтоб по стопам его шли молодые писатели в России».

Это знаменательное письмо Некрасов закончил словами сожаления о том, что нет еще критика, который разъяснил бы это писателям, указав им единственно верный и плодотворный путь.

Можно не сомневаться в том, что самая идея создания «Очерков гоголевского периода» уже в это время рождалась в беседах Некрасова с Чернышевским; в молодом критике поэт проницательно видел достойного продолжателя дела Белинского. И уже через несколько месяцев после того, как было написано это письмо, в декабрьской книжке «Современника» появилась первая глава «Очерков гоголевского периода», которыми Чернышевский блестяще разрешил задачу, представлявшуюся революционным демократам наиболее важной для будущего русской литературы, а в данный момент и для судеб родного народа.

Эта задача заключалась в том, чтобы отстоять идеи Белинского и Гоголя, продолжить, углубить и усилить в новых исторических условиях традиции гениального обличителя самодержавной России, направить литературу на путь критического реализма, на путь борьбы за великие идеалы народа.

«Очерки» сделали эпоху в русской критике, они вернули ей значение руководительницы общественного мнения и поставили их автора в центре литературно-политической борьбы того времени. Молодой сподвижник Некрасова стал вождем передовой русской литературы, и силу его влияния на читателей можно было сравнивать отныне лишь с силой влияния, какое оказывал до него Белинский.

«Очерки», так же как и диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», были программным, боевым, полемически заостренным выступлением революционного демократа, возглавившего освободительное движение нового поколения революционеров-разночинцев.

Верный заветам своих учителей и предшественников – Герцена и Белинского, Чернышевский рассматривал литературу как одно из самых действенных средств в деле формирования общественного сознания и неустанно подчеркивал неразрывную связь передовой русской литературы с жизнью народа, с его освободительной борьбой.

Историческую миссию каждого великого русского писателя революционный демократ видел в его служении родине и народу.

Подобно Белинскому, он особенно выделял сатирическое направление в литературе, считая, что оно имеет громадное значение в борьбе с отживающими классами

Это направление составляло, по словам Чернышевского, самую живую сторону нашей литературы. С ним связаны имена Кантемира, Фонвизина, Крылова, Грибоедова, Пушкина. Однако заслуга «прочного введения в русскую литературу сатирического направления» принадлежала Гоголю. «Ни в ком из наших великих писателей, – говорит Чернышевский, – не выражалось так живо и ясно сознание своего патриотического значения, как в Гоголе. Он прямо считал себя человеком, призванным служить не искусству, а отечеству; он думал о себе: «Я не поэт, я гражданин».

Творчество Гоголя, обнажившее с необычайной силой художественного воплощения социальные противоречия крепостнической России, представлялось Чернышевскому наиболее действенным, наиболее отвечающим запросам современности. Вот почему Чернышевский утверждал, что «давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России». Вот почему он так решительно встал на защиту писателей реалистической гоголевской школы, которые вслед за автором «Мертвых душ» выступили с обличением самодержавно-крепостнического строя.

Основные принципы материалистической эстетики, теоретически разработанные Чернышевским в диссертации, были применены им теперь в «Очерках гоголевского периода» к конкретным явлениям русской литературы и критики. В них Чернышевский дал решительный отпор попыткам реакционного лагеря критики увести литературу от животрепещущих вопросов современности в область чистого искусства. Он убедительно показал, что этот лозунг – искусство для искусства – был лозунгом классовым и своекорыстным, служившим идеологам дворянства и буржуазии одним из способов отвлечения от борьбы за социальное переустройство общества. Срывая маски с приверженцев теории искусства для искусства, Чернышевский писал:

«Поэзия есть жизнь, действие [борьба], страсть; эпикуреизм в наше время возможен только для людей бездейственных, чуждых исторической жизни… Литература не может не быть служительницей того или другого направления идей: это назначение, лежащее в ее натуре, – назначение, от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отказаться. Последователи теории чистого искусства, выдаваемого нам за нечто долженствующее быть чуждым житейских. дел, обманываются или притворяются; слова: «искусство должно быть

независимо от жизни» всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницею другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу».

Подчеркивая в «Очерках», что поэзия Пушкина явилась необходимым этапом в развитии русской литературы, подготовившим Гоголя и его направление, Чернышевский допустил вместе с тем в ряде случаев явно ошибочные определения. Излишне доказывать, что взгляд его на прозу Пушкина, высказанный в первой главе «Очерков», а также суждения о зависимости творчества Пушкина от западноевропейских писателей или об отсутствии у поэта определенной идейной направленности не могут не вызвать возражений. Однако не следует забывать, что Чернышевскому, как и всему русскому обществу, еще не была известна тогда в полной мере история столкновений Пушкина с правительством, его роль в движении декабристов, его борьба с тиранией Николая I, наконец, все обстоятельства гибели поэта.

Чтобы яснее выявить корни споров о пушкинском В гоголевском направлениях, Чернышевский дал в «Очерках» историю русской литературной критики двадцатых-тридцатых годов XIX века и осветил борьбу различных литературно-политических группировок. Нагляднее всего он мог показать характер этой борьбы на материале высказываний критиков о произведениях Гоголя, творчество которого открыло новый период нашей словесности и направило литературу на путь критического реализма, навсегда утвердив за ней значение острейшего оружия в деле развития общественного сознания. Отношение того или другого критика к произведениям Гоголя могло служить лучшим мерилом для определения общественно-политических позиций, отстаиваемых данным критиком.

С этой точки зрения и подошел Чернышевский в «Очерках» к разбору деятельности противников Белинского – Н. Полевого, О. Сенковского, С. Шевырева, которым посвящены первые главы его работы. Чернышевский показал, что все они сходились в одном – в отрицании сатирического пафоса творчества Гоголя. Они-то и были учителями, предшественниками и вдохновителями современных Чернышевскому консервативных и либерально-дворянских критиков середины пятидесятых годов, отстаивавших реакционную теорию чистого искусства, в противовес гоголевской школе, давшей русской литературе таких корифеев, как Герцен, Тургенев, Островский, Некрасов и Салтыков-Щедрин.

Особое место в «Очерках» занимают пятая и шестая главы, в которых Чернышевский дал сжатую историю русской

общественно-политической мысли тридцатых-сороковых годов. Когда самое имя Герцена (не говоря уже о его сочинениях) было под строжайшим запретом в России, Чернышевский уяснил читателям «Современника» в этих главах историю идейного развития молодого Герцена и его друзей, использовав только что напечатанные тогда Герценом в «Полярной звезде» в Лондоне первые главы «Былого и дум» Не приводя имен тех лиц, которым посвящена эта часть «Очерков», прибегая к намекам и иносказаниям, Чернышевский с поразительным мастерством рассказал об обращении молодого Герцена к диалектике, открывшейся ему «как алгебра революции», о повороте Белинского к материализму и социалистическому мировоззрению, о том, как Герцен и Белинский после временного расхождения вступили в неразрывный союз, поднявший на огромную высоту русскую философскую мысль в ее движении к идеям социализма, «Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, я не в свите их учеников, как бывало прежде… С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету», – писал Чернышевский.

И Герцен по достоинству оценил эту смелую попытку автора «Очерков». Она вызвала у него новый прилив веры в возможность расширения революционного движения в России. Ознакомившись с «Современником», где была напечатана эта часть работы Чернышевского, Герцен писал своим друзьям: «Новости из России, и не такие узнаете: да, двигается вперед. В «Современнике» говорят обо мне и о Белинском, называют меня автором «Кто виноват?». Еще запоем мы с вами: «Вниз по матушке по Москве-реке».

В центре своей капитальной работы Чернышевский поставил широкое и всестороннее освещение литературно-общественных взглядов Белинского. Он справедливо считал, что деятельность великого критика «занимает в истории нашей литературы столь же важное место, как произведения самого Гоголя». Весь сложный, внешне противоречивый, но внутренне цельный путь Белинского впервые предстал здесь перед русскими читателями в исторической перспективе, начиная от первых его статей в «Телескопе» и кончая последними обзорами русской литературы 1846–1847 годов, где Белинский выступал уже как прямой предшественник революционных демократов нового поколения.

Главы, посвященные Белинскому, написаны Чернышевским с исключительным подъемом. Благородный образ борца и патриота

встает перед нами с этих страниц. Раскрывая читателям тайну влияния Белинского на умы современников, Чернышевский подчеркивал, что любовь к благу родины была единственной страстью, владевшей великим критиком, что эта идея одухотворяла всю его деятельность. Эволюция философских и социально-политических взглядов Белинского, завершившаяся решительным поворотом к материализму и революционному мировоззрению, показана Чернышевским с присущей ему силой диалектического анализа. Минуя цензурные рогатки, автор «Очерков гоголевского периода» в последних главах подвел читателей к выводу, что только живое, кровное сочувствие делу народа, делу революция помогло Белинскому так проницательно и глубоко оценить значение творчества Гоголя и писателей, реалистической школы.

Огромной заслугой Чернышевского было то, что в «Очерках» он ясно указал перспективы дальнейшего развития современными писателями тех идей, которые Гоголь «обнимал только с одной стороны, не сознавая вполне их сцепления, их причин и следствий». В сатире Некрасова и Салтыкова-Щедрина Чернышевский прозорливо увидел залог более полного проникновения в сущность изображаемых явлений, ибо у этих писателей последовательный реализм сочетался с передовой революционной мыслью.

Вся дальнейшая литературно-критическая деятельность Чернышевского проходила под знаком развития и углубления тех положений, которые были разработаны им с наибольшей полнотой в «Эстетических отношениях искусства к действительности» и в «Очерках». Он сам указывал, что его последующие статьи о произведениях современных писателей «будут иметь непосредственное отношение к общей системе «Очерков».

Эта общая система «Очерков», в которых Чернышевский настойчиво указывал, что патриотический долг каждого подлинного писателя – служение своим творчеством нуждам народа, нашла отражение и в последующих его статьях о ранних повестях Льва Толстого, о «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина, о повести Тургенева «Ася» и о рассказах из народного быта Н. Успенского.

Блестящее умение критика поднимать и разрешать на материале художественной литературы современные политические проблемы, боевой революционный дух, присущий его статьям, неустанное отстаивание им принципов реализма и народности в искусстве, требование высокой идейности, лежащее в основе материалистической эстетики Чернышевского, – все это

имело громадное значение для дальнейшего развития русской литературы.

Идеи, заложенные в «Очерках» и в других литературно-критических статьях Чернышевского, воспитали целые поколения читателей, подготовили почву для восприятия марксизма-ленинизма, оказали огромное влияние на движение русской культуры и науки.

Еще полвека тому назад В.И. Ленин и И.В. Сталин использовали «Очерки гоголевского периода» в своих трудах. В 1900 году Ленин, разоблачая и высмеивая «критические приемы» одного из «легальных марксистов» – П. Скворцова, напомнил читателям о том, как Чернышевский в «Очерках» осмеял критические выходки Сенковского против Гоголя. «Ведь это совершенно такая же «критика», – говорит Ленин, – как та, над которой смеялся некогда Чернышевский; возьмет человек в руку «Похождения Чичикова» и начинает «критиковать»: «Чи-чи-ков, чхи-чхи… Ах как смешно!..»[24]

И.В. Сталин в статье «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?» (1904 г.), критикуя федералистов – социал-демократов, писал: «Я вспоминаю русских метафизиков 50-х годов прошлого столетия, которые назойливо спрашивали тогдашних диалектиков, полезен или вреден дождь для урожая, и требовали от них «решительного» ответа. Диалектикам нетрудно было доказать, что такая постановка вопроса совершенно не научна, что в разное время различно следует отвечать на такие вопросы, что во время засухи дождь – полезен, а в дождливое время – бесполезен и даже вреден, что, следовательно, требовать «решительного» ответа на такой вопрос является явной глупостью».[25]

Как раз в шестой главе «Очерков гоголевского периода» Чернышевский доказывал с позиций диалектика тогдашним метафизикам, что «отвлеченной истины нет; истина конкретна», то-есть определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит». «Например: «благо или зло дождь?» – это вопрос отвлеченный; определительно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред…»

Понимание Чернышевским задач передовой художественной литературы, его призыв к писателям следовать по пути реалистического изображения действительности близки и дороги нашему социалистическому обществу.

Великий Октябрь неузнаваемо изменил облик нашей страны, принеся свободу и счастье миллионам угнетенных людей, осуществив надежды и чаяния лучших деятелей нашей Родины.

Литературное наследие Чернышевского – вершина русской революционной мысли домарксова периода, помогает советским людям созидать новую культуру. Восприняв лучшие традиции литературного прошлого, советская литература разрешает новые насущные задачи эпохи. Об этих традициях, одним из творцов которых был Чернышевский, напомнил нам в своем докладе на XIX съезде партии Г.М. Маленков: «В своих произведениях наши писатели и художники должны бичевать пороки, недостатки, болезненные явления, имеющие распространение в обществе, раскрывать в положительных художественных образах людей нового типа во всём великолепии их человеческого достоинства и тем самым способствовать воспитанию в людях нашего общества характеров, навыков, привычек, свободных от язв и пороков, порождённых капитализмом… Неправильно было бы думать, что наша советская действительность не даёт материала для сатиры Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнём сатиры выжигали бы из жизни всё отрицательное, прогнившее, омертвевшее, всё то, что тормозит движение вперёд».[26]

Противники Чернышевского утверждали, что он был сторонником грубой тенденциозности в искусстве. Анализ высказываний Чернышевского ясно показывает всю несправедливость этих утверждений. Как и Белинский, он считал, что голый дидактизм лишь вредит художественному замыслу, что подлинный художник никогда не станет искажать действительность в угоду своим пристрастиям или расчету. Произвольное напряжение фантазии, усилие писателя над собой, какая бы то ни было фальшь не могут не сказаться в его произведении. Без правды жизни нет поэзии. «В поэзии ложь невозможна, она скажется вычурною, нелепою риторикой. Чего нет в душе автора, того не будет в его создании», – говорил Чернышевский.

Он отвергал литературных «союзников», которые хотели бы примкнуть к передовому движению шестидесятых годов (оно, как всякое широкое движение, имело своих приспособленцев) не по глубокому убеждению, а по косвенным соображениям: это модно, это ново, это сулит успех. «Есть люди, – писал Чернышевский в «Очерках гоголевского периода», – неспособные искренно одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг них: для таких писателей бесполезно было бы накладывать на себя маску патетического одушевления современными вопросами, – пусть они продолжают быть чем хотят: великого ничего не произведут они ни в каком случае».

В «Заметках о журналах» (август 1856 г.) Чернышевскому

пришлось говорить о тогдашнем увлечении многих литераторов писанием повестей и романов из простонародной жизни в подражание Григоровичу.

Будь у Чернышевского действительно утилитарное отношение к литературе, его должен был бы радовать, по крайней мере, самый факт обращения писателей к крестьянским темам. Но он знал цену бездушному следованию моде.

«Без знания и без любви, что может сделать даже замечательный талант? А если, притом, и талант у литератора, требующего себе отличий за снисходительное знакомство свое с мужиками, не слишком велик, что ж удивительного, когда рассказы его из сельского быта так же пусты, аффектированны и скучны, как пусты, скучны и аффектированны были бы его повести из аристократического быта? Да и что хорошего может произвести насилование своего таланта? Григорович тем и силен, что пишет простонародные рассказы по влечению собственной натуры, не насилуя таланта, а давая ему полный простор. А последователи его начали описывать поселян не по влечению таланта, а по разным посторонним соображениям, насилуя свой талант».

Можно было бы привести немало примеров в доказательство того, что Чернышевский никогда не был сторонником голой тенденциозности. Вспомним хотя бы его рецензию на стихотворения Н. Щербины (1857 г.). Чернышевскому казалось, что Щербина изживает свое надуманное пристрастие к античности, что он ищет каких-то путей к живой современной поэзии (правда, Щербина так и не сумел выйти на эту новую дорогу). Чернышевский, разумеется, приветствовал намечающийся сдвиг в поэзии Щербины. Но одобряя этот сдвиг в принципе, он показывал чисто поэтическую слабость «Ямбов», в которых отразилось повое направление поэзии Щербины: «Мысль каждого ямба благородна, жива, современна, но она. остается отвлеченною мыслью, не воплощаясь в поэтическом образе, она остается холодною сентенциею… она остается вне области поэзии… Мы приведем пример этой отвлеченности, этого чуждого поэзии отсутствия живых образов, которыми бы воплощалась мысль:

ЖЕЛАНИЕ

Чуждо совершенства
Нашей жизни зданье —
Цель ее – блаженство,

А оно – страданье.

Все в ней пропадает,
Все, что так прекрасно,
Только зло всплывает
В наготе ужасной…»

Приведя до конца это совершенно безжизненное стихотворение с «гражданским направлением», Чернышевский говорит: «Поэзия требует воплощения идеи в событии, картине, нравственной ситуации, каком бы то ни было факте психической или общественной, материальной или нравственной жизни. В пьесах, нами выписанных, этого нет. Идея остается отвлеченной мыслью, поэтому остается холодною, неопределенною, чуждою поэтического пафоса».

«От избытка сердца должны говорить уста поэта» – об этом важном условии творчества Чернышевский не забывал никогда. Ему не пришло бы в голову толкать чистого лирика Фета к писанию политических стихов. Чернышевский знал: «Фет был бы несвободен, если бы вздумал писать о социальных вопросах, и у него вышла бы дрянь».

Однажды Чернышевский выразил свое восторженное отношение к поэзии Некрасова самому поэту. Некрасов в ответном письме, которое не дошло до нас, писал Чернышевскому, что такая высокая оценка, вероятно, преувеличена. Но Чернышевский повторил ее и при этом добавил: «Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении вашею тенденциею, – тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других, – притом же, я вовсе не исключительный поклонник тенденции, – это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни – потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас… Лично на меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею. «Когда из мрака заблуждений», «Давно отвергнутый тобою», «Я посетил твое кладбище», «Ах ты, страсть роковая, бесплодная» и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция».

Ясно, что Чернышевский вовсе не был приверженцем примитивных форм в искусстве, как думали (а порою делали вид,

что думают так) его противники.

Ему одинаково чуждо было искусство, «обнаженное от содержания», как и искусство, в котором отвлеченная мысль не находила воплощения в поэтическом образе. «Содержание… одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто бы оно – пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто: художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: «Да стоило ли трудиться над этим?»

Может быть, поводом к необоснованным обвинениям Чернышевского в дидактизме и т, п. послужили образцы его действительно чисто публицистической критики, в которых он, оттолкнувшись от того или иного произведения, сознательно оставлял его в стороне («отклонялся от предмета»), чтобы предаться «размышлениям» на политические темы. Такие статьи и рецензии у Чернышевского действительно были. Он «…умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя – через препоны и рогатки цензуры – идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей».[27]

Одним из самых ярких примеров такой критики является его знаменитая статья «Русский человек на rendez-vous, в которой Чернышевский, воспользовавшись выходом в свет тургеневской «Аси», дал блестящую характеристику российского либерализма накануне реформы 1861 года. Почти полвека спустя после появления этой статьи В.И. Ленин клеймил либералов новой формации словами Чернышевского:

«Трагедия российского радикала: он десятки лет вздыхал о митингах, о свободе, пылал бешеной (на словах) страстью к свободе, – попал на митинг, увидел, что настроение левее, чем его собственное, и загрустил: …«поосторожнее бы надо, господа!» Совсем как пылкий тургеневский герой, сбежавший от Аси, – про которого Чернышевский писал: «Русский человек на rendez-vous».

Эх, вы, зовущие себя сторонниками трудящейся массы! Куда уж вам уходить на rendez-vous с революцией, – сидите-ка дома; спокойнее, право, будет…»[28]

Не разбор тургеневской «Аси», о которой в статье почти ничего не говорится, а вопрос о либералах занимал Чернышевского в этой статье, явившейся своего рода политическим манифестом, резким осуждением малодушия «лучших людей» и напоминанием о неизбежности близящейся революции. Чернышевский безошибочно предсказал здесь, как будет вести себя умеренно-либеральная дворянская

интеллигенция в минуты решительных схваток.

Если бы критическое наследие Чернышевского ограничивалось лишь подобными статьями, то он остался бы в истории русской критики как представитель ее исключительно публицистического крыла. Но его наследие гораздо шире. Многие его статьи обнаруживают в нем глубокого и тонкого ценителя художественных произведений.

Возьмем хотя бы статью о дебютной повести Льва Толстого «Детство и отрочество». Несмотря на то, что Чернышевскому были совершенно чужды взгляды Толстого, которые тот высказывал в кругу литераторов «Современника», он оценил Толстого как художника едва ли не лучше всех других критиков, писавших о «Детстве». Очень детально и обстоятельно разобрав особенности толстовских приемов психологического анализа, Чернышевский указал на отличительные свойства дарования Толстого. «…Глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства» – суть черты, «придающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого», черты, которые останутся существенными для его таланта, «какие бы (новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии».

Уже тогда, по ранним произведениям Льва Толстого, он разгадал в нем будущего корифея литературы.

Касаясь рассказа «Утро помещика», Чернышевский проницательно подчеркнул, что писатель мастерски воспроизводит не только внешнюю обстановку быта крестьян, но и их внутренний мир. «Он умеет переселяться в душу поселянина, – его мужик чрезвычайно верен своей натуре, – в речах его мужика нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостью и рельефностью, как характеры наших солдат. В новой сфере его талант обнаружил столько же наблюдательности и объективности, как в «Рубке леса». В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата».

Отмеченные нами статьи со всею отчетливостью показывают, что в Чернышевском-критике замечательно сочетались публицист и тонкий знаток и ценитель явлений искусства. Этим и объясняется исключительная сила воздействия критических статей Чернышевского на ряд поколений.

Литературная критика была лишь одной из сторон многогранной деятельности Чернышевского. Сам он считал, что это вовсе не главная сторона.

«Странное, повидимому, дело, – писал он о Белинском и других передовых русских и западноевропейских критиках, –

именно эти люди, для которых эстетические вопросы были второстепенным предметом мысли, занимавшим их только потому, что искусство имеет важное значение для жизни, а художественное достоинство необходимо литературному произведению для высокого значения в литературе, – именно эти люди имели на развитие литературы, не только по содержанию, но и в отношении художественной формы, решительное влияние, какого не достигал ни один критик, думавший преимущественно о художественных вопросах. Этот, повидимому, странный закон объясняется тем, что необходимый для критики дар природы – эстетический вкус – есть только результат способности живо сочувствовать прекрасному в соединении с проницательным здравым смыслом».

Эти слова могут быть полностью отнесены к Чернышевскому.

XVII. Кругозор критика

Круг чтения Чернышевского еще очень мало изучен. Но любая его статья и рецензия (а он писал буквально по всем отраслям знания) показывает, что великий писатель стоял на уровне последних достижений каждой науки, что он овладел огромной специальной литературой на английском, французском, немецком языках. Чернышевский обладал необыкновенной трудоспособностью. Он работал не разгибая спины до последних лет жизни.

Перу его принадлежат переводы с английского беллетристических произведений (Бульвер, Диккенс, Брет-Гарт), политико-экономических и исторических работ. Он переводил с французского «Исповедь» Руссо, «Историю моей жизни» Жорж Санд, отрывки из автобиографии Беранже, биографию Бальзака, перевел с немецкого одиннадцать томов «Всеобщей истории» Вебера, томы Шлоссера, Гервинуса, книгу по языкознанию Шрадера и другие.

Из переводов Чернышевского следует выделить те, которые ему пришлось делать в последний период жизни. Это подневольная работа, которую он брал «по праву нищего». Мы еще будем говорить об этом в своем месте, а здесь отметим лишь, что ни к Веберу, ни к Спенсеру, ни к Шрадеру сердце Чернышевского не лежало. Он стыдился, что невольно способствует изданию какой-нибудь «Энергии в природе» Карпентера или «Сравнительного языкознания» Шрадера. Он писал к некоторым из таких переводов свои критические послесловия, но издатели устраняли их, опасаясь цензурных осложнений.

Переводы «Исповеди» Руссо, отрывков из автобиографии Беранже, отрывков из мемуаров Сен-Симона, отдельных томов «Истории Англии» Маколея, «Всеобщей истории» Шлоссера, «Истории XIX века» Гервинуса, «Истории Соединенных Штатов» Неймана, «Крымской войны» Кинглека и др. – все эти работы были осуществлены Чернышевским за время двухгодичного заключения в Петропавловской крепости.

Выбор «Исповеди» Руссо и автобиографии Беранже симптоматичен. И Руссо и Беранже принадлежали к числу его любимых писателей.

«Гомер дает каждому то, что берущий захочет взять у него», – это изречение любил повторять Чернышевский.

В юношеские годы он увлекался социальными романами Жорж Санд и Диккенса. Повести и романы Диккенса были ему

ближе других произведений западноевропейской литературы, потому что он видел в авторе «Давида Копперфильда» адвоката униженных и обездоленных. «Люди, которые занимают меня много: Гоголь, Диккенс, Ж. Санд, Гейне я почти не читал, но теперь, может быть, он мне понравился бы, не знаю, однако, – писал он в своем дневнике 1848 года. – Из мертвых я не умею назвать никого, кроме Гёте, Шиллера (Байрона тоже бы, вероятно, но не читал его), Лермонтова. Эти люди мои друзья, то-есть я им преданный друг. Тоже Фильдинг, хотя в меньшей степени против остальных великих людей, то-есть я говорю про мертвых; может быть, он и не менее Диккенса, но такой сильной симпатии не питаю я к ним, потому что это свое и главное – это защитник низших классов против высших, это каратель лжи и лицемерия».

Таков был характер чтения юного Чернышевского. Если не знание, то верный инстинкт вел его уже тогда к тем произведениям литературы, в которых воплощены были лучшие стремления эпохи.

Умение безошибочно избирать себе достойных учителей и союзников резко отличает Чернышевского от многих писателей. Вступив однажды на прямой путь, рн не уклонялся от него. Осознав цель, он уверенно шел к ней. Обычные заблуждения юности, многократные пересмотры взглядов, колебания и отречения незнакомы ему. Эта черта предопределила вкусы и наклонности будущего великого критика и писателя. Они отличаются редкой цельностью. Неудивительно поэтому, что после Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других корифеев родной литературы Диккенс, Беранже, Гейне, Байрон, Ж. Санд остались навсегда его любимыми авторами.

Духовное развитие Чернышевского шло гигантскими шагами. Через несколько лет после цитированных записей, в которых Чернышевский еще неуверенно рассуждает о западных писателях, кругозор его изменился неузнаваемо. В «Современник» он пришел уже совершенно сложившимся человеком, с огромным запасом знаний.

Вся журнально-литературная деятельность его укладывается в очень небольшой промежуток времени: восемь-девять лет необычайно интенсивной, разнообразной, напряженной работы под пристальным надзором цензуры. Он не свершил и половины того, что мог бы сделать при других обстоятельствах.

Как только жизнь поставила перед ним новые задачи, а внешние обстоятельства позволили приступить к их решению, Чернышевский, найдя себе продолжателей, не задумываясь, оставляет поприще литературной критики.

За четыре года своей литературно-критической деятельности

Чернышевский написал о западноевропейской литературе не много. Особняком стоит лишь его большая монография о Лессинге. Кроме нее, статья о Теккерее, статья о сборнике «Шиллер в переводе русских поэтов», ряд рецензий. Вот в сущности и все… Объясняется это тем, что «домашние обстоятельства», то-есть стремление разрешить в первую очередь задачи, стоявшие перед отечественной литературой, заставляли Чернышевского обращать главное внимание именно на ее развитие. Но в статьях, посвященных русской литературе, Чернышевский очень часто упоминает о западных писателях, сопоставляет их с русскими, показывает различие положения литературы в России и на Западе. По этим-то упоминаниям и по беглым характеристикам европейских писателей, рассеянным в письмах Чернышевского, мы можем восстановить картину его отношения к ним.

В литературе XVIII века особое внимание Чернышевского привлекли Лессинг и Руссо. О первом из них он написал в 1856–1857 годах большую работу «Лессинг, его время, жизнь и деятельность». О втором он должен был написать такую же монографию, но, как увидим ниже, осуществлению подготовленного труда помешала ссылка.

Не случайно эти авторы приковали внимание русского просветителя шестидесятых годов. Недаром Энгельс называл Чернышевского, как и Добролюбова, «социалистическими Лессингами». Дух протеста и борьбы, присущий творчеству немецкого критика и драматурга и французского философа, был особенно близок Чернышевскому. В монографии о Лессинге Чернышевский показывает, какую огромную роль в развитии умственной жизни страны может играть при известных обстоятельствах литература.[29]

Он рассказывает о титанических усилиях Лессинга, неутомимо боровшегося с тогдашним немецким обществом, погрязшим в раболепии и эгоизме. (В этом и заключались приноровления статей Чернышевского о Лессинге «к домашним обстоятельствам». Инвективы против врагов Лессинга могли быть направлены и против врагов русского просветительства и демократии.)

В Лессинге ему импонирует свободолюбие, независимость, неустанная пытливость, самостоятельность мышления, непреклонная воля, решительность, смелость. Он видит в Лессинге идеал человека и борца.

Более сложного и противоречивого Руссо Чернышевский анализирует в заметках о письмах Гоголя (1856 г.): «И характер и самая судьба Гоголя представляют чрезвычайно много общего с

характером и судьбою Руссо, этого нищего, оклеветанного, бежавшего от родины и нежно, тоскливо любящего родину, подозрительного, неизмеримо и справедливо гордого, чрезвычайно скрытного и не умеющего ничего скрыть, пренебрегающего всем и всеми, нуждающегося во всех, впадавшего во многое непростительное и пагубное для других менее высоких по природе своей натур и все-таки оставшегося чистым в душе, невинным и наивным, и, при всей своей наивности, и хитреца, и глубочайшего сердцеведца, загадочного для современников, очень понятного для потомства, гениального и благородного мизантропа, полного нежной любви к людям».

Когда Чернышевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, он занялся среди прочих многочисленных работ изучением Руссо, подготовляя его биографию.

Он ценил предшественника якобинцев более других французских просветителей за его демократизм и большую смелость в разоблачении социальной неправды. Недаром Чернышевский в одной из статей назвал Руссо революционным демократом.

Сохранились обширные материалы для биографии Руссо, начатой Чернышевским в крепости. Это сотни и сотни страниц выписок из сочинений Руссо и критических заметок к ним самого Чернышевского. Он принужден был оборвать писание «Заметок к биографии Руссо» ввиду высылки в Сибирь. Работа осталась в стадии подготовки лишь потому, что позднее Чернышевскому не были переправлены в Сибирь ни его рукописи, ни сочинения Руссо, о которых он просил в письмах к родным из ссылки.

Сохранился также сделанный в крепости перевод Чернышевского первой (неполный) и всей второй части «Исповеди» Руссо.

И в романе «Пролог», написанном в Сибири, и в одном из задержанных вилюйских писем Чернышевский говорит о Руссо как об исключительном образце превосходной строгости к самому себе. «Ничего, кроме дивно-гениального, не отдавал он в печать». «Готовься, готовься, – Руссо готовился сорок лет, потому и мог сказать что-нибудь свое, глубоко-обдуманное, дельное».

Зная основные принципы эстетики Чернышевского, нетрудно понять, почему в новой европейской литературе симпатии его были на стороне Байрона, а не Соути; Диккенса, а не Бульвера; Жорж Санд, а не Шатобриана; Бальзака, а не Дюма; Беранже, а не Ламартина. Чернышевский всегда и неуклонно боролся за идейно насыщенное искусство. Он считал, что первое условие художественности – соответствие формы с идеей. Верным

методом критики было для него выяснение истинности идеи, лежавшей в основании произведения. «Если идея фальшива, – говорит он, – о художественности не может быть и речи, потому что форма будет также фальшива и исполнена несообразностей». Художественность – это вовсе не мелочная отделка подробностей, не погоня за эффектностью отдельных фраз и эпизодов, где искусство переходит в искусственность. Художественность – это гармония частей с духом целого.

Он придавал огромное значение литературе, считая, что в известные исторические периоды литература может играть роль единственной силы, способствующей развитию самосознания нации. Так было в России в эпоху Гоголя и Белинского, так было в Германии в эпоху Лессинга. Но такое высокое значение обретает только та литература, которая становится выразительницей передовых стремлений века. Рассматривая с этой точки зрения западную литературу своего времени, Чернышевский писал: «У каждого века есть свое историческое дело, свои особенные стремления. Жизнь и славу нашего времени составляют два стремления, тесно связанные между собою… – гуманность и забота об улучшении человеческой жизни».

Может быть, такое определение в устах другого писателя показалось бы расплывчатым, туманным. Но Чернышевский не был человеком фразы. Поневоле прибегая порою к осторожным формулировкам, он терпеливо и настойчиво раскрывал путем хитроумных параллелей и намеков то, что было вложено в формулировки. И тогда становилось ясно, что, говоря об идеях гуманности, он имеет в виду социалистические идеи, а под улучшением человеческой жизни подразумевает революционное воплощение этих идей в жизнь.

Среди современных ему западных писателей Чернышевский выделял тех, в ком видел «стремления, которые движут жизнью эпохи».

В VI главе «Очерков гоголевского периода» Чернышевский осуждает реакционных романтиков школы Шатобриана и представителей так называемой «école satanique» («сатанинская школа»). Творчеству этих разочарованных, «проеденных эгоизмом» буржуазных лжеоракулов он прямо противопоставлял революционные песни Беранже, которого пытались объявить певцом гризеток. В статье о «Пиитике» Аристотеля (1854 г.), не называя Беранже по имени, Чернышевский говорит о нем, как об одном из серьезнейших и благороднейших поэтов своего времени.

Среди книг, которыми Чернышевскому разрешено было пользоваться в крепости, Беранже был представлен и в оригинале и в русских переводах. Чернышевский перевел тогда отрывки из

автобиографии Беранже. Он с юношеских лет сохранил любовь к народному поэту, духовному сыну Французской революции, врагу монархии и церкви.

В студенческие годы он зачитывался романами Санд. Вступив в «Современник», он вскоре же перевел (с сокращениями) «Histoire de ma vie» («История моей жизни») Санд и опубликовал перевод в журнале. Краткое предисловие Чернышевского к переводу мемуаров (1856 г.) ясно показывает, что теперь он уже был далек от юношеского увлечения автором «Индианы».

Идейные и художественные промахи писательницы не укрылись от его взгляда. Но Чернышевский готов простить обманчивый колорит экзальтации, придающий ненужную «красивость» ее романам, за ярко выраженное противодействие «господствующей мелочности, холодности и пошлому бездушию».

Факт перевода Чернышевским биографии Бальзака, написанной сестрою писатели (перевод напечатан в «Современнике» в 1856 году), как и активный интерес его к биографиям Руссо, Беранже, Санд, дает представление о том, какие традиции во французской литературе были дороги Чернышевскому, каких писателей он популяризировал или намеревался популяризировать среди русских читателей.

Параллели между русской и западной литературой встречаются у него во многих статьях и рецензиях. Сопоставляя великих русских и западноевропейских деятелей литературы и науки, Чернышевский много раз подчеркивал одно отличительное свойство русских писателей – их органическую любовь к своему отечеству. Западноевропейские писатели, говорил Чернышевский, большею частью космополиты. Они преданы науке или искусству без мысли о том, какую пользу приносят они именно своей родине. Шекспир… Гёте… Корнель… «О художественных заслугах перед искусством, а не об особенных, преимущественных стремлениях действовать во благо родины, напоминают их имена. У нас не то: историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство – силою его патриотизма».

Одну из первоочередных задач отечественной литературы Чернышевский видел в том, чтобы она всемерно способствовала преодолению отсталости русской жизни. Чернышевский знал и чувствовал, что в великом даровитом русском народе таятся неистощимые силы, которые народ сумеет выявить в будущем.

Народ в его время был искусственно оторван от просвещения. «Поддержка невежества в русаком пароде была делом систематического плана: этим средством бояре, подьячие и проч. хотели предотвратить неприятные им нововведения», – так писал

Чернышевский в одной из своих рецензий на историческую работу, и тогдашние читатели «Современника» понимали, что речь идет не только о боярах и подьячих, но и об основном, постоянном способе действий русского самодержавия.

Славянофилы в своем стремлении отстоять «самобытность» русского народа способствовали «систематическому плану» самодержавных «бояр» и «подьячих». Отстаивая «самобытность», они ратовали за застой, за отступления к прошлому, за варварство.

Чернышевский же считал, что, «заботясь о развитии общечеловеческих начал, мы в то же время содействуем развитию *своих особенных* качеств, хотя бы вовсе о том не заботились».

Нетрудно понять, что эта формулировка была направлена против славянофилов, с которыми Чернышевскому приходилось очень часто вступать в полемику с самого начала его сотрудничества в «Современнике». Он вскрывал в своих статьях беспочвенность «патриотизма» славянофилов, формальную сущность его, даже при наличии субъективной любви к родине у иных славянофилов. Он указывал, что они жестоко заблуждались в поисках путей будущего развития России и потому, формально оставаясь «патриотами», лишали свой патриотизм живого содержания, шли на поводу у царизма.

Как к славянофильской, так и к «западнической» догме Чернышевский подходил с позиций революционера-диалектика. Он решительно отвергал «пустых панегиристов» буржуазного Запада. «Если бы, например, между западниками нашлись люди, восхищающиеся всем, что ныне делается во Франции (а такие есть между западниками), мы не назвали бы их мнения достойными особенного одобрения, как бы громко ни кричали они о своем сочувствии к западной цивилизации, – потому что и во Франции, как повсюду, гораздо более дурного, нежели хорошего».

Превосходно понимая ограниченность и условность буржуазных «свобод», Чернышевский подходил к этому вопросу как материалист и революционер, заявляя, что «человек, зависимый в материальных средствах существования, не может быть независимым человеком на деле, хотя бы по букве закона и провозглашалась его независимость». Он отлично знал, что благами прогресса и цивилизации на Западе пользуется не народ, а буржуазия, что массы народа и в Западной Европе погрязают в невежестве и нищете.

«Страшную картину современного быта своей родины представляет каждый из западноевропейских писателей, если только он добросовестен и стоит по мысли в уровень с

гуманными идеями века. Это прискорбное разноречие действительности с потребностями и идеалами современной мысли с году на год становится тяжеле в Западной Европе».

Чернышевский одинаково отрицательно относился к национальному самодовольству, у кого бы оно ни проявлялось.

Вся революционно-общественная деятельность Чернышевского была воплощением его патриотического стремления «двинуть вперед человечество по дороге несколько новой».

Патриотизм Чернышевского был совершенно свободен от каких бы то ни было черт национальной ограниченности. Узкое понимание «патриотизма» было чуждо революционному демократу.

Разоблачая реакционную сущность панславистских призывов к «объединению» славян под эгидой российского самодержавия, Чернышевский клеймил лицемерие этих непрошенных «опекунов» малых народов. Он противопоставлял их шовинистическим планам идею солидарности братских народов в борьбе за демократию. С живейшим сочувствием относился Чернышевский к славянским народам, которые стонали под гнетом немцев и турок. «В сочувствии бедствиям австрийских славян мы не уступим никому», – писал он в одной из статей.

Судьбы братских народов были действительно близки и дороги Чернышевскому. Любовь к их искусству и культуре пробудилась в нем рано и не угасала никогда. В университете он считался по праву лучшим учеником крупнейшего русского слависта И.И. Срезневского. Еще тогда он пристально изучал историю и культуру славянских стран. Он превосходно знал поэзию Адама Мицкевича, Яна Колара, создания сербского эпоса, чешский «Любушин суд», песни из Краледворской рукописи.

В своих первых журнальных рецензиях он заявлял о мировом значении сербских народных песен, не уступающих, по его мнению, своими достоинствами эпосу Гомера. Эти песни отразили мужество и свободолюбие народа, писал Чернышевский, добавляя, что такое богатство эпоса могло возникнуть только там, где народные массы «волновались сильными и благородными чувствами».

В дальнейшем в своих политических обзорах и статьях Чернышевский проявлял неизменное сочувствие освободительным стремлениям славянских народов.

XVIII. Приход Добролюбова в «Современник»

Один из учеников Чернышевского по Саратовской гимназии, Н. Турчанинов, учившийся в Петербурге в Педагогическом институте, принес ему однажды летом 1856 года рукопись статьи своего товарища по институту с просьбою посмотреть, годится ли она для «Современника». Это была статья Н. Добролюбову о «Собеседнике любителей российского слова». Турчанинов, юноша, по словам Чернышевского, «очень благородного характера и возвышенного образа мыслей», чрезвычайно расхвалил автора, сказав, что горячо любит его.

С первого же взгляда на статью Чернышевский увидел, что она превосходно написана и что мнения, в ней выраженные, очень близки по духу «Современнику».

– Статья хороша, – сказал он Турчанинову, когда тот явился за ответом, – она будет напечатана в «Современнике», передайте автору, что я прошу его побывать у меня.

Чернышевский запамятовал, что еще прежде того ему уже доводилось слышать фамилию автора этой статьи от И.И. Срезневского, который в 1855 году рассказал ему, что два студента Педагогического института, Щеглов и Добролюбов, попали в беду: у них были найдены заграничные издания Герцена. Директор института Давыдов собирался предать огласке это дело, что грозиио студентам очень серьезными последствиями, – может быть, тюрьмой и ссылкой. Обоих студентов было жаль Срезневскому, но особенно жалел он Добролюбова, человека, по его отзыву, благородного, необыкновенно даровитого и уже обладавшего обширнейшими познаниями. С большим трудом удалось Срезневскому и другим профессорам «урезонить» Давыдова и избавить тем самым молодых людей от беды. Узнав о благоприятном исходе дела, Чернышевский забыл об этой истории, позабыл и фамилии этих студентов, слышанные тогда от Срезневского.

Когда Добролюбов пришел к Чернышевскому познакомиться и поговорить о своей статье, между ними завязалась многочасовая беседа. «Я спрашивал, – рассказывает в своих воспоминаниях Чернышевский, – как он думает о том, о другом, о третьем; сам говорил мало, давал говорить ему. Дело в том, что по статье о «Собеседнике» мне показалось, что он годится быть постоянным сотрудником «Современника». Я хотел узнать, достаточно ли соответствуют его понятия о вещах понятиям,

излагавшимся тогда в «Современнике». Оказалось, соответствуют вполне. Я, наконец, сказал ему: «Я хотел увидеть, достаточно ли подходят ваши понятия к направлению «Современника», вижу теперь, подходят; я скажу Некрасову, вы будете постоянным сотрудником «Современника». Он отвечал, что он давно понял, почему я мало говорю сам, даю говорить всё ему и ему. Тогда я стал спрашивать его о личных его делах. Рассказав об отце, о своем сиротстве, о сестрах, он стал говорить о своем положении в Институте; дошло дело до того, что он находится в опале у Давыдова, по поводу того, что у него и Щеглова (не помню эту фамилию, кажется – Щеглов) были найдены заграничные издания Герцена. Только тут мне вспомнилась история, слышанная от Срезневского. «Так это были вы, Николай Александрович! Вот что!» Мысли у меня в ту же секунду перевернулись. «Когда так, то дело выходит неприятное для вас и для меня, нуждающегося в товарище по журнальной работе эту статью, так и быть, поместим; одну статью можно утаить от Давыдова. Но больше не годится вам печатать ничего в «Современнике» до окончания курса. Если бы Давыдов узнал, что вы пишете в «Современнике», то беда была бы вам».

Так началось знакомство Чернышевского с Добролюбовым, перешедшее вскоре же в теснейшую дружбу и неразрывный союз в борьбе их за общее дело.

Ни до этого знакомства, ни после смерти Добролюбова Чернышевскому не случалось встречать людей, которые были бы столь же близки ему па своим взглядам и убеждениям, по всему своему душевному строю. Разница в возрасте не играла тут роли, хотя Добролюбов был лет на восемь моложе Чернышевского. Ранняя зрелость мысли, необыкновенно высокий уровень знаний, широта кругозора, цельность и последовательность воззрений на жизнь, исключительная требовательность к себе – вот что поражало всех, кому приходилось сталкиваться с Добролюбовым. Словно бы предчувствуя, как коротка будет его жизнь, Добролюбов неустанно расширял свои знания и спешил кипучей деятельностью возместить ее кратковременность.

Трудно сказать, с чьей стороны была сильнее привязанность и любовь, щедро проявленные ими друг к другу. Чернышевский говорил впоследствии, что он любил Добролюбова, как сына. Ни малейшей тенью не омрачены были их отношения. Чернышевский, переживший младшего друга на двадцать восемь лет, посвятил много сил и времени собиранию и обработке материалов для биографии Добролюбова. С поразительной скрупулезностью стремился он воссоздать день за днем историю этой короткой, но славной жизни, посвященной служению

родине.

В романе «Пролог», написанном в сибирской ссылке, Чернышевский вывел Добролюбова под фамилией Левицкий. (Это, как уже говорилось раньше, фамилия его первого друга на жизненном пути, саратовского семинариста, даровитого юноши, сломленного уродливыми условиями жизни.) Впечатление от первой встречи с Добролюбовым отражено в романе следующим образом: Волгин (Чернышевский) говорит своей жене на другой день после знакомства с Левицким (Добролюбовым): «Проговорил с ним часов до трех. Это – человек, голубочка, со смыслом человек. Будет работать… Да ему двадцать первый год только еще. Замечательная сила ума!.. Ну, пишет превосходно, не то, что я: сжато, легко, блистательно, но это, хоть и прекрасно, пустяки, разумеется, – дело не в том, а как понимает вещи. Понимает. Все понимает, как следует. Такая холодность взгляда, такая самобытность мысли в двадцать один год, когда все поголовно точно пьяные!..»

Достаточно было Волгину провести один день в обществе своего будущего друга, чтобы он, не задумываясь, предложил ему писать в журнал, о чем тот хочет, сколько хочет, как сам знает.

– Толковать с вами нечего. Достаточно видел, что вы правильно понимаете вещи!

– Вы предоставляете мне полную волю в журнале?

– А разве были бы вы очень нужны мне, если б не так? Сотрудников, которых надобно водить на помочах, можно иметь, пожалуй, хоть сотню; да что в них пользы? Пересматривай, переправляй, – такая скука, что легче писать самому… С тех пор, как я распоряжаюсь журналом, я искал человека, с которым мог бы разделить работу… Вижу, что вы единственный человек, который правильно судит о положении нашего общества.

П.Ф. Николаев, отбывавший каторгу в Сибири вместе с Чернышевским как раз а период писания «Пролога», рассказывает в своих мемуарах: «Я помню, он читал нам свой «Пролог к прологу». Когда он читал «Дневник Левицкого», голос его задрожал, в нем послышались слезы. И он убежал тогда на полчаса, – вероятно, хотел остаться один со своими слезами. Он вообще не мог без слез вспоминать Добролюбова – так сильно он любил его в настолько выше себя ставил его».

С присущей Чернышевскому скромностью, он неизменна стремился внушить окружающим, что ставит своего друга выше себя, считает его дарования более богатыми и блестящими, характер более прямым и последовательным, натуру более сильной и энергичной.

Остались свидетельства, что и при жизни Добролюбова

Чернышевский в беседах с друзьями, проводя параллели между ним и, собой, неизменно отдавал предпочтение Добролюбову. Правда, и общие их друзья и общие противники находили преувеличения в этих заявлениях Чернышевского, но и те и другие получали самый решительный и резкий отпор с его стороны. Отмечая, что Чернышевский часто разражался самообличениями, Антонович пишет: «Эти самообличения обыкновенно пересыпались панегириками Добролюбову, у которого, де, нет этих недостатков, он всегда тверд и непоколебим, как скала, что у него обширные познания и т. д. Однажды я попробовал было возразить Николаю Гавриловичу и сказал, что ему нет оснований завидовать обширности познаний Добролюбова, потому что у него самого еще больше этого добра и при том из разных областей, тогда как Добролюбов силен только в одной области. Он просто вскипел и горячо, почти с криком говорил: «Что вы? Что вы это говорите? Ведь Добролюбов только что со школьной скамьи, а дайте ему дожить до моих лет, так вы увидите, что из него будет. Еще на школьной скамье он уже окончательно сформировался и установился, а я… а я…» и опять полились самообличения…»

Так он отвечал союзникам, относившимся одинаково благожелательно как к нему, так и к Добролюбову. А ответом врагам была известная статья «В изъявление признательности», где, с презрением отвергая неуместные «похвалы» реакционера Зарина (задевавшие «мимоходом» память Добролюбова), Чернышевский публично бичевал коварного льстеца.

Как ни тяжело было Чернышевскому лишать себя на целый год помощи Добролюбова, он все же пытался удержать его от постоянного сотрудничества в «Современнике» до окончания института, желая уберечь его от возможных опасных столкновений с Давыдовым.

Но нужно было помочь Добролюбову, предоставив ему литературную работу, не связанную с журналом. Такой случай вскоре представился. По просьбе издателя А.Т. Крылова Чернышевский должен был написать для «Русского иллюстрированного альманаха», задуманного Крыловым, статью о Пушкине. Уверенный в том, что Добролюбов прекрасно справится с этой задачей, Николай Гаврилович без колебаний передал ему эту работу.

До половины 1857 года участие Добролюбова в журнале было эпизодическим. Однако, кроме статьи о «Собеседнике любителей российского слова», Чернышевский, уступая настойчивым просьбам Добролюбова, напечатал в августовской книжке «Современника» 1856 года его едкий разбор «Акта Главного

Педагогического института», приоткрывавший завесу над возмутительными порядками, царившими в институте, где заканчивал свое обучение автор. Анонимную рецензию эту приписали Чернышевскому, и она, по собственному его утверждению, доставила ему «бесчисленные овации», от которых он не смел тогда открыто отрекаться, чтобы не поставить под удар своего молодого друга.

После первой встречи Добролюбов стал чаще и чаще бывать у Чернышевского. Общение с ним открыло для него новый мир. В эти дни он писал Н. Турчанинову: «С Николаем Гавриловичем сближаюсь все более и все более научаюсь ценить его. Я готов был бы исписать несколько листов похвалами ему… Я нарочно начинаю говорить о нем в конце письма, потому что знал, что если бы я с него начал, то уже в письме ничему не нашлось бы места. Знаешь ли, этот один человек может примирить с человечеством людей, самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях и высказанной просто, без фразерства, столько ума строго последовательного, проникнутого любовью к истине, – я не только не находил, но не предполагал найти…»

Двадцатилетний юноша отлично понимал, какое огромное значение для него имело это знакомство. «С Николаем Гавриловичем, – говорится далее в том же письме, – толкуем не только о литературе, но и о философии, и я вспоминаю при этом, как Станкевич и Герцен учили Белинского, Белинский – Некрасова, Грановский – Забелина и т. п. Для меня, конечно, сравнение было бы слишком лестно, если б я хотел тут себя сравнивать с кем-нибудь, «о в моем смысле вся честь сравнения относится к Николаю Гавриловичу. Я бы тебе передал, конечно, все, что мы говорили, но ты сам знаешь, что в письме это не так удобно…»

Последние строки ясно показывают, что в разговорах они уже тогда касались не только литературы и философии, но и тех вопросов, о которых небезопасно было сообщать в письмах, то-есть о самодержавии и крепостничестве, о борьбе с ними, о необходимости политического переворота в России, о всех способах содействия чаемой ими в близком будущем революции.

Из «Пролога» мы знаем, что, желая испытать твердость убеждений Левицкого и готовность его отдать все силы практической революционной деятельности, Волгин со свойственной ему манерой мистифицировать собеседника пробовал сначала «отпугнуть» Левицкого от мысли участвовать в революционной борьбе. С напускным скептицизмом он говорил

ему о тщетности всякой борьбы, однако скоро должен был убедиться в непреклонности стремлений Левицкого – Добролюбова.

Влияние Чернышевского на младшего друга сказалось прежде всего в том, что прежнее безоговорочное преклонение Добролюбова перед Герценом скоро сменилось у него критической оценкой либеральных колебаний, проявленных издателем «Колокола» во второй половине пятидесятых годов.

Первоначально Добролюбова очень смутил суровый отзыв о Герцене, услышанный от Чернышевского, который признался, что больше не интересуется новыми произведениями Герцена, так как держится теперь образа мыслей, не совсем одинакового с понятиями лондонского изгнанника.

Сохраняя глубокое уважение к революционной деятельности своего предшественника и учителя, признавая, что «по блеску таланта в Европе нет публициста, равного Герцену», Чернышевский вместе с тем не закрывал глаз на отступления его от позиций последовательного революционера.

И Добролюбову скоро пришлось убедиться в правоте и проницательности Чернышевского. В дальнейшем временное расхождение Герцена с руководителями «Современника» ярко проявилось в выступлении издателя «Колокола» со статьей «Very dangerous!» («Очень опасно!», 1859 г.), в которой он нападал на Добролюбова и Чернышевского за их насмешливо презрительное отношение к либеральным веяниям эпохи, к «обличительной гласности».

Нам еще придется вернуться к этому эпизоду, вызвавшему поездку Чернышевского в Лондон для объяснений с Герценом, а теперь рассмотрим, как протекала борьба писателей-дворян, связанных с «Современником», сначала против Чернышевского, а затем против Чернышевского и Добролюбова вместе.

XIX. У руля «Современника»

Литературные противники Чернышевского неоднократно пытались расстроить союз его с Некрасовым, посеять между ними рознь. Это было необходимо им для того, чтобы добиться удаления Чернышевского из «Современника».

Весною 1856 года В.П. Боткин[30] убеждал Некрасова передать критический отдел журнала в ведение Аполлона Григорьева. Он писал Некрасову, что А. Григорьев согласится «взять на себя всю критику „Современника“, но с условием, чтобы Чернышевский не участвовал в ней».

Уже вскоре после начала постоянного сотрудничества Чернышевского в журнале среди либерально настроенных литераторов, поддерживавших сношения с Некрасовым, стали раздаваться голоса, обвинявшие Чернышевского в стремлении «перессорить журнал со всеми сотрудниками». Более других усердствовал в этом отношении консервативный критик-эстет Дружинин, которому претил «боевой дух» великою просветителя. Его возмущала непоколебимая верность заветам Белинского, провозглашенная автором «Очерков гоголевского периода». Неуклонно возрастающее влияние Чернышевского на общий тон «Современника» заставило Дружинина перекочевать ив некрасовского журнала в другие печатные органы. Уязвленный своим поражением внутри «Современника», он стремился теперь при всяком удобном случае противопоставить «обветшалым», с его точки зрения, традициям Белинского свою теорию «чистого искусства», свободного от служения обществу и далекого от живых интересов современности.

Нечего и говорить, что попытки эти в конечном счете были обречены на полный провал, хотя выступления Дружинина против Чернышевского одно время пользовались сочувствием даже таких крупных писателей, как Лев Толстой и Тургенев. Революционный образ мыслей Чернышевского был чужд им, и логика борьбы толкала их на союз с Дружининым, несмотря на то, что *творческая* деятельность этих писателей-реалистов никак не могла служить опорой для теории «чистого искусства», проповедуемой критиком-эстетом. Характерно, что Дружинин до конца жизни остался верен своим узким взглядам, а Лев Толстой сложными и противоречивыми путями приблизился впоследствии к пониманию огромного значения основных принципов, заложенных в «Эстетических отношениях» Чернышевского.

В 1896 году Лев Толстой был буквально «поражен», когда Стасов напомнил ему однажды то «великое слово», которое

Чернышевский провозгласил еще в 1855 году в своих «Эстетических отношениях», что «искусство есть та человеческая деятельность, которая произносит суд над жизнью».

Но в пятидесятые годы Толстой в своих теоретических взглядах на литературу и искусство еще стоял на позициях, близких к позициям Дружинина. Недаром он лелеял тогда мысль об издании журнала, который отстаивал бы «вечное, независимое от случайного, одностороннего и захватывающего политического влияния».

О диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» и несколько позднее об «Очерках гоголевского периода» Толстой отзывался отрицательно и выражал Некрасову сожаление, что Чернышевский играет в «Современнике» столь видную роль. В эти годы у будущего великого выразителя «тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции»[31], Некрасов видел еще «следы барского и офицерского влияния» и замечал: «Жаль, если эти следы… не переменятся, в нем пропадет отличный талант!»

Уход Дружинина из «Современника» вызывает у Толстого сожаление. «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из нашего союза», – писал он Некрасову 2 июня 1856 года, разражаясь далее выпадами против Чернышевского.

Некрасов откровенно выражал свое несогласие с Толстым. «О том, что в Ваших письмах, хотел бы поговорить на досуге, – писал он Толстому летом 1856 года. – Но ни с чем я не согласен. Особенно мне досадно, что вы так браните Чернышевского… Вам теперь хорошо в деревне, и Вы не понимаете, зачем злиться, Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости – у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, – то-есть больше будем любить – любить не себя, а свою родину…»

Отрицательно относился к новому направлению «Современника» и Тургенев, хотя тогда ему не вовсе чуждо было диалектическое понимание развития и задач литературы. «Бывают эпохи, где литература не может быть *только* художеством, а есть интересы, высшие поэтических интересов, – писал он Боткину в 1855 году. – Момент самопознания и критики так же необходим в развитии народной жизни, как и в жизни отдельного лица». Тургенев не примкнул к лагерю защитников чистого искусства, но, занимая промежуточную позицию, он

колебался, и его отношение к спору между ними и лагерем разночинцев-демократов было все время двойственным. С одной стороны, для него был неприемлем эстетический кодекс революционных демократов, в частности «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевского. С другой стороны, Тургенев как будто готов был признать в какой-то мере историческую правоту движения будущих шестидесятников. В письме к Дружинину он указывает, что Чернышевский «понимает… потребности действительной современной жизни… я почитаю Чернышевского полезным: время покажет, был ли я прав».

Вместе с тем он часто терял равновесие, раздражался, был явно несправедлив и пристрастен к «мужицким демократам». Отзывы Тургенева о поэзии Некрасова противоречивы. То ему казалось, что «собранные в один фокус» стихи Некрасова «жгутся», то он утверждал, что поэзия в них и не ночевала. То он готов сказать, что «струны его поэзии в сущности хорошие струны», то он резко нападал на поэта «мести и печали».

В этой двойственности, клонящейся к отрицанию, а не к признанию, сказались дворянский либерализм, ограниченность политического кругозора, социальная отчужденность Тургенева от демократов-разночинцев.

Отрицая эстетику Чернышевского и поэзию Некрасова, он совершал историческую ошибку. Политические идеалы Тургенева, отсталые по сравнению с идеалами Белинского и Герцена и особенно Чернышевского и Добролюбова, ослепляли его критическое чутье. Он не признал в Чернышевском замечательного критика, а в Некрасове великого поэта, потому что оба они были борцами за дело крестьянской революционной демократии.

Положение Некрасова как редактора становилось все более затруднительным. Он должен был заботиться о том, чтобы закрепить исключительное участие в своем журнале виднейших писателей того времени – И. Тургенева, Льва Толстого, А. Островского, Д. Григоровича, хотя понимал, что разрыв с ними станет рано или поздно неизбежным, поскольку в критико-публицистической части журнала неуклонно осуществляется Чернышевским революционно-демократическая программа, которой они не могли сочувствовать.

Идейная близость Некрасова к Чернышевскому сказалась в том, что он не только не пошел навстречу пожеланиям противников своего молодого сотрудника, но, напротив, уезжая надолго для лечения за границу в августе 1856 года, передал ему свои редакторские права, подчеркнув этим полную солидарность

с ним.

Николай Гаврилович, зная заранее, что в связи с отъездом Некрасова ему придется работать день и ночь, предложил жене провести это лето с сыном Александром у родных в Саратове.

Некрасов накануне своего отъезда обратился к Чернышевскому с официальным письмом: «Уезжая на долгое время, прошу Вас, «роме участия Вашего в разных отделах «Современника», принимать участие в самой редакции журнала и с ним передаю Вам мой голос во всем касающемся выбора и заказа материалов для журнала, составления книжек, одобрения или неодобрения той или другой статьи и т. д. так, чтоб ни одна статья в журнале не появлялась без Вашего согласия, выраженного надписью на корректуре или оригинале».

По особому условию, заключенному с Некрасовым, Чернышевский должен был, кроме общего руководства журналом, писать статьи для отделов критики и библиографии и заведовать этими отделами, составлять статьи для отдела наук, смеси и иностранных известий, писать обзоры журналов, читать вторые корректуры всего «Современника» и заготовлять для него материалы.

За короткий срок – всего полтора года сотрудничества в «Современнике» – Чернышевский, не имевший прежде никакого опыта в журнальной работе, настолько хорошо освоился с ней, что Некрасов спокойно мог поручить ему не только идейное руководство лучшим журналом в России, но и всю сложную, многообразную работу по редактированию. Денежная сторона этого важного соглашения была определена следующим образом: «Г-ну Чернышевскому получать 3 000 руб. серебром в год, т. е. по 250 р. сер. в месяц, а расчет производить в конце года по листам за статьи».

Либеральная часть сотрудников «Современника» была крайне раздражена решением Некрасова, которое окончательно определило переход журнала на позиции революционной демократии.

И Чернышевский с большим тактом повел дело в этой трудной обстановке. Нисколько не поступаясь основным направлением журнала, он хотел в то же время уберечь таких писателей, как Тургенев, Толстой и другие, от влияния реакционных критиков, стремился, настолько это было возможно, направить их творческую силу на разрешение тех исторических задач, какие вставали перед русской литературой на новом этапе ее развития.

Но одно из мероприятий Чернышевского-редактора все же оказалось, против его ожидания, неудачным и имело

немаловажные последствия в жизни журнала. Он навлек беду на «Современник» неосторожным поступком, связанным с выходом в свет книги «Стихотворения» Н. Некрасова, которая появилась в продаже во время пребывания поэта за границей. Дело заключалось в следующем.

Когда осенью 1856 года появилась упомянутая книга, Чернышевский, чрезвычайно высоко ценивший творчество великого поэта, решил написать о ней обширную статью. Он считал, что Некрасов выпустил «книгу, какой не бывало еще в русской литературе». Однако высказать свое мнение о стихотворениях Некрасова на страницах «Современника» он полагал неудобным в силу того, что Некрасов был редактором этого журнала, а переговоры с редактором «Библиотеки для чтения» Дружининым о помещении предполагаемой статьи оказались безрезультатными, Дружинин уклонился от положительного ответа на предложение Чернышевского под тем предлогом, что он сам будто бы уже написал для «Библиотеки» статью о стихотворениях Некрасова.

Тогда Чернышевский решил напечатать в «Современнике» хотя бы краткое известие о выходе собрания стихотворений Некрасова, не давая им никакой оценки и не говоря даже об исключительном сочувствии, с каким она была встречена читателями.

В одиннадцатой книге «Современника», в отделе «Новые книги», появилась коротенькая информационная заметка, написанная Чернышевским:

«СТИХОТВОРЕНИЯ Н. НЕКРАСОВА». МОСКВА. 1865.

Читатели, конечно, не могут ожидать, чтобы «Современник» представил подробное суждение о «Стихотворениях» одного из своих редакторов. Мы можем только перечислить здесь пьесы, вошедшие в состав изданной теперь книги. Вот их список… Читатели заметят, что многие из этих пьес не были еще напечатаны. Некоторые из бывших напечатанными являются ныне в виде более полном, нежели как были напечатаны прежде».

Если бы Чернышевский ограничился только этой информацией, то она, разумеется, не вызвала бы в дальнейшем никаких осложнений. Но он решил, кроме того, перепечатать из сборника в журнале наиболее сильные по своей революционной направленности произведения Некрасова. Заканчивая заметку, Чернышевский писал: «Из тех, которые не были напечатаны, мы приведем здесь пьесы: «Поэт и гражданин», «Забытая деревня», «Отрывки из записок графа Гаранского» (далее следовал текст этих обширных стихотворений, в которых поэт с особенной

остротой обличал крепостнический строй царской России).

Перепечатка эта, подчеркнувшая как революционный характер поэзии Некрасова, так и общественно-политическую позицию его журнала, дала повод ярым крепостникам, врагам «Современника», поднять невероятный шум вокруг этой истории. Некоторые подробности ее до сих пор неизвестны. О существе дела в герценовском «Колоколе» (1 августа 1857 года) говорилось так: «…аристократическая сволочь нашла в книжке какие-то революционные возгласы, чуть не призыв к оружию. Русское правительство, изволите видеть, боится стихов:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь,
Иди и гибни безупречно —
Умрешь недаром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Это сочли чуть не адской машиной, и снова дали волю цензурной орде с ее баскаками. Какое жалкое ребячество!»

Сам Чернышевский не придал сначала серьезного значения шуму, поднятому реакционерами. «Пройдет два-три месяца, и эта история забудется», – говорил он. Но вскоре ему пришлось убедиться, что перепечатка стихотворений Некрасова в журнале повлекла за собою весьма тяжелые последствия. «Книга «Стихотворений», – рассказывает он в воспоминаниях о Некрасове, записанных много лет спустя, – не попала бы в руки тех любителей и любительниц сплетен, которые подняли шум и заставили официальный круг удовлетворить их требованию. Это были какие-то – я не помню теперь имен – пожилые великосветские люди, совершенно посторонние цензурному ведомству и полицейским учреждениям, контролировавшим цензурное ведомство. Они выписывали журналы, в том числе «Современник», но русских книг не покупали. Книга «Стихотворений Некрасова», если бы попала когда-нибудь в их руки, то очень не скоро, и цензура могла бы отвечать на их шум, что он неоснователен, что книга уж давно в обращении и вредных следствий от того никаких не произошло; и контролирующее цензуру ведомство имело бы возможность подтвердить, что это так… Оно подтвердило бы, потому что, подобно всякому другому ведомству, не любило принимать назиданий от людей, не имеющих формального права делать ему выговоры. Но оно не могло дать отпора им, потому что не было единственного возможного отпора: «Это уж давно в руках публики, и время оправдало нашу мысль, что от этого не будет вреда». Итак,

причиною бури было исключительно то, что я перепечатал в «Современнике» те три пьесы, и в частности перепечатка пьесы «Поэт и гражданин».

Беда, которую я навлек на «Современник» этою перепечаткою, была очень тяжела и продолжительна. Цензура очень долго оставалась в необходимости давить «Современник». – года три, – это наименьшее; а вернее будет думать, что вся дальнейшая судьба «Современника» шла под возбужденным моею перепечаткою впечатлением необходимости цензурного давления на него».

Кончилась эта история строжайшим выговором редакции «Современника» с предупреждением, что при первом подобном случае издание журнала будет запрещено. Некрасов же в течение четырех лет не мог добиться разрешения на второе издание книги «Стихотворений». Но он нисколько не изменил своего отношения к Чернышевскому, продолжая считать его самым ценным сотрудником «Современника». В декабре того же года он писал Тургеневу: «Чернышевский просто молодец, помяни мое слово, что это будущий русский журналист, почище меня, грешного».

Когда через несколько месяцев он возвратился из-за границы и Чернышевский при первой встрече стал говорить ему о том, что допущенная им ошибка очень много повредила «Современнику», то Некрасов без малейшей досады сказал ему: «Да, конечно, это была ошибка; вы не догадались подумать, что если я не поместил «Поэта и гражданина» в «Современнике», то, значит, находил это неудобным», – и больше уже никогда не возвращался в разговорах к этому случаю.

Письма Чернышевского к Некрасову (1856–1857 годов) показывают, с какой настойчивостью заботился он в отсутствие поэта об интересах «Современника», отдавая ему все свои силы и время, хотя личная жизнь его была омрачена тогда тяжелыми переживаниями.

Ольга Сократовна ожидала в это время второго ребенка. Горячо любя ее, Николай Гаврилович с мучительной тревогой думал о приближении родов, потому что врачи еще после рождения первенца предупредили его, что следующие роды могут закончиться для Ольги Сократовны смертельным исходом.

Выдержка и спокойствие, никогда не покидавшие прежде Николая Гавриловича, на этот раз оставили его. Он сам признавался потом Некрасову, что волнение, охватившее его с осени 1856 года, совершенно выбило его из колеи, спутало в голове все мысли и даже лишило способности писать: «Верите, двух слов не мог склеить по целым неделям, – раза два даже напивался пьян, что уже вовсе не в моих правилах».

Так в напряженном состоянии прожил он около четырех месяцев. 7 января следующего года Ольга Сократовна благополучно родила сына Виктора, и к Чернышевскому вернулся утраченный покой, С удесятеренной энергией погрузился он в дела «Современника».

Приход Добролюбова в журнал был как нельзя более своевременным. Чернышевский сразу угадал в авторе статьи о «Собеседнике любителей российской словесности» своего будущего преемника по отделу литературной критики и библиографии. Сам он, освобождаясь от ведения этого отдела, получал возможность в ближайшем будущем заняться другими разделами журнала, которые считал еще более важными, – именно разделами политики, философии, истории, политической экономии. Он понимал, что эти разделы, остававшиеся до последнего времени без руководства, потребуют его деятельного участия, и у него уже созрел план перестройки «Современника» в соответствии с новыми задачами.

Прежде всего необходимо было, с его точки зрения, совершенно покончить с рутиной, избавиться решительно от всякого балласта, внести более живое содержание во все части журнала, поднять на надлежащую высоту научный отдел «Современника», находившийся в забвении из-за отсутствия сил.

Он предлагает бороться со всеми пережитками низкопоклонства перед буржуазным Западом, которое считал недостойным передового русского журнала. «Театры и новости парижские, отрывки из мелких журнальных иностранных статеек и т. п. – все это никому ныне уже не нужно, – пишет он Некрасову. – Иностранных фельетонов не нужно в каждой книжке – обыкновенно это балласт».

Чернышевский предлагает заменить в научном отделе «Современника» переводные и компилятивные статьи хорошими оригинальными работами, сократить «смесь» в пользу наук, уничтожить «Моды». «Беллетристическая библиография, – говорит он, – была до сих пор главною; теперь нужно отстранить ее на второй план и более писать о серьезных книгах живого содержания».

Он выражает сожаление, что «связался с Лессингом». Не потому, что избранная им фигура не заслуживала исследования. Нет, разумеется, а потому, что на очередь встали более близкие темы, касавшиеся насущных, современных вопросов о судьбах родного народа. «Все эти Лессинги, Краббы и т. п. были хороши два года тому назад». «Как только разделаюсь с Лессингом, стану писать постоянно о более живых предметах», – «говорить о чем-нибудь другом посовременнее;». Правда, он писал свою большую

монографическую работу о немецком просветителе (растянувшуюся на много месяцев) «с приноровлениями к нашим домашним обстоятельствам», но это уже не удовлетворяло его, казалось скучным, не достигающим цели, и он готов был оставить ее недоконченной или сократить, лишь бы только скорее перейти к животрепещущим темам.

Позиции Чернышевского в журнале укрепились. Теперь уже несколько его единомышленников – Добролюбов, Михайлов, Сераковский – сотрудничали в «Современнике».

Добролюбов с осени 1857 года всецело взял на себя ведение раздела критики и библиографии (хотя ему не исполнилось тогда еще и двадцати двух лет), Михайлов печатал свои оригинальные и переводные стихотворения, статьи, Сераковский составлял иностранные известия.

Некрасов по возвращении из-за границы, где он пробыл около года, с увлечением отдался редакционным заботам. Теперь наряду с Чернышевским ближайшим помощником его стал и Добролюбов. Еще при первом знакомстве с Добролюбовым Некрасов сказал Николаю Александровичу, что просит его писать в «Современнике», сколько успеет, чем больше, тем лучше. Опытным редакторским взглядом поэт, сразу же оценив блестящие способности, обширные знания и цельность революционного мировоззрения молодого критика, привлек его к ближайшему участию во всех делах «Современника». Втроем намечали они программу каждого номера и разрабатывали всевозможные журнальные проекты. Мемуаристы отмечают как одну из главных особенностей Некрасова-редактора то, что он, не переставая зорко следить за своим журналом, предоставлял полную свободу своим помощникам в тех вопросах, в которых не считал себя вполне компетентным.

Либерально-дворянские писатели, сотрудничавшие в «Современнике» и продолжавшие поддерживать с Некрасовым дружеские отношения, с еще большим раздражением стали корить его и за приверженность к «мальчишке-семинаристу», как презрительно называли они Добролюбова, и за верность Чернышевскому, который уже становился признанным идейным руководителем журнала.

А.Я. Панаева, соединившая свою судьбу с Некрасовым и близко знавшая окружение поэта, вспоминала впоследствии, как настойчиво убеждали его Тургенев, Григорович и Анненков отречься от «публицистов-отрицателей». Но Некрасов все же не уступал либералам. Все его симпатии были на стороне Чернышевского, четко определившего политические позиции журнала в эпоху усиления освободительного движения, когда

борьба за революционное преобразование страны стала главной задачей прогрессивного лагеря.

Ополчаясь против Чернышевского и Добролюбова, писатели-либералы тем не менее нередко вынуждены были признавать их огромную интеллектуальную и моральную силу, обширность их знаний. «Между сотрудниками «Современника», – пишет А. Панаева, – Тургенев был, бесспорно, самый начитанный, но с появлением Чернышевского и Добролюбова он увидел, что эти люди посерьезнее его знакомы с иностранной литературой. Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал с Добролюбовым:

– Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями! И какая чертовская память!

– Я тебе говорил, что у него замечательная голова! – отвечал Некрасов. – Можно подумать, что лучшие профессора руководили его умственным развитием и образованием! Это, брат, русский самородок… утешительный факт, который показывает силу русского ума, несмотря на все неблагоприятные общественные условия жизни. Через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение в русской литературе, как и Белинский».

Но не десятилетие, а гораздо меньший срок понадобился для того, чтобы великий соратник Чернышевского занял наряду с ним руководящее положение в русской литературе и оказал большое влияние на революционное движение той эпохи.

Нередко Целые дни проводили Чернышевский и Добролюбов в квартире Некрасова за работой для «Современника». Квартира поэта, которую называли тогда «литературным подворьем», состояла из четырех комнат. Несмотря на то, что у Некрасова вечно толклись посетители, – знакомые и приятели поэта, а также литераторы, связанные с «Современником», – работа не приостанавливалась. Чернышевскому и Добролюбову нередко приходилось задерживаться у Некрасова до поздней ночи, потому что то и дело возникала надобность посоветоваться друг с другом о спешных делах журнала.

Иногда по вечерам ближайшие сотрудники «Современника» сходились в кабинете редактора отдохнуть и побеседовать. Некрасов в такие минуты старался вызвать на разговор Чернышевского, который в незнакомом обществе обычно держался молчаливо, но в привычном кругу одушевлялся и говорил настолько увлекательно и живо, что сразу приковывал к себе общее внимание. Один из сотрудников «Современника»

рассказывает, что в этих собеседованиях Николай Гаврилович всегда поражал слушателей необыкновенным богатством знаний в любой отрасли науки. Стоя у камина и играя часовой цепочкой, он то рисовал картину жизни в будущем обществе, то подвергал глубокой критике устаревшие экономические системы, то доказывал неразрывную связь философии с естественными науками, то, переносясь в прошлое, рисовал сцены из жизни античного общества, из истории Французской революции или из эпохи Возрождения.

Еженедельно у Некрасова устраивались редакционные обеды, на которых собирались литераторы, сотрудничавшие в «Современнике». Чернышевский неохотно бывал на этих обедах: Некрасову почти всегда приходилось упрашивать его присутствовать, потому что никто, кроме Николая Гавриловича, не умел так искусно вести беседу с цензором их журнала. «Бедняжка цензор, – вспоминал Чернышевский, – конечно, играл тут, сам того не замечая, жалкую роль, и обыкновенно единственным усладителем его одиночества приятными разговорами являлся я; в исполнении этой роли и состоял для меня мотив бывать на этих обедах».

Однажды летним вечером на квартиру к Чернышевскому неожиданно явился застенчивый молодой человек, с неловкими манерами, в потертом костюме. В руках у него был клетчатый дорожный сак. Молодой человек оказался земляком Николая Гавриловича, с которым он изредка встречался прежде в Саратове. Это был тамошний помещик Павел Александрович Бахметев. Он рассказал Чернышевскому, что продал свое имение, все имущество и решил теперь навсегда покинуть Россию, хотя и горячо любит родину.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Бахметев пережил под влиянием социалистической литературы, в частности сочинений Герцена, сильный нравственный перелом и принял бесповоротное решение покончить с прежним образом жизни и отправиться на Маркизские острова с целью основать там земледельческую колонию типа коммуны, чтобы «жить с людьми по-братски» на «совершенно социальных основаниях». Он сказал Николаю Гавриловичу, что хочет заехать в Лондон к Герцену и передать ему значительную часть суммы, полученной от продажи своего имения, на дела русской пропаганды.

Прощаясь с Чернышевским, гость попросил проводить его, и они вышли вместе, продолжая разговор о планах Бахметева. Беседа их затянулась, и, сами того не замечая, они пробродили всю ночь, гуляя по набережной Фонтанки.

Бахметев хорошо запомнился Чернышевскому: некоторые

черты биографии этого необычного человека послужили впоследствии Николаю Гавриловичу для создания образа Рахметова.

Много лет спустя, уже в Сибири, Чернышевский, рассказывая однажды товарищу по ссылке – Стахевичу – о своей встрече с Бахметевым, заметил:

– В своем романе я назвал особенного человека Рахметовым в честь именно вот этого Бахметева.

Лондонское свидание Бахметева с Герценом, передача им издателю «Колокола» 20 тысяч франков на дела пропаганды и отъезд Бахметева на Маркизские острова подробно описаны в «Былом и думах». Неизвестно, что сталось впоследствии с Бахметевым и удалось ли ему осуществить свой план основания коммуны.

XX. «Мужицкий демократ»

С 1856–1857 годов начинается второй период журнально-публицистической деятельности Чернышевского. Если прежде подавляющее большинство его статей относилось к области литературы, то во втором периоде решительно преобладали политико-экономические, исторические, философские и публицистические темы.

Объяснение этой перемены «интересов» мы найдем в воспоминаниях самого Чернышевского, написанных через тридцать лет, уже незадолго до смерти. Воспоминания, вернее, заметки, которые мы имеем в виду, были вызваны прочтением вышедшего в свет издания сочинений Некрасова.

Чернышевскому, жившему в то время на положении поднадзорного ссыльного, было запрещено выступать в печати, и он не мог ни издать воспоминаний о своем друге и соратнике, ни выступить с развернутой критикой рассуждений о Некрасове буржуазно-либеральных редакторов посмертного издания его сочинений. Но он счел необходимым внести некоторые существенные поправки в эти рассуждения, как участник описываемых событий, как человек, близко стоявший к редактору «Современника». Поправки его предназначались для будущих биографов великого поэта.

Чернышевский указывает, что образ мыслей Некрасова не мог претерпеть каких-либо существенных изменений «под влиянием того сильного движения, какое началось в обществе» после Крымской кампании, ибо был еще ранее твердо установившимся. Он настойчиво подчеркивает, что «дело было не в расширении «умственного и нравственного горизонта поэта», а в том, что цензурные рамки несколько «раздвинулись» и поэт получил возможность писать кое о чем из того, о чем прежде нельзя было ему писать». «Причина невозможности всегда была цензурная», «…содержание его поэтических произведений сжималось или расширялось соответственно изменениям цензурных условий…»

Точно так же обстояло дело и с публицистическими произведениями самого Чернышевского.

Неудачная Крымская кампания, нараставшие внутри страны крестьянские волнения и ширившееся общественное движение в пользу отмены крепостного права заставили правительство царской России несколько ослабить цензурные строгости, и это дало возможность писателям революционно-демократического лагеря выступить более широко. Если бы возможность касаться вопросов, издавна составлявших «предмет их затаенных

желаний», явилась раньше, то и в «Современнике» заговорили бы о них раньше.

Цензурный гнет ослабел только частично, но даже это частичное ослабление «раздвинуло внешние ограничения», стеснявшие прежде деятельность революционных демократов, и дало возможность Чернышевскому осветить в своих статьях наиболее важные и актуальные темы, среди которых самой острой и волнующей темой был давно назревший «крестьянский вопрос».

Явные признаки разложения феодально-крепостнического уклада самодержавной России стали сказываться еще задолго до Крымской войны, которая с неумолимой ясностью выявила, по словам Ленина, «гнилость и бессилие крепостной России» и создала к середине пятидесятых годов предпосылки революционной ситуации, совершенно четко обозначившейся в период 1859–1861 годов.

Медленно, но неуклонно – и чем дальше, тем быстрее – страна вступала на путь капиталистического развития. Главным препятствием, основной помехой на этом пути оставалась изжившая себя крепостническая система, тормозившая поступательное историческое движение, налагавшая тяжелые цепи на все отрасли народного хозяйства.

Неизбежный глубочайший кризис этой системы надвигался с нараставшей быстротой.

Еще в 1839 году шеф жандармов А.Х. Бенкендорф в своем «всеподданнейшем» отчете Николаю I довольно откровенно обрисовал ему угрожающее положение в стране в связи с усиливавшимися крестьянскими волнениями. «Весь дух народа, – писал Бенкендорф, – направлен к одной цели – к освобождению, а между тем во всех концах России есть праздные люди, которые разжигают эту идею… Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством… Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дождаться, пока начнется снизу, от народа. Только тогда будет мера спасительна, когда будет предпринята самим правительством, тихо, без шума, без громких слов и будет соблюдена благоразумная постепенность. Но что это необходимо и что крестьянское сословие есть пороховая мина, – в этом все согласны…»

Но нужен был удар страшной силы, чтобы правящие верхи осознали неизбежность изменений в жизни страны и пошли на уступки в вопросе об освобождении крестьян. Нужно было пережить позор поражения в войне, чтобы царское правительство

решилось, наконец, хотя бы на осторожную и постепенную подготовку к отмене крепостного права.

Узел противоречий, который стремилось распутать правительство Александра II, заключался в том, что, с одной стороны, оно хотело бы сохранить основы феодально-крепостнического уклада, а с другой стороны, для него уже стала очевидной невозможность удержать в неизменном виде формы господства правящих классов над трудящимися классами после того, как исход Крымской войны усилил угрозу повсеместного крестьянского восстания. «Это было время, – пишет товарищ Сталин, – когда правительство получало двойной удар: извне – поражение в Крыму, изнутри – крестьянское движение. Потому-то правительство, подхлёстываемое с двух сторон, вынуждено было уступить и заговорило об освобождении крестьян: «Мы должны сами освободить крестьян сверху, а то народ восстанет и собственными руками добьётся освобождения снизу». Мы знаем, что это было за «освобождение сверху»…»[32]

Поражение России в Крымской войне создало чрезвычайно напряженную обстановку в стране. Народ стал открыто выражать свое недовольство. Крестьянские волнения вспыхивали одно за другим. Теперь они исчислялись уже сотнями. В.И. Ленин, характеризуя этот исторический этап, писал, что даже «…самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание – опасностью весьма серьезной».[33]

Когда в 1856 году был подписан Парижский мир, главнокомандующий русской армии князь Горчаков сказал Александру II: «Хорошо, что мы заключили мир, дальше воевать мы были не в силах. Мир дает нам возможность заняться внутренними делами, и этим должно воспользоваться. Первое дело – нужно освободить крестьян, потому что здесь узел всяких зол».

Проблема освобождения крестьян от крепостного гнета стала, таким образом, выражением исторической неизбежности. Но освобождение это могло произойти двумя путями. Один из них, выдвинутый крепостниками и поддержанный либералами, – это реформа «сверху», предполагающая сохранение царской власти и помещичьего землевладения и на деле означающая новый метод ограбления народа. Другой путь – революционное уничтожение крепостничества и свержение царизма. Этот путь указывали революционеры-демократы, во главе которых стоял Чернышевский, призывавший народ под знамена крестьянской революции.

Во избежание революционного взрыва царское правительство

прибегло к освобождению крестьян «сверху», при полном сохранении помещичьего землевладения. Эта сделка либералов с крепостниками за счет «освобождаемых» без земли крестьян вызвала гневное возмущение Чернышевского, который беспощадно разоблачал истинный смысл этой реформы, называя ее «мерзостью».

В эпоху, предшествующую реформе, в дни этой реформы и после нее Чернышевский и его соратники, представители революционной демократии, последовательно и упорно отстаивали интересы многомиллионных масс угнетенного крестьянства. Они вели борьбу с крепостниками, а равно и с либералами, поддерживавшими реформу и стремившимися скрыть ее подлинную сущность.

В 1856 году Александр II и его ближайшие приспешники, памятуя о рецепте, предложенном в свое время Бенкендорфом Николаю I, решили приступить «с благоразумной постепенностью», «осторожно и тихо» к подготовке отмены крепостного права.

Слова: «освобождение сверху» и «освобождение снизу», употребленные в отчете шефа жандармов, фигурируют в обращениях Александра II к дворянам. Коронованный крепостник понимал, что «существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным». Он заявил московским дворянам: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само начнет отменяться снизу».

«Решимость» эта была продиктована отнюдь не состраданием к угнетенному крестьянству и не человеколюбием Александра II, как это пытались изображать восхвалявшие «реформу» буржуазные историки; нет, единственной силой, заставившей Александра II и крепостников пойти на уступки в этом вопросе, была «сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма. Помещики-крепостники не могли помешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства».[34]

Царское правительство хотело подготовить свои будущие мероприятия по осуществлению «реформы» в глубокой тайне.[35] Оно опасалось даже употреблять до поры до времени самое выражение «освобождение крестьян» и заменяло его в официальных документах туманными словами: «*устройство* быта *помещичьих* крестьян».

С самого начала Чернышевский отчетливо сознавал, что подготовка к реформе ведется правительством «с желанием требовать как можно меньше пожертвований от дворянства».

«Шила в мешке не утаишь», – говорит мудрая русская

пословица. Тайные покровы, которыми правительство Александра II декорировало умышленную бюрократическую проволочку в злополучном «крестьянском вопросе», постепенно приоткрывались, обнажая в самом неприглядном свете истинные намерения крепостников. Секретный комитет был со временем преобразован в Главный комитет об устройстве сельского состояния; в помощь ему были учреждены губернские дворянские комитеты и редакционные комиссии. Все эти комитеты и комиссии, комиссии и комитеты в течение целого пятилетия занимались разработкой всевозможных проектов, сущность которых сводилась к поискам и установлению новых форм ограбления трудового народа.

Ухищрения этих бюрократических инстанций, стоявших на страже классовых интересов дворян, были направлены к тому, чтобы в результате пресловутого «освобождения» земли попрежнему остались бы в руках помещиков.

Закабаленный народ, за спиной которого шла эта предательская работа помещичьих комитетов и комиссий, жадно ловил доходившие до него смутные слухи о «воле».

Шеф жандармов Долгоруков во всеподданнейшем докладе Александру II в 1858 году писал, что крестьяне «в ожидании переворота в их судьбе находятся в напряженном состоянии и могут легко раздражиться от какого-либо внешнего повода».

Внимание всей страны было приковано к крестьянскому вопросу. Волна общественного возбуждения вынесла его из стен правительственных комитетов и комиссий на страницы прессы

В эти дни Чернышевский писал отцу: «Всё здесь, как и по всей России, заняты исключительно рассуждениями об уничтожении крепостного права».

Стоя на страже кровных интересов родного народа, он пристально следил за малейшими изменениями в ходе подготовки реформы, внимательнейшим образом изучал расстановку сил в начинавшейся борьбе, разоблачая одну за другой все уловки противника.

Опыт борьбы за крестьянскую реформу, возраставшее все время сопротивление крепостников и либералов осуществлению ее в интересах народа – все это укрепляло Чернышевского в убеждении, что только революционным путем народ может добиться освобождения.

Чернышевский был замечательным стратегом и тактиком. Те немногие «поощрительные» выражения по адресу Александра II в 1857 году, которые употреблены в статье «О новых условиях сельского быта», были обусловлены желанием подтолкнуть противника на максимум возможных уступок, желанием ослабить

его и продолжать в дальнейшем борьбу с удесятеренной энергией.

В знаменитой статье «Русский человек на rendez-vous» Чернышевский пугает помещиков революцией в случае их неуступчивости, надеясь еще этой угрозой добиться благоприятных для крестьян условий реформы.

Но статья «Русский человек на rendez-vous» (1858 г.) была последней в этом роде. Чернышевскому становится ясно, что судьба реформы в руках крепостников, что она будет проведена с наименьшим ущербом для помещиков и к максимальной невыгоде для крестьян. И Чернышевский, как указывает В.И. Ленин в книге «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «…протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещикам» и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов».[36]

Вся революционно-Публицистическая деятельность великого демократа в период 1856–1862 годов (точнее: до ареста в июле 1862 года) была направлена на сплочение авангарда передовой русской интеллигенции для подготовки революционного взрыва в стране.

В.И. Ленин пишет о первых русских социалистах:

«Вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни; отсюда – *вера в возможность крестьянской социалистической революции* – вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством».[37]

Чернышевскому представлялся возможным, при условии победы крестьянской революции, переход России к социализму через общину, минуя капиталистическую стадию развития.

Объясняя утопический характер этого представления, В.И. Ленин говорит: «Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не только социалистом-утопистом, – продолжает В.И. Ленин, – он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя – через препоны и рогатки цензуры – идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей».[38]

В начавшейся в 1857 году полемике с реакционными экономистами, выражавшими точку зрения помещиков-

крепостников, Чернышевский настаивал на том, что необходимо сохранить принцип общинного владения крестьян землею.

Обоснованию и защите этой точки зрения посвящены его большие статьи «Studien» («Исследования о внутренних отношениях, народной жизни и в особенности сельских учреждениях России» барона А. Гакстгаузена – июль 1857 г.) и «О поземельной собственности», «Критика философских предубеждений против общинного владения», «Суеверие и правила логики».

Глубокое отличие взгляда Чернышевского на общину от взгляда на нее славянофилов заключалось в том, что последние, отстаивая патриархальное общинное владение, вовсе не помышляли о свержении самодержавного режима. Для них община была «оплотом разумного консерватизма». А в глазах Чернышевского сохранение общины при условии коренного изменения социально-политического строя явилось бы важной гарантией благосостояния крестьянского сословия.

Исходя из диалектического закона о всеобщем развитии, Чернышевский указывал, что изменение форм общественного устройства должно завершиться общинным владением не только на землю, но и на средства производства вообще, как наивысшей формой собственности.

«Я очень рад, – писал он в июне 1857 года А.С. Зеленому, – что Вам кажется важен вопрос об общинном владении. Быть может, я ошибаюсь в своем мнении об этом деле, но, действительно, с теоретической точки преимущество общинного владения доказано неоспоримо».

Приглашая своего корреспондента выступить в «Современнике» со статьями по этому вопросу, он замечал: «Прямо говорить нельзя, будем говорить как бы о посторонних предметах, лишь бы связанных с идеею о преобразовании сельских отношений… Лишь бы только прошло цензуру, с радостью надобно печатать все, касающееся положения наших поселян… Вмешивайтесь в это дело и обсудите вопрос с практической точки: 1) Оттого ли бедны поселяне, что по общинному праву получают участки, или от крепостного права и страшной администрации? 2) Действительно ли неудобства общинного владения не могут быть отстранены более разумным порядком переделов с оставлением неприкосновенности принципа: «каждый сын земли имеет право на участок этой земли»… «Каждый земледелец должен быть землевладельцем, а не батраком, должен сам на себя, а не на арендатора или помещика работать… Как скоро допустим, что при эмансипации земля дается в полную собственность не общине, а отдельным

семействам с правом продажи, они продадут свои участки, и большинство сделается бобылями.

Освобождение будет, когда – я не знаю, но будет; мне хотелось бы, чтобы [оно] не влекло за собою превращение большинства крестьян в безземельных бобылей! К этому я хотел бы приготовить мысль образованных людей, давно приготовленных к эмансипации».

Используя любые возможности легального обсуждения крестьянской проблемы, Чернышевский с величайшим искусством обходил цензурные преграды и воспитывал своими статьями, как указывает В.И. Ленин, *настоящих революционеров.*

Одна из первых статей Чернышевского по крестьянскому вопросу, называвшаяся «О новых условиях сельского быта», сопровождалась обращением «Современника» к читателям, в котором говорилось: «Все внимание России устремлено теперь на дело отменения крепостного права… Для соответствия с потребностями и ожиданиями своих читателей, «Современник» с следующей (пятой) книжки (1858 года) будет постоянно помещать статьи, посвященные вопросу об уничтожении крепостного права, под общим заглавием «Отменение крепостного права».

Но даже одно это нежелательное для правительства прямое обозначение журнальной рубрики тотчас же вызвало цензурную «поправку». В дальнейшем обещанное название рубрики исчезло и соответствующий материал печатался под другим общим заглавием: «Устройство быта помещичьих крестьян».

Таким образом, редакцию «Современника» в наименовании этого раздела принудили держаться официальной терминологии. Однако содержание статей по крестьянскому вопросу в «Современнике», написанных в большинстве случаев Чернышевским, было прямо направлено против официальной точки зрения.

Прежде всего Чернышевский с замечательной глубиной и убедительностью показал в своих статьях исторический вред русского крепостного права вообще. Ему и прежде удавалось косвенным образом и частично затрагивать эту сторону дела в той или иной статье или рецензии. Теперь же он получил возможность поставить этот вопрос значительно шире и ясней.

В статье «Суеверие и правила логики» Чернышевский показывает, что одною из главных причин отсталости царской России было крепостное право. «Коренным образом крепостное право принадлежит сфере сельского хозяйства, и само собою разумеется, что если оно обессиливало всю нашу жизнь, то с

особенною силою должны были отражаться его результаты на земледелии…», «…Крепостное право, переделавши в своем духе все наши обычаи, конечно, не могло содействовать ни развитию духа предприимчивости, ни поддержанию трудолюбия в нашем племени. Если бы не было никаких других неблагоприятных обстоятельств, одного крепостного права было бы достаточно, чтобы объяснить жалкое положение нашего земледелия. Крепостное право было одним из учреждений, ослаблявших народную энергию. Но не одному ему надобно приписывать страшный упадок ее. Крепостное право было только одним из множества элементов, имеющих такое же влияние иа силу нации. Мы не хотим теперь перечислять всех этих вредных учреждений: для нашей цели довольно будет обратить внимание только на результат их. Русский народ жил, или, лучше сказать, прозябал или дремал в тяжелой летаргии… Энергия труда подавлена в нас вместе со всякою другою энергиею».

Тематика статей Чернышевского по крестьянскому вопросу менялась соответственно ходу подготовки реформы. Возбудив полемику в 1857 году по вопросу об общине, Чернышевский целый год сам не принимал в ней никакого участия. Объяснение этому он дает в статье «Критика философских предубеждений пропив общинного владения» (1858 г.). Выступая в пользу общины, Чернышевский не был, подобно народникам, безусловным ее сторонником. Не разделял он и распространенных в то время иллюзий, что русская община должна явиться образцом для социального переустройства общества не только в России, но и на Западе.

«Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного владения, – писал Чернышевский, – но он все-таки составляет только одну сторону дела, которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора».

Такими гарантиями Чернышевский считал два условия: освобождение крестьян *с землею* и *без выкупа.* Вот почему по ходу подготовки реформы Чернышевскому пришлось перейти от защиты высшей гарантии к защите этих предварительных условий.

Статья «О новых условиях сельского быта», в которой Чернышевский горячо отстаивал принцип освобождения крестьян с землею, обратила на себя внимание царя и его приспешников.

В апреле 1858 года было начато дело в канцелярии Министерства народного просвещения по Главному управлению

цензуры в связи с высказываниями «Современника» о крестьянском вопросе. Шеф жандармов князь В. Долгоруков предложил министру народного просвещения срочно сообщить, кем написана статья «О новых условиях сельского быта» и была ли она рассмотрена депутатом Министерства внутренних дел, состоящим при Главном цензурном комитете.

Долгоруков мотивировал чрезвычайную спешность своего запроса тем, что «некоторые места означенной статьи… обратили на себя внимание» Александра II.

Завязалась ведомственная переписка, в результате которой статья Чернышевского была квалифицирована в Главном цензурном комитете как «произведение, совершенно противное видам правительства и возмутительное».

Последовали: выговор Панаеву, выговор цензору, повеление министру просвещения Ковалевскому дать циркуляр о недопущении печатания статей подобного характера, предписание цензорам «не дозволять упоминать нигде в сочинениях о напечатанной в апрельской книжке «Современника» 1858 года статье «О новых условиях сельского быта».

XXI. Редактор «Военного сборника»

Через несколько месяцев в том же 1858 году деятельность Чернышевского еще раз обратила на себя внимание правительственных кругов. Случилось это в связи с изданием «Военного сборника».

Выше говорилось, что еще до поступления учителем в Саратовскую гимназию Чернышевский в течение нескольких месяцев преподавал теорию словесности во 2-м Петербургском кадетском корпусе. Определению его туда помог И.И. Введенский, пользовавшийся большим весом в среде педагогов военноучебных заведений. (С 1852 года Введенский был уже главным наставником-наблюдателем за преподаванием русского языка и словесности в военноучебных заведениях.)

По возвращении из Саратова Чернышевский снова поступил во 2-й кадетский корпус, но прослужил там недолго – всего несколько месяцев. Причиной его ухода из корпуса послужил следующий инцидент. В одном из классов во время перемены воспитанники подняли шум. Не успел дежурный офицер водворить там порядок, как зашумели в другом классе. Между тем перемена уже кончилась и учителя направились по классам. Шум еще не затих, когда Чернышевский, войдя в класс, увидел, что вслед за ним направляется дежурный офицер для водворения порядка. Чернышевский обернулся и, остановив офицера, сказал: «А теперь вам войти сюда нельзя!» Оскорбленный офицер после окончания занятий подал начальству жалобу, требуя, чтобы Чернышевский извинился перед ним. Однако Чернышевский категорически отказался просить извинения и подал в отставку.

Через Введенского устроил Николай Гаврилович преподавателем во 2-й корпус своего друга – Лободовского, хотел он посодействовать на этот счет и Михайлову. Уже в это время стали у него завязываться знакомства и связи в военной среде. Они не прерывались и после ухода из корпуса.

По воспоминаниям тех, кто бывал на вечерах у Чернышевского во второй половине пятидесятых годов, известно, что там среди гостей нередко можно было встретить военных: бывали офицеры, преподаватели и слушатели Академии Генерального штаба. По мере того как росло влияние Чернышевского-публициста, усиливалось и тяготение к нему передовых представителей русского офицерства.

Несомненно, что через Чернышевского установилась потом связь с ними и у Добролюбова. Биограф последнего, М. Лемке, говоря о военных кружках, с которыми сходился в начале 1859

года Добролюбов, называет, между прочим, имена Н. Обручева, С. Сераковского, Н. Новицкого, В. Аничкова. Все перечисленные офицеры еще ранее того соприкасались с Чернышевским, а Сигизмунд Сераковский, один из будущих руководителей польских повстанцев, принадлежал к числу его ближайших друзей.

Среди знакомых Чернышевскому военных оказался и обер-квартирмейстер гвардейского корпуса генерал Карцев, который был, кроме того, военным писателем и профессором тактики в Военной академии.

В 1858 году Карцев обратился к Чернышевскому с предложением взять на себя редактирование специального журнала «Военный сборник».

Идея издания такого журнала родилась в 1856 году у профессора Академии Генерального штаба Д.А. Милютина, ставшего впоследствии военным министром. Среди вопросов о будущих преобразованиях, диктуемых царскому правительству обстановкой, сложившейся после неудачного исхода Крымской кампании, видное место должны были занять и вопросы о преобразованиях в армии. В докладной записке о необходимости создания нового военного журнала, поданной на имя товарища военного министра, Милютин писал: «Никогда не чувствовалось в такой мере, как в настоящее время, сколь необходимо для благоустроенной армии иметь офицеров образованных не в одних лишь специальных ведомствах, но и во всех вообще родах оружия». Издание военного журнала, предназначенного для широких слоев офицерства, должно было, по мысли Милютина, поднять уровень их военной квалификации и способствовать распространению среди них образованности, без которой они не могли совершенствовать свои специальные знания, полученные в годы учения. «Мало-помалу, – писал Милютин, – офицер приучается смотреть на науки с пренебрежением, считая их годными только для экзамена и неудобоприменимыми в настоящей службе; он тупеет и делается действительно неспособным применять к делу какое-либо полезное знание…»

Мысль Милютина не получила тогда осуществления; вскоре после того, как он выдвинул свой проект, его назначили в Кавказскую армию, и он уехал из Петербурга. Но вопрос о журнале, на основе милютинского проекта, снова был поднят командованием Отдельного гвардейского корпуса в конце 1857 года. Записка об издании «Военного сборника», поданная военному министру начальником штаба корпуса генералом Барановым, возымела действие. Для окончательной разработки проекта издания был создан особый комитет. Мнение комитета об

издании «Военного сборника» получило в самом начале 1858 года «высочайшее утверждение». Решено было издавать при штабе отдельного гвардейского корпуса большой журнал, программу которого составляли бы четыре основных раздела: 1) официальный (высочайшие приказы и распоряжения по военному ведомству); 2) военных наук (тактика, военная история, военная статистика, военная администрация, фортификация и артиллерия); 3) литературный (рассказы из военного быта, мемуары, путешествия, биографии) и 4) «смесь», включавшая в себя и библиографию.

Желание инициаторов издания привлечь к участию в редактировании нового журнала опытного и популярного среди читателей литератора натолкнуло их на мысль о приглашении Чернышевского. С полной уверенностью можно сказать, что они имели тогда самое смутное представление об образе мыслей последнего, – в противном случае они никогда не решились бы на этот шаг.

7 января 1858 года Чернышевский писал отцу:

«Я должен сообщить вам… об одном деле, которое мне предложили на днях и которое, повидимому, устраивается. Но так как оно еще не установилось окончательно, то я и говорю о нем только как о надежде, довольно вероятной, но еще только надежде.

Граф Баранов вздумал издавать для распространения образованности между офицерами русской армии «Военный сборник». Заняться устройством этого дела он поручил генерал-квартирмейстеру Гвардейского генерального штаба Карцеву. С Карцевым я был несколько знаком, и он предложил мне быть редактором этого издания. Я согласился. Граф Баранов велел приготовить доклад государю. Вчера я слышал, что доклад этот утвержден…

Если это назначение состоится, я буду заниматься сообщением статьям, которые большею частью будут написаны дурным языком, такой формы, чтобы они могли явиться в печати Приличным образом; кроме того, мне придется рассматривать окончательно, заслуживает ли печати статья по своей дельности и занимательности, и справедливы ли мысли, в ней излагаемые. Для оценки статей чисто военного содержания, относительно их достоинств по военной части, будут у меня два помощника, – двое профессоров Военной академии».

Не далее как через день после написания этого письма Чернышевский получил от графа Баранова официальное извещение о назначении общим редактором «Военного сборника», с тем чтобы по наукам военным редакторами были подполковник

В.М. Аничков и капитан Н.Н. Обручев. Кроме того, граф Баранов просил Чернышевского принять на себя заведование всей хозяйственной частью журнала.

Соглашаясь на общее (то-есть главное) редактирование «Военного сборника», Чернышевский отлично понимал, что он лишь исподволь и с большой осторожностью сможет придавать журналу направление, желательное людям его образа мыслей. Сам он, разумеется, не предполагал выступать на страницах «Военного сборника». Следовательно, речь могла итти только об умелом отборе поступающих в редакцию материалов. Желая пробудить в самой гуще офицерства стремление к авторству, редакция журнала разослала во все части и соединения армии извещение о предстоящем выходе сборника и, кроме того, напечатала в газете «Русский инвалид» (12 февраля 1858 года, то-есть за два с половиной месяца до выхода первого номера «Военного сборника») извещение, в котором приглашала офицеров принять посильное участие в новом издании.

Вероятно, самим Чернышевским и составлено это объявление. В нем ясно различимы обороты речи, характерные для манеры письма Чернышевского. Заключительная часть анонса гласила: «Многие из опытнейших и достойнейших людей, в совершенстве знающих свою часть, затрудняются передавать на общую пользу, посредством печати, плоды своих наблюдений только потому, что их останавливают требования так называемой литературной формы; но знание дела и здравый взгляд на него – достоинства более важные, нежели изящество языка, и если статья написана человеком дельным, ясно понимающим свой предмет и излагающим мысли, основательно обдуманные, она всегда будет оценена по ее внутреннему достоинству. Такие статьи «Сборник» будет считать лучшим своим украшением…»

Весть о новом журнале быстро распространилась в военных кругах и была с горячим сочувствием встречена передовым офицерством. В первый же год существования «Военного сборника» тираж его достиг шести тысяч экземпляров, хотя сам Чернышевский, приступая к работе в «Военном сборнике», не рассчитывал даже и на две тысячи подписчиков.

В третьей книге «Военного сборника» появилось извещение о там, что число подписчиков превзошло ожидания редакции и потому первая книга журнала перепечатывается вторым изданием, а затем подписка на текущий год вообще была прекращена «по истощении как первого, так и второго издания». Об исключительном успехе «Военного сборника» свидетельствовало и то, что вскоре же вокруг него образовался авторский актив из среды офицерства, насчитывавший несколько

десятков человек.

Чернышевский считался на службе по «Военному сборнику», но должность его была внештатной «для того, чтобы сохранять независимость от генералов», с которыми он имел «сношения по этому изданию».

Помощники Чернышевского по редакции сборника подполковник Аничков и капитан Обручев, близкие его знакомые, находившиеся под его воздействием, способствовали по мере возможности осуществлению в сборнике линии, намеченной Чернышевским и заключавшейся в обличении допотопных порядков в армии и в стране.

Направляющая рука (Чернышевского видна в отборе материала, в умело и тонко составленных редакционных примечаниях, в характере тематики сборника и т. д.

Повидимому, под влиянием Чернышевского были написаны весьма содержательные статьи Н.Н. Обручева («Изнанка Крымской войны», «О вооруженной силе и ее устройстве»).

Некоторые тезисы этих статей перекликаются с соответствующими высказываниями Чернышевского в его исторических работах. Так, например, «в духе Чернышевского» рассуждает Обручев, указывая: «Когда государства сталкиваются, борьба между ними в сущности решается не столько войском, сколько относительной силой самих наций», «…Главная сила государства лежит в народе; что возможно с народом, того далеко нельзя достигнуть с одним войском; и отныне те правительства будут сильны, которые тесно связаны с народом, умеют развивать внутренние его средства и на них создают величие страны».

Материалы, печатавшиеся в «Военном сборнике» в период редактирования его Чернышевским, показывали темные стороны внутренних порядков царской армии. Ряд авторов «Военного сборника» поставил на обсуждение важнейшие вопросы: об отмене телесных наказаний в армии, о тягости рекрутчины, о необходимости распространения грамотности и знаний среди низших чинов, о повышении образовательного уровня офицерства и т. п.

Редакция журнала не упускала случая напоминать читателям о замечательных традициях выдающихся русских полководцев – Петра I, Суворова, Кутузова и других.

«Военный сборник» выступал с обличениями высшей военной администрации в безответственном отношении к делу, особенно наглядно обнаружившемся во время Крымской войны. В ряде статей проводилась мысль о необходимости воспитания в рядовых солдатах чувства человеческого достоинства, о необходимости искоренения бесчеловечного обращения офицеров

с солдатами. Редакция решительно отвергала систему палочной дисциплины и бессмысленной муштры, выступала против «солдатокрадства» (то-есть обворовывания солдат вышестоящими чинами).

Само собой разумеется, что такое направление, приданное сборнику Чернышевским и его помощниками, не могло не вызвать вскоре же враждебных откликов со стороны реакционных военных кругов. Титулованные военные – генерал-адъютанты граф Сумароков и граф Ржевуский выступили в печати против «Военного сборника», причем один из них прямо обвинял редакцию в распространении «вредных заблуждений».

Военный цензор полковник Штюрмер составил особый доклад (точнее: донос) о «вредном направлении», принятом редакцией «Военного сборника».

По предложению военного министра Сухозанета Чернышевский должен был написать в ответ на донос Штюрмера объяснительную записку для доклада царю. Записка Чернышевского, в которой он отстаивал правильность программы, проводившейся редакцией сборника, была смелой отповедью Штюрмеру, который, по словам Чернышевского, «понимает честь, не так, как понимает ее огромное большинство офицеров русской армии». «Направление «Военного сборника», – указывал Чернышевский, – придано этому изданию не редакцией, не начальством гвардейского корпуса, а самими офицерами русской армии».

Хотя ответные замечания Чернышевского, составленные со свойственной ему безукоризненной логичностью, разрушали один за другим доводы военного цензора, влиятельные противники обличительного направления «Военного сборника» сумели настоять на своем. В конце 1858 года Чернышевский вынужден был подать в отставку. С уходом его сборник принял характер чисто официального издания.

Касаясь истории «Военного сборника», Д.А. Милютин писал позднее в своих воспоминаниях: «Выбор Чернышевского в состав редакции специально военного журнала был крайне неудачен и, как оказалось впоследствии, сильно повредил изданию. С первого же шага редакция встретила большие затруднения со стороны цензуры, так что первый номер был выпущен только к маю месяцу. Карцев сетовал на придирки военного цензора полковника Штюрмера и на враждебное отношение к изданию самого министра Сухозанета; в войсках же журнал встречен весьма сочувственно, и число подписчиков, достигавшее с самого начала цифры 4 500, все еще возрастало. Редакция, задавшись, повидимому, благою целью – ратовать против укоренившихся в

войсках и в военных управлениях стародавних злоупотреблений и беззаконий, к сожалению, увлеклась слишком неосторожно на этом скользком пути и впала в резкий обличительный то». Само собою разумеется, что такое направление «Военного сборника» должно было вызвать настоящий гвалт в среде начальствующих лиц и старых служак, которые с ужасом вопили о подрыве дисциплины, даже о революционной пропаганде в войсках. Дошло до того, что после выхода 7-й книжки издание было приостановлено; редакторы получили выговор и сменены; сам Карцев от огорчения заболел. Несколько спустя издание было возобновлено, но уже под непосредственным руководством военного министра, который назначил новым редактором генерал-майора Петра Кононовича Менькова».

Не менее красноречивы и воспоминания самого Менькова, который пишет: «Военный сборник» в продолжение своего восьмимесячного существования издавался… под редакциею, между прочим, и г-на Чернышевского. Последний, слишком известный в литературном мире шестидесятых годов, орудовал всем изданием и дал журналу столь дикое направление, что самые отчаянные либералы пришли в ужас!..»

Свое пребывание в «Военном сборнике» в качестве главного редактора Чернышевский использовал в целях распространения революционных идей среди передового офицерства и для привлечения лучшей части этого офицерства на сторону революции.

Подобно Герцену и Огареву он придавал большое значение участию офицеров и солдат в революционном движении. Ведь недаром Чернышевский впоследствии указывал в своей прокламации к «Барским крестьянам», что немало есть офицеров, готовых вступиться за народ и помочь ему «волю добыть».

XXII. «Ободряющий голос…»

Далеко позади было то время, когда Чернышевские жили в Петербурге уединенно и замкнуто. Теперь на «четвергах» у Николая Гавриловича можно было встретить людей самых различных профессий и положений: тут бывали и литераторы, и профессора, и военные, и студенты – все передовые деятели того времени тянулись к этому центру умственной жизни страны. В России тогда не было другого человека, который с такою же ясностью и прозорливостью мог бы раскрыть политический смысл каждого явления и события, показать его причины, предугадать последствия, направить сознание лучших людей на единственно верный путь – на путь революционной борьбы с монархией и крепостниками.

Известный беллетрист, автор «Очерков бурсы» и повести «Мещанское счастье» Н.Г. Помяловский называл себя «воспитанником» Чернышевского и говорил, что именно «Современник» помог ему выработать свое мировоззрение.

Так было не только с писателями, не только с художниками и композиторами, но и с рядовыми читателями журнала. Один из многочисленных корреспондентов Чернышевского, незнакомый ему лично, писал в 1862 году: «Ведь всякий из молодых людей испытал сам на себе, сколько он обязан «Современнику».

Даже люди, не разделявшие политических убеждений революционного демократа, такие, например, как историк Н.И. Костомаров, признавали, что «никто в России не имел такого огромного влияния в области революционных идей на молодежь, как Чернышевский, и, несмотря на все изменения, каким подвергалось революционное направление в умах русской молодежи, Чернышевский для всех революционеров наших остался каким-то патриархом».

Идеи Чернышевского проникали через «Современник» в отдаленные уголки России. Особенно «Очерки гоголевского периода русской литературы» сделали его имя популярным среди читателей.

Встретившись однажды с Чернышевским у его друга Сераковского, один из участников Крымской войны, Новицкий, сказал ему:

– А мы на батареях читали «Современник» и читали *Очерки гоголевского периода,* особенно в последние периоды войны, когда мы стояли уже в степи…

Этот офицер стал бывать у Чернышевского. Чем ближе узнавал он Николая Гавриловича, тем больше поражали его

простота, чуткость и отзывчивость вождя революционных демократов. «В то время, – рассказывает он, – я интересовался Рикардо, Смитом, историей… немецкой философией и стал обращаться к Чернышевскому. У него была такая масса знаний, что я не встречал потом никого, напоминавшего его; он делился ими до того охотно, что иногда просто совестно было… Как бы занят он ни был, он при моем приходе откладывал все в сторону и начинал растолковывать мне, чего я не понимал».

Случалось, что с подобными просьбами офицер Новицкий обращался к Чернышевскому в то время, когда тот диктовал секретарю Воронову (своему бывшему ученику по Саратовской гимназии) статью для «Современника». Николай Гаврилович тотчас прерывал работу, начинал беседовать с Новицким и, обращаясь в сторону Воронова, шутливо говорил:

– А он пускай в это время побегает.

Благотворное влияние Чернышевского испытали на себе многие деятели литературы и искусства. Поэт-петрашевец Плещеев, находившийся долгие годы в ссылке в Оренбургском крае, прочитав «Очерки гоголевского периода», почувствовал бесконечное уважение и симпатию к их автору. Вернувшись в 1858 году из ссылки и познакомившись у Некрасова с Чернышевским, он на всю жизнь сохранил благодарную память о том, с каким искренним сочувствием отнесся Чернышевский к нему и какое обаятельное впечатление произвели на него беседы с Николаем Гавриловичем, его ум, простота и сердечность.

«Я тогда не имел еще почти никакого литературного имени, – писал позднее Плещеев, – и ободряющий голос такого крупного литературного деятеля имел для меня огромное значение. Никогда я не работал так много и с такою любовью, как в эту пору… Сколько хороших, незабвенных вечеров проводил я у него!..»

Летом 1858 года в Петербург приехал из Италии известный художник Александр Иванов, друг Гоголя, автор картины «Явление Христа народу», над которой он работал поистине с упорством средневекового отшельника более четверти века. Самый выбор сюжета картины был продиктован Иванову его религиозным образом мыслей. Но незадолго до возвращения на родину он пережил глубокий душевный кризис, в корне изменивший его взгляды на жизнь, на цели и назначение искусства.

Начало этому кризису было положено революционными бурями 1848 года; но понадобилось еще несколько лет, чтобы художник окончательно вырвался из плена религиозно-мистического настроения. Герцен, встречавшийся с Ивановым в

Риме незадолго до начала революции 1848 года, тщетно пытался тогда поколебать его убеждения. При первом знакомстве у ник зашел спор о книге Гоголя «Переписка с друзьями», которую Герцен, как и все передовые люди, считал преступной изменой народу.

В начале революции Иванов, по словам Герцена, «плотнее запирался в своей студии, сердился на шум истории, не понимал его». Вскоре Герцен уехал из Рима, и связь его с Ивановым совершенно прервалась. Но в 1857 году он неожиданно получил от него письмо. Каждое слово этого письма дышало «иным веянием, сильной борьбой; запертая дверь студии, – говорит Герцен, – не помешала, мысль века прошла сквозь замок, страдания побитых разбудили его…»

Иванов писал: «Следя за современными успехами, я не могу не заметить, что и живопись должна получить новое направление. Я полагаю, что нигде не могу разъяснить мыслей моих, как в разговорах с вами, а потому решаюсь приехать на неделю в Лондон…»

При встрече с Герценом Иванов с жаром признался ему: «Я мучусь о том, что не могу формулировать искусством, не могу воплотить мое новое воззрение, а до старого касаться я считаю преступным».

Выслушав его горячую исповедь, Герцен со слезами на глазах обнял Иванова и сказал: «Хвала русскому художнику, бесконечная хвала! Не знаю, сыщете ли вы формы вашим идеалам, но вы подаете не только великий пример художникам, но даете свидетельство о той непочатой, цельной натуре русской, которую мы знаем чутьем, о которой догадываемся сердцем и за которую, вопреки всему делающемуся у нас, мы так страстно любим Россию, так горячо надеемся на ее будущность!»

Вскоре по приезде в Петербург Александр Иванов пришел к Чернышевскому, ища и у него моральной поддержки, какую прежде, вдали от родины, нашел он у Герцена. Много часов провел художник в тот день в беседе с Николаем Гавриловичем.

Обаятельные личные качества Александра Иванова – младенческая чистота души, трогательная наивность, благородная искренность и величайшая скромность в соединении с жаждой истины и стремлением отдать все силы родному народу – поразили Чернышевского. Но еще больше он был удивлен и обрадован, увидев, что Иванов проявляет глубокий интерес к материалистической философии, к прогрессивным идеям, совершенно противоположным направлению «Переписки» Гоголя. Иванова не удовлетворял характер современного искусства.

– Новое время, – говорил он Чернышевскому, – требует

нового искусства. Идея нового искусства, сообразного с современными понятиями и потребностями, до сих пор еще не вполне прояснилась во мне. Я должен еще много и неусыпно трудиться над развитием своих понятий; не раньше, как через три-четыре года, я сам отчетливо пойму, что и как я должен делать; я должен разработать свои понятия и должен определить их; раньше той поры, когда определится во мне идея современного искусства, я не начну производить новые картины. До той поры я должен работать не над изображением своих идей на полотне, а над собственным образованием… Художник должен стоять в уровень с понятиями своего времени… Мы, художник», получаем слишком недостаточное общее образование, – это связывает нам руки. Сколько сил у меня достанет – буду стараться, чтобы молодое поколение было избавлено от недостатка, от которого мне пришлось избавляться так поздно. Вот теперь я, как видите, должен узнавать с большими затруднениями то, что другие узнают в университете. А как трудно отделываться в мои лета от вкоренившихся понятий! У нас в России находится много людей с прекрасными талантами к живописи. Но великих живописцев не выходит из них, потому что они не получают никакого образования. Владеть кистью – этого еще очень мало для того, чтобы быть живописцем. Живописцу надобно быть вполне образованным человеком. Если я получу какое-нибудь влияние на искусство в России, я прежде всего буду хлопотать об устройстве такой школы живописи, где молодые люди, готовящиеся быть художниками, получали бы основательное общее образование. Руководителем в живописи молодых художников с таким приготовлением я желал бы быть. В среде их могло бы развиться новое направление искусства. Я уже стар, а на развитие искусства, удовлетворяющего требованиям новой жизни, нужны десятки лет. Мне хотелось бы положить хотя начало этому делу. Буду трудиться, мало-помалу научусь яснее понимать условия нового искусства, а потом выйдут из молодого поколения люди, которые совершат начатое мною.

– Но скажите хотя в общих чертах, в каком виде представляется вам новое направление искусства, насколько оно стало уже понятно для вас? – спросил его Чернышевский.

– С технической стороны оно будет верно идеям красоты, которым служили Рафаэль и его современники… Соединить рафаэлевскую технику с идеями новой цивилизации – вот задача искусства в настоящее время. Прибавлю вам, что искусство тогда возвратит себе значение в общественной жизни, которого не имеет теперь, потому что не удовлетворяет потребностям людей. Я, знаете ли, боюсь, как бы не подвергнуться гонению, – ведь

искусство, развитию которого я буду служить, будет вредно для предрассудков и преданий, – это заметят, скажут, что оно стремится преобразовывать жизнь, – и знаете, ведь эти враги искусства будут говорить правду: оно действительно так.

– Ну, этого не опасайтесь, – заметил Чернышевский, – смысла долго не поймет никто из тех, кому неприятен был бы смысл, о котором вы говорите. Вас будут преследовать только завистники, по расчетам собственного кармана, чтобы вы не отняли у них выгодных работ и почетных мест. Да и те скоро успокоятся, убедившись, что вам неизвестно искусство бить по карманам и интриговать.

– Да, – сказал Иванов. – Доходов у них я не отобью, заказов принимать я не хочу. Вот, например, мне предлагали… но я отказался.

И он рассказал о двух громадных и чрезвычайно выгодных заказах.

– Как отказались? Зачем же? – спросил Чернышевский в совершенном изумлении и хотел убеждать Иванова изменить его решение.

– Нет, не говорите мне этого, – прервал его Иванов на первых же словах. – Каково бы ни было достоинство моей кисти, я все-таки не могу согласиться, чтобы она служила такому делу, истины которого я не признаю. Притом же я не хочу быть декоратором, для этих заказов нужна декораторская работа. И ведь я уже говорил вам, что мне теперь надобно работать над самим собою, а не над полотном.

Большие планы ставил перед собой Иванов, но силы художника были надломлены десятилетиями лишений и нужды. Ему так и не довелось претворить в жизнь свои глубокие замыслы. Не прошло и трех месяцев после этой встречи Александра Иванова с Чернышевским, как художника не стало.

И Герцен и Чернышевский – духовные наставники этого замечательного живописца и «одного из лучших людей, какие только украшают собою землю» – откликнулись на его смерть статьями, в которых они отдали должное самоотверженным творческим исканиям Александра Иванова, сумевшего преодолеть прежние заблуждения и смело вступить на новый путь.

Творческая жизнь великих русских художников-реалистов протекала под знаком непосредственного воздействия революционно-материалистической теории искусства Чернышевского, идеи которого глубоко проникли в их среду.

В.В. Стасов указывал, имея в виду Крамского, Репина и Перова, что под влиянием «Эстетических отношений искусства к действительности» «здоровое чувство, здоровая потребность

правды и неприкрашенности все более и более укреплялось в среде новых русских художников».

В одном из своих писем 1885 года И.Н. Крамской писал: «… русское искусство тенденциозно… я разумею следующее отношение художника к действительности. Художник как гражданин и человек, кроме того, что он художник, принадлежа известному времени, непременно что-нибудь любит и что-нибудь ненавидит. Предполагается, что он любит то. что достойно, и ненавидит то, что того заслуживает. Любовь и ненависть не суть логические выводы, а чувства. Ему остается только быть искренним, чтобы быть тенденциозным».

В эстетической теории Чернышевского Стасов видел один из самых верных задатков самостоятельности национального развития нашего искусства

Оспаривая утверждение французского художника Курбе, заявившего на художественном конгрессе в Антверпене в 1881 году о том, что именно он, Курбе, явился провозвестником реалистического европейского искусства, Стасов подчеркнул: «Ни Курбе, ни вся остальная Европа тогда не могла, конечно, и подозревать, что у нас, помимо всех Прудонов и Курбе, был свой критик и философ искусства, могучий, смелый, самостоятельный и оригинальный не меньше их всех, пошедший… еще дальше и последовательнее их. Это… автор, который еще в 1855 году выпустил в свет… полную силы мысли и энергической независимости книгу: «Эстетические отношения искусства к действительности»… проповедь ее не была потеряна в пустыне… то, что в ней было хорошего, важного, драгоценнейшего, бог знает какими таинственными, незримыми каналами просачивалось и проникало туда, где всего более было нужно, – к художникам».

Начиная с пятидесятых годов, русское изобразительное искусство на дальнейших этапах своего развития перекликается с могучей проповедью Чернышевского Общеизвестно, как велика была роль его заветов в годы организации передовыми художниками первоначально артели, а затем Товарищества передвижников. Как раз в десятилетний промежуток между появлением первого и второго изданий диссертации Чернышевского (1855–1865 гг.) протекало формирование артели.

Говоря об этом этапе в развитии русского изобразительного искусства, В. Стасов писал позднее: «Двадцатилетняя молодежь возмутилась теми «программами» на высшую золотую медаль (с поездкой за границу), которые крепко, мирно и счастливо навязывались ученикам академическим в продолжение ста лет, еще со времен Екатерины II. Движимые духом времени и

проснувшимся тогда в России чувством самосознания, они отказались от Академии, наград и заграницы, устроили свою собственную Артель, нечто вроде «фаланстера», а la Чернышевский, и стали жить и работать вместе».

И.Е. Репин свидетельствует, что объединенные под руководством Крамского члены артели горячо обсуждали трактат Чернышевского на творческих вечерах.

Мысли русских художников об искусстве перекликаются с основными положениями эстетики Чернышевского, который требовал от произведений искусства прежде всего идейности, содержательности.

Основное положение эстетики Чернышевского – «прекрасное есть жизнь» – находило последовательное воплощение в творческой практике лучших русских художников.

XXIII. Кругозор ученого и публициста

Одно из юношеских писем Чернышевского к родным ясно свидетельствует, как рано стал он понимать особенную важность для жизни общества таких наук, как история, политическая экономия и философия.

Узнав в 1849 году от родных, что в Казанском университете, где учился тогда его двоюродный брат А.Н. Пыпин, введено преподавание политической экономии, Чернышевский пишет им 22 ноября следующие знаменательные строки: «Что у них прибавили политическую экономию, это чудесно, потому что теперь она и история (то-есть и то и другое, как приложение философии, и вместе главные опоры, источники для философии) стоят теперь во главе всех наук. Б.ез политической экономии теперь нельзя шагу ступить в научном мире. И это не то, что мода, как говорят иные, нет, вопросы политико-экономические действительно теперь стоят на первом плане и в теории, и на практике, то-есть и в науке, и в жизни государственной».

Трудно сказать, какой из дисциплин в этой триаде отдал бы он предпочтение. В его представлении они были как бы неразрывно слиты, поскольку история и политическая экономия, как говорит он сам, суть «главные опоры и источники для философии».

История издавна была одною из самых любимых Чернышевским областей человеческого знания. Уже в его семинарских сочинениях оказывалось необыкновенное богатство исторических сведений. Не менее усердно продолжал он заниматься изучением исторических вопросов и в университетские годы.

«Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского языков, химии, – писал позднее в одной из статей Чернышевский, – можно не знать тысячи наук и все-таки быть образованным человеком; но не любить истории может только человек, совершенно неразвитый умственно».

Интерес к этим наукам никогда не был у Чернышевского самоцелью. Не просто накопление знаний интересовало его, а применение этих богатств для лучшего и всестороннего понимания современной действительности, для выработки последовательно революционной теории, без помощи которой он не представлял себе успешной борьбы за светлое будущее

родины.

Задачи передового историка, экономиста, философа, литератора или публициста в глазах Чернышевского были одинаковы в том смысле, что они должны были прежде всего служить интересам народа, делу развития общества, делу революции.

Эта направленность к определенной цели, последовательность и ясность позиций отразились на каждой странице его литературных, исторических, философских, политико-экономических и публицистических работ, как бы связуя их в нечто цельное и придавая им характер стройного единства.

При этом работы его в каждой из названных областей стояли на высшем уровне современной ему общественно-политической мысли, являлись новым словом в ней.

Чернышевский относился одинаково отрицательно как к «искусству для искусства», так и к «науке для науки», требуя и от художников и от ученых активного способствования развитию общества.

«…Каждое знание, – писал он в статье о сочинениях Грановского, – обращается во благо человеку, и рвение, с которым разрабатывается та или другая отрасль науки, зависит от того, в какой мере удовлетворяет она той или другой, нравственной или житейской, умственной или материальной, потребности человека. Каждое знание оказывает влияние на жизнь, и история, наука о жизни человечества, не должна остаться без влияния на его жизнь…

Главный тезис эстетического кодекса Чернышевского о необходимости вынесения писателем-мыслителем приговора изображаемым явлениям действительности совершенно созвучен тому, что говорил он и о задачах историка-мыслителя. «Первая задача истории, – указывает он, – воспроизвести жизнь, вторая, исполняемая не всеми историками, – объяснить ее; не заботясь о второй задаче, историк остается простым летописцем, и его произведение – только материал для историка или чтение для удовлетворения любопытства; думая о второй задаче, историк становится мыслителем, и его творение приобретает чрез это научное достоинство».

В статье «Г. Чичерин как публицист» (1859 г.) Чернышевский дал блестящую отповедь этому реакционному защитнику мнимой объективности в науке, показав, что историческое беспристрастие и «объективизм» на деле являются лишь маской, под которой идеологи антинародных партий проводят свои классово близкие им взгляды и теории. «Реакционеры, – говорит он, – называют

историка беспристрастным тогда, когда он доказывает, что старинный порядок вещей был хорош…»

В противовес тем, кто толковал о надклассовой исторической науке, о надклассовой философии или о «беспристрастной» публицистике, Чернышевский прямо заявлял, что «ни один сколько-нибудь сносный историк не писал иначе, как для того, чтобы проводить в своей истории свои политические и общественные убеждения».

Но тогда стирается грань между наукой и публицистикой, тогда наука становится служанкою злободневных нужд общества, – возражали ему сторонники «объективизма», сторонники «бесстрастного» подхода к историческому прошлому.

На это Чернышевский отвечал, что обязанность историка не в том, чтобы, садясь за свой рабочий стол, забывать свои убеждения, – нет, это делать глупо и гадко, да и не удастся никогда сделать этого. Но ученый в своем кабинете может возвышаться над мимолетными интересами дня, господствующими над мыслью публики, может заботиться о том, чтобы не отвлекаться от общих долговечных интересов своей партии ради ее мелочных обыденных надобностей.

Подлинная объективность и беспристрастие историка зависят от того, стоит ли он на передовых, прогрессивных позициях или является защитником рутины и застоя, сознательно искажающим факты и фальсифицирующим историю.

Эту точку зрения Чернышевский распространял, разумеется, и на политическую экономию и на философию. Он отстаивал ее и в самых ранних своих рецензиях и в позднейших работах. Так, в отзыве на книгу А. Львова «О земле, как элементе богатства» («Современник», 1854 г.) Чернышевский, искусно минуя цензурные преграды, неопровержимо доказывал, что именно классовые пристрастия авторов буржуазных политико-экономических теорий были одной из главных причин, замедливших естественное и успешное развитие этой науки.

Вот ход его доказательств. «Исследователь истины должен искать только истины, а не того, чтобы истина была такова, а не инакова; он не должен содрогаться от мысли о том, *что* получится в ответ. Математику все равно, положительное или отрицательное количество получится в результате; ему всякий вывод хорош и мил, лишь бы только был истинен. Положение того, кто исследует исторические и, тем более, политико-экономические вопросы, совершенно не таково. Он не может не желать *благоприятного* ответа. Желание не может не иметь влияния на вывод. Куда хочется придти, туда тянет идти.

Если мы не имеем возможности, то не имеем и права не

желать благого для человека. Пусть эта любовь замедляет путь к строгой истине; без нее мы и не пошли бы к истине: кто не любит человека, тот не будет и думать о человеке. Но есть другого рода привязанность, мелочная, жалкая в деле науки: это – привязанность к своим личным выгодам и к выгодам своих однокашников[39], хотя б они находились в противоположности с благом народа и государства. А этим пристрастием большая часть людей скованы в своих суждениях и исследованиях».

Именно классовое своекорыстие авторов господствовавших тогда политико-экономических теорий тормозило развитие этой науки, тянуло ее назад. Обличая западноевропейских буржуазных экономистов, «загрязняющих» науку, – всех этих Бастиа, Росси, Шевалье и других, – Чернышевский замечает, что они сильны лишь в одном искусстве, в искусстве «говорить только о том и только то, что полезно для них самих и для их однокашников». Это «искусство», по словам (Чернышевского, состояло в том, чтобы «для отвлечения науки от других вопросов переисследовать уже давно решенное, по мере возможности сглаживать в решении то, от чего еще могут поперхнуться их однокашники, и, по мере способностей, доказывать, что фабричному рабочему жить лучше, нежели фабриканту».

В статье «Антропологический принцип в философии» (1860 г.) Чернышевский также вскрывает классовую природу философских систем конца XVIII и начала XIX века, указывая, что «политические теории, да и всякие вообще философские учения создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий…»

Весь первый раздел этого замечательного труда Чернышевского посвящен доказательству того, что философия является дочерью «эпохи и нации, среди которой возникает», что философские теории всегда служат «отголосками исторической борьбы, имеют целью задержать или ускорить ход событий».

Так было в глубокой древности, так было в новое время, тому же закону подчинена и современная наука. На ряде примеров виднейших западноевропейских и русских философов и историков Чернышевский неоднократно иллюстрировал эту мысль, определяя, кто из них был абсолютистом, кто республиканцем, кто либералом, кто революционным демократом, кто защитником дворянства, кто поборником допетровской Руси. «Живой человек, – писал он, – не может не иметь сильных убеждений. От этих убеждений не отделается он, что бы ни стал делать: писать историю или статистику, фельетон

или повесть…»

Основные исторические работы Чернышевского посвящены истории Франции конца XVIII и начала XIX века. Это может показаться парадоксальным на первый поверхностный взгляд. Мы знаем великую силу патриотизма Чернышевского, знаем, как беззаветно, преданно и страстно любил он родной народ; мы знаем, наконец, его собственные высказывания о том, что «русская история, важнейшая для нас, как своя родная, с тем вместе есть самая привлекательная для неутомимых исследователей и потому, что обещает самое обильное поле для новых открытий, самостоятельных взглядов…»

Уже эти слова показывают, что он понимал, как невозделанно еще поле отечественной истории и сколько предстоит здесь потрудиться. Ведь до последнего времени, говорит он, «между людьми, занимавшимися русскою историею и изучением русской народности, было очень мало ученых в истинном смысле слова. Эти отрасли знания возделывались у нас дилетантами, которые не могли удовлетворить не только потребностям нынешней, но и современной им науки».

А ведь Чернышевскому была близка и понятна «высокая народная гордость, живущая в каждом из нас». Он любил поднимать целину науки и еще в молодые годы мечтал о том, что внесет в нее элемент славянский, «двинет человечество по дороге несколько новой».

Однако, сознательно подчиняя свои научные интересы делу борьбы за благо родного народа, Чернышевский брался за перо, чтобы писать не об отечественной истории, а о борьбе партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X, об ученой и административной деятельности французского экономиста XVIII века Тюрго, об июльской монархии и т. д.

Вынужденный чаще всего изъясняться эзоповским языком, тут он получал хоть и относительную, но все же несколько большую свободу. А это было уже много в тех цензурных условиях, которые заставляли великого ученого и мыслителя питать особое, как он выразился однажды, пристрастие к употреблению «парабол»: «Меня упрекают за любовь к употреблению парабол. Я не спорю, прямая речь, действительно, лучше всяких приточных сказаний, но против собственной натуры, и, что еще важнее, против натуры обстоятельств идти нельзя, и потому я останусь верен своему любимому способу объяснений…»

Анализируя исторические события в «чужеземных» странах, Чернышевский мог иногда изменять этому «любимому» способу объяснений. И он блестяще использовал подобную возможность в ряде статей, хотя и тут красный карандаш цензора пресекал

иногда его рассуждения или нещадно уродовал их.

Двумя статьями о Кавеньяке был начат в «Современнике» в 1858 году цикл замечательных исторических работ Чернышевского. Названные статьи были приурочены им как раз к десятилетию буржуазно-демократической революции 1848 года во Франции. «Западные» дела интересовали Чернышевского не сами по себе. В центре его внимания в то время стояли животрепещущие темы, касавшиеся русской действительности (именно с 1858 года в «Современнике» из номера в номер печатались его статьи по крестьянскому вопросу). Но на примере минувших революционных событий во Франции Чернышевский хотел наглядно показать передовым русским читателям, что ход исторического развития определяется непреложными законами классовой борьбы.

По тонкости и глубине классового анализа работа о Кавеньяке – одно из наиболее сильных произведений Чернышевского. В ней ясно показано подлинное лицо «умеренных республиканцев» и их вождя Кавеньяка, потопившего в крови восстание парижских рабочих. Чернышевский детально прослеживает главнейшие этапы революции 1848 года во Франции и клеймит нерешительность и боязливость мелкобуржуазных французских демократов.

Подводя итоги своего анализа, в конце статьи Чернышевский говорит о том, что полугодичное управление Кавеньяка и «умеренных республиканцев», расчистивших дорогу Наполеону III, «дает много уроков людям, думающим о ходе исторических событий… Нет ничего гибельнее для людей и в частной и государственной жизни, как действовать нерешительно, отталкивая от себя друзей и робея перед врагами»..

Это заключение Чернышевского было направлено против представителей русского либерализма конца пятидесятых годов, которые противостояли революционной демократии, стремившейся к свержению самодержавно-крепостнического строя России.

Последовавшие затем статьи «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Тюрго» (1858 г.) и «Июльская монархия» (1860 г.) носили тот же характер. Обращаясь к освещению западноевропейских исторических событий, Чернышевский имел в виду дать в руки русским читателям богатый материал для параллелей и аналогий. Всюду, где это было возможно, он проводил в этих статьях подобные аналогии и параллели, искусно вуалируя их и обходя таким образом цензурные преграды, препятствовавшие ему открыто писать о политических и социально-экономических явлениях тогдашней

России.

Этот прием позволил Чернышевскому в период резкого обострения классовой борьбы в России выступить на страницах «Современника» с критикой политических позиций либерализма и разоблачить либералов как предателей дела народа, как прямых пособников самодержавия.

Читая «Борьбу партий…», передовые русские интеллигенты того времени понимали, что рассказ о событиях, происходивших во Франции, помогает им мысленно дорисовать знакомые черты отечественных либералов, вступивших на путь компромисса с Александром II по вопросу об отмене крепостного права, помогает глубже понять подлинную роль либеральных фразеров, чьи истинные стремления совпадали со стремлениями крепостников и состояли в желании «подчинения народа немногочисленному сословию».

Читая «Тюрго», они видели, что хотя речь в этой статье идет о гнилости и продажности монархического правительства Людовика XVI, но в сущности рассуждения автора могут быть относимы и к правительству русского «венценосца» и к монархическому образу правления вообще.

И, наконец, читая «Июльскую монархию», они невольно приходили вместе с автором к выводу, что только участие широких народных масс может обеспечить успех революционной борьбы, которая неизбежно кончается крахом, если лишена поддержки народа.

«Либералы, совершившие июльский переворот, – писал Чернышевский в статье о Кавеньяке, – не могли бы ничего сделать, если б не помогли им парижские простолюдины. Те же простолюдины дали силу людям, низвергнувшим старинное французское устройство в конце прошлого века.[40] Они же, – продолжает он, – давали силу Наполеону, пока считали его своим защитником от возвращения старого порядка дел. Когда они убедились, что Наполеон действует в свою, а не в их пользу, они покинули его, и только это охлаждение массы к Наполеону дало возможность низвергнуть его в 1814 году».

Решающую роль народа в историческом процессе Чернышевский неизменно подчеркивал и во всех других своих статьях, касались ли они вопросов литературы или политической экономии, философия или истории.

Так было на Западе, так было и в России: «…почти все драматические эпизоды в истории русского народа были совершены энергиею земледельческого населения…»

Вместе с тем Чернышевский стремился подчеркнуть и то обстоятельство, что и на Западе и в России правители и

господствующие классы, добивавшиеся с помощью народа тех или иных побед в роковые исторические дни в борьбе с внешним ли врагом, или при внутренних переворотах, всякий раз обманывали потом народ и продолжали немилосердно эксплуатировать его, лишая элементарных прав на человеческое существование.

Вывод, к которому подводил читателей Чернышевский, был прост, он напрашивался сам собою. Пока дело освобождения народа не перейдет в руки самого народа, его будут вероломно обманывать монархи, помещики-крепостники, либеральные помещики-«прогрессисты» и либералы-буржуа.

Но в статьях по русской истории и в экономических работах, посвященных промышленности и сельскому хозяйству России, Чернышевскому невозможно было поставить эти точки над i. Легче было проводить подобные заключения в таких статьях, как «Кавеньяк» или «Июльская монархия». Цензура спохватилась только после того, как последняя статья была уже напечатана. В докладе, составленном в Главном управлении цензуры в июне 1860 года о направлении «Современника», была отмечена эта статья, особенно ее заключительная часть, где как раз говорилось, что «когда станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сен-симонисты, тогда, вероятно, будет лучше ему жить на свете, чем теперь». Полностью процитировав это заключение Чернышевского, составитель докладной записки добавляет: «Дело ясно, чего хочет автор».

Через два года Чернышевский попытался высказать подобные мысли о русском народе в своих целиком запрещенных цензурой «Письмах без адреса», скрыто обращенных к Александру II: «Вы говорите народу: ты должен итти вот как; мы говорим ему: ты должен итти вот так. Но в народе почти все дремлют, а те немногие, которые проснулись, отвечают: давно уже раздаются призывы к народу, чтобы он жил так или иначе, и много раз пробовал он слушать призывы, но пользы от них не было. Звали народ выручать Москву от поляков, – народ пошел, выручил, – и оставлен был в положении, хуже которого не было прежде и не могло быть при поляках. Потом ему сказали: выручай Малороссию; он выручил, но ни ему, ни самой Малороссии не стало от этого лучше. Ему сказали: завоюй себе связь с Европой, – он победил шведов и завоевал себе вместе с балтийскими гаванями только рекрутчину и подтверждение крепостного права. Потом, по новым призывам, он много раз побеждал турок, захватил Литву, разрушил Польшу и опять-таки не получил себе никакой пользы. Двинули его против Наполеона: он завоевал своему государству первенство в Европе, а сам был оставлен все в

прежнем положении. Такую же пользу он получал себе и от призывов, которые были после. Зачем же ему увлекаться теперь какими бы то ни было новыми призывами? Он не ждет себе от них другой пользы, как и от прежних… Когда люди дойдут до мысли: «ни от кого другого не могу я ждать пользы для своих дел», они непременно и скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться за ведение своих дел. Все люди и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки…»

Тон статей Чернышевского делался все более решительным и твердым, все более гневным и откровенным, все более требовательным и настойчивым.

В «Письмах без адреса» Чернышевский прямо заявлял, что единственным правомочным судьей в исторических делах должен быть народ. Эта блестящая статья впоследствии особо изучалась Карлом Марксом, получившим ее от Даниельсона в рукописном виде. Маркс почти полностью перевел ее на немецкий язык.

Развивая идею о великой творческой силе народа, Чернышевский писал в своей работе «Борьба партий во Франции прет Людовике XVIII и Карле X»: «Сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массою народа».

Великий революционный демократ не ограничивался признанием борьбы классов движущей силой истории, он стремился вместе с тем всесторонне выяснить ее экономические корни, а выяснив их, он переводил на язык политической экономии и писал в примечаниях к Миллю: «Интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками. Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народам».

Чернышевского удивляло, что в большинстве исторических работ так скупо говорится «о материальных условиях быта, играющих едва ли не первую роль в жизни, составляющих коренную причину почти всех явлений».

Однако в первые годы сотрудничества в «Современнике» и в «Отечественных записках» Чернышевскому очень редко приходилось выступать со статьями на чисто экономические и философские темы, что объяснялось, как мы видели, цензурным гнетом, достигшим крайних пределов к концу царствования Николая I.

Кроме отмеченной уже рецензии на книгу А. Львова и еще нескольких небольших статей, Чернышевский до 1857 года не написал по вопросам политической экономии ни одной крупной работы.

В 1857 году, разбирая речь профессора И. Бабста «О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала», он с удовлетворением отметил заметно возросший интерес со стороны читателей к политической экономии и подчеркнул, что истины, извлекаемые учеными из наблюдения над экономическими факторами, имеют непосредственное живое отношение к современной жизни общества.

Уже в этой сравнительно ранней статье Чернышевского проводится мысль об эксплуататорском характере капиталистического строя и его непримиримой враждебности интересам широких трудящихся масс.

Он обличает узость понятий буржуазных экономистов, вдавшихся «в гибельную односторонность по вопросу о распределении плодов труда между трудящимся классом и капиталистами».

Используя «речь» буржуазно-либерального профессора Бабста, в которой была обрисована программа развития России по пути капитализма, Чернышевский сумел на ряде косвенных примеров показать в своей статье, что подлинный подъем благосостояния страны немыслим без революционного освобождения русского народа от ярма крепостничества.

С этого времени вплоть до середины 1862 года Чернышевский планомерно развертывает в обширном цикле своих работ последовательную критику философских, экономических и политических теорий, с помощью которых идеологи правящих классов стремились обосновать свое господство над трудящимися.

Статьи Чернышевского по вопросам политической экономии, печатавшиеся в «Современнике», разоблачали феодально-крепостнический уклад тогдашней России я грабительский характер подготовлявшейся правительством крестьянской реформы.

Программа великого демократа, предусматривавшая свержение царизма и замену его народным правительством, которое осуществило бы национализацию земли и коренную перестройку всех общественных отношений в стране, была на том историческом этапе самой смелой революционной программой.

Мысли Чернышевского о буржуазном общественном устройстве перекликались с высказываниями его предшественников и учителей – Герцена и Белинского, которые,

подобно ему, были непримиримыми врагами капитализма.

Главные политико-экономические работы Чернышевского – «Капитал и труд» и примечания к Миллю – по общему духу своему родственны соответствующим высказываниям в статьях Герцена и в письмах Белинского (последнего периода его жизни).

Капиталистическая эксплуатация трудящихся, в глазах Герцена, была «одной из форм антропофагии» (людоедства), а буржуазная политическая экономия – «наукой» о средствах обогащения класса капиталистов, которая создала для объяснения и оправдания ужасающего положения трудящихся архиреакционный «закон» Мальтуса. Опираясь на эту человеконенавистническую теорию английского экономиста, утверждавшую, что тяжелое положение трудящихся масс будто бы не зависит от капиталистического строя и что устранение социальных бедствий возможно только путем искусственного сокращения народонаселения, буржуазная политическая экономия, по образному выражению Герцена, говорила неимущему: «Не женись, не имей детей, поезжай в Америку, работай 12 часов или умирай с голоду».

Не менее гневны были обличительные высказывания Белинского, писавшего в одном из последних своих писем: «Горе государству, которое в руках капиталистов, это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значат только возвышение или упадок фондов – далее этого они ничего не видят».

Учение Чернышевского продолжило, развило эти благородные традиции великих русских революционных демократов, страстно желавших блага родному народу и всему человечеству.

Так же как Герцен и Белинский, автор «Капитала и труда» не обманывался относительно истинного характера «экономической гармонии», провозглашавшейся устами тех, кто «усерднее всего проповедовал в пользу банкиров и негоциантов». Он беспощадно высмеял лжеученых, которые стремились доказать, что «бедным не на что жаловаться, что каждый работник получает надлежащее вознаграждение, что если и есть на свете люди, получающие меньше, чем им следовало бы, то эти люди не какие-нибудь ткачи, швеи, земледельческие батраки, – нет, а капиталисты, рантьеры, фабриканты, банкиры и другие обиженные судьбою несчастливцы, возбуждающие зависть в неразумных чернорабочих».

Развенчивая апологетические писания вульгарных экономистов о «гармоническом» развитии буржуазной экономики, Чернышевский давал яркую картину глубоких противоречий,

разъедающих ее, приводящих к периодическим кризисам перепроизводства, к обнищанию трудящихся: «…дух спекуляции влечет общество к отчаянному риску, кончающемуся коммерческими кризисами… Рынки завалены товарами, не находящими сбыта, фабрики запираются, и рабочие остаются без хлеба. Все открытия науки обращаются в средства порабощения, и оно усиливается самим прогрессом: пролетарий делается просто рукояткою машины и беспрестанно бывает принужден жить милостынею…»

В противовес буржуазной политической экономии, банкротство которой, по словам Маркса, мастерски раскрыто в работах Чернышевского, великий русский революционный демократ разрабатывает основы «политической экономии трудящихся».

В свете этой поставленной перед собою задачи он критически пересмотрел основные категории политической экономии капитализма.

Все научно ценное в трудах классиков буржуазной политической экономии было творчески использовано великим русским ученым, который умел с диалектической гибкостью подходить к наследию прошлого, проницательно различая сильные и слабые стороны прежних учений. «Как в истории общества, – замечает он, – каждый последующий фазис бывает развитием того, что составляло сущность предыдущего фазиса, и только отбрасывает факты, мешавшие более полному проявлению основных стремлений, принадлежащих природе человека, так в в развитии теории позднейшая школа обыкновенно берет существенный вывод, к которому пришла прежняя школа, и развивает его, отбрасывая противоречившие ему понятия, несообразность которых не замечалась прежнею теориею».

Чернышевский с поразительной прозорливостью показал в своих трудах по политической экономии классовую ограниченность школы Адама Смита и Рикардо.

Анализируя формулы, выработанные этими учеными, Чернышевский с присущей ему силой логики вскрывал таившееся в этих формулах внутреннее противоречие общему духу учения и вкладывал в эти очищенные от противоречий формулы новое содержание в социалистическом духе.

Вот, например, как решал он задачу распределения ценностей, которую не могли разрешить классово-ограниченные представители буржуазной политической экономии. Чернышевский писал в «Капитале и труде»: «…теория трудящихся (так будем называть мы теорию, соответствующую потребностям нового времени, в противоположность отсталой, но

господствующей теории, которую будем называть теорией капиталистов) главное свое внимание обращает на задачу о распределении ценностей. Принцип наивыгоднейшего распределения дан словами Адама Смита, что всякая ценность есть исключительное произведение труда, и правилом здравого смысла, что произведение должно принадлежать тому, кто произвел его. Задача состоит только в том, чтобы открыть способы экономического устройства, при которых исполнилось бы это требование здравого смысла».

Многогранное творческое наследие Чернышевского было высшим достижением русской революционно-демократической мысли домарксового периода.

В отличие от западноевропейских социалистов-утопистов, зараженных неверием в народные массы, Чернышевский видел в народной революции единственно возможный путь к освобождению труда от власти эксплуататоров.

Карл Маркс чрезвычайно высоко ценил труды великого русского ученого. Революционер-народник Г. Лопатин свидетельствует:

«Во время пребывания моего в Лондоне я сошелся там с Карлом Марксом, одним из замечательнейших писателей по части политической экономии и одним из наиболее разносторонне образованных людей в целой Европе. Лет пять тому назад этот человек вздумал выучиться русскому языку; он случайно натолкнулся на примечания Чернышевского к известному трактату Милля и на некоторые другие статьи того же автора. Прочитав эти статьи, Маркс почувствовал глубокое уважение к Чернышевскому. Он не раз говорил мне, что из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя, между тем как остальные суть только простые компиляторы, что его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли и что они представляют единственные из современных произведений по этой науке, действительно заслуживающие прочтения и изучения».

«В течение около полувека, – говорит В.И. Ленин, – примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма,

невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».[41]

Среди предшественников научного социализма в России Чернышевскому по праву принадлежит одно из первых мест. Продолжая материалистические традиции русской философской мысли, идущие от Ломоносова и Радищева, а затем Герцена и Белинского, Чернышевский развил и обогатил их новыми революционными выводами. Его философия – это острое орудие политической борьбы за преобразование жизни. Размах и последовательность материалистических воззрений Чернышевского, его стремление тесно связать философию с революционной практикой возвышали его над современниками, западноевропейскими мыслителями.

Ленин, чрезвычайно высоко ценивший философское наследие Чернышевского, твердость и последовательность его мировоззрения, отмечал, что «Чернышевский – единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников».[42]

Революционер Чернышевский с жаром выступил против идеалистической философии. Критикуя мировоззрение Гегеля, Чернышевский, однако, отмечал то положительное, что заключалось в его диалектике. В отличие от Фейербаха он не отбросил гегелевскую диалектику целиком, а все рациональное в ней использовал.

Но создать материалистическую диалектику смог только марксизм-ленинизм, коренным образом переработавший диалектику Гегеля, давший ей совершенно иное обоснование. Представления Чернышевского о законах движения природы и – в особенности – общества еще не были свободны от идеализма, от идеалистических схем: например, знаменитая статья «Критика философских предубеждений против общинного владения», где «смена форм» не получила еще конкретно-исторического обоснования, где диалектика исторического процесса скорее гениально отгадана, чем раскрыта в своем реальном содержании. Иначе и не могло быть: Чернышевский не поднялся до историко-материалистического учения о социально-экономических формациях, хотя сделал большой шаг по пути к материалистической диалектике.

Рассматривая мир и, в частности, общественную жизнь в постоянном движении и развитии, Чернышевский видел неизбежность гибели феодально-крепостнического строя и

вооружал революционеров твердой верой в грядущую победу. «Пусть будет, что будет, – писал Чернышевский, – а будет в конце концов все-таки на нашей улице праздник!»

Руководствуясь диалектикой, он утверждал, что общественное развитие – это «смена форм», которая «состоит в переходе от низшего к высшему. Старые общественные отношения, коль скоро они переставали соответствовать новым условиям жизни людей, заменялись в истории новыми общественными отношениями». Воспитывая революционеров, Чернышевский говорил им, что необходимо опираться в своей борьбе на новые силы: «Что отжило свой век, к тому не обратятся живые силы, то будет предметом любви и насыщения для людей тупых или своекорыстных; около трупа собираются только коршуны, и кишат в нем только черви».

В своих философских исканиях Чернышевский высказывал глубочайшие мысли о противоречивости явлений, о наличии в них взаимопротивоположных моментов и тенденций. «… Мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд: таким образом, мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений».

Исходя из диалектической взаимосвязи и взаимозависимости предметов и явлений окружающей жизни, Чернышевский подчеркивал, что отвлеченной истины нет, истина конкретна.

Хотя он с присущей ему скромностью называл себя учеником Фейербаха, на деле же его материалистические взгляды были более последовательны, чем взгляды Фейербаха. Мышление Чернышевского диалектично. Наиболее характерной чертой фейербаховского материализма была созерцательность, непонимание активной, преобразующей роли человека. А по убеждению Чернышевского, философия, как и всякая другая отрасль науки, должна не только объяснять мир, но и наметить пути его революционного изменения. Его мировоззрение не знало разрыва между теорией и революционной практикой. Выступая против агностицизма и скептицизма, он говорил: «Дело есть истина мысли… что подлежит спору в теории, начистоту решается практикою действительной жизни». «Практика – великая разоблачительница обманов и самообольщений не только в практических делах, но также в делах чувства и мысли».

Революционный демократизм, применение философии к революционной деятельности помогли Чернышевскому

преодолеть ограниченность взглядов своих западноевропейских предшественников и современников.

С наибольшей полнотой основы философских воззрений Чернышевского изложены в его знаменитой работе «Антропологический принцип в философии», имевшей большое значение для распространения материализма в России.

В этой статье, явившейся как бы теоретическим манифестом русской революционной демократии, Чернышевский, исходя из данных естествознания и философии, боролся с дуализмом, провозглашая единство человеческой природы: «…медицина, физиология, химия… доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружилась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет».

Вооруженный диалектическим методом мышления, Чернышевский в «Антропологическом принципе в философии» показывает всеобщую связь и взаимодействие явлений бытия, непрерывный процесс изменений, происходящих в природе и в жизни.

Развивая мысль о материальном единстве мира, Чернышевский не отождествлял, однако, как это делали вульгарные материалисты, психические явления с физическими. Он различает два рода явлений: явления так называемого материального порядка и явления нравственного порядка, подчеркивая, что «соединение совершенно разнородных качеств в одном предмете есть общий закон вещей».

Во враждебном лагере философов-идеалистов статья эта была встречена ожесточенными нападками в различных журналах, принимавшими порою характер прямых доносов на ее революционную направленность.

Ответом Чернышевского на эти нападки были его знаменитые «Полемические красоты», в которых он едко высмеял тщетные попытки реакционеров дискредитировать социально-политические и философские взгляды революционной демократии.

В Главном управлении цензуры было отмечено, что «Антропологический принцип в философии» относится к разряду «статей, противодействующих коренным основам нашего устройства гражданского и общественного». Цензору, пропустившему в «Современнике» эту статью, была поставлена на вид его оплошность.

Важной чертой философских взглядов Чернышевского является попытка материалистически объяснить общественную жизнь и ее закономерности. Однако эта задача полностью была решена только основоположниками мировоззрения рабочего класса – К. Марксом и Ф. Энгельсом. «Антропологический принцип в философии», сыгравший значительную роль в борьбе против идеализма и религии, несостоятелен в применении к человеку как существу общественному, так как он не раскрывает полностью общественно-исторической природы человека. В понимании ее Чернышевский не преодолел до конца идеалистического взгляда, не указал на способ производства как на основу общественной жизни и общественного развития. Он считал, что последние зависят не от способа производства, а от того, насколько общество просвещено. Сознавая, что классовый антагонизм является наиболее существенной чертой общественной жизни, указывая на неизбежность борьбы классов, Чернышевский не сумел все же выделить из общей массы трудящихся пролетариат и противопоставить его классу капиталистов. Он считал, что Россия придет к социализму «самобытным» путем, через крестьянскую общину.

Ленин называл Чернышевского величайшим утопическим социалистом домарксового периода. В отличие от великих утопистов-социалистов Запада Чернышевский признавал неизбежность революции, был революционным демократом и поэтому пошел по сравнению с ними значительно дальше.

В капиталистическом обществе Чернышевский не мог обнаружить той силы, которая призвана стать могильщиком старого общества. Но этого и нельзя было требовать от Чернышевского. В ту эпоху в России еще не существовало пролетарского освободительного движения. Чернышевский выражал интересы русского крепостного крестьянства. Естественно, что он не мог подняться до диалектического материализма, который явился мировоззрением марксистско-ленинской партии. Его заслуга состоит в том, что среди своих современников он ближе других подошел к диалектическому материализму. Этим и объясняется огромная действенность его идей, воспитавших целые поколения революционеров, подготовивших почву для возникновения марксизма-ленинизма, оказавших огромное влияние на движение русской науки и культуры.

XXIV. Поездка в Лондон

Вскоре после того как Добролюбов стал постоянным сотрудником «Современника», он убедился, насколько прозорлив был Чернышевский, когда при начале их знакомства указывал на либеральные колебания Герцена. Летом 1859 года колебания эти завершились прямым выступлением издателя «Колокола» против «Современника»; причем непосредственным поводом к выступлению Герцена послужили как раз критические статьи самого Добролюбова, а также сатирические заметки в журнале, направленные против либералов.

За несколько месяцев до этого инцидента «Современник» по инициативе Добролюбова открыл новый отдел – «Свисток» – с целью бичевать общественные пороки, преследовать «зло и неправду» с помощью смеха и шутки.

В задачи «Свистка», по мысли Добролюбова, должно было входить сатирическое осмеяние не только откровенных реакционеров или, говоря языком того времени, *рутинистов,* но и так называемых *прогрессистов,* то-есть людей, которые громко кричали «о современных успехах цивилизации, о правде, свободе и чести, без надлежащего усвоения себе истинных начал просвещения и грамотности».

Нововведение «Современника», сразу же завоевавшее признание у читателей, вызвало смятение в рядах представителей буржуазно-дворянского либерализма, которые подвергались беспощадному разоблачению на страницах «Свистка».

Особенное возмущение в их стане возбудило то, что «Современник» показал истинный характер вошедшей тогда в моду «обличительной» литературы. Рвение, с которым ее творцы предавались дозволенной «сверху» критике частностей и мелочей, не только не подрывало устои самодержавно-крепостнической власти, но, напротив, отвлекало внимание читателей от существа дела, ибо сатира такого рода «не хотела видеть коренной дрянности того механизма, который старались исправить».

Благодаря процветанию этого вошедшего в моду жанра, совершенно безобидного и безвредного для власти, создавалась видимость гласности, видимость свободного участия литературы в общественной жизни страны. Против подобной «обличительной» литературы Добролюбов решительно выступил не только на страницах «Свистка», где печатались главным образом колкие заметки, пародии, фельетоны, но и в своих больших критических статьях и обзорах.

Так, например, в «Литературных мелочах прошлого года» в

апрельской книжке «Современника» Добролюбов жестоко высмеял всю несложную механику, с помощью которой беллетристы-обличители стряпали свои невинные экзерсисы. «Писарям, становым, магистратским секретарям, квартальным надзирателям житья не было. Досталось также и сотским и городовым. Если же и задевались иногда губернские чины, то обличение большею частью слагалось по следующему рецепту: выдвигался благороднейший губернатор, благодетель губернии, поборник законности и гласности, около него группировалось два-три благонамеренных чиновника, и они-то занимались каранием злоупотреблений». (Нетрудно заметить, что строки эти прямо перекликаются с горькими мыслями Гоголя о невыносимой стеснительности дозволенных границ сатирического изображения, высказанными им в «Театральном разъезде», в «Носе» и в ряде других произведений.)

«Но вслушайтесь в тон этих обличений, – продолжает Добролюбов, – ведь каждый автор говорит об этом так, как будто бы все зло в России происходит только от того, что становые нечестны и городовые грубы».

Герцен не сумел оценить революционную направленность политической сатиры «Свистка» и энергичной борьбы Чернышевского и Добролюбова против вредного увлечения мелкотравчатым обличительством.

1 июня 1859 года он напечатал в 44-м листе «Колокола» свою известную статью «Very dangerous!», полную резких и несправедливых выпадов против редакции «Современника», якобы посягнувшей на основы зарождавшейся гласности в России.

Защита либерального обличительства была центральной темой статьи Герцена. Но есть основание предполагать, что он был задет не столько осмеянием обличительного направления, сколько проводившейся в статьях Чернышевского и Добролюбова общей переоценкой роли людей сороковых годов. Еще в рецензии на «Стихотворения» Огарева, напечатанной в 1856 году, Чернышевский поставил вопрос об отношении революционного поколения шестидесятников к дворянской революционности. Дворянские деятели сороковых годов уже не могли быть вождями поколения революционеров-разночинцев, которые остро чувствовали отсутствие твердой последовательности и решительности в действиях своих предшественников.

«Онегин сменился Печориным, Печорин – Бельтовым и Рудиным. Мы слышали, – писал Чернышевский, – от самого Рудина, что время его прошло; но он не указал нам еще никого, кто бы заменил его, и мы еще не знаем, скоро ли мы дождемся ему преемника. Мы ждем этого преемника, который, привыкнув к

истине в детстве, не с трепетным экстазом, а с радостною любовью смотрит на нас; мы ждем такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышались бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью, и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями».

С еще большей ясностью и прямотой высказал аналогичные мысли Чернышевский в статье «Русский человек на rendez-vous».

Излюбленные герои дворянской литературы, так называемые «лишние люди», почитавшиеся в своей среде «солью земли», ни в какой мере не могли служить примером для «новых людей», которые готовились к смертельной схватке с ненавистным им общественно-политическим строем царской России. «…Нам все кажется, – писал Чернышевский, развенчивая «лишнего человека», – будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он – представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто бы без него было бы нам хуже. Все сильней и сильней развивается в нас мысль, что это мнение о нем – пустая мечта, мы чувствуем, что недолго уже остается нам находиться под его влиянием, что есть люди лучше его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить…»

Противопоставление «новых людей» прекраснодушным и бездеятельным мечтателям, пережившим свое время и только мешающим теперь движению вперед, заняло большое место в литературно-критических работах Добролюбова (статья о Станкевиче, «Литературные мелочи прошлого года», «Что такое обломовщина?» и др.). Как бы предугадывая в общих чертах портреты людей нового времени, нашедших через несколько лет отражение в романе Чернышевского «Что делать?», Добролюбов подчеркивал твердость, спокойствие и решительность «новых людей», их чуждость туманным абстракциям, их вражду ко всякому фразерству и самолюбованию, их крепкую связь с окружающей жизнью.

Именно этих черт не хватало главным героям дворянской литературы, галерею которых от Онегина до Бельтова завершил, наконец, образ Обломова.

«Общее у всех этих людей, – говорит Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?», – то, что в жизни нет им дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними… Они только говорят о высших стремлениях, о сознании нравственного долга, о проникновении общими интересами, а на поверку выходит, что все это – слова и слова. Самое искреннее задушевное их стремление есть стремление к покою, к халату, и

самая деятельность их есть не что иное, как *почетный халат*… которым прикрывают они свою пустоту и апатию… Пока не было работы в виду, можно было еще надувать этим публику; можно было тщеславиться тем, что мы вот, дескать, все-таки хлопочем, – ходим, говорим, рассказываем… Остановите этих людей в их шумном разглагольствовании и скажите: «Вы говорите, что нехорошо то и то, *что* же нужно *делать?»* (курсив мой. – *Н. Б.*). Они не знают… Предложите им самое простое средство, – они скажут: «Да как же это так вдруг?» Непременно скажут, потому что Обломовы иначе отвечать не могут… Продолжайте разговор с ними и спросите: *«что* же вы намерены *делать?»* Они вам ответят тем, чем Рудин ответил Наталье: *«Что делать?»* Разумеется, покориться судьбе. Что же делать!»

На этот вопрос могли ответить по-настоящему не Рудины и не Бельтовы, а те «новые люди», которых избрал Чернышевский в 1862 году в герои своего романа «Что делать?».

Чернышевский стоял в гуще российской действительности. Все слои русского общества были перед его глазами. Он воочию видел народ, изнемогавший под гнетом крепостничества. Он верил в народ и звал его к пробуждению, тогда как Герцен, по словам Ленина, «принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него».[43]

Мы знаем, что в дальнейшем Герцен преодолел свои колебания «от демократизма к либерализму» и решительно стал на сторону противников самодержавия. Но в описываемое время ему была чужда революционная тактика вождей «Современника», ибо он еще верил в возможность улучшений в жизни русского народа по доброй воле царя и дворянства.

В статье «Very dangerous!» Герцен в полемическом пылу поставил знак равенства между реакционерами, стремившимися душить свободное слово в России, и авторами «Современника» и «Свистка», бичевавшими либеральных болтунов. Он заключал свою статью оскорбительным намеком: «Милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего, боже сохрани) и до Станислава на шее…»

Ранним утром 5 июня взволнованный Некрасов пришел к Добролюбову с известием о неожиданном выступлении лондонского изгнанника против «Современника». Сам Некрасов еще не видел номера «Колокола», но в клубе, где он был, ему сообщили, что в статье содержится намек на то, что «Современник» подкуплен властями. «Если это правда, – записал в тот же день в своем дневнике Добролюбов, – то Герцен человек

вовсе не серьезный: так легкомысленно судить о людях в печати ужасно дико. Но чем более думаю я об этом известии, тем более убеждаюсь, что Некрасову только так показалось и что в сущности намека этого нет. Нужно поскорее достать «Колокол» и прочесть статью, а затем решиться, что делать. Во всяком случае надо писать Герцену письмо с объяснением дела. Меня сегодня целый день преследовала мысль об этом, и мне все было как-то неловко, как будто у меня в кармане нашлись чужие деньги, бог знает как туда попавшие… Однако хороши наши передовые люди. Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс, при инициативе сверху, под покровом законности… Я лично не очень убит неблаговолением Герцена, с которым могу померяться, если на то пойдет; но Некрасов обеспокоен, говоря, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Герцена для лучшей части нашего общества очень сильно. В особенности намек на бюро оскорбляет его, так что он чуть не решается ехать в Лондон для объяснений, говоря, что этакое дело может кончиться и дуэлью. Ничего этого я не понимаю и не одобряю, но необходимость объяснения сам чувствую, и для этого готов был бы сам ехать…»

И Некрасов и Добролюбов полагали, что при свидании надобно добиться от Герцена во что бы то ни стало отказа от статьи. Ехать в Лондон пришлось, однако, не им, а Чернышевскому. По словам Антоновича, Некрасов счел кандидатуру Добролюбова менее подходящей для этой цели. Он опасался, что прямолинейная резкость Добролюбова затруднит ведение переговоров. Сам Чернышевский не ждал от этой поездки никаких благоприятных для «Современника» результатов; ему казалось, что Герцен «ни за что на свете не согласится уронить себя в глазах читающей публики, отказавшись от своих слов и тем признавши, что эти слова – неправда, ложь. Но Некрасов настаивал, умолял, и Чернышевский, сжалившись над ним, уступил и согласился, хотя и с крайней неохотой, поехать к Герцену».

Подробности этой поездки до сих пор настолько мало известны, что невольно возникает вопрос, было ли единственной ее целью объяснение с Герценом по поводу «Very dangerous!». Может быть, когда-нибудь впоследствии новые данные окончательно прояснят картину поездки Чернышевского в Лондон и прольют иной свет на последующие события в жизни Чернышевского.

Уже на пятый день после получения известия о напечатании

статьи Герцена в «Колоколе» Некрасов обратился с письмом к заведующему конторой «Современника» Ипполиту Панаеву, прося его доставить «пораньше сегодня» деньги, необходимые Чернышевскому, который «едет завтра за границу». Отъезд, однако, задержался на несколько дней.

В те дни, когда Чернышевский был на пути к Лондону, Гавриил Иванович ждал сына к себе в Саратов. 26 июня, в день прибытия Чернышевского в Лондон, отец писал ему и Ольге Сократовне в Петербург: «Письмо ваше, мои дорогие, от 16 сего июня получено 23 июня… Не думалось, не гадалось поездка за границу, вдобавок в Париж, – а мы готовились было 22 и 23 числа сего июня встретить тебя, милый мой сынок».

Чернышевский недолго прожил в Лондоне. Уже 30 июня он выехал обратно. Две встречи с Герценом не принесли ему удовлетворения. Антонович, со слов самого Чернышевского, рассказывает подробности его встречи с Герценом следующим образом: «Явившись к нему, я разоткровенничался, раскрыл перед ним свою душу и сердце, свои интимные мысли и чувства, и до того расчувствовался, что у меня в глазах появились слезы, – не верите, ей-богу, уверяю вас. Герцен несколько раз пытался остановить меня и возражать, но я не останавливался и говорил, что я не все еще сказал и скоро кончу. Когда я кончил, Герцен окинул меня олимпийским взглядом и холодным поучительным тоном произнес такое решение: «Да, с вашей узкой партийной точки это понятно и может быть оправдано; но с общей логической точки зрения это заслуживает строгого осуждения и ничем не может быть оправдано». Его важный вид и его решение просто ошеломили меня, и все мое существо с его настроениями и чувствами перевернулось вверх ногами…»

Антонович тщетно пытался узнать подробнее у Чернышевского, о чем он говорил с Герценом; тот перевел разговор на другие темы.

Позднее, в годы сибирской ссылки, Чернышевский в разговоре со Стахевичем передал в общих чертах содержание своей беседы с издателем «Колокола»:

«Я нападал на Герцена за чисто обличительный характер «Колокола». Если бы, говорю ему, наше правительство было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в узде, в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, а не в агентах Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем, – конституционную, или республиканскую, или социалистическую; и затем всякое

обличение являлось бы подтверждением основных требований ваших; вы неустанно повторяли бы свое: «ceterum censo Carthaginem delendam esse» («Карфаген должен быть разрушен»).

В мемуарах современников сохранились отзывы Герцена и Чернышевского друг о друге, вызванные их встречей. «Какой умница, какой умница… и как отстал, – сказал Чернышевский о Герцене. – Ведь он до сих пор думает, что продолжает остроумничать в московских салонах и препирается с Хомяковым. А время идет теперь с страшной быстротой: один месяц стоит прежних десяти лет. Присмотришься – у него все еще в нутре московский барин сидит».

«Удивительно умный человек, – заметил в свою очередь Герцен, – и тем более при таком уме поразительно его самомнение. Ведь он уверен, что «Современник» представляет из себя пуп России. Нас, грешных, они совсем похоронили. Ну, только, кажется, уж очень они торопятся с нашей отходной – мы еще поживем».

Сохранилось два письма Чернышевского, в которых говорится о его поездке в Лондон. В первом из них, адресованном Добролюбову из-за границы и написанном во время лондонских переговоров, Чернышевский подчеркивает, что он ездил не понапрасну, но что оставаться долее в Лондоне ему было бы скучно, ибо он остро почувствовал, что собеседник его стоит на позициях либералов.

Во втором письме (к издателю Солдатенкову), написанном уже совсем незадолго до смерти, Чернышевский, вспоминая о своем путешествии в Лондон, говорит, что в переговорах по существу дела Герцен вынужден был занять оборонительную позицию.

Так или иначе, но вскоре после отъезда Чернышевского из Лондона в одном из очередных номеров «Колокола» появилась заметка, в которой говорилось: «В 44 листе мы предупреждали наших русских *собратий,* слишком нападавших на изобличительную литературу, что они этим путем, сознательно или бессознательно, помогут наставительному комитету. Нам бы чрезвычайно *было больно,* если бы *ирония,* употребленная нами, была принята за оскорбительный намек. Мы уверяем честным словом, что этого не было в уме нашем; если бы оно было, то мы иначе стали бы обличать!.. Нельзя же manière de dire, образ выражений, особенно иронических, брать в прямом смысле… Мы не имели в виду ни одного литератора, мы вовсе не знали, *кто писал статьи,* против которых мы сочли себя в праве сказать *несколько слов,* искренно желая, чтоб наш совет обратил на себя внимание».

В начале 1860 года в 64-м листе «Колокола» появилось «Письмо из провинции» за подписью «Русский человек». До сих пор остается спорным вопрос об авторе этого письма, но совершенно очевидно, что если оно было написано и не самим Чернышевским, то человеком, близко стоявшим к его кругу.

Автор «Письма» ясно доказывал, что не следует верить в «добрые намерения» царей, так как подобная вера не оправдывается ни историей, ни современным положением в стране.

«С начала царствования Александра II немного распустили ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны, а после издания рескриптов все очутились в чаду, – как будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землей. Все заговорили об умеренности, обширном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою».

Обращаясь к Герцену, автор заканчивал письмо призывом: «Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, – перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! *К топору зовите Русь!»*

Ответ Герцена на «Письмо» еще раз показал, как серьезны были в то время его расхождения с революционными демократами. «К топору, этому ultima ratio (т. е. последнему доводу) притесненных», он отказывался звать «до тех пор, пока останется хоть одна радужная надежда на развязку без топора».

Однако кровавая расправа царского правительства с крестьянскими бунтами, возникшими с новой силой после осуществления реформы 1861 года, раскрыла Герцену глаза, и он, отбросив колебания, твердо стал на сторону революционной демократии. Его «Колокол» переменил тон: «Старое крепостное право заменено новым. Вообще, крепостное право не отменено. Народ царем обманут!» – говорилось в 96-м листе «Колокола».

Не вспоминал ли с болью Герцен о своих беседах с глазу на глаз с Чернышевским, когда до него дошла в 1862 году весть о том, что его собеседник заключен в каземат Петропавловской крепости?

Трагическая судьба Чернышевского не переставала волновать издателя «Колокола» до конца его жизни. Он проклинал палачей Чернышевского, которого называл великим борцом за свободу родного народа и одним из самых замечательных русских публицистов.

Но в период расхождения с Чернышевским Герцен, как это уже отмечалось выше, по своим взглядам был ближе к

либеральному кругу литераторов и общественных деятелей. 16 сентября 1859 года Тургенев писал ему из Парижа: «Собственно, пишу я к тебе, чтобы узнать, правда ль, что тебя посетил Чернышевский и в чем состояла цель его посещения и как он тебе понравился?»

Сам Тургенев все более и более отдалялся от редакции «Современника», а в 1860 году, после того как появилась рецензия Чернышевского на книгу Готорна «Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии», косвенно затрагивавшая роман «Рудин», он заявил о своем окончательном отказе состоять в числе сотрудников «Современника».

Таким образом, непримиримая последовательность революционно-демократической программы журнала, осуществлявшаяся Чернышевским и Добролюбовым, привела к расколу внутри редакции. Еще ранее Тургенева отошли от «Современника» Григорович, Гончаров, Островский, Лев Толстой; обязательное соглашение об исключительном участии этих писателей в «Современнике» утратило свою силу.

Но это не поколебало решимости Чернышевского и Некрасова оставить неизменным направление журнала. В объявлении об издании «Современника» на 1862 год говорилось: «Направление «Современника» известно его читателям. Продолжая по мере возможности развивать это направление в приложении к разным отраслям науки и жизни, редакция в последние годы должна была ожидать изменения своих отношений к некоторым из сотрудников (преимущественно беллетристического отдела), которых произведения в прежнее время, когда еще направления не обозначились так ясно„ нередко с удовольствием встречаемы были читателями в нашем журнале. Сожалея об утрате их сотрудничества, редакция, однако же, не хотела, в надежде на будущие прекрасные труды их, пожертвовать основными идеями издания, которые кажутся ей справедливыми и честными».

Если три года тому назад, в период редактирования «Современника» в отсутствие Некрасова, Чернышевский был озабочен тем, чтобы привлечь на свою сторону таких писателей, как Тургенев, Лев Толстой, Островский и др., то теперь он окончательно убедился в неосуществимости этого намерения и понял, что пути их различны. В статье «Полемические красоты» Чернышевский так объясняет отход Тургенева от «Современника»: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно

для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись».

Теперь рядом с Чернышевским стояли люди иного образа мыслей, люди, так же как и он, стремившиеся к одной цели – к революционному перевороту. Эта цель объединила Добролюбова, Михайлова, Шелгунова, Тараса Шевченко, Сераковского и многих других.

К ним тянулась революционно настроенная студенческая и офицерская молодежь. Влияние этого авангарда, возглавляемого Чернышевским, росло не по дням, а по часам, и круг близких к нему людей непрестанно расширялся. Номера «Современника» со статьями Чернышевского, Добролюбова, Шелгунова, со стихами Некрасова, с переводами произведений Шевченко, с очерками и стихотворениями Михайлова жадно прочитывались и передавались из рук в руки. В одном из писем Салтыкова-Щедрина начала 1860 года из Рязани говорится о необычайном успехе журнала среди читателей: «Всего более в ходу «Современник»; Добролюбов и Чернышевский производят фурор…» Около этого же времени и Некрасов отметил в письме к Добролюбову исключительно быстрое упрочение общественно-литературной репутации Чернышевского: «Ход ее напоминает Белинского, только в больших размерах», – указывал поэт.

По возвращении из Лондона Чернышевский побывал летом на родине и 1 сентября вернулся в Петербург. К этому времени относится начало тесного сближения его с великим народным поэтом Украины Тарасом Шевченко.

Незадолго до этого Шевченко, отбыв десятилетний срок ссылки в одном из оренбургских линейных батальонов, приехал в Петербург. Радостно встретили здесь поэта друзья его по ссылке – польские революционеры Сераковский и Желиговский. Первый из них, вернувшийся в Петербург из оренбургских степей несколькими годами раньше Шевченко, давно уже находился в близких отношениях с Чернышевским. Не раз, разумеется, рассказывал Сераковский Николаю Гавриловичу о своем друге-поэте, которого он с нежностью называл «батькой» и «нашим лебедем».

Сведения о встречах Чернышевского с Шевченко удивительно скупы. Есть что-то преднамеренное в этой скупости. Словно бы вчерашний ссыльный украинский поэт и глава русских революционных демократов условились между собою о том, что как можно меньше должны знать посторонние об этих встречах.

И было их, конечно, больше, чем осталось об этом свидетельств. В альбоме Ольги Сократовны сохранилось несколько зарисовок, сделанных Шевченко в гостях на даче у

Чернышевских в Любани, под Петербургом, где они жили в 1860 году. Свидания в Балабинских номерах и на «вторниках» Костомарова – вот, кажется, и все, что известно нам о встречах поэта с Чернышевским. Но мы не ошибемся, предположив, что сведения эти неполны.

Ряд прямых и косвенных признаков говорит о том, что во взглядах Шевченко и Чернышевского на те или иные явления жизни и литературы и на те или иные политические события было немало общего. Так, например, сопоставление дневниковой записи Шевченко с Салтыкове-Щедрине (сентябрь 1857 г.) со статьею Чернышевского о «Губернских очерках» (июль того же года) показывает, что точка зрения Шевченко на задачи гоголевского сатирического направления русской литературы была совершенно родственна точке зрения Чернышевского. Оба они считали, что первой обязанностью писателя-патриота является защита прав угнетенного народа. «Я благоговею перед Салтыковым. О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь! – восклицает поэт. – Какою радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловесного смерда!»

Это писал в своем дневнике поэт, возвращаясь из ссылки. Знакомство и сближение с Чернышевским еще более укрепили его революционное мировоззрение и готовность принять участие в борьбе за лучшее будущее родины.

И Чернышевский в беседах с украинским поэтом находил порою подтверждение своих теоретических положений. Так, например, в отрывке из статьи «Национальная бестактность» (вычеркнутом цензурой) Чернышевский писал, что именно Шевченко окончательно разъяснил для него ту истину, которую он давно предполагал и сам. «Вот она, – говорит Чернышевский. – В землях, населенных малорусским племенем, натянутость отношений между малороссами и поляками основывалась не на различии национальностей или вероисповеданий; это просто была натянутость сословных отношений между поселянами и помещиками… Различие национальностей не делает тут никакой разницы».

Указывая на то, что украинскому крестьянину приходилось плохо не только под властью польского, но и своего, малороссийского пана, Чернышевский добавлял, что он слышал свидетельство об этом от человека, «имя которого драгоценно каждому малороссу, – от покойного Шевченко».

Русским писателям, стоявшим во главе «Современника»,

близка была муза народного поэта Украины. «Имея теперь такого поэта, как Шевченко, малорусская литература также не нуждается ни в чьей благосклонности», – писал Чернышевский незадолго до смерти Шевченко в статье «Новые периодические издания».

Некрасов называл Шевченко глубоко и исключительно национальным поэтом, отдавшим все свои силы поэтическому воспроизведению жизни родной ему Украины.

Высокую оценку «Кобзаря» на страницах «Современника» дал в 1860 году в особой статье Добролюбов, утверждавший, что весь круг дум и сочувствий Шевченко «находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни. Он вышел из народа, жил с народом, и не только мыслию, но обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан».

XXV. Вдохновитель революционного движения

Еще в юношеские годы Чернышевский непоколебимо верил, что настанет время, когда он сумеет широко развернуть борьбу с самодержавием.

Теперь эта пора наступила. По мере того как страна вступала в полосу революционной ситуации, по мере того как разрастались крестьянские бунты и во всех слоях общества усиливалось напряженное ожидание развязки крестьянского вопроса, роль Чернышевского, как вождя революционной демократии, становилась все более и более активной.

Лучшие люди страны, стремившиеся посвятить свои силы служению революции, объединились вокруг него.

Рядом с ним действовал его близкий друг и единомышленник – Н.А. Добролюбов, который готов был, подобно своему учителю, пожертвовать жизнью для блага народа. «Вышел я на бой, – писал Добролюбов своему товарищу по семинарии вскоре после знакомства с Чернышевским, – без заносчивости, но и без трусости – гордо и спокойно… Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть недаром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мной мое всегдашнее неотъемлемое утешение, – что я трудился и жил не без пользы…»

С уверенностью можно сказать, что если бы не преждевременная смерть, вскоре последовавшая, то Добролюбов не избегнул бы участи, постигшей виднейших революционных деятелей шестидесятых годов.

Идейное влияние Чернышевского наложило печать на творчество великого народного поэта Украины Тараса Шевченко, помогло ему найти ярчайшие краски для изображения судьбы обездоленного народа.

Тесное общение с Чернышевским помогло Михаилу Ларионовичу Михайлову осознать необходимость действенной пропаганды, революционизировало его мысль, толкнуло его на составление вместе с Шелгуновым известной прокламации «К молодому поколению», заканчивавшейся призывом к политическому перевороту.

Один из будущих руководителей восстания в Польше в 1863 году, Сигизмунд Сераковский, в начале своего сближения с Николаем Гавриловичем находился в плену ошибочных представлений о возможности коренных общественно-

политических реформ при сохранении самодержавия. Чернышевский сумел развеять эти иллюзии и заблуждения пылкого, увлекающегося Сераковского, сумел направить его неукротимый темперамент на путь революционной борьбы.

Огромную силу революционизирующего воздействия Чернышевского непрестанно ощущали на себе его ученики и сподвижники братья Серно-Соловьевичи. Старший из них, Николай, один из виднейших деятелей тайного общества «Земля и воля», автор лозунга «Все для народа и только народом», неузнаваемо вырос, закалился, работая рука об руку с Чернышевским в бурный период революционного кризиса шестидесятых годов.

Владимир Обручев, будущий член нелегального общества «Великорусс», обращаясь к Чернышевскому, просил указать ему цель, к которой он, Обручев, должен стремиться; Обручев сознавал, что только содействие признанного руководителя эволюционных демократов способно помочь ему высоко подняться над уровнем либеральных господ.

Все «ни отличались необыкновенным благородством и внутренней доблестью и готовы были в любую минуту пожертвовать жизнью для блага отчизны и родного народа.

Герцен, хорошо знавший ближайших соратников и единомышленников Чернышевского – М. Михайлова, С. Сераковского, Н. Серно-Соловьевича и других, чрезвычайно высоко ценил каждого из них. Имена эти навсегда остались для него священными. Недаром он уподоблял Н. Серно-Соловьевича по душевной чистоте и смелой откровенности герою трагедии Шиллера «Дон-Карлос» маркизу Позе, который безбоязненно обличал деспотизм Филиппа II. Недаром он считал Сигизмунда Сераковского чистейшим и благороднейшим из людей, а М. Михайлова называл святым страдальцем за великое дело свободы.

Жизнь и деятельность этих революционеров действительно являла собой исключительный пример беззаветной преданности интересам народа.

Летом 1861 года в Берлине вышла брошюра «Окончательное решение крестьянского вопроса», подписанная полным именем Николая Серно-Соловьевича. В этом замечательном сочинении автор дал блестящую и смелую критику реформы 19 февраля и ясно заявил, что крестьянский вопрос «разрешим только двумя способами: или общею выкупною мерою, или топорами…»

В предисловии к своему трактату Серно-Соловьевич писал: «Я публикую его под своим именем, – потому, что думаю, что пора нам перестать *бояться*».

Это был прямой призыв к решительным действиям против самодержавия.

Заточение в каземате Петропавловской крепости не сломило воли замечательного революционера и патриота. В одном из своих обращений к правительству, написанном в тюрьме в 1863 году, Серно-Соловьевич заявляет о своей готовности перенести любые тягчайшие преследования за любовь к родине.

«Я думаю не о себе, – говорит он, – а об отечестве, и исполняю то, что считаю своим долгом к нему…»

Чернышевский горячо любил этого юношу. В одном из писем к Добролюбову в 1861 году он говорит о «закадычной дружбе», которая связывает его с Серно-Соловьевичем.

Точно такими же узами сердечной близости был связан Чернышевский и с польско-русским революционером Сигизмундом Сераковским. Они были ровесниками. В 1848 году, будучи студентом Петербургского университета, Сераковский был арестован при попытке перейти русско-австрийскую границу в Галиции. По приговору царского суда он был сослан в арестантские роты в Новопетровский порт на берегу Каспийского моря. Здесь он подружился с Тарасом Шевченко и ссыльными петрашевцами.

Добившись затем благодаря своей кипучей энергии перевода в Петербург и получения офицерского звания, Сераковский выехал в столицу несколько ранее Шевченко.

Расставаясь с ним, он писал: «Батьку! Еду в Петербург и на берега Днепра. Не бойся, не забуду! Днепр напомнит мне о тебе, батьку! Полк, в который я назначен, стоит зимой на берегах Днепра, около Екатеринослава, на месте Сичи. При первом известии об этом я написал послание – ты его в нынешнем году получишь. В нем слог слаб, но мысль высокая. Мысль – не моя, чувство мое. Мысль эта о слиянии единоплеменных братии, живущих на обеих сторонах Днепра».

Горячее стремление Сераковского всемерно содействовать установлению дружеских и братских отношений польского и русского народа и славянских народов вообще вызвало живое сочувствие у русских революционных демократов. «Его любимой мечтой, – писал Герцен, – была независимая Польша и дружественная ей вольная Россия».

Прямоту, непреклонность и революционный темперамент Сераковского Чернышевский блестяще охарактеризовал в романе «Пролог».

Здесь он влагает в уста Соколовского (то-есть Сераковского) следующие слова: «Я поляк. Но, правда, я хорошо говорю по-русски. Было время выучиться. Было время и узнать русский

народ, и полюбить его Это хороший народ, добрый, справедливый».

Начиная с 1858 года, Сераковский стал организовывать революционную группу польских офицеров и студентов. Впоследствии ее возглавил национальный герой Польши Я. Домбровский, будущий генерал Парижской Коммуны, также разделявший освободительные идеи вождей русской революционной демократии – Чернышевского и Герцена.

Из группы Сераковского и Дамбровского вышли самые деятельные руководители январского восстания в Польше в 1863 году. Сам же Сераковскви стал во главе восстания в Литве. Он поднял на борьбу против царизма широкие крестьянские массы, но был захвачен в плен карательным отрядом и казнен.

Так погиб человек, которого Чернышевский считал одним из лучших людей на свете.

Эти деятели революционного движения в России, составившие ближайшее окружение Чернышевского в период 1859–1861 годов, всемерно способствовали распространению идей революционной демократии в массе учащейся молодежи, в среде передового офицерства, в кругах рядовых служащих и разночинной интеллигенции.

Теперь на вечерах у Чернышевского было многолюдно и шумно: военные, студенты, литераторы, ученые. Ольга Сократовна умело маскировала частые встречи Николая Гавриловича с революционно-настроенной молодежью; порою она придавала этим встречам характер оживленных вечеринок е танцами и с пением. В разгаре веселья: она любила выбегать на улицу к, как бы любуясь на залитые светом окна своей квартиры, говорила, обращаясь к прохожим: «Это веселятся у Чернышевских».

Николай Гаврилович, как подлинный революционер и замечательный конспиратор, не расточал громких фраз, не занимался революционной декламацией. Он пристально и зорко всматривался в каждого нового человека, появлявшегося в поле его зрения, стремясь угадать, насколько сознательна и серьезна его решимость примкнуть к революционному движению. Только после того, как новый знакомый делался ему совершенно ясен, Николай Гаврилович начинал приближать его к себе и оказывать ему доверие. Проницательность и прозорливость Чернышевского в отношении к людям остро ощущали все, кому приходилось соприкасаться с ним.

«Когда говоришь с Николаем Гавриловичем, чувствуешь, что он не только знает, что у тебя во лбу, но и что скрывается под затылком», – заметил как-то один из студентов, посещавших

тогда Чернышевского, своему приятелю Л.Ф. Пантелееву, участнику «Земли и воли», впоследствии отошедшему от революционного движения.

Сходным было впечатление и самого Пантелеева, который отмечал, что в обществе Николай Гаврилович вел самые обыкновенные разговоры, но совсем другим являлся в беседе с гостем в своем кабинете. «Тут речь его всегда была серьезна, осмотрительна, чужда двусмысленности и вместе с тем далека от какого-нибудь подстрекательства. Напротив, он пользовался каждым подходящим случаем, чтобы подчеркнуть, с какими трудностями приходится бороться каждому освободительному движению, как сильны враждебные силы, как они изощряются в борьбе… Внимательно следя за движением среди молодежи, хорошо осведомленный, всей душой ей сочувствуя, Николай Гаврилович был, однако, далек от преувеличенной оценки молодого поколения, и даже в его горячей защите молодежи совсем не видно было и тени того сентиментализма, который тогда широко сказывался в суждениях о молодежи. Характерной чертой Николая Гавриловича было то, что редкий молодой человек, сталкивавшийся с ним, не испытывал на себе его ободряющего совета и поощрения».

Зарождение революционной организации «Земля и воля» связано с именами Герцена, Огарева и Чернышевского. Один из учредителей «Земли и воли», А.А. Слепцов, по прошествии многих лет рассказал о своей встрече с Чернышевским летом 1861 года. Слепцов тогда только что вернулся из заграничной поездки, во время которой он несколько раз виделся с Герценом.

Он пришел к Чернышевскому вечером, передал в прихожей прислуге письмо от Н.Н. Обручева и свою визитную карточку. Войдя затем по приглашению в слабо освещенный зал, Слепцов увидел здесь несколько человек. «Чернышевский, как теперь вижу, вышел из-за какого-то стола мне навстречу, протянул руку и со словами: «Милости прошу, пройдемте ко мне», не представив меня никому, не выпуская моей руки из своей, провел в другую комнату. «Здесь нам разговаривать будет удобнее», – прибавил он, зажигая свечу».

Слепцов сообщил ему, что и Герцен и друг Герцена, итальянский революционер Маццини, уверены в близости революционного восстания в России. Затем разговор коснулся вопроса о возможности организации в России тайного общества и об издании прокламаций к моменту ожидавшегося в 1863 году крестьянского восстания.

– И вот, Николай Гаврилович, – сказал Слепцов, – об этом-то я и хотел, собственно, поговорить с вами, послушать, что вы

скажете.

– Что же, это дело, – твердо сказал Чернышевский.

Прощаясь со Слепцовым, он пообещал зайти вскорости, чтобы поговорить об этом пообстоятельнее.

Прошло несколько месяцев, и глубокой осенью 1861 года план организации «Земли и воли» перешел в стадию осуществления. Братья Серно-Соловьевичи в беседе с Николаем Гавриловичем развернули перед ним проект предстоящей революционной деятельности тайного общества. Одну из главных своих задач они видели в широкой революционной пропаганде, обращенной непосредственно к народу. Большое место в их плане уделено было вопросу о возможности распространения влияния на армию.

Чернышевский выслушал их очень внимательно, с неослабевающим интересом и обещал свое содействие. Сносясь с главными участниками этого общества, Чернышевский живо интересовался их работой, давал советы, анализировал их проекты.

Начало шестидесятых годов было очень плодотворным, но вместе с тем и чрезвычайно трудным периодом для «Современника». Судьба его висела на волоске. Редакция неоднократно получала предупреждения властей о «вредном» направлении журнала, и ему каждодневно грозило если не окончательное, то длительное запрещение.

Манифест об «освобождении» крестьян и «Положение», излагающее основы реформы, были подписаны Александром II 19 февраля 1861 года. Реформа эта ни в малейшей мере не могла удовлетворить крестьян, ожидавших освобождения с землею и без выкупа, но на деле попавших в еще большую зависимость от помещиков. Теперь крестьяне принуждены были, согласно «Положению», арендовать у них земли на кабальных условиях.

Ленин, характеризуя «реформу», писал, что «пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними».[44]

Новая волна бунтов явилась ответом обманутых крестьян на реформу. По официальным данным, число восстаний дошло в 1861 году до 1 200. 45 губерний из 47 в Европейской России были охвачены ими.

В то время как либералы славословили на страницах своих журналов «освобождение» крестьян, «Современник» хранил на этот счет глухое демонстративное молчание, ибо лишен был возможности открыто критиковать манифест и «Положение».

Истинный смысл того и другого документа был совершенно

ясен Чернышевскому и его друзьям. «В тот день, – вспоминал он много лет спустя, – когда было обнародовано решение дела (имеется в виду опубликование манифеста 19 февраля. – *Н. Б.*), я вхожу утром в спальню Некрасова. Он, по обыкновению, пил чай в постели. Он был, разумеется, еще один; кроме меня редко кто приходил так (по его распределению времени) рано. Для того я и приходил в это время, чтобы не было мешающих говорить о журнальных делах. Итак, я вхожу. Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Руки лежат вдоль тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моем входе он встрепенулся, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: «Так вот что такое эта „воля“. Вот что такое она!» Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это». «Нет, этого я Не ожидал», отвечал он, и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения».

Как ярко контрастирует приведенному описанию письмо либерального критика Анненкова к Тургеневу, где он не находит слов, чтобы выразить свое умиление царем-освободителем.

Только верноподданные либералы могли, подобно Анненкову, восторгаться этой жалкой полумерой царского правительства, предоставлявшей юридическую личную свободу крестьянам, но в то же время узаконивавшей новые формы их ограбления.

Брожение, вызванное реформой, распространилось и на студенческую молодежь, которая все настойчивее напоминала о себе правительству демонстрациями протеста.

Видный соратник Чернышевского Шелгунов говорит в своих воспоминаниях об этой эпохе: «Освобождение совершилось в такой тайне, и общее внимание было так напряжено, что каждый ждал гораздо большего, чем получил. Неудовлетворение вызвало недовольство, а недовольство создало революционное брожение. Вот источник эпохи прокламаций… прокламации, точно по уговору, явились все в одно время. Все они принадлежали очень небольшому кружку людей, действовавших отдельно и в глубокой тайне».

Чернышевский был настолько умелым конспиратором, что до сих пор исследователи не могут восстановить сколько-нибудь полную картину его участия в составлении и распространении прокламаций, появившихся а начале шестидесятых годов, и

вообще не могут обрисовать во всех деталях его революционно-организаторскую деятельность. Несомненно одно: революционные кружки, об одном из которых говорит Шелгунов, были вдохновляемы и руководимы Чернышевским. С большой долей вероятности можно сказать также, что та прокламация, которую Шелгунов называет «К народу», является воззванием «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», написанным самим Чернышевским. С блестящим агитационным мастерством раскрыта в ней роль самодержца как первого помещика в стране, осудившего народ на вечную кабалу. Простым и доступным языком прокламация разъясняла, что такое настоящая воля; в ней указывалось, что надо остерегаться преждевременных единоличных выступлений, тщательно подготовиться к борьбе против царя и помещиков и дружно выступить в назначенный срок всем сразу.

Воззвание к «Барским крестьянам» было переписано рукою Михайлова и передано Всеволоду Костомарову, оказавшемуся, как потом выяснилось, провокатором.

Проникновение его в среду революционных демократов стало роковым для Михайлова и сыграло затем свою роль в процессе Чернышевского.

Костомаров служил корнетом в Уланском полку и, кроме того, занимался литературной работой, переводя стихотворения западноевропейских поэтов. Михайлову и Чернышевскому он был рекомендован поэтом-петрашевцем Плещеевым и благодаря этой рекомендации стал печататься в «Современнике».

Плещеева долго потом мучило сознание, что он невольно причинил столько вреда Михайлову и Чернышевскому, но сожалеть уже было поздно…

Костомаров оказался той личностью, с помощью которой властям удалось впоследствии создать хотя бы видимость юридических улик против Чернышевского, чтобы осудить его на каторгу и ссылку.

В пространном письме Плещеева к Пыпину, написанном под непосредственным впечатлением от смерти Чернышевского в октябре 1889 года, рассказано, как удалось провокатору Костомарову проникнусь в среду «Современника».

Плещеев пишет: «В то время, как я жил в Москве, пришел ко мне однажды Ф. Берг, помещавший иногда свои стихи в «Современнике», и привел молодого уланского офицера Всеволода Костомарова, которого рекомендовал мне как даровитого переводчика стихов. Он прочел мне несколько своих переводов… После этого он стал заходить ко мне часто, и я содействовал ему в помещении его стихотворений в журнале.

Сначала он мне понравился, показался скромным, застенчивым молодым человеком… Несколько времени спустя после моего с ним знакомства он задумал ехать в Петербург, сказав мне, что выходит в отставку и желает жить литературным трудом. Он просил дать ему рекомендательное письмо в редакцию «Современника». Я исполнил его желание и рекомендовал его Николаю Гавриловичу и Михаилу Ларионовичу Михайлову как человека, отлично знающего языки… и очень способного к компилятивной работе. Они прекрасно приняли его, обласкали, и в «Современнике» стали появляться его работы…»

В дальнейшем мы увидим, что Костомаров пытался путем подделки письма Чернышевского к «Алексею Николаевичу» (имя и отчество Плещеева) втянуть и своего рекомендателя в соучастники «преступлений» Чернышевского.

По приезде в Петербург Костомарову удалось произвести благоприятное впечатление на Михайлова и Шелгунова. Последний в своих воспоминаниях так рассказывает о появлении Всеволода Костомарова в Петербурге: «Костомаров был уже немного известен, как переводчик Гейне; но, не удовлетворяясь этой известностью и рекомендацией Плещеева, он отрекомендовал себя еще и сам. Он привез революционное стихотворение… напечатанное домашними средствами и с пропечатанною внизу фамилией: «В. Костомаров». Это хвастовство оказалось лучшей рекомендацией… Несмотря на кавалерийский мундир, Костомаров имел довольно жалкий, бедный вид. Но в лице его было что-то, что я объяснял себе совершенно иначе. Лоб у Костомарова был убегающий назад, несколько сжатый кверху, ровный, гладкий, холодный. Костомаров никогда не глядел в глаза и смотрел или вниз, или исподлобья. Не знаю, как Михайлову или Чернышевскому, но мне все это казалось признаком характера…

Костомаров много рассказывал о своей бедности и тех неудовольствиях, которые он выносит дома; особенно он жаловался на брата. Костомаров рассказывал, что когда он завел станок и отпечатал кое-что, брат объявил ему, что донесет на него, если он не заплатит ему полтораста рублей. Мы не особенно внимательно отнеслись к этому пункту, или, вернее, отнеслись особенно внимательно, но не в ту сторону: Костомарову были даны вперед деньги, Чернышевский дал работу в «Современнике» и вообще его окружили таким участием и вниманием, на которое он едва ли рассчитывал. Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать – у нас же оказалась готовность писать…»

Первым пал жертвою предателя Михайлов. Летом 1861 года

он отпечатал в Лондоне, в герценовской типографии, прокламацию «К молодому поколению» и привез ее в Россию с целью распространения. Вскоре после его приезда разнесся слух об аресте Костомарова по делу о тайном печатании московскими студентами нелегальных произведений; арест его произошел якобы по письму-доносу его брата; в действительности письмо это было плодом провокаторской деятельности самого Всеволода Костомарова. С этого времени и начинается его предательская роль в двух самых важных политических процессах начала шестидесятых годов – Михайлова и Чернышевского.

Революционная ситуация, создавшаяся в стране, была настолько очевидна, что даже в правящих кругах признавали, что Россия стоит накануне «пугачевщины». Гнев народа против угнетателей грозил вылиться в широкое революционное движение. Признанным вождем и вдохновителем этого движения считался Чернышевский.

Со времени появления на сцене Костомарова все более и более усиливалось внимание властей к Чернышевскому. В недрах Третьего отделения созревал и вынашивался план расправы с великим революционным демократом и его окружением.

Над головою Чернышевского быстро сгущались тучи… Тяжесть его положения в это время усугублялась тем, что и в личной его жизни одно драматическое событие следовало за другим. За очень краткий промежуток времени, с конца 1860 года до своего ареста в середине 1862 года, он пережил много утрат родных ему по крови или по духу людей. Смерть сына… Смерть отца… Смерть Добролюбова, которого он любил, как брата и сына… Смерть Шевченко… Аресты друзей…

С весны 1861 года болезнь Гавриила Ивановича стала обостряться: все чаще случались припадки сердцебиения, и он с трудом поднимался по лестнице. Получение известий об этом чрезвычайно обеспокоило Николая Гавриловича, и он обратился за советом к знаменитому доктору С.П. Боткину, который заочно прописал рецепт. Лекарство оказало хорошее действие на

Гавриила Ивановича. «Какие плохие здешние доктора – говорил он близким знакомым, – сколько я ни принимал лекарств, прописанных мне ими, я ни разу не чувствовал облегчения, между тем после нескольких приемов лекарства Боткина чувствую себя гораздо лучше». Но когда Гавриил Иванович сообщил об этом сыну, а тот, в свою очередь, Боткину, последний ответил ему: «Если больной чувствует себя хорошо после приема лекарства, то, значит, положение безнадежное: он недолго проживет».

Слова Боткина обеспокоили Чернышевского, и он в середине

августа поспешил выехать в Саратов.

Остановившись в Москве, он посетил Всеволода Костомарова, не подозревая, что последний уже готовился осуществить свой провокационный план с целью предать в руки властей сначала Михайлова, а затем и его самого.

Роковой круг стал уже смыкаться. Теперь на каждом шагу подстерегала его опасность, но он не предполагал, что она так близка и неотвратима. В ту пору, когда он жил в Саратове, в кругу родных и близких людей, над Михайловым в Петербурге уже разразилась катастрофа, предвещавшая беду и Чернышевскому. Полицейские агенты в Петербурге стремились приписать нарастание студенческих волнений пагубному влиянию Чернышевского. Он не знал, что в столице уже пронесся в его отсутствие слух о его аресте.

С какою непосредственной радостью спешил он по приезде в Саратов известить двоюродного брата филолога о той необычной находке, которую случилось ему обрести по пути из Владимира в Нижний Новгород! Он просит Пыпина передать свое письмо об этой находке Добролюбову для напечатания в «Известиях» Академии наук или в «Современнике».

От Владимира до Нижнего Чернышевский ехал в ямщицком тарантасе. Остановившись в Вязниках на постоялом дворе, в ожидании, пока перепрягут лошадей, он разговорился с пожилым степенным мещанином из Коврова, торговавшим, как оказалось, старопечатными книгами и рукописями. Иван Антипович Кувшинников (так звали книготорговца) заметил в разговоре, что у него есть, между прочим, харатейная рукопись XIII века, заключающая в себе «Минию Цветную». Чернышевский выразил желание взглянуть на нее. Кувшинников отправился к своему тарантасу и через несколько минут притащил огромный пергаментный фолиант в кожаном черном переплете с медными застежками. Рассматривая рукопись, Чернышевский увидел, что первые пятьдесят шесть листов и последние сто двадцать были действительно началом и концом «Минин Цветной», а средняя часть рукописи – двести листов – оказалась списком какой-то летописи без начала и конца. Чернышевский пришел в восторг от мысли, что напал на редчайший список русской летописи, который на целое столетие был древнее Лаврентьевского.

– Так это «Миния Цветная»? – спросил он торговца, сдерживая проявление радости.

– Да.

– Давно она у вас в руках?

– Всего третьи сутки.

«Вот почему торговец не успел познакомиться подробнее с

содержанием рукописи», – подумал Чернышевский.

– Где вы достали ее?

– Купил в Москве у государственного крестьянина Малмыжского уезда Офросимова, торгующего старыми книгами.

– Дорого вы надеетесь взять за нее в Нижнем?

– Да, по крайней мере, рублей сто, – сказал Кувшинников не очень уверенным тоном.

– Сто рублей берите, если хотите, в Нижнем: там деньги бешеные, а я вам, пожалуй, дам двадцать пять рублей.

Кувшинников стал торговаться, и, наконец, сошлись они на сорока пяти рублях.

Чернышевскому не с руки была эта покупка, так как денег с ним было мало, но упустить находку ему не хотелось. «Бог знает, кому во владение попадется она в Нижнем, – подумал он, – быть может, раскольникам, у которых пролежит в неизвестности еще десятки лет». Он понимал, что уплаченная им цена слишком низка, и не хотел оставлять в заблуждении Кувшинникова. Когда ямщик сказал Чернышевскому, что тарантас готов, он, улыбнувшись, обратился к торговцу:

– Рукопись, которую вы мне продали, стоит не сорок пять, а я не знаю, сколько рублей: быть может, пятьсот, быть может, тысячу, а то и больше. Но я устрою так, что вы не останетесь в накладе. За сколько я продам ее по возвращении своем в Петербург, все передам вам, только вычту свои сорок пять рублей. Вот вам мой петербургский адрес…

Сказав это, Чернышевский направился к тарантасу, простившись с изумленным Кувшинниковым, и через минуту уже выехал с постоялого двора…

Никогда еще расставание Николая Гавриловича с отцом не было столь грустным, как в этот раз. Предчувствуя, что это свидание было последним, он плакал, прощаясь с отцом, но не сказал никому ни слова о мнении Боткина насчет болезни Гавриила Ивановича.

Во время пребывания Чернышевского в Саратове дом их стал часто посещать саратовский полицмейстер, который очень хотел познакомить своего сына с Николаем Гавриловичем, утверждая, что сын его большой поклонник писательского таланта Чернышевского. Однако Николай Гаврилович уклонился от этого знакомства, а впоследствии Н.Д. Пыпин узнал случайно от одного из чиновников, служивших в канцелярии губернатора, что последний получил перед приездом Николая Гавриловича в Саратов секретное предписание учредить слежку за Чернышевским и не давать ему заграничного паспорта, если он обратится с подобною просьбой.

В двадцатых числах сентября в Петербурге начались волнения и демонстрации студентов, вызванные распоряжением властей о закрытии университета. 25 сентября, после сходки, сотни студентов направились через Невский проспект на Колокольную улицу, к квартире попечителя учебного округа Филипсона. «Это было, действительно, еще никогда невиданное зрелище, – пишет Шелгунов. – Студенты длинной колонной, в ширину панели, шли медленно по Невскому, привлекая толпы любопытных, не понимавших, что это за процессия и куда она направляется…» По распоряжению начальника штаба корпуса жандармов были вытребованы полицейские и жандармские команды. Попечитель округа обманно успокоил студентов, обещав им, что лекции начнутся на следующей неделе. Демонстранты разошлись, а ночью были произведены многочисленные аресты студентов.

Полицейские агенты доносили, что во время демонстрации один из студентов явился на квартиру Чернышевского с сообщением о начавшихся волнениях. Чернышевский же, как говорилось в доносе, вышел из своей квартиры на улицу, подошел к толпе и беседовал со студентами.

В другом донесении говорилось, что один офицер стрелкового батальона, выступавший на сходках, рассказывал нескольким студентам в гостинице, что литератор Чернышевский занимается теперь составлением адреса государю с жалобами на действия властей и в случае невозможности довести этот адрес до сведения царя будет распространять его в городе.

В третьем донесении передавался слух о Чернышевском как составителе прокламации, вывешенной в университете незадолго до его закрытия.

Уже вскоре по возвращении в столицу Чернышевский писал отцу: «Нашел я Петербург встревоженным разными слухами по поводу введения новых правил в университете. Тут молва, по обыкновению щедрая на выдумки, приплетала множество имен, совершенно посторонних делу. Не осталось сколько-нибудь известного человека, о котором не рассказывалось бы множество нелепостей. Подобные вздорные толки могут доходить и до Саратова. Я не упоминал бы о них, если бы не считал нужным предупредить Вас, чтобы Вы не беспокоились понапрасну».

Нас не должен обманывать этот тон человека, будто бы и вовсе не причастного к тому делу, о котором он рассказывает, и даже равнодушного к нему. Этот тон очень хорошо знаком нам еще по юношеским письмам Чернышевского. Ведь почти в таких же выражениях студент Петербургского университета писал своим родным в Саратов в самом начале 1850 года о «пустом

шуме», поднятом в столице в связи с делом Петрашевского. Пусть они не думают, что здесь было что-нибудь серьезное. Никакого внимания не заслуживало это дело. «Кажется, жалели, что и подняли шум из-за него; но раз поднявши шум, разумеется, уже нельзя же было кончить ничем».

Вот и теперь он спешит предупредить и успокоить больного отца, до которого могут дойти слухи о причастности сына к волнениям и беспорядкам, происходящим в столице.

Через двадцать дней после того, как было написано это письмо, Гавриила Ивановича не стало…

События в Петербурге принимали все более угрожающий характер. 12 октября, после столкновения студентов с войсками, были произведены массовые аресты (свыше двухсот человек). Все арестованные были доставлены в крепость и затем на другой день под строгим конвоем в Кронштадт до разбора их дела следственной комиссией.

Теперь полиция уже не выпускала Чернышевского из поля своего зрения ни на один час. За его квартирой была установлена систематическая слежка. Прислуга была подкуплена.

По сводкам наблюдателей полиция знала, кто посещает Чернышевского и кого посещает он сам. Она знала, что он «велел допускать к нему ежедневно не всех, а принимать во всякое время только нижепоименованных лиц: Некрасов, Панаев, Антонович, Огрызко, Добролюбов, Кожанчиков, Елисеев, Городков, Пекарский, Серно-Соловьевич, Воронов, Боков». Для остальных посетителей Чернышевский назначил среду, до трех, «в этот день у него бывает чрезвычайно много посетителей, не исключая офицеров».

Агенты приметили, что с некоторого времени Ольга Сократовна сама стала встречать в дверях посетителей Чернышевского, тогда как прежде дверь им открывала гувернантка. Они обратили внимание и на то, что Чернышевскую теперь часто можно было видеть у второго от подъезда окна: она пристально следила глазами за каждым, кто направляется в этот подъезд.

Иногда она сопровождала Николая Гавриловича, если он выезжал из дому по делам. Как-то раз следивший за ними агент увидел, что, дожидаясь мужа около одного из домов на Васильевском острове, Ольга Сократовна дважды выходила из саней, поднималась на крыльцо и все всматривалась в прохожих, как бы стремясь распознать, кто ведет секретное наблюдение за действиями ее мужа.

Полиции было известно, что в последнее время Чернышевский чаще всего бывает у больного Добролюбова.

Дни жизни любимого друга Чернышевского были уже сочтены. Туберкулез, обострившийся вследствие тяжелых душевных переживаний, связанных с начавшимися арестами революционеров и жестокой расправой со студентами, сломил его. «Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, окончательно придушили его, он слег в постель, чтобы уже не встать с нее», – свидетельствует Антонович.

В воспоминаниях Авдотьи Панаевой сохранилось описание его последних минут в ночь с 16 на 17 ноября:

«Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась долго, и, что было особенно тяжело, умирающий не терял сознания.

За час или два до кончины у Добролюбова явилось столько силы, что он мог дернуть за сонетку у своей кровати… Я подошла к нему, и он явственно произнес: «Дайте руку…» Я взяла его руку, она была холодная… Он пристально посмотрел на меня и произнес: «Прощайте… подите домой! скоро!» Это были его последние слова… в два часа ночи он скончался».

20 ноября состоялись похороны Добролюбова на Волковом кладбище. В одном из донесений агентов Третьего отделения дано описание этого дня:

«Сегодня, в 9 ½ часов утра, был вынос тела умершего 17-го числа литератора Добролюбова. В квартиру его на Литейной собралось более 200 человек литераторов, офицеров, студентов, 6 гимназистов и других лиц. Всем бывшим там раздавали его визитные карточки. Гроб несли на руках до самого кладбища, но похороны его были довольно бедные. В кладбищенской церкви, во время отпевания тела, намеревались было говорить речи, но священники этого не позволили.

Когда гроб вынесли на паперть, то выступил Некрасов и стал говорить весьма невнятно, сквозь слезы, почти шепотом о причине смерти Добролюбова, приписываемой им сильному душевному горю, вследствие многих неприятностей и неудач, присовокупив, что он умер, к несчастью, слишком рано, мог еще много совершить, ибо он занимался делом, а не голословил, и советовал последовать его примеру. Речь Некрасова трудно было расслышать.

Потом говорил Чернышевский. Начав с того, что необходимо объяснить собравшейся публике о причине смерти Добролюбова, Чернышевский вынул из кармана тетрадку и сказал: «Вот, господа, дневник покойного, найденный мною в числе его бумаг[45]: он разделяется на две части – на внесенное им в оный до отъезда за границу и на записанное после его возвращения. Из

этого дневника я прочту вам некоторые заметки, из которых вы ясно увидите причину его смерти; лиц я называть не буду, а скажу только: N. N.».

Тут Чернышевский начал читать статей восемь, приблизительно следующего содержания:

«Такого-то числа пришел ко мне (Добролюбову) N. N. и объявил мне, что в моей статье сделано много помарок.

Такого-то числа явился ко мне N. N. и передал, что за мою статью, которая была напечатана там-то, он получил выговор.

(Подобного содержания было несколько параграфов).

Такого-то числа получено известие, что в Харьковском университете были беспорядки.

Получено уведомление, что беспорядки были и в Киеве.

Дошли сведения, что некоторые из «наших» сосланы в Вятку; другие же – бог знает, что с ними стало.

Получено сведение из Москвы, что в одной из тамошних гимназий удавился воспитанник за то, что его хотели заставить подчиниться начальству».

«Но главная причина его ранней кончины, присовокупил Чернышевский, состоит в том, что его лучший друг[46] – вы знаете, господа, кто! – находится в заточении…»

В заключение Чернышевский прочитал два довольно длинных стихотворения Добролюбова, в весьма либеральном духе написанные, из которых первое оканчивалось словами:

«Прости, мой друг, я умираю оттого, что честен был»; а второе словами: «И делал доброе я дело среди царующего зла!»

Вообще вся речь Чернышевского, а также и Некрасова, клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, – одним словом, что правительство уморило его.

Из бывших на похоронах двое военных в разговоре между собою заметили: «Какие сильные слова, чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют…»

Повидимому, уже начиная со второй половины 1861 года, царское правительство готовилось в самом недалеком будущем «обезвредить» Чернышевского. Опасаясь, что он, разгадав этот план, покинет пределы России, министр внутренних дел Валуев отдал секретное распоряжение всем губернаторам о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта. Третье отделение продолжало вести систематическую слежку за квартирой писателя. В агентурных донесениях перечислялись имена и фамилии всех посетителей его квартиры с указанием рода их

занятий: в таком-то часу, такого-то числа у Чернышевского были такие-то студенты, такой-то литератор, такой-то офицер…

Сто тринадцать подобных донесений, отмечавших, кто посещал Чернышевского и куда он отлучался сам, накопилось с осени 1861 года до дня его ареста. Не довольствуясь «наружным наблюдением», полиция позаботилась и о «внутреннем». В один из декабрьских дней подкупленная служанка Чернышевских доставила в Третье отделение бумаги, отданные ей Николаем Гавриловичем для сожжения.

В доносах, направляемых в Третье отделение, ярые крепостники требовали скорейшей расправы с вождем освободительного движения: «…ежели вы не удалите его, то быть беде, – будет кровь, – ему нет места в России – везде он опасен… скорее отнимите у него возможность действовать… Избавьте нас от Чернышевского – ради общего спокойствия», – взывали к полиции враги великого демократа.

Самому Чернышевскому они направляли анонимные письма, полные угроз и оскорблений.

Травля Чернышевского реакционной печатью, также носившая характер доносов, достигла в это время апогея. В одной из статей «Современника» отмечалось, что особенно ревностно этим делом была занята газета «Северная пчела», предполагавшая даже учредить раздел под названием *Чернышевщина.* «Все зла, какие только содеваются в мире, непременно содеваются по злоумышлению Чернышевского или при его несомненном участии, видимом или невидимом содействии, влиянии и т. п.».

Доклад шефа жандармов Долгорукова о внутреннем состоянии России в 1861–1862 годах, представленный Александру II в апреле 1862 года, заканчивался предложением произвести одновременно строжайший обыск у пятидесяти лиц, среди которых на первом месте значилось имя Чернышевского с такою характеристикой: «Подозревается в составлении воззвания «Великорусс», в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству».

Далее в этом проскрипционном списке стояли имена близких к Чернышевскому лиц: подполковника Н. Шелгунова, подполковника Н. Обручева, братьев Серно-Соловьевичей, доктора П. Бокова, литераторов Г. Елисеева, М. Антоновича и других. В характеристиках, данных этим лицам, подчеркивались их «преступные сношения с Чернышевским».

14 декабря 1861 года на Сытной площади в Петербурге Михайлову был публично объявлен судебный приговор, по которому он ссылался на двенадцать с половиной лет на каторжные работы в Сибирь. День этот, конечно, был выбран

мстительными палачами с явным умыслом: ведь прокламация Михайлова «К молодому поколению» заканчивалась призывом, в котором он напомнил русским революционерам об этой славной дате: «Готовьтесь сами к той роли, какую вам придется играть… ищите вожаков, способных я готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников *14 Декабря».*

И вот в шестом часу утра 14 декабря Михайлова, обритого по-арестантски и закованного в кандалы, повезли в «позорной» колеснице на Сытную площадь, чтобы совершить там над ним издевательский обряд «гражданской казни». Одетый в серую арестантскую шинель, Михайлов сидел в повозке спиною к кучеру. Повозку сопровождали три взвода верховых казаков.

По прибытии на площадь Михайлова повели на эшафот и при барабанном бое военного наряда поставили на колени. Один из чиновников прочитал ему приговор, после чего палач переломил над его головой заранее подпиленную шпагу. Было еще темно, и потому площадь почти пустовала, только уже к концу казни стал собираться народ. Чиновник читал приговор так тихо и невнятно, что никто даже не расслышал фамилии казнимого. В толпе шли толки, что казнят какого-то генерала, но за что – неизвестно, говорили также, что он хотел сменить царя и всех министров. Михайлов был спокоен, но бледен, и во все время не произнес ни слова. Ни друзья Михайлова, ни студенческая молодежь не знали о назначенной казни и потому отсутствовали. Опасаясь демонстраций со стороны студентов, власти опубликовали сообщение о предстоящей церемонии только в самый день казни.

Близким друзьям Михайлова дано было разрешение проститься с ним перед отправлением его в Сибирь, которое должно было состояться вечером 14 же декабря. Некрасов, Шелгуновы, Чернышевский, Ольга Сократовна и другие посетили его в крепости.

Вскоре был отправлен на каторгу и другой сотрудник «Современника» – Владимир Обручев, обвиненный в распространении нелегального листка «Великорусе».

В столице, как и во всей стране, было неспокойно. В конце мая 1862 года начались знаменитые петербургские пожары.

Горели Апраксин двор, Большая и Малая Охта… Огнем уничтожено было много домов между Апраксиным рынком и Троицкой улицей. Все это пространство превратилось в огненную площадь, освещавшую по ночам небо багровым заревом. В иные дни пожары возникали десятками, охватывая целые кварталы. В душной мгле порывистый ветер разносил по воздуху дым, сажу и пепел.

Тысячи людей, лишившихся крова и имущества, бродили с узлами по площадям и улицам. Ворота и подъезды домов были заперты. По городу ходили патрули. Быстро распространялись тревожные слухи о поджогах, о том, что виновниками их являются студенты, поляки и господа, недовольные освобождением крестьян. Агенты полиции, которые и были организаторами пожаров, стремились приписать их действиям революционной организации. Провокационная цель обвинения была ясна: возбудить ненависть к студенческой молодежи и оправдать репрессии правительства.

А репрессии следовали одна за другой: правительство закрывало воскресные школы, народные читальни, приостанавливало издание газет и журналов.

Вскоре после пожаров был закрыт по распоряжению военного генерал-губернатора Шахматный клуб, основанный в январе 1862 года по инициативе Чернышевского и его друзей. Первоначально в нем состояло более ста человек. Тут было много писателей, журналистов, офицеров, педагогов. Из близких Чернышевскому людей клуб посещали: Н. Серно-Соловьевич, Помяловский, Некрасов, Н. Утин, В. Курочкин и др.

Шахматы не играли здесь серьезной роли: в сущности, они служили лишь для маскировки иных целей, – клуб явился удобным местом для встреч и впоследствии должен был, повидимому, превратиться в своеобразный штаб активных деятелей революционного подполья.

Подосланный Третьим отделением провокатор отмечал, что Чернышевский играет здесь «важную роль оратора» и что отсюда исходят «революционные замыслы».

В упомянутом докладе шефа жандармов Александру II Шахматный клуб прямо назван литературным обществом, в котором происходят ежедневные сходки и где студенты совещаются с выдающимися общественными деятелями.

В эту пору идейное влияние Чернышевского на разночинную революционно настроенную интеллигенцию было исключительно велико.

Тяжелые утраты, перенесенные им, не могли сломить его духа. Великий борец за народное дело продолжал и в этих сложных условиях свою многостороннюю деятельность.

Власти, напуганные возможностью народного восстания, беспощадно расправлялись с носителями передовых, освободительных идей. Царское правительство хотело подавить не только крестьянские бунты, но и всякое проявление свободной мысли в обществе. В глазах правящих кругов литература и наука были самыми опасными рассадниками «революционной заразы».

Правительство преследовало их, тщетно силясь держать в немом оцепенении духовную жизнь страны.

Летом 1862 года журнал «Современник» был запрещен на восемь месяцев. Чернышевский писал Некрасову, находившемуся в Москве: «Мера эта составляет часть того общего ряда действий, который начался после пожаров, когда овладела правительством мысль, что положение дел требует сильных репрессивных мер. Репрессивное направление теперь так сильно, что всякие хлопоты были бы пока совершенно бесполезны. Поэтому приезжать Вам теперь в Петербург по делу о «Современнике» совершенно напрасно…»

Чернышевский превосходно понимал, что кара, постигшая «Современник», последовала главным образом из-за его собственных статей.

Дни свободы его были уже сочтены. Полиция ждала только предлога, чтобы пресечь его деятельность.

Летом 1862 года такой предлог представился. Агентами правительства было отобрано на границе у некоего Ветошникова, вернувшегося в начале июля из Лондона, письмо Герцена к Н. Серно-Соловьевичу с припиской: «Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве – печатать предложение об этом? Как вы думаете?»

Упоминание имени Чернышевского в письме Герцена было сочтено достаточно благовидным предлогом для того, чтобы арестовать его.

Близкие знакомые Николая Гавриловича – молодой сотрудник «Современника» Антонович и доктор Боков – были свидетелями драматической сцены, разыгравшейся 7 июля 1862 года в квартире Чернышевского на Большой Московской улице.

В этот день Антонович зашел около полудня к Чернышевскому поговорить об издании собрания сочинений Добролюбова. Николай Гаврилович был в квартир один, так как домашние его – Ольга Сократовна с сыновьями Александром и Михаилом – гостили в Саратове.

Вскоре подоспел и Боков, и они втроем перешли из кабинета в зал. Прошло более часа, и вдруг мирная их беседа была прервана резким звонком в передней. Через минуту в зал вошел офицер и сказал, что ему нужно видеть Чернышевского.

– Я – Чернышевский, к вашим услугам, – выступил вперед Николай Гаврилович.

– Мне нужно поговорить с вами наедине, – сказал офицер.

– А, в таком случае пожалуйста ко мне в кабинет, – проговорил Николай Гаврилович ад, как рассказывает Антонович, поспешно устремился из зала.

Оторопевший офицер сначала растерянно бормотал:

– Где же кабинет? Где же кабинет?

Но через некоторое время он громко воскликнул:

– Послушайте, укажите мне, где кабинет Чернышевского, и проводите меня.

Тогда из передней явился пристав Мадьянов и провел офицера в кабинет.

Возвратившись оттуда, он стал убеждать Антоновича и Бокова уйти из квартиры.

– Но мы перед уходом непременно пойдем проститься с хозяином, – заявил Антонович.

Войдя в комнату, они увидели, что Николай Гаврилович и жандармский полковник сидели у стола. Николай Гаврилович в эту минуту проговорил:

– Нет, моя семья не на даче, а в Саратове.

– До свидания, Николай Гаврилович, – сказал Антонович.

– А вы разве уже уходите? – спросил Чернышевский. – И не подождете меня? Ну, так до свидания!

И он, высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича.

Полковник Ракеев, производивший обыск у Чернышевского, в 1837 году сопровождал тело Пушкина, тайно вывезенное ночью из Петербурга в Святогорский монастырь. Этот же Ракеев делал первый обыск и у Михаила Ларионовича Михайлова в сентябре 1861 года.

Тщательным образом обыскав теперь всю квартиру Чернышевского, Ракеев отобрал рукописи и письма, показавшиеся ему особенно подозрительными, а также «недозволенные книги» и, сложив все это с помощью квартального в большой холщовый мешок, запечатал.

Гремя саблей, расхаживал Ракеев из комнаты в комнату, по-собачьи обнюхивая все и ко всему прикасаясь какими-то воровскими движениями.

Когда обыск был, наконец, закончен, Ракеев, составив с квартальными акт, обратился к Чернышевскому со словами:

– Выполняя приказание управляющего Третьим отделением генерал-майора Потапова, я принужден пригласить Вас, милостивый государь, с собою.

Тотчас после обыска Чернышевский был доставлен в Петропавловскую крепость и заключен в Алексеевский равелин, где содержались наиболее опасные, с точки зрения правительства, «преступники».

Несмотря на усиленную предварительную слежку тайной полиции, власти не располагали никакими юридическими

доказательствами нелегальной деятельности Чернышевского. Они надеялись, что обыск, сделанный в его квартире, даст им в руки необходимые документы и материалы. Однако и тут они просчитались: ничего криминального в бумагах Николая Гавриловича не было обнаружено.

Тогда Александр II и его приспешники решили сделать Чернышевского жертвой гнусной провокации, главную роль в которой должен был сыграть предатель Костомаров.

Для осуществления этого плана потребовалось немало времени. Лишь по прошествии четырех месяцев после ареста Чернышевский был вызван на первый допрос, и ему было предъявлено в весьма неопределенной форме обвинение в «сношении с русскими изгнанниками и другими лицами, распространяющими злоумышленную пропаганду». Чернышевский категорически опроверг это обвинение.

Медлительность действий следственной комиссии по делу Чернышевского объяснялась тем, что она вела в это время усиленную подготовку к закрытому процессу: подыскивала лжесвидетелей, подтасовывала факты, сочиняла подложные записки и письма, изобретала «улики», чтобы иметь возможность «юридически» обосновать заранее задуманную расправу над вождем русского освободительного движения шестидесятых годов.

Царь горел желанием избавиться от ненавистного ему великого революционера. Об этом красноречиво свидетельствует письмо Александра II к брату Константину: «…в самый день моего отъезда, по сведениям, сообщенным из Лондона, должно было сделать несколько новых арестаций, между прочим, Серно-Соловьевича и Чернышевского. Найденные бумаги доказывают явно сношения их с Герценом и целый план революционной пропаганды по всей России. В этих же бумагах есть указание и на других главных деятелей, как в столицах, так и в провинции. Так что есть надежда, что мы, наконец, напали на настоящий источник всего зла. Да поможет нам бог остановить дальнейшее его развитие».

«Как я рад известию об арестовании Серно-Соловьевича и, особенно, Чернышевского. Давно бы пора с ними разделаться», – отвечал Константин.

Около двух лет понадобилось властям для того, чтобы разыграть акт за актом инсценировку «процесса». С необычайным мужеством и самообладанием, с исключительной. изобретательностью и неумолимой логикой Чернышевский разрушал одну за другой все уловки своих обвинителей.

По ходу первых допросов Чернышевский увидел, что у

следственной комиссии нет материалов и документов, проливающих свет на его подпольную революционную деятельность. В письмах из крепости, адресованных царю и петербургскому военному генерал-губернатору Суворову, он смело указывал на умышленное затягивание властями его дела и требовал немедленного освобождения из-под ареста.

Зная вместе с тем, что впереди ожидают его, быть может, тягчайшие испытания, он готов был встретить их во всеоружии. «Скажу тебе одно, – писал он жене из крепости, – наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о вас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь».

В сношениях с тюремной администрацией и с комендантом крепости генералом Сорокиным он держится независимо и гордо. Некоторые письма его к коменданту написаны в третьем лице: «Чернышевский считает…», «Чернышевский просил бы уведомить…», «По мнению Чернышевского…»

Иногда в тоне его записок слышатся повелительные нотки, иногда сквозит ирония и презрение.

Не получая положительного ответа на просьбы о свиданиях с женой, Чернышевский объявил однажды голодовку, и власти вынуждены были в конце концов уступить ему. В феврале 1863 года Ольга Сократовна получила разрешение на первое свидание с мужем в присутствии представителей тюремной администрации. Оно длилось около двух часов. Ольга Сократовна рассказывала потом родным, что Николай Гаврилович внешне изменился, отпустил бороду и очень похудел. Держался, однако, бодро, был даже весел, шутил, утешая ее, и говорил, что сидит в крепости только потому, что власти не знают, как теперь поступить с ним. «Взяли по ошибке, обвинения не могли доказать, а между тем шуму наделали».

Он просил присылать ему журналы и книги. Зная широту его интересов, родные направляли ему книги по истории, философии, математике, литературе. За долгие месяцы предварительного заключения он перечитал сочинения Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, Помяловского, Диккенса, Флобера, Жорж Санд и многих других.

Он неутомимо и непрестанно занимался в крепости обширной творческой и исследовательской работой. Объемы ее колоссальны. Он писал в среднем по двенадцати печатных листов в месяц.

Е.Н. Пыпина, навещавшая Чернышевского в крепости, удивлялась его способности почти одновременно писать о политической экономии, работать над романом, переводить, собирать материал для исторического сочинения… «Ведь это просто чудеса в том положении, в каком он находится».

А палачи Чернышевского – следственная комиссия и Третье отделение, – заручившись «высочайшим соизволением», фабриковали в это время с непревзойденным цинизмом его «дело».

Оно зиждилось на согласованных с тайной полицией провокационных письмах Костомарова к вымышленным лицам. По замыслу режиссеров процесса эти письма предателя должны были изобличить Чернышевского. В дело были пущены также фальшивые автографы Чернышевского, состряпанные Костомаровым. Ложные показания последнего комиссия надумала подкрепить свидетельствами подкупленного московского мещанина Яковлева. Правда, Яковлев, вызванный для дачи показаний по этому делу, успел несколько скомпрометировать планы начальства буйным поведением и невольным саморазоблачением в пьяном виде. Однако и это не смутило жандармов. Всячески затягивая и запутывая дело, следственная комиссия хотела взять узника измором, но Чернышевский был непреклонен. Во время одной из очных ставок со Всеволодом Костомаровым он решительно заявил своим судьям: «Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю».

XXVI. «Что делать?»

В воскресный февральский день 1863 года бедно одетый чиновник переходил Литейную улицу у Мариинской больницы. Он не заметил бы лежавшего на мостовой свертка, если бы не задел его ногою. Сначала чиновник обрадовался, но находка тотчас же и разочаровала его: в свертке оказалась довольно объемистая рукопись со странным заголовком «Что делать?»

Подождав, не вернется ли кто искать утерянную рукопись, он побрел домой, раздумывая, как поступить с нею дальше.

Случилось это 3 февраля, а через день в «Ведомостях Санкт-Петербургской полиции» появилось объявление:

«ПОТЕРЯ РУКОПИСИ. В воскресенье 3 февраля, во втором часу дня, проездом по Большой Конюшенной от гостиницы Демута до угольного дома Каппера, а оттуда через Невский проспект, Караванную и Семеновский мост до дома Краевского, на углу Литейной и Бассейной, обронен сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием *«Что делать?»*. Кто доставит этот сверток в означенный дом Краевского, к Некрасову, тот получит пятьдесят рублей серебром».

В объявлении шла речь о рукописи первых глав ставшего вскоре знаменитым романа Чернышевского.

Его автор уже семь месяцев находился в предварительном заключении в Петропавловской крепости, где им и был написан этот роман.

Работа над ним была начата Чернышевским на пятом месяце пребывания в крепости – 14 декабря 1862 года. Он писал его в промежутках между допросами, объявлениями голодовок (как раз в день потери Некрасовым первых глав рукописи «Что делать?» доктор Петропавловской крепости доносил коменданту об объявлении Чернышевским очередной голодовки), составлением протестующих писем к коменданту крепости Сорокину, генерал-губернатору Петербурга Суворову и т. п.

26 января 1863 года начало рукописи «Что делать?» было переслано из крепости обер-полицмейстеру для передачи двоюродному брату Чернышевского Пыпину с правом напечатать ее «с соблюдением установленных для цензуры правил».

От Пыпина рукопись поступила к Некрасову, который, не дожидаясь окончания романа, решил печатать его в «Современнике».

Он сам повез рукопись в типографию Вульфа, находившуюся недалеко от его квартиры – на Литейной, около Невского, но

неожиданно быстро возвратился с дороги домой.

– Со мной случилось большое несчастье, – сказал Некрасов жене взволнованным голосом: – я обронил рукопись!.. И чорт понес меня сегодня выехать на дрожках, а не в карете! И сколько раз прежде я на «ваньках» возил массу рукописей в разные типографии и никогда листочка не терял, а тут близехонько, и не мог довезти толстую рукопись!

Прошло четыре дня. Трижды появлялось в «Ведомостях Санкт-Петербургской полиции» объявление о потере рукописи, но никто не откликался.

– Значит, погибла она, – говорил Некрасов в отчаянии и упрекал себя, зачем он не напечатал объявления во всех газетах и не назначил еще большего вознаграждения.

И только на пятый день Некрасов, обедавший в Английском клубе, получил из дому короткую записку: «Рукопись принесли…»

Еще месяца за два до начала работы над романом «Что делать?» Чернышевский в письме к Ольге Сократовне сообщал, что задумал составить «Энциклопедию знания и жизни», доступную не одним только ученым, но самым широким слоям читателей. «Потом я ту же книгу переработаю в самом легком, популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остротами, так, чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов».

«Что делать?» и было первым звеном в осуществлении этого плана. Речь шла не о каком-нибудь академическом трактате, а об энциклопедии борьбы за социальное переустройство общества, за счастливое будущее родины и своего народа. Но говорить об этом прямо и открыто в письме из крепости было, разумеется, невозможно.

«Чепуха в голове у людей, – писал он дальше, – потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить».

О возврате к публицистике и критике теперь не могло быть и речи. Но не так легко было сломить волю Чернышевского. И в крепости, и впоследствии в Сибири, и по возвращении из вилюйской ссылки он продолжал неутомимо работать.

Ожидая решения следственной комиссии, он усиленно занялся переводами различных исторических сочинений, стал писать роман «Что делать?», повести и рассказы. Здесь, в крепости, кроме романа «Что делать?», им были написаны «Алферьев», «Повести в повести», «Автобиографические отрывки» и «Мелкие рассказы».

Вот при каких обстоятельствах пришлось великому ученому и революционеру избрать беллетристику орудием для решения

политических вопросов и задач.

Его роман был тенденциозен, публицистичен; таким и должно было быть произведение, написанное революционером и бойцом.

Находясь под следствием, Чернышевский в одном из показаний хитроумно писал членам следственной комиссии: «Я издавна готовился быть, между прочим, и писателем беллетристическим. Но я имею убеждение, что люди моего характера должны заниматься беллетристикою только уже в немолодых годах, – рано им не получить успеха. Если бы не денежная необходимость, возникшая от прекращения моей публицистической деятельности моим арестованием, я не начал бы печатать романа и в 35-летнем возрасте. Руссо ждал до старости. Годвин также. Роман – вещь, назначенная для массы публики, дело самое серьезное, самое стариковское из литературных занятий. Легкость формы должна выкупаться солидностью мыслей, которые внушаются массе. Итак, я готовил себе материалы для стариковского периода моей жизни». (Чернышевский таким образом старался отвлечь внимание комиссии от опасных высказываний, обнаруженных в его юношеских дневниках, желая выдать их за наброски будущих романов.)

Мы вправе улыбнуться над этим подцензурным признанием, проникнутым тайной иронией. Чернышевский не приступал к беллетристике, конечно, не потому, что «люди его характера должны заниматься беллетристикою уже в немолодых годах». Не эти соображения отдаляли Чернышевского от занятий беллетристикой. Предшественник научного социализма в России на первом плане ставил проповедь социалистических идей, популяризацию и пропаганду материализма, призыв к революционным действиям. И не денежная необходимость заставила узника Алексеевского равелина взяться за роман. Страстный революционер, в любых условиях ни на минуту не покладавший рук, избрал беллетристику последним орудием, позволявшим ему в замаскированной форме выражать свое политическое мировоззрение.

«Что делать?» служит именно этой цели автора. Недаром открытая тенденциозность романа, его просветительская направленность вызвали у современников враждебного лагеря бешеный отпор, у эстетов, ратовавших за «аполитичность» искусства, гримасу деланого презрения, ибо и те и другие увидали в романе контуры стройной системы, направленной на разрушение традиционных твердынь буржуазной морали.

Но то, что обнаружилось при внимательном рассмотрении,

ускользнуло в первую минуту от взгляда полицейской комиссии, занятой поисками немедленных и грозных улик против Чернышевского и потому рассеянно взиравшей на это «стариковское занятие» беллетристикой.

Чернышевский, правда, постарался и сам усыпить внимание начальства. Обращаясь за разрешением купить и переводить XVI том «Истории» Шлоссера, он доводил до сведения комиссии, что «начал писать беллетристический рассказ, содержание которого, конечно, совершенно невинно, взято из семейной жизни и не имеет никакого отношения ни к каким политическим вопросам».

Трудно сказать, продиктованы ли эти строки осторожностью или желанием поиздеваться над недогадливостью врагов. Во всяком случае мы знаем, что начало романа, просмотренное членом комиссии Каменским, было получено А.Н. Пыпиным.

Предполагают далее, что цензор «Современника», видя на рукописи печать и шнуры следственной комиссии князя Голицына, не решился наложить вето на роман, уже миновавший благополучно столь высокую и «компетентную» инстанцию.

Счастливая ли случайность в виде этой ведомственной путаницы, вызванной продвижением романа сверху вниз по цензурной лестнице, или действительная недальновидность цензора «Современника» была причиной разрешения романа к печати – сказать с уверенностью нельзя. Но важно подчеркнуть здесь, что Чернышевский очень остроумно попытался выдать свой политический роман за чисто «семейное чтение» и – кто знает? – может быть, в какой-то мере способствовал этим спасению романа для «Современника».

Ведь схватилось же правительство за голову, когда роман уже закончился печатанием в журнале, и подчеркнуло запоздалым запретом «Что делать?» оплошность следственной комиссии и журнальной цензуры, уволив вдобавок нерадивого цензора Бекетова. Заметим, кстати, что подобные случаи бывали со статьями Чернышевского до ареста. Одна из его крупнейших теоретических работ по изучению классовой борьбы в Западной Европе – «Июльская монархия» (1860 г.), сделанная с расчетом усыпить бдительность цензуры спокойствием тона и «объективностью» изложения, с успехом миновала цензурный лабиринт и лишь после появления в «Современнике» вызвала запоздалые порицания «прозревших» наблюдателей за умами.

Роман, начатый 14 декабря 1862 года, по частям пересылался через следственную комиссию в редакцию журнала «Современник», где и был напечатан в третьей, четвертой и пятой книгах.

Современная Чернышевскому критика упорно сопоставляла

«Что делать?» с романом Тургенева «Отцы и дети», указывая на полемическую направленность романа Чернышевского против «Отцов и детей». Прямой отпор тургеневскому изображению «нигилизма» не был главной целью романа «Что делать?», но многое в нем, несомненно, давало повод к противопоставлению этих произведений. В романе Чернышевский хотел показать настоящее лицо *новых людей,* с их особой моралью, с их стремлениями и надеждами, со всей сложностью их внутреннего мира; изобразить их схватку с «допотопными» людьми, с отживающим крепостническим обществом не как борьбу отцов и детей, а как столкновение социальных сил.

Таких героев, как Лопухов, Кирсанов, Вера и тем более Рахметов, русская литература до романа Чернышевского не знала вовсе. Необычны были их мысли, поступки, желания, отношения между собой и отношение к жизни, к окружающим. Они не напоминают ни Рудиных, ни Олениных, ни Базаровых. Они внутренне цельны, они люди не только убеждения, но и дела, не только теории, но и практики, материалистической теории и революционной практики. «Недавно зародился у нас этот тип, – говорит автор. – Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они были исключениями и, как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными и от этого бездействовали, или унывали, или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то-есть не могли иметь *главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности…* Недавно родился этот тип и быстро распложается. Он рожден временем, он знамение времени…»

Это была реальная, растущая сила, которая несла с собой освободительные идеи шестидесятых годов.

Сам Чернышевский называет много раз своих героев «хитрецами» за то, что они толкуют о своей полной приверженности «теории эгоизма». Однако за таким наименованием «хитрой теории» кроется совсем иная ее сущность.

Вся «хитрость» новых людей, так страстно приверженных своей «мудреной» теории, заключалась в том, что они в этом случае как бы играли словами: «эгоизм» их – это псевдоним горячей любви к угнетенному народу.

С термином «эгоизм» у каждого человека, естественно, связано представление о себялюбии, об извлечении из всего личных выгод, о равнодушии личности к окружающим. Чернышевский же своей теорией *разумного* эгоизма стремился показать, что только на путях неразрывного слияния

общественных интересов с личными мыслимо подлинное счастье отдельного человека.

Это была теория революционной морали «новых людей», осознавших свою глубокую органическую спаянность с коллективом.

Мое благо, говорят герои «Что делать?», – благо всех. Мое счастье – счастье большинства. Моя выгода – выгода общая. Для них это были не книжные фразы, не туманные стремления, не отвлеченные рассуждения о высоких материях, а основное жизненное убеждение. Этих людей, видевших цель и смысл жизни в труде, объединяло стремление сделать всех людей труда свободными, счастливыми и радостными, объединяла ненависть к миру праздной роскоши, к миру эксплуатации, деспотизма и невежества.

Эта теория помогала Чернышевскому дать материалистическое объяснение поведению и поступкам своих героев. Правда, это объяснение еще не чуждо домарксового представления о неизменной человеческой природе, в силу которой интересы отдельной личности совпадают с интересами всего общества, но практически оно давало основы активной, разумной революционной морали.

Содержание романа, взятое из «семейной жизни», на первый взгляд очень несложно. Если судить по сюжетной канве «Что делать?», то можно подумать, что в центре произведения стоит «женский вопрос». Внешне – в заголовках частей, в некоторых особенностях сюжетного построения – главы «Что делать?», особенно начальные, близки к обычному в то время типу занимательного романа. Нарочито эффектна манера вступительной части, тут же, впрочем, «разоблачаемая» самим автором. Приманчивы подзаголовки («Первая любовь и законный брак», «Замужество и вторая любовь»). Будто я впрямь это чисто семейный роман с авантюрным сюжетом, предназначенный для читателей, не весьма требовательных по части серьезности содержания. Но в действительности «женский вопрос» служил только средством выражения более сложных идей. Он дал возможность автору наглядно показать, что степень свободы женщины есть естественное мерило общей свободы. Это было одним из заветнейших и давних убеждений Чернышевского.

Еще в юношеские годы он ясно видел, что освобождение женщины связано с коренным переустройством всего общественного порядка. Права женщины уже в то время входили неотделимой частью в программу переустройства общества, намечавшуюся в дневниках молодого Чернышевского.

Он зачитывался тогда романами «адвоката женщин» – Жорж

Санд. «…Да, сильный, великий увлекательный, поражающий душу писатель эта Жорж Санд: все ее сочинения должно перечитать», – писал юноша Чернышевский в дневнике 1849 года.

Зрелый Чернышевский критически трезво оценивал творчество Санд. Ему были родственны протест против бездушного и пошлого отношения к женщинам в условиях буржуазного общества, жажда равноправия для них в семейной и общественной жизни, содержавшиеся в романах французской писательницы; но вместе с тем ее идейные и художественные промахи были ему совершенно ясны. В своих статьях он говорит об излишней мечтательности ее героинь и героев, об идеализации некоторых персонажей и событий в ее романах.

Жорж Санд не видела настоящих путей к разрешению женской проблемы, тогда как Чернышевский проницательно и смело связывает эту проблему с общесоциальной. «Как это странно, – думает Верочка, – ведь я сама все это передумала, перечувствовала, что он (Лопухов. – *Н. Б.*) говорит и о бедных, и о женщинах, и о том, как надобно любить, – откуда я это взяла? Или это было в *книгах, которые я читала?* – Нет, там не то: там всё это или с сомнениями, или с такими оговорками, и всё это как будто что-то необыкновенное, невероятное…»

И Вера, вспоминая дальше о книгах Санд и Диккенса, опять повторяет, что у них *только мечты* о социальном рае, только добрые желания, которым, может быть, и не суждено сбыться. «Как же они не знают, что без этого нельзя, что это в самом деле надобно так сделать и что это *непременно сделается,* чтобы вовсе никто не был ни беден, ни несчастен».

Через весь роман Чернышевского проходит мотив твердой веры, непоколебимого убеждения, что «это непременно так будет, что этого *не может не быть».*

Оптимизм, которым проникнут роман, опирается не только на веру в грядущее торжество революции, – герои «Что делать?» радостно сознают себя непосредственными участниками подготовки этой будущей победы. Да, но и теперь хорошо, говорят они, потому что готовится «это хорошее; по крайней мере, тем и теперь очень хорошо, кто готовит его!»

В «Четвертом сне Веры Павловны» писатель подводит нас к неизбежному историческому разрешению изображенного в романе общественного конфликта. Здесь Чернышевский показал свою изумительную способность итти от отдельных явлений к обобщениям высшего порядка, от действительности – к предвидениям. Это историко-философское отступление, вылившееся в своеобразную форму причудливого сна, поэтически иллюстрировало основные концепции утопического социализма и

бросало свет на все разветвления темы романа.

Показав в смене символических образов Астарты, Афродиты, Мадонны историю развития человеческого общества в последовательной смене культур – первобытной, античной, феодальной, иносказательно обозначив эпоху Французской буржуазной революции как рубеж, с которого начинается иная полоса истории, писатель в заключение приоткрывает завесу и над будущим, давая обобщенную картину радостной жизни трудового народа, освобожденного от всякого гнета и эксплуатации.

Роман Чернышевского должен был ответить на самый острый, самый важный вопрос, волновавший тогда передовую интеллигенцию, – на вопрос *что делать* для того, чтобы освободить страну от самодержавно-крепостнического деспотизма.

Могучей фигурой «особенного человека», Рахметова, Чернышевский дал ответ на этот вопрос. Он первый в русской литературе создал образ революционера – теоретика и практика, готового к любой схватке, к любым испытаниям в борьбе.

Биография его необычайна. Рахметов – аристократ, но он порвал со своей средой, он работал плотником, перевозчиком, бурлаком, чтобы заслужить «уважение и любовь простых людей». Он употребил все свои средства на революционное дело. Преданный одной идее, одному стремлению, он мог казаться экзальтированным, неправдоподобным. Аскет, ведущий спартанский образ жизни, натура, способная на любые жертвы для торжества своих убеждений, Рахметов возвышается над «обыкновенными людьми нового поколения», подобными Лопухову, Кирсанову, Вере. И Чернышевский делает оговорку, что таких людей, как Рахметов, еще немного: «Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней – теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли».

И еще одну оговорку сделал Чернышевский в главе «Особенный человек»: «Я знаю о Рахметове больше, чем говорю». Понятны причины подобной сдержанности. Рассказывать прямо и открыто о конспиративной работе главы революционного кружка писатель не мог. Поэтому образ Рахметова несколько таинственен и смутен, поведение его порою загадочно, но читатели, конечно, угадывали истинную подоплеку его странных исчезновений, особых знакомств и т. п.

«Чернышевский присутствовал при зарождении у нас нового типа «новых людей». Этот тип выведен им в лице Рахметова, – писал Плеханов. – Наш автор радостно приветствовал появление

этого нового типа и не мог отказать себе в удовольствии нарисовать хотя бы неясный его профиль. В то же время он с грустью предвидел, как много мук и страданий придется пережить русскому революционеру, жизнь которого должна быть жизнью суровой борьбы и тяжелого самоотвержения…»

И Плеханов подчеркивает обобщающее значение образа Рахметова, говоря, что «почти в каждом из выдающихся наших социалистов 60-х и 70-х годов была немалая доля рахметовшины».

Большое значение для понимания революционного смысла романа имеет его заключительная сцена – бурно-веселый пикник компании молодежи и двух дружных семейств, сцена, в которой неожиданно появляется «дама в трауре». Эта глава, как и шестая, последняя глава «Что делать?», называющаяся «Перемена декораций», написаны Чернышевским с большой осторожностью и лаконизмом. Они как будто бы совершенно обособлены и не имеют никакой видимой связи с сюжетом романа.

Из объяснительной записки Чернышевского к Пыпину и Некрасову видно, что это начало неосуществленной *второй* книги «Что делать?», которую Чернышевский намеревался писать вслед за первой.

«Вторую часть я начну писать нескоро, – сообщал он в этой записке, – в ней новые лица на градус или на два повыше, чем в первом; потому надобно дать пройти несколько времени, чтобы Вера Павловна с компаниею несколько сгладилась в памяти, чтобы новые лица не сбивались на старые, – например, «дама в трауре» на Веру Павловну… Общий план второй части таков: «дама в трауре» – та самая вдова, которая была спасена Рахметовым в третьей главе. Она, видите ли, убивается из-за любви к нему. И сей герой взаимно. Кирсановы и Бьюмонты, открыв такую нежную страсть, лезут из кожи вон помочь делу. И отыскивают оного Рахметова, уже прозябающего в Северной Пальмире. С разными взаимными отыскиваниями обоих сих любящихся свадьба устраивается. Из этого видно, что действие второй части совершенно отдельно от первой и что первой части только искусственно придан вид недоконченности прибавкою пикника…

Общая идея второй части показать связь обыкновенной жизни с чертами, которые ослепляют эффектом неопытный взгляд…»

Если мы проанализируем план, набросанный в записке, то увидим, что Чернышевский во второй части «Что делать?» хотел изобразить последующий этап развития революционного движения, когда Рахметов перестанет быть «особенным человеком», ибо рядом с ним будет уже много подобных ему. В

этом плане Чернышевский указывает, что настанет время, когда и Рахметов и «дама в трауре», явившиеся в первой части «Что делать?» титаническими существами, окажутся людьми «мирного свойства».

Так Чернышевский скрытно намекал на то, что намеревается изобразить во второй книге революционный переворот.

Таким же иносказанием являются страницы, изображающие пикник; они перекликаются с юношеским дневником Чернышевского, где он записал разговор со своей невестой, Ольгой Сократовной, о том, что, давая согласие на брак, она избирает трудную участь, ибо он не знает, долго ли будет пользоваться жизнью и свободой. «У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени…»

Сопоставление этой записи с концовкой «Что делать?» ясно указывает на революционный смысл, который вложен в песни, тосты, в разговоры участников пикника.

Строки дневника проливают свет на песню о браконьере, исполняемую «дамой в трауре»:

«Ты хочешь, дева, быть моей,
Забыть свой род и сан,
Но прежде отгадать сумей,
Какой мне жребий дан…
О дева, друг недобрый я;
Глухих лесов жилец;
Опасна будет жизнь моя,
Печален мой конец…

– Это неправда, дети, – обращается «дама в трауре» к молодежи, – не будет печален, но тогда я думала и он думал; но все-таки я отвечаю свое:

Красив Брингала брег крутой
И зелен лес кругом;
Мне с другом там приют дневной
Милей, чем отчий дом.

– В самом деле, так было. Значит, мне и нельзя жалеть: мне было сказано, на что я иду. Так можно жениться и любить, дети: без обмана; и умейте выбирать».

«Перемена декораций» и должна была показать, что конец

действительно не будет печален. В этой главе «дама в трауре» – в ярком, розовом платье, на ней белая мантилья, в руках букет. Рядом с нею ее освобожденный друг Рахметов, «прозябавший в Северной Пальмире», то-есть, вероятно, в Петропавловской крепости в Петербурге.

Сопоставляя некоторые детали замысла второй книги «Что делать?» с «Переменой декораций», можно с уверенностью предположить, что освобождение Рахметова осуществлено было его ближайшими друзьями – Лопуховым и Кирсановым. Перемена декораций, по затаенному замыслу автора, должна была означать революционный переворот, в который так непоколебимо верили Рахметов и сам автор романа «Что делать?».

В этом случае становятся понятны и те изменения, какие должны были, по плану второй книги романа, произойти с Рахметовым. Герои, подобные Рахметову, могли бы стать людьми «мирного свойства» лишь при том условии, что дело, которому они посвятили всю свою жизнь, завершилось успехом.

В романе Чернышевского действительность, наблюдения, вынесенные из окружающей жизни, тесно переплетаются с предвидениями и смелым полетом мысли в будущее. «Оно светло, – писал он, – оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы сумеете перенести в нее из будущего…»

Чернышевский понимал, что лично ему не дано увидеть день и час полного торжества своих убеждений, но глубокая вера в неизбежность этого торжества воодушевляла его на трудные подвиги.

Роман Чернышевского был новым словом в русской художественной литературе и по содержанию и по форме. В «Четвертом сне Веры Павловны» Чернышевский предсказывает будущую радостную жизнь освобожденного трудового народа.

Чернышевский хотел написать свой роман, в котором ставились глубочайшие философские и политические вопросы, так, чтобы его «читали все, кто не читает ничего, кроме романов».

Он свободно и смело прерывает течение сюжета отступлениями, беседами с читателем. Автор выступает в романе как действующее лицо, резко полемизируя на протяжении многих страниц с «проницательным читателем» – лицом собирательным, в уста которого вложены обычные для либералов и реакционеров того времени рассуждения.

Этот прием позволяет Чернышевскому показать пропасть,

отделявшую передовых людей шестидесятых годов от либеральных болтунов, разоблачить и высмеять их с поразительным сарказмом.

Как в общем построении романа, так и в обрисовке отдельных действующих лиц писатель творчески переплетал действительность с художественным вымыслом.

В образах Веры, Лопухова, Кирсанова, Рахметова воплощены черты современных Чернышевскому передовых людей, вступивших на путь борьбы с «допотопным» обществом, смело идущих наперекор устоим и лживой морали этого общества.

Главное отличие Рахметова от других героев романа в том, что он не рядовой «новый человек», а организатор революционной борьбы за счастье народа, отрешившийся от личной жизни, всецело погруженный в опасную конспиративную работу по подготовке народного восстания.

Существует ряд предположений о прототипе Рахметова. Обычно принято считать, что в лице его выведен тот самый саратовский помещик Бахметев, который приходил к Чернышевскому на квартиру перед своим отъездом из России в Лондон.

Позднее среди революционной молодежи семидесятых годов распространено было, по свидетельству В.Г. Короленко, мнение, что прототипом для Рахметова послужил П.Д. Баллод, арестованный в 1862 году по делу печатания антиправительственных прокламаций и приговоренный к ссылке на каторгу.

Но правильнее будет сказать, что образ Рахметова является глубоким обобщением. В нем нашли место и детали биографии Бахметева и черты близко стоявших к Чернышевскому деятелей освободительного движения тех лет – Н.А. Добролюбова, Сигизмунда Сераковского. В нем отразились и некоторые автобиографические мотивы. Достаточно вспомнить, что Чернышевский остался непоколебимо тверд и верен своим убеждениям. Показывая на примере Рахметова необходимость для революционера величия и стойкости души, он сам в высокой мере проявил это величие и стойкость.

В образе Веры Павловны запечатлены многие черты характера жены Чернышевского, Ольги Сократовны, хотя основным прототипом Веры Павловны была, по общим свидетельствам, Марья Александровна Бокова-Сеченова, родная сестра В. Обручева, о котором говорилось выше.

Главная сюжетная линия романа («Первая любовь и законный брак», «Замужество и вторая любовь», то-есть история Лопухова-Кирсанова – Веры) частично воссоздавала подлинную историю,

суть которой сводится к следующему.

Доктор П.И. Боков, один из близких друзей Чернышевского, в годы студенчества готовил к экзамену Марью Александровну Обручеву. Под влиянием социалистических идей, почерпнутых ею в статьях Чернышевского в «Современнике», Марья Александровна стремилась к независимости, знаниям, к освобождению из-под тяжелой опеки семьи. Выходец из крестьян, Боков, примыкавший к революционным кружкам шестидесятых годов, предложил, подобно Лопухову, своей ученице фиктивный брак. В 1861 году Марья Александровна слушала лекции начинавшего свою ученую карьеру знаменитого физиолога И.М. Сеченова. Последний познакомился с Боковыми и дружески сблизился с ними. Между Боковой и Сеченовым дружба перешла в любовь, и П.И. Боков устранился, сохранив дружбу с обоими.

В черновом варианте XVII части V главы Чернышевский и сам указывает, что все «существенное в его рассказе – факты, пережитые его добрыми знакомыми».

Ко времени ареста Чернышевского и работы над романом история эта далеко не была завершена. Чернышевский знал лишь самую завязку ее. Жизненный путь Марьи Александровны только начинался. Она принадлежала к немногим еще тогда женщинам, которые твердо верили, подобно героине романа Чернышевского, что они должны искать независимости и равенства и что достигнуть этого они могут лишь упорным трудом на пользу общества.

«Женщина играла до сих пор такую ничтожную роль в умственной жизни потому, что господство насилия отнимало у ней и средства к развитию, и мотивы стремиться к развитию… Нам формально закрыты почти все пути гражданской жизни, – размышляла Вера. – Нам практически закрыты очень многие – почти все, – даже из тех путей общественной деятельности, которые не загорожены для нас формальными препятствиями. Из всех сфер жизни нам оставлено тесниться только в одной сфере семейной жизни – быть членами семьи, и только… Нет, пока женщины не будут стараться о том, чтобы разойтись на много дорог, женщины не будут иметь самостоятельности…»

Чернышевский говорит о своей героине, что она была одной из первых женщин в России, посвятивших себя медицине. Именно так и сложилась судьба М.А. Боковой-Сеченовой, которая, преодолев немало трудностей, получила диплом врача и позднее, в 1871 году, защитила диссертацию. Ей пришлось для этого выехать за границу, так как царское правительство всячески препятствовало стремлению женщин к высшему образованию.

Замечательно, что участница революционного движения

шестидесятых годов, чья судьба нашла отражение в романе Чернышевского, стала свидетельницей Великой Октябрьской социалистической революции, одним из завоеваний которой было полное и подлинное освобождение женщин нашей страны.

М.А. Бокова-Сеченова скончалась в феврале 1929 года – девяноста лет отроду.

Еще до появления романа в печати слухи о нем проникли в общество. Его с нетерпением ждали как сторонники, так и недруги Чернышевского. По свидетельству одного из современников, в некоторых литературных «салонах» предвкушали падение «идола молодежи с его высокого пьедестала». «Но, увы, – продолжает мемуарист, – действительность не оправдала этих ехидных мечтаний…»

Трудно представить всю силу впечатления, которое произвел на читателей шестидесятых годов роман «Что делать?». Едва ли какое-либо другое произведение русской литературы было встречено с таким же нетерпеливым интересом. Даже враждебные Чернышевскому критики должны были признать, что его роман написан с таким воодушевлением, что к нему нельзя отнестись холодно и объективно.

«Когда осенью 1863 года, – пишет в своих воспоминаниях Е.Н. Водовозова, – из деревень и с дач все снова съехались в свои насиженные петербургские гнезда, необыкновенное оживление в интеллигентских кружках сразу дало себя почувствовать. Кого только не приходилось посещать в это время, всюду шли толки о романе «Что делать?».

Дело не ограничилось одними толками. Мало того, что романом зачитывались, что он резко влиял на убеждения и взгляды современников, – он начал оказывать непосредственное практическое воздействие на поведение революционно настроенных «шестидесятников», стремившихся воплотить в жизнь принципы, выдвинутые в романе.

Ситуации романа, за которыми крылись большие социальные идеи (освободительная и преобразующая роль труда, служение своему народу, равенство женщин и проч.), и особенно образ твердого и стойкого революционера Рахметова определили великую роль, которую сыграл роман в русской жизни.

Под знаком «Что делать?» развивалось не только женское движение тех лет. Образ Рахметова властно стоял перед глазами революционных деятелей шестидесятых годов и последующих десятилетий, заставляя следовать его примеру в личной жизни и в борьбе за переустройство общества.

«Кто не читал и не перечитывал этого знаменитого произведения? – спрашивал Плеханов. – Кто не увлекался им, кто

не становился под его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и смелее? Кого не поражала нравственная чистота главных действующих лиц? Кто после чтения этого романа не задумывался над собственною жизнью, не подвергал строгой проверке своих собственных стремлений и наклонностей? Все мы черпали из него и нравственную силу, и веру в лучшее будущее,

И доверенность великую
К бескорыстному труду…

…Пусть укажут нам хоть одно из самых замечательных, истинно художественных произведений русской литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное развитие страны могло бы поспорить с романом «Что делать?»!..»

Роман не мог первоначально получить должной оценки в печати. Полная свобода оставалась только за отрицательной критикой. Положение единомышленников Чернышевского было в высшей степени затруднительным. Обсудить свободно это произведение, раскрыть его настоящее содержание, показать цели автора было, разумеется, невозможно. Поэтому среди многочисленных отзывов о романе, появившихся непосредственно после напечатания его» немногие заслуживают внимания. Критики враждебного лагеря прежде всего поспешили прибегнуть к излюбленному приему продажной журналистики – к клевете. Они выдвинули против Чернышевского обвинение в безнравственном направлении романа. И позднее реакционная критика лицемерно трактовала в том же духе замысел Чернышевского.

Немногие сочувственные отзывы о романе были осторожны, очень коротки и робки. Даже в журнале «Современник» только косвенно защищали «Что делать?», называя его романом будущего.

Первые отзывы Герцена в письмах к друзьям и знакомым были противоречивы, но в статье «Порядок торжествует» (1866 г.) он отдал должное и роману и автору. Герцен подчеркнул важное общественное значение темы романа и отметил, что в нем «много хорошего».

Первой по времени попыткой дать развернутую серьезную оценку «Что делать?» была статья Писарева «Мысли о русских романах», написанная им в 1863 году в той же Петропавловской крепости. Она была напечатана в журнале «Русское слово» в 1865 году под названием «Новый тип», а при переиздании Писарев назвал ее «Мыслящий пролетариат».

В этой подцензурной статье, которая дышала открытым и

горячим сочувствием, Писарев глубже других тогдашних критиков вскрыл сущность романа Чернышевского и даже сумел указать, насколько позволяли ему обстоятельства, значение фигуры Рахметова.

Популярность «Что делать?» росла и ширилась, хотя царское правительство сделало все возможное, чтобы приглушить голос Чернышевского. После опубликования в журнале «Современник» в 1863 году роман был запрещен царской цензурой, и его удалось переиздать лишь в 1905 году.

Номера «Современника» с текстом «Что делать?» переходили из поколения в поколение; роман переписывался от руки. Передовая студенческая молодежь собиралась для чтения «Что делать?» вслух и для обсуждения вопросов, поставленных Чернышевским. Роман был переведен на многие иностранные языки, хотя буржуазная пресса Западной Европы и Америки старалась обходить молчанием факты появления этих изданий.

Мы не знаем точно, читал ли роман «Что делать?» Карл Маркс, называвший Чернышевского «великим русским ученым и критиком» и высоко оценивавший его экономические труды. Но в одном из писем 1878 года Маркс обращается к адресату со словами: *«Что делать?* (que faire) – как говорят русские…»[47]

Не является ли эта фраза косвенным доказательством знакомства Маркса с романом «Что делать?», который за три года до этого вышел во французском переводе?

Нелегальное заграничное издание романа находилось в юношеской библиотеке Владимира Ильича Ленина. По свидетельству внучки писателя – Н.М. Чернышевской, Надежда Константиновна Крупская сообщила ей в 1938 году, что Владимиром Ильичем были написаны примечания к этому роману, которые, к сожалению, затерялись во время их переездов за границей перед империалистической войной.

В.И. Ленин, пишет в своих воспоминаниях Н.К. Крупская, «знал до мельчайших подробностей «Что делать?».

Роман Чернышевского не только исторический документ, неразрывно связанный с отошедшей эпохой, но и глубоко действенное произведение. В.И. Ленин указывал на непреходящее значение Чернышевского для русской и мировой литературы, когда писал в своей работе «Что делать?»: «…пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский… Пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература…»[48]

О громадном воспитательном воздействии романа на читателей других стран красноречиво свидетельствуют слова

Георгия Михайловича Димитрова в его предисловии к «Что делать?» в 1935 году. «Роман «Что делать?», – писал товарищ Димитров, – еще тридцать пять лет тому назад оказал на меня лично, как молодого рабочего, делавшего тогда первые шаги в революционном движении в Болгарии, необычайно глубокое, неотразимое влияние. И должен сказать – ни раньше, ни позже не было ни одного литературного произведения, которое так сильно повлияло бы на мое революционное воспитание, как роман Чернышевского. На протяжении месяцев я буквально жил с героями Чернышевского. Моим любимцем был, в особенности, Рахметов. Я ставил себе целью быть твердым, выдержанным, неустрашимым, самоотверженным, закалять в борьбе с трудностями и лишениями свою волю и характер, подчинять свою личную жизнь интересам великого дела рабочего класса – одним словом, быть таким, каким представлялся мне этот безупречный герой Чернышевского. И для меня нет никакого сомнения, что именно это благотворное влияние в моей юности очень много помогло моему воспитанию как пролетарского революционера…»

Это признание Г.М. Димитрова свидетельствует о том всемирном значении, которое приобрел роман «Что делать?», о том, насколько тесно связано это замечательное произведение с жизнью.

Уже в первой своей работе по теории искусства, в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», Чернышевский утверждал, что писатель должен быть учителем общества, а его книги – «учебником жизни». Роман «Что делать?» и был таким учебником жизни для многих поколений. В его героях мы видим людей, беззаветно преданных идеям свободы, готовых отдать все силы делу борьбы за светлое будущее своего народа. Этим прежде всего близок роман Чернышевского советскому читателю и нашей молодежи.

XXVII. На Мытнинской площади

В дни самых горячих споров о романе автор его, после двухгодичного предварительного заключения в крепости, был приговорен постановлением Сената к четырнадцати годам каторжной работы и затем к поселению в Сибирь навсегда. После утверждения Государственным советом приговор Сената был представлен царю, наложившему резолюцию: «Быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжной работы был сокращен наполовину».

Перед отправлением на каторгу 19(31) мая 1864 года на Мытнинской площади был совершен оскорбительный обряд «гражданской казни» над Чернышевским. На площади, где был сооружен эшафот, войска оцепили помост, сдерживая толпу. Здесь собралось немало молодежи, желавшей проститься с Чернышевским. Один из очевидцев «казни», слушатель Военной академии, оставил в своем дневнике подробное описание этой церемонии.

«Высокий черный столб с цепями, эстрада, окруженная солдатами, жандармы и городовые, поставленные друг возле друга, чтобы держать народ на благородной дистанции от столба. Множество людей хорошо одетых, генералы, снующие взад и вперед, хорошо одетые женщины – все показывало, что происходит нечто чрезвычайное…

Ряд грустных мыслей был прерван каким-то глухим шумом толпы… «Смирно!» – раздалась команда, и вслед за тем карета, окруженная жандармами с саблями наголо, подъехала к солдатам. Карета остановилась шагах в пятидесяти от меня… толпа ринулась к карете, раздались крики «назад!»; жандармы начали теснить народ, вслед за тем три человека быстро пошли по линии солдат к эстраде: это был Чернышевский и два палача. Раздались сдержанные крики передним: «Уберите зонтики!» – и все замерло. На эстраду взошел какой-то полицейский. Скомандовал солдатам: «на караул!». Палач снял с Чернышевского фуражку, и затем началось чтение приговора. Чтение это продолжалось около четверти часа. Никто его не мог слышать. Сам же Чернышевский, знавший его еще прежде, менее, чем всякий другой, интересовался им. Он, повидимому, искал кого-то, беспрерывно обводя глазами всю толпу, потом кивнул в какую-то сторону три раза. Наконец чтение кончилось. Палачи опустили его на колени. Сломали над головой саблю и затем, поднявши его еще выше на несколько ступеней, взяли его руки в цепи, прикрепленные к столбу. В это время пошел очень сильный дождь, палач надел на него шапку. Чернышевский поблагодарил

его, поправил фуражку, насколько позволяли ему его руки, и затем, заложивши руку в руку, спокойно ожидал конца этой процедуры. В толпе было мертвое молчание… Я беспрерывно душил свои слезы… По окончании церемонии все ринулись к карете, прорвали линию городовых, ухвативших друг друга за руки, и только усилиями конных жандармов толпа была отделена от кареты. Тогда (это я знаю наверное, хотя не видал сам) были брошены ему букеты цветов. Одну женщину, кинувшую цветы, арестовали.[49] Карета повернула назад и по обыкновению всех поездок с арестантами пошла шагом. Этим воспользовались многие, желающие видеть его вблизи; кучки людей человек в 10 догнали карету и пошли рядом с ней. Нужен был какой-нибудь сигнал для того, чтобы совершилась овация. Этот сигнал подал один молодой офицер; снявши фуражку, он крикнул: «Прощай, Чернышевский!»… Этот же крик был услышан толпою, находящейся сзади. Все ринулись догонять карету и присоединиться к кричавшим… Было скомандовано: «рысью!», и вся эта процессия с шумом и грохотом начала удаляться от толпы. Впрочем, та кучка, которая была возле, еще некоторое время бежала, возле еще продолжались крики и маханье платками и фуражками. Лавочники с изумлением смотрели на необыкновенное для них событие. Чернышевский ранее других понял, что эта кучка горячих голов, раз только отделится от толпы, будет немедленно арестована. Поклонившись еще раз, с самою веселою улыбкой… он погрозил пальцем. Толпа начала мало-помалу расходиться, но некоторые, нанявши извозчиков, поехали следом за каретой».

Актом «гражданской казни» правительство рассчитывало унизить великого провозвестника революции, борца за освобождение народа. Но оно ошиблось в своих расчетах. Общее негодование всех честных передовых людей по поводу расправы над Чернышевским ярко выразилось в статье Герцена, напечатанной в «Колоколе» вскоре после свершения «гражданской казни»:

«Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа, а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему? Проклятье вам, проклятье, и, если возможно, – месть!..

Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмованье тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников…»

«Четверть часа у позорного столба никого не устрашит, никого не победит, – писал в том же «Колоколе» несколько

позднее анонимный корреспондент, передавая настроение молодежи, присутствовавшей 19 мая на церемонии «гражданской казни», – она только зовет людей и будит в них энергию, но уже не четвертьчасовую, а неусыпную, на долгие годы борьбы. Наша скорбь о Чернышевском выше минутной торжествующей насмешки его врагов! Пусть нет у русского юношества его лучшего учителя; но его учение не могло пропасть даром! Мы горды дорогим правом звать себя *его* учениками, воспитанниками *его* школы; мы горды этим, потому что чувствуем, что можем служить народу, хотя сотою долею его служения, и наше служение не будет бесполезно – им руководит та искренняя любовь и то истинное уважение, которым он учил и с которым он относился к народу и к молодому поколению, платившему ему горячим возвратом того же чувства».

В одном из последующих номеров «Колокола» Герцен в статье «VII лет» снова напоминал читателям о церемонии «казни» на Мытнинской площади и подчеркивал, что процесс Чернышевского будет иметь глубочайшее историческое значение:

«…Подымается и растет на свет *новая Россия,* крепко подкованная на трудный путь, закаленная в нужде, горе и унижении, тесно связанная жизнью – с народом, образованием – с наукой… Предшественником ее был плебей Ломоносов, могучий объемом и всесторонностью мысли, но явившийся слишком рано. Среда, затертая между народом и аристократией, около века после него билась, вырабатывалась в черном теле. Она становится во весь рост только в Белинском и идет на наше русское крещенье землею, на каторгу в лице петрашевцев, Михайлова, Обручева, Мартьянова и пр. Ее расстреливали в Модлине и разбрасывают по России в лице бедных студентов, ее, наконец, эту *новую* Россию, Россия *подлая* показывала народу, выставляя Чернышевского на позор… Удар за ударом бьет эту среду, она побита наголову, но *дело* не побито, оно меньше побито, чем 14 декабря, – плуг пошел дальше и глубже. Зерна царского посева не пропадают на каторге, они прорастают толстые тюремные стены в снегом покрытые рудники.

Для этой новой среды хотим мы писать и прибавить наше слово дальних странников к тому, чему их учит Чернышевский с высоты царского столба, о чем им говорят подземные голоса из царских *кладовых,* о чем денно и нощно проповедует царская крепость – наша святая обитель, наша печальная Петропавловская лавра на Неве. Середь ужасов, нас окружающих, середь боли и унижений нам хочется еще и еще раз повторить им, что *мы с ними,* что мы живы духом…»

Естественный рост Чернышевского как писателя-философа и

ученого был сломлен, когда ему исполнилось тридцать четыре года. Вторая половина его жизни – это каторга, поселение в Вилюйске, возвращение в глухую провинцию под негласный надзор полиции.

Но и в этих условиях он ни разу не дрогнул, не выказал ни тени малодушия. Он не проронил ни одной жалобы за долгие годы томительного существования в Сибири. С самого начала этой драмы – с момента водворения в Петропавловскую крепость – до последних дней острожной жизни в Вилюйске он в самых радужных тонах изображал в письмах к родным свое положение. Уверенный в своей юридической невиновности, он внешне не проявлял сначала даже интереса к ходу своего дела («Это все вздор, не стоит и думать»). И позднее, очутившись в Сибири, он неизменно подчеркивал свое презрение к решению царского суда, основанному на подлогах и лжесвидетельствах. На вопросы о приговоре он постоянно отвечал: «Читали что-то, а что именно – решительно не помню».

Когда один из конвоиров, сопровождавших Чернышевского в Сибирь, поинтересовался, каким «рукомеслом» он занимался в России, Чернышевский, улыбаясь, ответил: «По писарской части маялся… По писарской, по писарской!..»

XXVIII. Кадая

По возвращении в Петропавловскую крепость с Мытнинской площади после церемонии «гражданской казни» Чернышевского ждало еще одно испытание: в крепость приехали проститься с ним жена со старшим сыном, братья и сестры Пыпины, Терсинский, Елисеев, Боков и Антонович.

Николай Гаврилович держался с поразительным спокойствием и выдержкой. «…Мы проводили Николю без слез, – писала Е.Н. Пыпина родным в Саратов. – Поплакать нам не случилось потому, что он сам был довольно весел, потом нужно было слишком много сказать друг другу…»

– Как сначала я имел право говорить, так и теперь его имею, что против меня у них не было никаких оснований вести так дело… – говорил родным Чернышевский.

Он отлично знал, что царское правительство не располагало уличающими его материалами, что все было грубо подтасовано и основано на фальшивках.

Еще десять лет тому назад, в первых беседах со своей будущей женой, Чернышевский, предчувствуя ожидавшую его участь, говорил ей: «Меня каждый день могут взять… у меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости».

Нечто сходное сказал он теперь своей двоюродной сестре в одно из последних свиданий в Петропавловской крепости.

– Это еще хорошо для меня, такое событие, как вся эта история, теперь, во всяком случае, я имею полное сознание несправедливости и пристрастия господ, решавших дело. Не будь этого, очень вероятно, что *я не выдержал бы,* и тогда эти господа были бы в своем праве.

Чернышевского не оставляла надежда, что ему удастся, хотя бы под псевдонимом, печатать свои произведения и тем самым поддерживать материально семью. Прощаясь с Антоновичем, он оказал, что и на каторге непременно будет писать много и постарается присылать свои статьи для помещения в «Современнике», и что если их нельзя будет печатать с его именем, то нужно попробовать подписывать псевдонимом, или, чтоб они представлялись в редакцию через подставное лицо, например через друга Антоновича – Л.И. Розанова.

Он полагал, что, по крайней мере, беллетристические

произведения, подписанные вымышленной фамилией, найдут себе место на страницах журнала. Но этим надеждам Чернышевского не суждено было сбыться. О печатании его произведений в России, даже под псевдонимом, не могло быть и речи. Власти не собирались повторять «ошибку», допущенную ими при опубликовании романа «Что делать?», получившего такой горячий отклик со стороны широких слоев читателей.

Перед отправлением в Сибирь он составил список своих рукописей и тех книг, над которыми работал в крепости, прося передать их А.Н. Пыпину. Однако бумаги его так и не вышли из недр Третьего отделения и были обнаружены в архиве Петропавловской крепости лишь после Великой Октябрьской революции.

Трудный и долгий путь предстоял Чернышевскому от Петербурга до Нерчинского завода, через Вятку, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и Тобольск. Родные его озаботились о том, чтобы облегчить ему это длительное путешествие. Экипаж и необходимые вещи были доставлены ими к воротам крепости в назначенный день и час. Но предварительное разрешение, данное на это администрацией, оказалось обманным: вечером 20 мая Чернышевский был отправлен в почтовой телеге, под охраной двух жандармов в «Тобольский приказ о ссыльных».

Благонадежный конвой, непродолжительность остановок, быстрое следование в пути – вот о чем усердно заботилось начальство, знавшее, что «известное значение Чернышевского в литературе доставляет ему поклонников, преимущественно из людей молодых, способных к *увлечениям* всякого рода».

5 июня 1864 года Чернышевский прибыл в Тобольск, где его определили в местную тюрьму, так как предстояла недельная остановка. Здесь временно размещены были польские повстанцы. В дальнейшем с некоторыми из них Чернышевский отбывал каторгу в Забайкалье. В Тобольске познакомился с ним С. Стахевич, оставивший воспоминания и об этой встрече и о совместном их пребывании впоследствии в Александровском заводе. «Некоторые из поляков, – пишет Стахевич, – зайдя по своим делам в тюремную контору, прибежали оттуда и позвали меня: «Идите в контору, – земляка вашего привезли, русского».

Войдя в тюремную контору, Стахевич тотчас узнал в привезенном узнике Чернышевского. Еще несколько лет назад он видел у одного из своих товарищей по университету фотографическую карточку властителя умов молодого поколения. На карточке той Чернышевский был без усов и без бороды, с густой шевелюрой.

Теперь перед Стахевичем стоял похожий на этот портрет

Чернышевский, только волосы его были коротко острижены, и это несколько изменило его облик.

«Где-то я уже видел его раньше», – подумал Стахевич. И тут, как в сновидении, мелькнула перед ним сцена, происшедшая в августе минувшего года. Стахевич, находившийся тогда в заключении в Петропавловской крепости, был однажды вытребован в Сенат для чтения вопросов, заданных ему следственной комиссией, и его ответов на эти вопросы. Сопровождавший Стахевича полицейский чиновник привел его в большую комнату, расположенную рядом с присутственной, и, усадив около длинного стола, куда-то удалился. Ожидая вызова, Стахевич обратил внимание, что на противоположном краю стола какой-то человек в очках перелистывает толстый канцелярский фолиант, часто наклоняется к этому фолианту очень низко, так что бородою почти касается рассматриваемых листов, и быстро набрасывает заметки на бумаге. Стахевича поразило сходство этого человека с изображением Чернышевского на фотографии, которую он видел у своего университетского товарища.

«В самом деле, должно быть, он, – подумал Стахевич. – А фолиант этот, очевидно, канцелярское дело о его провинностях; дело толстущее, много, должно быть, обвинений против него; помоги ему бог выпутаться из этой передряги».

С разрешения тюремного смотрителя Стахевич повел Чернышевского из конторы с собою, предполагая, что Николай Гаврилович будет находиться вместе с поляками в большой общей камере политического отделения тобольской тюрьмы. Но очень скоро туда явился смотритель и заявил, что по распоряжению начальства он должен поместить Чернышевского отдельно от всех в камере «секретного коридора». Впрочем, смотритель разрешил Стахевичу заходить иногда к Чернышевскому. В одно из таких посещений Николай Гаврилович сказал ему:

– Мне сообщили, что я пробуду в Тобольске недолго, всего несколько дней. Распаковывать чемодан на такое короткое время и потом опять запаковывать не хочется; скажите, какие книги у вас есть с собой, я что-нибудь выберу на эти дни, чтобы не так скучно было сидеть тут.

Из названных Стахевичем книг он попросил физиологию Функе на немецком языке. Через несколько дней, возвращая книгу, Чернышевский заметил:

– С большим удовольствием нашел в этой книге почетное упоминание о научных работах наших русских людей: Сеченова, Якубовича, Овсянникова…

Запомнился Стахевичу рассказ Николая Гавриловича о

переправе с конвоирами через какую-то речку на большом пароме. Когда конвоиры отошли к борту парома, Николай Гаврилович завел разговор с ямщиком в таком роде:

– И что тебе за надобность ямщиком быть? Столько у тебя денег, а за прогонами гонишься.

– Что ты, батюшка, Христос с тобой; какие у меня деньги? Никаких нет.

– Рассказывай!.. Вишь, у тебя на армяке заплат сколько, а под каждой заплатой деньга, небось, зашиты.

Тут ямщик понял, что Николай Гаврилович шутит, и сказал:

– Кто за народ стоит, все в Сибирь идут, – мы это давно знаем.

Некоторые из поляков, желая сохранить что-нибудь на память о замечательном русском революционере, передавали Стахевичу свои записные книжки и просили через него Чернышевского набросать хоть два-три слова. Надписи Николая Гавриловича были лаконичны: «Н. Чернышевский, литератор, год, месяц и число».

Через несколько дней Чернышевского вывезли из Тобольска. Путешествие до Иркутска длилось три недели. 2 июля он прибыл в Иркутск. Так как местное начальство еще само не знало твердо, куда будет определен Чернышевский для отбывания каторжных работ, то Николаю Гавриловичу пришлось перенести мучительно-трудную переброску из Иркутска в Усолье на Ангаре, из Усолья обратно в Иркутск, из Иркутска по Амурскому тракту в Читу, из Читы в Нерчинский завод, где должны были уточнить место отбывания им каторги.

Бухгалтер Нерчинской каторги Пахаруков рассказывал впоследствии о дне прибытия Чернышевского в Нерчинский завод: «Я был дежурным в Горном правлении, когда в половине августа 1864 года, часов в двенадцать дня, жандармы подвезли Чернышевского. По особому извещению все заранее знали о его привозе и последние дни его поджидали. Мы, мелкие чиновники, знали, что Чернышевский одной категории с Михайловым, который прибыл в завод (на каторгу) года за два раньше… Видели мы его (Чернышевского) тогда близко, – сухощавый, загорелый, с длинными волосами, в очках, с бородкой; когда он оглядывал нас через очки, нам стало не по себе, и мы вышли…»

Канцелярист Горного правления Протасов передавал, что всю эту ночь Чернышевский ходил из угла в угол большими шагами. Охранявшему его караульному он сказал: «Спите, спите, дорогой, у вас служба. Ведь нашего брата много будет, если из-за каждого не спать, голову потеряете».

Из Нерчинского завода Чернышевского в сопровождении

казачьего урядника Зеркальцева отправили в Кадаю, глухое селение близ китайской границы.

Он был измучен тысячеверстным путешествием, здоровье его надломилось: началась цинга и сердечная болезнь. По врачебному освидетельствованию, произведенному в присутствии администрации Горного правления, было установлено, что Чернышевский не способен до выздоровления к рудничным работам, что его надлежит поместить в Кадаинское лазаретное отделение под военным караулом.

Здесь, в лазарете, его ждала встреча с близким другом юности и сподвижником на поприще революционной деятельности – Михаилом Ларионовичем Михайловым.

Университет. Работа в «Современнике». Поездка Чернышевского к Герцену. Затем поездка Михайлова к Герцену. Прокламации: «К молодому поколению», «К барским крестьянам». Провокатор Костомаров. Суд. «Гражданская казнь» Михайлова. Затем «казнь» Чернышевского. Тысячеверстный путь из Петербурга в Забайкалье. И вот, наконец, Кадаинский лазарет…

А равнодушная рука местного писца из месяца в месяц заполняла номерные «ведомости о политических и государственных преступниках, находящихся при рудниках Нерчинского горного округа».

«1. *Михайло Ларионов Михайлов.* 34 года, бывший отставной губернский секретарь. За злоумышленное распространение сочинения, в составлении которого он принимал участие и которое имело целью возбудить бунт против верховной власти, потрясения основных учреждений государства… Михайлов по высочайшему повелению, последовавшему 23 числа ноября 1861 года, по лишению всех прав состояния, ссылается на каторжную работу на рудниках на шесть лет. При Кадаинской дистанции… находился в лазаретном отделении для лечения….

2. *Николай Гаврилов Чернышевский.* 35 лет. Бывший отставной титулярный советник. За злоумышление к ниспровержению существующих порядков, за принятие мер к возмущению, за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания, Чернышевский по высочайше утвержденному мнению Государственного совета лишен всех прав состояния, сослан в каторжную работу в рудники на семь лет в Нерчинск. При Кадаинском руднике… находился в лазаретном отделении для излечения…»

Только через полгода Чернышевский был выписан из лазарета. А друг его, прикованный к больничной койке тяжелой болезнью, был уже обречен. Через год его не стало…

Еще находясь в Петропавловской крепости, Михайлов писал:

Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою!

Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!

Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых —
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых…

Час обновленья настанет —
Воли добьется народ,
Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придет…

Есть свидетельства, что ночью 3 августа 1865 года Чернышевский, услышав о том, что Михайлов умирает, бросился в больницу, невзирая на часовых и на стужу, без шапки, в чем сидел дома. Он хотел в последний раз обнять любимого друга, но ему уже не удалось застать его в живых…

Только глухие вести о Михайлове и Чернышевском доходили в это время до Герцена, настойчиво продолжавшего напоминать в своем «Колоколе» о трагической участи кадаинских узников, которые, не прося пощады, «ушли на каторгу с святою нераскаянностью».

Кадая. Глушь и безлюдье. Тоскливую монотонность придавали пейзажу безлесные сопки. Ни кустика, ни светлого озера. Лишь яркие пятна багульника, покрывавшие склоны сопок, бросались в глаза.

На одном из одиноких обрывистых утесов, рядом с могилами польских повстанцев, вырос простой деревянный крест, под которым покоился прах многострадального поэта-борца.

В Кадаинский рудник все чаще и чаще прибывали, и поодиночке и партиями, политические ссыльные, осужденные царским правительством на каторжные работы. Революционная борьба не затихала.

Друзья и единомышленники Чернышевского не забывали своего учителя. Один из молодых его сподвижников писал в те

дни Герцену: «Вы проповедовали пятнадцать лет, мы учились у Вас и в то же время, будучи в России, учились и у другого учителя – Чернышевского… Мы выросли и окрепли, и – все без исключения… двинулись на прямое активное дело… ради этого дела я мог спокойнее и с уверенностью за отмщение перенести гибель своего лучшего друга и учителя…»

«Помнили» о Чернышевском и враги его, а более всех – мстительный автор резолюции: «Быть по сему…»

Один из товарищей детства и отрочества Александра II – известней писатель А.К. Толстой – зимой 1864/65 года, во время охоты, стоя рядом с царем, решил воспользоваться случаем и замолвить слово за осужденного Чернышевского, которого он знал лично.

На вопрос Александра II, что делается в литературе и не написал ли он, Толстой, что-либо новое, писатель ответил: «Русская литература надела траур по поводу *несправедливого* осуждения Чернышевского…»

Но Александр II не дал поэту окончить фразу: «Прошу тебя, Толстой, *никогда* не напоминать мне о Чернышевском», – проговорил он недовольно и затем, отвернувшись в сторону, дал понять, что беседа их окончена.

Царь не забыл вознаградить тридцатью сребрениками Иуду: «Высочайше разрешено дать Костомарову с семейством единовременно пятьсот рублей серебром, истребовав эти деньги из государственного казначейства на известное его величеству употребление».

Приспешники царя писали «конспиративным» языком финансовые документы о компенсации предательства. 5 августа 1863 года министр финансов Рейтерн обратился к министру внутренних дел Валуеву со следующим письмом: «Погубивший дирижера радикального оркестра, завтра, от 9 до 11 веч., может получить у Ф. Т. Ф. 1000 рублей, если приготовит заранее расписку от имени матери своей Надежды Николаевны, которая, однако, как вам известно, по поставленному им условию, не должна об этом знать…»

Предатель еще не оставлял попыток выступить в роли литератора. 18 июня 1864 года Третье отделение «в видах вознаграждения «услуг» рядового Костомарова» приняло на свой счет расходы по печатанию его «сочинений» в сумме 1 366 рублей 35 копеек серебром…

После лазарета Чернышевского поселили в небольшом ветхом домике. В стенах и рамах этого помещения было много трещин, через которые проникал холод. «По правде говоря, –

вспоминал потом Чернышевский, – мой ревматизм довольно сильно чувствовал во время здешних зимних бурь плоховатость стен кадаинского моего домика».

Вскоре он получил известие, что Ольга Сократовна собирается навестить его. Это известие и радовало и страшило Чернышевского. «Что сказать тебе, моя милая голубочка, о твоем намерении ехать сюда? Подумай, подумай, как велика дорога, как она утомительна; ты знаешь, я всегда принимаю за наилучшее решение – то, на котором ты остановишься; но умоляю тебя, подумай о дальности, об утомительности пути», – писал он жене весною 1865 года.

Прошел год. В начале мая Ольга Сократовна выехала с восьмилетним сыном Михаилом в сопровождении доктора Павлинова в Забайкалье.

Может быть, сама того не подозревая, она выбрала неудачное время для поездки – почти тотчас же после покушения Каракозова на Александра II. Генерал-губернатором Восточной Сибири было отдано распоряжение коменданту Нерчинских заводов «обратить особенное внимание на Чернышевского». Надзор за ним усилился. В домике, где он жил, дверь заделали так, чтобы ход к нему был только из караульни. Встревоженное начальство вело секретную переписку о принятии дальнейших мер предосторожности.

Добравшись до Иркутска, Ольга Сократовна подала прошение на имя губернатора о разрешении ей свидания с мужем.

В ответ было выдвинуто издевательское условие, что «если она желает следовать к мужу в Нерчинские Заводы, то должна навсегда оставаться в Сибири (до смерти мужа) и подчиняться всем тем ограничениям, которые постановлены для жен государственных преступников». Ольга Сократовна объяснила, что она не может согласиться на такое условие уже по одному тому, что оставила на родине старшего сына. Она снова просила разрешить ей свидание, хотя бы в присутствии жандармов, и обещала разговаривать с Николаем Гавриловичем только на русском языке. Губернатор запросил Петербург, и оттуда пришло разрешение на свидание, с тем чтобы Чернышевскую сопровождал жандармский офицер и чтобы не было допущено «никаких секретных сообщений, письменных или словесных».

Ольге Сократовне пришлось почти месяц задержаться в Иркутске. Наконец она выехала с сыном в Нерчинский завод в сопровождении жандармского штабс-капитана Хмелевского, который всю дорогу держал себя с наглой развязностью. Доктору Павлинову было запрещено дальнейшее следование.

«23 августа… прибыли мы в Кадаю, – писал позднее в своих

воспоминаниях Михаил Николаевич Чернышевский. – Это маленький поселок из нескольких деревянных домиков, верстах в 15 от китайской границы. В одном из этих домиков обитал и отец… Две маленькие комнаты. На полу груды книг; в памяти остались «Отечественные записки» в их желтой обложке. Свидание наше продолжалось всего пять дней (уехали 27 августа), так как для отца было невыносимо постоянное присутствие жандармов… Отец, конечно, был обрадован встречею с горячо любимой матушкою, но к чувству радости не могло не примешиваться и горькое чувство досады на то, что для свидания на несколько дней понадобилось несколько месяцев дороги и много сопряженных с этим расходов и неприятностей. В последующих своих письмах он неоднократно умоляет мою матушку не повторять более своих попыток видеться с ним, указывая на длинность пути и невозможные местные условия жизни к выражая вместе с тем глубокую уверенность в том, что по истечении срока его ссылки он будет переведен поближе к России, где получит возможность возобновить свою литературную деятельность…»

Чернышевский не предполагал тогда, что и тут его ожидало горькое разочарование…

XXIX. Александровский завод

Вскоре после отъезда Ольги Сократовны Чернышевский в сентябре 1866 года был отправлен по предписанию коменданта Нерчинского завода из Кадаинского рудника в Александровский завод, расположенный неподалеку от Кадаи.

По пути к заводу несколько сел, зимовья для скота и степи, степи, чуть фиолетовые в ясный осенний день. В отдалении по сторонам возвышались темные горы.

«Дорога была хорошая, – писал он жене, – погода ясная. Из Дона на следующую станцию вез меня тот самый ямщик, который вез тебя».

Александровский завод. Кругом сопки и глухой таежный лес. Большое село, выросшее вокруг серебро-свинцово-плавильного завода, на котором работали преимущественно ссыльнопоселенцы и каторжане, заключенные в местном остроге.

Сначала Чернышевского поместили в одной из комнат в доме «полиции». По соседству с ним были размещены участники каракозовского дела – Шаганов, Николаев и другие, а также польские повстанцы.

«Познакомились мы с Чернышевским далеко, очень далеко от всяких культурных центров, в глуши, в Забайкальской области…» – пишет автор воспоминаний о пребывании Н.Г. Чернышевского на каторге – П.Ф. Николаев.

В момент их знакомства Николаеву было двадцать два года. «Мы – нас было шесть человек – только что вошли в комнату, в которой должны были жить, думать, страдать и, если сумеем, наслаждаться жизнью целых пять лет. Мы беседовали с обитателями дома, поселившимися там раньше нас. Разговор тянулся достаточно вяло, как всегда бывает между совсем незнакомыми людьми, которым, однако, придется прожить буквально бок-о-бок, кто знает, быть может и целую жизнь. Вялости и некоторой принужденности разговора способствовало и то обстоятельство, что вновь прибывшие не в малом смущении поглядывали на дверь, в которую, как мы знали, скоро должен был войти Николай Гаврилович. Мы, пожалуй, боялись его, пока не знали; во всяком случае конфузились. Так боятся строгого, но любимого учителя…

Думалось о том, что такое мы в сравнении с ним… Мы, юнцы, – старшему-то из нас было едва 25 лет… как мы чувствовали себя ничтожными по сравнению с ним, автором «Примечаний к Миллю», статей об общине, автором «Что делать?»!.. И вот он вошел… При нашем настроении

благоговейного трепета мы инстинктивно, сами о том не думая, ждали от Николая Гавриловича чего-то героического… в глазах, в выражении лица, – одним словом, чего-нибудь необычного. И увидели самое обыкновенное лицо, бледное, с тонкими чертами, с полуслепыми серыми глазами, в золотых очках, с жиденькой белокурой бородкой, с длинными, несколько спутанными волосами… Как теперь вижу его в своем неизменном халатике на белом барашке, с которым он расставался только в сильные жары, в мягких валенках, в маленькой черной барашковой шапке… Мы были разочарованы и – успокоены. Как только он вошел, так и легко стало. Если бы мы могли тогда вслух выразить наше впечатление, то, наверное, оно вылилось бы в восклицании: «Да какой же он простой!» Простой – именно это и было настоящее слово. И чем больше мы узнавали его, тем для нас яснее становилось, что в этой именно простоте и таилась та притягательная сила, которую чувствовали все, кому пришлось узнать его…»

В июне 1867 года, по окончании срока испытуемости, Чернышевскому разрешили жить на вольной квартире.

«Проезжая через Александровский завод, – писал Николай Гаврилович жене 27 июня, – ты, быть может, заметила домик, стоящий прямо против комендантского дома; он принадлежит одному из дьячков здешней церкви. Я живу теперь у этого старичка, в этом домике. По одну сторону сеней помещается хозяин со своим семейством; по другую сторону, окнами на улицу, моя комната…»

В правом углу комнаты поставили кровать, покрытую серым одеялом. В простенке между окнами поместился стол для работы и книг. На другом столе, за которым Чернышевский обедал, стоял глиняный кувшин с водой и чашка. На гвоздях он развесил свою одежду: пиджак, войлочную шляпу, мерлушковый тулупчик. Середину комнаты занимала большая печь.

Вскоре хозяин дома разрешил Чернышевскому пользоваться и второй комнатой, где Николай Гаврилович стал заниматься с детьми местных жителей.[50]

Он часто выходил с книгой и с удочкой в руках к реке Газимур, протекавшей у Александровского завода, усаживался на берегу, забрасывал удочку и углублялся в чтение. Случалось, что проходившие мимо ребята окликали его, обращая внимание на вздрагивание поплавка.

В летние вечера выносил он на крыльцо табуретку, садился на нее и, опершись на перила крыльца, погружался в чтение или задумывался над чем-то, а книга лежала на коленях.

Дом, в котором жил Николай Гаврилович, находился в

нескольких шагах от тюремного помещения, и Чернышевскому было разрешено по воскресеньям и в праздничные дни заходить в тюрьму к его товарищам. Во время этих посещений он читал им свои беллетристические произведения, рассказывал содержание задуманных повестей и романов, присутствовал при театральных представлениях.

Его сотоварищи по каторге вспоминают, что Чернышевский вел с ними продолжительные беседы на самые разнообразные темы, касавшиеся текущей политической жизни, событий далекого прошлого или важнейших вопросов науки и литературы. О чем бы ни заходила речь – о войнах, о промышленных кризисах, об античном обществе, о реформах Петра, о великих поэтах, Чернышевский всегда изумлял собеседников глубиной подхода к теме и огромными знаниями. Особенно поразил он их эрудицией и удивительной проницательностью в пору франко-прусской войны 1870 года – весь ход ее, вплоть до деталей отдельных сражений, был предугадан Николаем Гавриловичем. Часто видели его тогда погруженным в изучение карты Франции.

Он умел говорить и с простыми людьми, находя слова, прямо идущие к уму и сердцу этих людей. Вместо утомительных длинных рассуждений – непринужденный оборот речи, меткая характеристика лица или события двумя-тремя яркими штрихами, точное запоминающееся сравнение.

– Помните пословицу, – сказал как-то Николай Гаврилович одному из ссыльных: – «Терпи, казак, атаманом будешь». Не сейчас, конечно, а в будущем, далеком будущем; не мы, так дети наши или внуки… Атаманами будут не всегда генералы с регалиями, а явятся атаманы великого ума, убеждения, непреклонного желания в другую сторону, поверх всей настоящей жизни. Вспомните протопопа Аввакума, что скуфьей крыс пугал в подземелье: человек был, не кисель с размазней… Натурально, за такими сила и будущее. А откуда они? Из простого неграмотного народа – вся сила в народе…

Чернышевский всегда охотно откликался на просьбы разъяснить тот или иной недоуменный вопрос даже и в том случае, если сам в это время был погружен в работу.

– Нет, нет, оставайтесь, и будем толковать, – сказал он однажды Стахевичу, когда тот хотел удалиться, увидев, что Николай Гаврилович был занят чтением. – Для меня давно уже прошло то время, когда человек с наслаждением и с жадностью увеличивает запас своих знаний. Давно уже я чувствую удовольствие не в том, чтобы накоплять знания, а в том, чтобы их распространять; мне приятно делиться своими знаниями.

Среди заключенных, кроме русских, было много поляков и

два итальянца-гарибальдийца, замешанные в польском восстании. В общей камере нередко устраивались чтения, в которых принимал участие и Чернышевский. Он часто без всякой подготовки рассказывал им целые повести и отрывки из романов. Многое из того, что он рассказывал, так и осталось незаписанным или уничтожалось после того, как записывалось. Один из заключенных вспоминал впоследствии, как удивлены были они необыкновенным даром импровизации, присущим Чернышевскому. Однажды Николай Гаврилович, держа перед собою развернутую тетрадь и смотря в нее, прочитал им длинную повесть со всевозможными многочисленными отступлениями. Однако заглянув во время чтения через плечо Чернышевского в тетрадь, сидевший с ним рядом слушатель увидел, что листы ее были совершенно чисты.

На эту способность Чернышевского к импровизации указывает и В.Г. Короленко, познакомившийся с Николаем Гавриловичем в конце восьмидесятых годов. Он подметил и еще одну черточку Чернышевского: добродушное лукавство, с каким Николай Гаврилович любил мистифицировать собеседника: «Разговаривая с ним, никогда не мешало держать ухо востро, чтобы не принять всерьез какую-либо шутку. Кроме того, он часто, развивая какую-нибудь сложную мысль, отмечал ход своей аргументации, так сказать, отдельными вехами, снимая все логические мостики, облегчающие слушателю возможность легко и без труда следовать за ним, и вам приходилось делать самые неожиданные скачки, чтобы не отстать и не потерять из виду общей связи. Но зато, если вы понимали его шутку и не теряли нити, в его добродушно-лукавых глазах вспыхивало выражение удовольствия, почти наслаждения».

В томительно длинные зимние вечера заключенные, желая скоротать время, разыгрывали иной раз домашние спектакли. Сначала это были незатейливые экспромты, причем занавес заменяла простыня, декораций не было вовсе и женские роли приходилось играть мужчинам. Однажды было поставлено даже что-то вроде комической оперы «Лиза, любящая всех…» с декорациями и кулисами. Партию Лизы исполнял обладатель густого баса. Чернышевский, заразительно хохотавший во время этого представления, обещал «театральному коллективу» написать для него несколько пьес. И он выполнил свое обещание. [51]

Радушие и отзывчивость Николая Гавриловича проявлялись во всем: он охотно давал для чтения каждому желающему имевшиеся у него журналы и книги. Если заходили к нему товарищи, он не отпускал их, не напоив чаем, причем самовар

ставил сам, раздувая его при помощи сапога.

Когда кончился срок каторги для Баллода и он уезжал на поселение, Чернышевский настойчиво предлагал ему свои золотые часы, единственную имевшуюся у него ценность. «Понадобятся деньги, – говорил он, – продадите, всё рублей тридцать дадут». Николаеву и Стахевичу, при тех же обстоятельствах, он предлагал свои энциклопедические справочники, хотя обходиться без словарей ему самому было весьма трудно. «Когда будете в состоянии, – заметил Николай Гаврилович, – то выпишите новое издание для меня». Разумеется, ни тот, ни другой не захотели лишить Чернышевского ценных пособий для работы и отказались от подарка.

Часто ссыльные обращались к нему за окончательным разрешением спорных вопросов, считая его мнение самым веским и справедливым. За ним утвердилось прозвище Стержень добродетели. Повседневные работы для своих нужд – колку дров, топку печей, чистку картофеля для кухни, доставку воды из реки и тому подобное – заключенные исполняли по очереди. Из уважения к Николаю Гавриловичу они никогда не включали его в списки работающих, составлявшиеся на каждый день. Однако Чернышевский иногда сам порывался принять участие в таких работах, но тогда его дружелюбно выталкивали и только изредка допускали к чистке картофеля, если он уж очень настаивал. Все знали о его неловкости, объясняющейся сильной близорукостью, к тому же им памятен был его рассказ о том, как однажды в Петербурге он попытался помочь дворнику втащить дрова на пятый этаж. «Так ловко помог, – шутливо заключил он свой рассказ, – что вся вязанка рассыпалась. Ну, разумеется, и был награжден «благодарностью» в весьма крепких выражениях».

Напоминанием об этом случае ссыльные пользовались всякий раз, когда хотели устранить его от той или иной работы. Как начнет он помогать им, так и кричат ему: «А вспомните, Стержень добродетели, дворника!»

Казалось, никакие лишения и неудобства, связанные с пребыванием в ссылке, не тяготили его. И только мысль об оставленной семье не давала покоя. «Прости меня, моя милая голубочка, – писал он Ольге Сократовне, – за то, что я по непрактичности характера не умел приготовить тебе обеспеченного состояния. Я слишком беззаботно смотрел на это. Хоть и давно предполагал возможность такой перемены в моей собственной жизни, какая случилась, но не рассчитывал, что подобная перемена так надолго отнимет у меня возможность работать для тебя».

Его глубокое чувство любви к жене не только не угасло в

разлуке, а напротив, становилось все сильнее и сильнее. Он всегда с нетерпением ждал ее писем, памятные даты – день их свадьбы, день ее рождения – были праздниками для него в этом захолустье. В один из таких дней он писал Ольге Сократовне: «Милый мой друг, радость моя, единственная любовь и мысль моя Лялечка. Давно я не писал тебе так, как жаждало мое сердце. И теперь, моя милая, сдерживаю выражение моего чувства, потому что и это письмо не для чтения тебе одной, а также и другим, быть может. Пишу в день свадьбы нашей. Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя».

Он не устает повторять Ольге Сократовне, что, кроме любви к ней, нет и не было у него личных привязанностей с того времени, как он познакомился с ней.

А ведь прошло уже двадцать пять лет с той поры, как они встретились в первый раз. Ему нравился ее живой и веселый нрав. Он всегда любовался ее бесстрашием и удалью. Одним из любимых ее развлечений было когда-то катанье на тройках наперегонки, с бубенцами, с пеньем. Она не страшилась выезжать в лодке на взморье в бурную погоду. Однажды, когда случилось в Петербурге наводнение, она, надев мужской костюм, выехала на лодке спасать чужие вещи, плававшие по Невке.

Как умела она веселиться прежде!.. Гости их знали: где Ольга Сократовна, там всегда оживленье, шутки, смех.

Тщетно теперь убеждает он ее не горевать, не предаваться горьким раздумьям, быть беззаботно-веселой, как раньше.

Несчастья надломили Ольгу Сократовну. Вечная тревога за участь мужа, беспокойство за его здоровье, постоянная нужда, обида за сыновей, назойливые преследования полиции, утраченные надежды на возможность возвращения Николая Гавриловича из ссылки – все это неузнаваемо изменило ее характер. Все чаще вспоминала она стих Некрасова: «Тяжелый крест достался ей на долю».

В Забайкалье Чернышевский продолжал настойчиво и неутомимо работать, хотя скудный запас имевшихся книг был совершенно недостаточен для задуманных им произведений. Он хотел писать сочинения по политической экономии, по истории, но эти попытки неизбежно прекращались из-за отсутствия необходимых пособий. «Я пробовал писать сочинения по политической экономии. Начал, пишу, дохожу до такого пункта, где надо бы мне навести справку в таких-то книгах, – их нет, – с горечью говорил он Стахевичу. – Ну, хорошо, думаю, этот пункт обойду как-нибудь; продолжаю опять, дохожу до другого пункта, о котором необходимо справиться, а нужных книг опять нет. Вижу

– ничего не выходит, так и оставил эту работу».

Творческий труд его здесь проходил в мучительных условиях, и совершенно неудивительно поэтому, что многое осталось незавершенным, рукописи обрывались на полуслове, многое сжигалось, замыслы умирали, едва блеснув, и вновь рождались, видоизменяясь, чтобы снова умереть.

Первое беллетристическое произведение, с которым Николай Гаврилович познакомил своих товарищей в Александровском заводе, носило название «Старина». Роман этот не уцелел, но содержание его в общих чертах известно по воспоминаниям Стахевича и Шаганова. В нем изображалось провинциальное общество начала пятидесятых годов. По словам Стахевича, беллетристический талант Чернышевского сказался в этом автобиографическом произведении наиболее выпукло и сильно. Чувствовалось, что Чернышевский запечатлел здесь мысли, переживания и события, глубоко запавшие ему в душу в молодые годы.

Центральное место в романе занимало описание крестьянского бунта, подавленного силой оружия. В заключительной сцене рассказывалось, как скрывшийся и разыскиваемый властями предводитель бунтовщиков тайно явился переодетым мещанином к герою романа – Волгину. Между ними произошел короткий разговор, в конце которого Волгин неожиданно для собеседника наклонился к его руке и поцеловал ее. Затем Волгин содействовал устройству этого человека, добыв для него паспорт и небольшую сумму денег; тот поселился в каком-то городе в качестве мелочного торговца.

Трудно сказать, в какой мере переплетался в этом романе вымысел с действительными событиями и была ли в жизни Чернышевского именно такая встреча с главарем крестьянского бунта. Но в одном из писем Чернышевского есть прямое признание, что когда-то в молодости он, пренебрегая обычаем, поцеловал руку мужчине.

Одно из наиболее выдающихся сибирских произведений Чернышевского уцелело и еще при жизни его было опубликовано за границею. Это роман «Пролог», вводящий нас непосредственно в гущу политической борьбы, разыгравшейся в конце пятидесятых годов вокруг осуществления так называемой «крестьянской реформы» 1861 года.

«Пролог» является во многих отношениях образцом настоящего социального романа. Правда, рассчитывая напечатать роман в России, Чернышевский стремился завуалировать его подлинное содержание и еле сдерживаемую резкость направления. Но ненависть автора к царизму и крепостничеству,

презрение его к либеральным болтунам-«эмансипаторам», показавшим себя во всей красе в дни осуществления «крестьянской реформы», бьет через край в произведении, изображающем эту эпоху. В.И. Ленин, цитируя то место «Пролога», где герой романа Волгин убеждает своего друга в том, что нет никакой существенной разницы между «прогрессистами» и помещиками, писал: «Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно освещена она даже на Западе), понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер…»[52]

«Пролог», кроме того, – ценнейший автобиографический документ, помогающий уяснению многих сторон личности и мировоззрения самого Чернышевского, его ближайших друзей: Н. Добролюбова, Сигизмунда Сераковского и других.

Происхождение фамилии главного героя – Волгин – прозрачно: родной город автора расположен на Волге. Описание внешности, манер и особенностей характера Волгина сразу наводит на мысль о самом авторе (Волгин близорук, щурит глаза, носит очки. Он работает, не разгибая спины. «Ни один литератор не пишет столько…», «Всегда работает целый день, как встал, так и за работу, – и до поздней ночи»). Заботы о жене («Тебе надобно иметь экипаж, пару лошадей…»), стремление подшучивать над собой, застенчивость, внешняя неловкость Волгина – все эти мелкие черточки, собранные воедино, сразу вызывают представление о Чернышевском, каким мы знаем его по многочисленным биографическим данным.

В самом «Прологе» есть места, прямо перекликающиеся с подлинным дневником Чернышевского 1852–1853 годов. Вспомним то место, где Волгин предупреждает свою жену об опасности, угрожающей ему со стороны правительства. «За мое здоровье и за глаза ты напрасно опасаешься, поверь мне – одно может повредить тебе с Володею: перемена обстоятельств. Дела русского народа плохи. Но моя репутация увеличивается. Два-три года – и будут считать меня человеком с влиянием. Пока все тихо, то ничего… Но, как я говорил, и сама ты знаешь, дела русского народа плохи. Перед нашей свадьбой я говорил тебе и сам думал, что говорю пустяки. Но чем дальше идет время, тем виднее, что надобно было тогда предупредить тебя…»

В последних строках автор прямо напоминает своей жене (ей и посвящен «Пролог») о тех давних разговорах с нею перед свадьбой, которые записаны им в дневнике. Облик Волгиной и взаимоотношения ее с мужем передают черты характера Ольги Сократовны и особенности семейных отношений Чернышевских.

Нетрудно убедиться и в том, что презрительное отношение Волгина к «реформаторам», болтающим об освобождении крестьян, его неоднократные высказывания об истинном смысле этих реформ в точности передают настроения самого Чернышевского в эту эпоху.

Роман приобрел портретную выразительность благодаря тому, что прототипами действующих лиц были настоящие врага и настоящие друзья Чернышевского – живые участники общественного движения шестидесятых годов.

Большинство героев «Пролога» давно уже названы своими именами. Мы знаем, что Левицкий – это Добролюбов, что Соколовский – это Сигизмунд Сераковский. В Сибири Чернышевский сам подтвердил Стахевичу, «что арест Сераковского в 1848 году и ссылка его в Оренбургские батальоны изложены им в романе совершенно согласно с действительностью, без всяких прикрас». Палач Сераковского – Муравьев-Вешатель – изображен в «Прологе» под фамилией графа Чаплина с изумительной силой и выразительностью. Умеренно-либеральный профессор Кавелин запечатлен в «Прологе» в лице салонного реформатора Рязанцева.

Чернышевский в «Прологе» настойчиво наводит читателей на мысль о бунте, о вооруженном восстании. В той или иной форме Волгин ставит вопросы о первой крестьянской революции в России (восстание Пугачева), о революции 1848 года во Франции, в Германии, о венгерском, о польском восстании я т. д. От этого произведения Чернышевского, как и от других его произведений, «веет духом классовой борьбы» (В.И. Ленин).

До сих пор еще не ясно, в какой мере выполнил Чернышевский свой замысел – дать трилогию, которая развернула бы перед читателями широкую картину общественной жизни пятидесятых-шестидесятых годов на основе автобиографического материала. Ведь до нас дошел лишь один роман из задуманного цикла – «Пролог», состоящий из двух частей. А между тем из воспоминаний современников видно, что обе эти части его являются отрывками какого-то большого целого.

Недолго продолжалась жизнь Чернышевского на «вольной» квартире. Через год он был снова водворен в тюремное помещение, где и прожил до самого отправления в Вилюйск в декабре 1871 года. Причиной тому послужил побег его товарища по каторге, бывшего полковника Красовского, осужденного на восемь лет за распространение написанного им самим воззвания к солдатам-житомирцам с призывом не повиноваться приказам об усмирении бунтующих крестьян.

В отличие от других политических «преступников»

Красовский был отправлен на каторгу в Сибирь не в сопровождении жандармов, на почтовых лошадях, а пешком, с обычным уголовным этапом, на общем уголовном режиме. Его путь в Нерчинский завод длился целый год…

В 1867 году он, подобно Чернышевскому, пройдя срок испытуемости, был выпущен из-под стражи на «вольную» квартиру. Давно уже Красовский вынашивал план бегства. Получив на руки довольно крупную сумму денег, присланных ему, Красовский стал подготовлять побег. Он начертил карту китайской границы, раздобыл фальшивый паспорт, составил завещание, где объяснял свой побег опасениями снова очутиться в стенах каторжной тюрьмы, и 11 июня 1868 года бежал верхом на лошади. Через три дня в тайге нашли его тело с простреленной головой. Товарищи Красовского по каторге думали, что он был убит с целью грабежа местным казаком, предлагавшим ему свои услуги для побега. Однако они так и не узнали, что возле трупа Красовского была найдена его предсмертная записка, написанная кровью: «Я вышел, чтобы итти в Китай. Шансы для меня чересчур неблагоприятны. Я потерял ночью в дороге такие две вещи, которые непременно откроют мои следы. Лучше умереть, чем отдаться в руки врагов живым. *А. К.*». Потеряны им были записная книжка и план китайской границы.

Следствием этой истории было не только перемещение Чернышевского с «вольной» квартиры в тюрьму, но и принятие, властями новых мер к предупреждению возможности побега великого узника.

Правительство тревожно следило за всеми его сношениями с внешним миром. Как только до властей дошли слухи о предположении Ольги Сократовны поехать в Александровский завод для свидания с мужем, петербургскому обер-полицмейстеру было дано секретное предписание противодействовать ее выезду.

На восемь-десять месяцев была прервана его переписка с женою до получения «предписаний» из Петербурга.

По одному из указов Александра II о политических ссыльных, осужденных до 1 января 1866 года, Чернышевский мог быть освобожден от каторжных работ и отправлен на поселение еще в 1868 году. Но «льгота» эта не коснулась его. Напротив, по мере приближения окончания срока его каторги власти все более задумывались над изысканием способов продолжить его изоляцию.

Осенью 1870 года срок этот должен был наступить. Со стоической выдержкой и непоколебимым мужеством революционера перенеся каторгу, Чернышевский уже рассчитывал на возможность совместной жизни с семьею на вольном

поселении в одном из сибирских городов. «10 августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для тебя и детей, – писал он в апреле Ольге Сократовне. – К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать попрежнему…»

А в это время составлялась «справка» о Чернышевском для Третьего отделения, каждый пункт которой разбивал его надежды: «1. Арестованный (по делу о группе бывших каракозовцев) Кунтушев показал, что в Петербурге и других городах постоянно делались сборы денег с целью доставить Чернышевскому средства к побегу из Сибири. 2. Несколько арестованных принимало участие в тайном сбыте сочинений Чернышевского. 3. Фотографические портреты Чернышевского найдены при большинстве обысков. 4. В захваченной переписке «поклонение ему, доходящее до знания наизусть именно тех мест его сочинений, в коих сосредоточена суть его учений».

Управляющий первой экспедицией Третьего отделения Шульц представил в августе шефу жандармов Шувалову записку о литературной деятельности Чернышевского, где говорилось: «Усиленное брожение, возникшее в русском обществе после Крымской войны, было вызвано и поддерживаемо преимущественно журналистикой, которая проводила в массу читающей публики начала революции и коммунизма. Между журналами, действовавшими в этом направлении, первое место занимал «Современник»… он находился в руках небольшой партии молодежи, во главе которой стоял писатель талантливый, но до крайности увлеченный учением социалистов – Чернышевский. Вся его литературная деятельность была посвящена разъяснению и защите этого учения… Даже арест и предание его суду не «мели на образ его мыслей влияние: в крепости он продолжал переводить политическую экономию Милля с примечаниями и написал известный роман «Что делать?», в котором в общедоступной форме излагал крайние коммунистические убеждения».

«Срок работ Чернышевскому кончился 10 августа, – гласила шифрованная телеграмма генерал-губернатора Восточной Сибири шефу жандармов Шувалову. – Если будет свободен, отвечать за целость нельзя. Как поступить?»

Как поступить? 4 сентября 1870 года Шувалов доложил Александру II о своих соображениях относительно «неудобства» освобождения Чернышевского из тюремного замка ввиду того, что Чернышевский, по своему влиянию, может сделаться центром революционного движения. Шувалов просил передать этот доклад на обсуждение комитета министров. Царь наложил на докладе

резолюцию: «Исполнить согласно с соображением», а комитет министров, заслушав доклад, «пришел к заключению о необходимости: продолжив временно заключение Чернышевского в тюрьме… немедленно приступить к изысканию всех возможных мер к обращению Чернышевского в разряд ссыльно-поселенцев *в такой местности и при таких условиях, которые устраняли бы всякие опасения его побега и… сделали бы невозможным новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению…»*

Однако царское правительство было бессильно пресечь подобные «увлечения». Планы освобождения Чернышевского возникали от времени до времени в различных революционных кружках и у отдельных лиц. Одна из самых отважных попыток вызволить из плена великого демократа, относящаяся к последнему периоду его пребывания в Александровском заводе, связана с именем выдающегося революционера-народника Германа Александровича Лопатина.

Это был необыкновенно смелый, энергичный и решительный человек, обладавший несгибаемой волей я исключительной находчивостью. У Лопатина, несмотря на его молодость (в 1870 году ему исполнилось двадцать пять лет) уже был некоторый опыт в делах такого рода. Незадолго до того он совершил удачный побег из заключения в Ставрополе. Затем он помог народнику Лаврову, находившемуся в ссылке, перебраться в Париж, а вскоре бежал за границу и сам. В Лондоне Лопатин познакомился с Карлом Марксом, который сразу же полюбил его и приблизил к себе. Здесь Лопатин был избран в Генеральный совет Интернационала. Впоследствии Маркс говорил Лаврову, что редко приходилось ему встречать людей с таким глубоким умом, как его молодой друг.

Вскоре Лопатин приступил к переводу первого тома «Капитала» Маркса на русский язык. Но завершить эту работу он не успел, потому что как раз в это время у него созрело решение ехать в Россию, чтобы освободить Чернышевского. План этот возник у Германа Александровича под влиянием бесед с Марксом, который не раз с восхищением говорил своему молодому другу о великом русском ученом, томившемся в сибирской глуши. Слова Карла Маркса возбудили у Лопатина страстное желание возвратить миру великого человека.

«Мне казалась нестерпимой мысль, – писал много лет спустя Лопатин, – что один из лучших граждан России, один из замечательнейших мыслителей своего времени, человек, по справедливости принадлежащий к Пантеону русской славы, влачит бесплодное, жалкое, мучительное существование, похороненный в какой-то сибирской трущобе. Клянусь, что тогда,

как и теперь, я бы охотно и не медля ни минуты поменялся с ним местами, если бы только это было возможно и если бы я мог возвратить этою жертвою делу отечественного прогресса одного из влиятельнейших деятелей; я бы сделал это, не колеблясь ни минуты и с такою же радостной готовностью, с какой рядовой солдат бросается вперед, чтобы заслонить собственной грудью любимого генерала».

Уезжая из Лондона в Россию, Лопатин скрыл даже от Маркса цель своей поездки, так как боялся, что Маркс сочтет план невыполнимым и будет отговаривать его.

В конце 1870 года Лопатин приехал в Петербург с паспортом турецкого подданного Сакича. Здесь он запасся картами Сибири и, добыв документы на имя Николая Любавина, выехал в Иркутск, выдавая себя за члена Географического общества, которому поручена ученая разведка. Он не знал в точности местонахождения Чернышевского, так как не был знаком ни с родственниками Николая Гавриловича, ни с его друзьями по «Современнику». Ему пришлось задержаться в Иркутске около месяца, пока он исподволь добывал необходимые сведения. В это время заграничная агентура русской полиции, разведав, что некий эмигрант тайно отправился из-за границы в Сибирь, поставила об этом в известность Третье отделение. 1 февраля 1871 года Лопатин был арестован в Иркутске.

Вскоре тревожные и смутные слухи о судьбе Лопатина дошли до Маркса, и он в письме к. Н.Ф. Даниельсону 13 июня 1871 года поделился с ним своими соображениями по поводу предприятия Лопатина, старательно зашифровав сообщение об этом. «Наш друг» (то-есть Лопатин. – *Н. Б.*) *должен вернуться в Лондон из своей* торговой поездки. Корреспонденты той фирмы, от которой он разъезжает, писали мне из Швейцарии и других мест. Все дело *рухнет,* если он отложит свое возвращение, и сам он навсегда потеряет возможность оказывать дальнейшие услуги своей фирме. Соперники фирмы (то-есть царская полиция. – *Н. Б.*), уведомленные о нем, ищут его повсюду и заманят его в какую-нибудь ловушку своими происками».[53]

В это время Маркс еще не знал с точностью, что «торговая поездка» его друга уже потерпела крушение, а сам Лопатин находится в руках «соперников фирмы».

Однако сибирская эпопея Лопатина на этом не кончилась. Жандармы понимали, что задержан опасный, опытный революционер. Они догадывались о цели его приезда в Иркутск, но никаких прямых улик на этот счет у них не было. Требовалось время, чтобы собрать о Лопатине достоверные сведения, а пока что единственным обвинением, которое могли ему предъявить,

было лишь прежнее ставропольское дело.

Между тем Лопатин не бездействовал. Трижды совершал он смелые побеги из-под стражи, и в конце концов на третий раз, в 1873 году, ему удалось все-таки ускользнуть из лап полиции и вырваться за границу. Дочь Маркса, Элеонора Эвелинг, рассказывала Лаврову, что Маркс, узнав о приезде в Лондон Германа Александровича, оставил работу, прибежал к ней, взял ее за руки и стал кружиться с вею по комнате – так обрадовало Маркса благополучное возвращение его молодого друга из опасной «торговой поездки» в Сибирь. А за это время в судьбе Чернышевского произошли большие перемены.

XXX. Вилюйск

Приспешники Александра II, опасаясь, что революционерам все же удастся освободить Чернышевского, решили поселить его в заброшенном, глухом, оторванном тогда от всякой жизни Вилюйске. Вилюйск именовался городом, но, в сущности, это был обыкновенный якутский улус, лежавший к северо-западу от Якутска на расстоянии семисот пятидесяти верст.

Для Чернышевского такой исход был страшным ударом. Но он перенес и это испытание с непоколебимым спокойствием. Только по предельной краткости его первого письма к жене после неожиданного известия о переводе в Вилюйск можно догадаться о затаенной горечи, переполнявшей его сердце. «Я совершенно здоров. Живу попрежнему. И вообще все хорошо».

Теперь он лишался круга товарищей по каторге, лишался последних слушателей, с которыми ему было приятно делиться своими знаниями. Вилюйск обрекал его на полное духовное одиночество. Вместо долгожданного облегчения этот перевод из разряда ссыльнокаторжных в разряд поселенцев сулил ему только усиление кары.

Но он настолько твердо был убежден в правоте своего дела, в конечном торжестве его, что сознание этой правоты смягчало в его глазах собственную катастрофу. Благодаря этому сознанию он сумел подняться до объективной оценки своего положения и хладнокровно взглянуть на личную драму глазами революционера, мыслителя и историка. Перед ним не раз, вероятно, вставал вопрос: нужна ли была эта жертва, не следует ли ему сожалеть о безнадежно надломленной жизни, не согласился ли бы он «вычеркнуть из своей судьбы» этот период? И Чернышевский нашел в себе силы отвечать: «В прошлом все хорошо…»

«За тебя я жалею, что было так, – писал он жене. – За себя самого совершенно доволен. А думая о других, – об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их».

В начале декабря 1871 года Чернышевский под конвоем жандармов был отправлен из Александровского завода в Иркутск; там он пробыл два дня. 20 декабря перед выездом в Вилюйск он послал телеграмму родным в Петербург: «Еду на север жить. Поездка очень удобно устроена, я совершенно здоров».

На север Чернышевского повезли под усиленной охраной: его сопровождали жандармский штабс-капитан Зейферт, вахмистр

иркутской жандармской команды и два унтер-офицера наблюдательного состава. По письменной инструкции генерал-губернатора Восточной Сибири, состоявшей из семнадцати параграфов, жандармы должны были строго наблюдать за тем, чтобы в дороге Чернышевский не имел сношений ни с кем из посторонних лиц. Один из конвоирующих должен был в пути сидеть на козлах, а во время остановок безотлучно находиться при Чернышевском; другому предписывалось сидеть рядом с ним в повозке. Общее наблюдение за «порядком» поручалось офицеру Зейферту, которому велено было во время остановок на станциях помещаться в одной с Чернышевским комнате.

Далек и труден был путь в Вилюйск. Медленно двигался гуськом по снежной пустыне и по тайге небольшой караван легких повозок. Слабые из-за недостатка корма лошади еле-еле плелись и к тому же были дики и пугливы. Особенно опасны и тяжелы были переезды через реки и речки из-за наледей, на которых повозки могли провалиться и затонуть. Рассчитывать же здесь на чью-либо помощь в случае беды, конечно, не приходилось.

За Якутском русского населения уже не встречалось. Станции отстояли одна от другой на большом расстоянии – да и что это были за станции! Обыкновенные якутские юрты, где скот помещался вместе с людьми. «В этих юртах несравненно хуже, нежели в порядочных конюшнях», – писал Ольге Сократовне Чернышевский, рассказывая потом о своем переезде в Вилюйск.

Двадцать два дня длилось это изнурительное путешествие. И вот наконец, выехав из таежного леса, повозки с разбегу уперлись в частокол. Объехав его, путники попали на какое-то подобие улицы. С правой руки виднелась церковь, за церковью пустырь, а на конце пустыря, над обрывом, ведущим к берегу Вилюя, высилось большое деревянное здание острога, обнесенное забором.

В этот-то «индивидуальный» острог (в ту пору пустовавший) и был помещен под охраной стражников Чернышевский, сданный под квитанцию вилюйскому исправнику штабс-капитаном Зейфертом.

С обрыва, на котором стоял острог, виднелись за рекой дали вилюйского предместья Мастаха (по-якутски – Лес лиственниц). При одном взгляде на эти бескрайные леса, изрезанные сетью мелких речушек и болот, можно было понять, что не хуже острожных стен и решеток будут стеречь здесь узника бездорожье и топи.

Лишь месяца четыре в году – с декабря до апреля – дорога между Якутском и Вилюйском становилась более или менее

сносной. В остальные восемь месяцев даже доставка почты верховыми постоянно задерживалась из-за невероятных трудностей пути по глухим таежным дебрям. Недаром люди, знавшие местоположение Вилюйска, называли этот городок естественной тюрьмой, как бы созданной самой природой.

И все же, не полагаясь на эти природные преграды, сибирская администрация предписала вилюйскому исправнику установить за Чернышевским неусыпный надзор. Стражники ни на минуту не должны были выпускать Чернышевского из виду. Выходил ли он в город или на прогулку по опушке леса, унтер-офицер, которому разрешалось быть в «партикулярной одежде», следовал по его стопам.

Посторонние лица могли посещать Чернышевского только по разрешению исправника или унтера. Даже в ночное время не оставляли его в покое. Дежурный стражник заглядывал к нему и в поздний час, делая вид, будто он пришел последить за огнем в камельке или убрать что-нибудь из посуды.

Двенадцать лет прожил великий узник в этой ледяной пустыне, окруженной тайгой, болотами и топями Он и тут не изменил всегдашней привычке изображать свое положение с самой лучшей стороны.

«…Что касается меня, я здесь живу удобно: дом, в котором я помещаюсь, имеет большой зал и пять просторных комнат; все это очень опрятно; совершенно тепло», – писал он жене недели через две после прибытия в Вилюйск. Но стоило потом Ольге Сократовне заикнуться о возможности приезда к нему, как он встревоженно умоляет ее:

«…Повремени исполнением этого желания. Может быть, через полтора года, – может быть, через год, – может быть, и через полгода, я попрошу тебя доставить мне счастье видеть тебя и детей. Но подожди, пока это будет моей просьбой к тебе. До той поры повремени».

Те, кому доводилось видеть «хоромы», в которых поселили Чернышевского, описывали место его заключения совсем по-иному: «В камеру Николая Гавриловича вела дверь, обитая клеенкой… Прямо против двери – два окна с решетками, очень высоких, но свету в комнате было сравнительно мало, ибо окна глядели прямо в частокол и из них не виднелось даже кусочка неба. Сама камера была очень сырая, так что Николай Гаврилович… не мог сидеть без валенок, иначе сейчас же начиналась ломота в ногах».

С первых же дней пребывания в этой полярной тюрьме Чернышевский ясно понял, что представляет собою место его «вольного» поселения. В городе не было ни одной лавки – товары,

необходимые для жителей, продавались торговцами в их собственных квартирах; многого нельзя было здесь достать даже за большую цену, особенно из предметов домашнего обихода. По приезде Чернышевскому удалось случайно приобрести что-то вроде тарелки и подсвечник. Когда же он попросил купцов продать ему хоть четверть фунта мыла, то в ответ услышал: «У самих нет».[54]

…политических ссыльных со слов дочери врача, служившего в семидесятых года в Якутской области. Вот ее рассказ о путях, которыми шла контрабандная переписка Чернышевского с другими политическими ссыльными в России. «Первым посредником по передаче писем Николая Гавриловича Чернышевского был приказчик паузка[55] Лемешевский (впоследствии управляющий соляными копями). С бесчисленными предосторожностями, после бесчисленных наказов и проверки честности того, кому поручалась передача писем, олекминские ссыльные с душевным трепетом и волнением вручили Лемешевскому первую пачку писем на имя Николая Гавриловича Чернышевского.

Посредник оказался человеком несомненно порядочным, а главное изворотливым, и впервые взятую на себя задачу выполнил блестяще. Он сумел проникнуть в скромную обитель великого страдальца и передать ему живую весть. Николай Гаврилович, не подозревая, какую великую радость мог дать ему Лемешевский, два раза отклонял попытки последнего к свиданию. То сказывался занятым, то очень больным. Наконец он согласился остаться с назойливым вестником с глазу на глаз. Лемешевский молча вынул из-за пазухи пачку писем и подал ее Николаю Гавриловичу.

Тот недовольно и недоверчиво сначала протянул руку и взглянул на адреса… Все понял, побледнел, в радости, как будто в испуге, откинул голову назад, а потом порывисто бросился и поцеловал Лемешевского. И долго не мог прийти в себя, молча ходил из угла в угол и все курил, курил… Лемешевский счел нужным оставить его одного.

Часа через три он вошел к Николаю Гавриловичу снова. Теперь Николая Гавриловича нельзя было узнать: глаза блестели, на щеках играл румянец, голос окреп и звучал бодро. Благодаря Лемешевского, говорил, что он внушил ему и снова зажег желание жить…

Лемешевский уходил от Николая Гавриловича с пачкой рукописей, которые тот должен был доставить в Олекминск. А из Олекминска, зашитые в подушки и матрацы, чтобы проскользнуть через обыск в Нохтуйске, они шли в Россию будить и питать

революционную мысль».

По установленному сибирской администрацией порядку, жандармского унтер-офицера, возглавлявшего надзор за Чернышевским, назначали в Вилюйск из Иркутска. При этом решено было сменять унтер-офицеров ежегодно из опасения, что они могут подпасть под влияние Чернышевского.

Во время свидания с Шагановым в Вилюйске Николай Гаврилович рассказал ему, между прочим, что охраняющий его унтер-офицер Ижевский отличается крайней жестокостью и подозрительностью. Самоуправство его не знает границ: зимою, уходя пьянствовать, он аапирал острог, а потом пытался вообще возвести это в систему и стал запирать острог с «казенной зари», то-есть с девяти часов утра. Не случайно был прислан из Иркутска именно Ижевский. Дело в том, что первый побег Германа Александровича Лопатина из иркутской тюремной камеры произошел в его дежурство. Лопатин, сталкивавшийся с Ижевским в заключении и ненавидевший его до глубины души, избрал для своего побега день его дежурства, зная, что в случае удачи тяжесть ответственности падет на этого стражника. Но месть не удалась. Лопатин был, по собственному его выражению, «затравлен по горячему следу» восемью верховыми жандармами. Когда Лопатина настигли, рассвирепевший Ижевский едва не зарубил его саблей.

Этого-то унтера, хорошо знавшего в лицо Лопатина, и решило иркутское жандармское управление приставить к Чернышевскому в Вилюйске, давши ему в помощники двух местных урядников казачьего полка. Назначая Ижевского, жандармское управление стремилось предотвратить осуществление Лопатиным новой попытки спасти Чернышевского.

Летом 1872 года Лопатин совершил свой второй побег. В двухвесельном челноке-душегубке уплыл он вниз по Ангаре, спустился через знаменитые ангарские пороги и добрался постепенно до Енисея, где и вышел на берег в Усть-Тунгузке, проплыв в одиночку около двух тысяч старых «екатерининских» верст Путь по Ангаре был особенно труден. Местами ему приходилось обходить слишком опасные пороги и волочить лодку по земле, потом он опять спускал ее в реку и стремительно несся по узким проходам порогов, рискуя ежесекундно разбиться.

Выйдя на берег в Усть-Тунгузке и пробравшись отсюда через таежный перевалок в шестьдесят верст на Старо-Ачинский тракт, он доехал на крестьянских лошадях до Томска.

Можно представить себе, какой невообразимый переполох вызвал этот побег. 2 сентября вилюйский исправник получил от якутского губернатора следующее извещение: «Председатель

совета главного управления Восточной Сибири генерал-майор Дитмар сообщил, что коллежский секретарь Герман Александрович Лопатин, содержавшийся в Иркутском тюремном замке и освобожденный в начале сего года из-под стражи, с учреждением над ним секретного полицейского надзора, 7 августа скрылся из своей квартиры и не разыскан. В Иркутске Лопатин проживал под именем Любавина и был заподозрен в намерении освободить из ссылки Чернышевского, почему генерал-губернатор Восточной Сибири командировал в Якутск и Вилюйск для проверки надзора за государственными преступниками своего адъютанта, штаб-ротмистра князя Голицына. Предлагается вам оказать содействие князю Голицыну и принять меры к усилению охраны Чернышевского во избежание побега».

Вилюйский исправник принял, разумеется, все меры предосторожности и тотчас сообщил губернатору, что коллежского секретаря Лопатина в Вилюйском округе не оказалось, а за Чернышевским установлен бдительный надзор, так что убежать ему из Вилюйска нет никакой возможности.

Как раз в это время Лопатин и очутился в Томске с паспортом доктора в кармане. Он не знал, что иркутские власти уже успели разослать по всей Сибири его фотографические карточки. По ней-то и был он узнан и задержан на улице Томска одним из полицейских. Напрасно кричал Лопатин, грозя подать жалобу на полицейского; тот не отпускал его и повел к губернатору. Тут Лопатин, войдя в роль, стал жаловаться, что на улицах города полоумные или пьяные полицейские задерживают почтенных людей. В ответ полицейский предъявил губернатору фотографическую карточку Лопатина. Герман Александрович со смехом заявил, что изображенное на карточке лицо скорее напоминает американского президента Линкольна, нежели его, доктора. Губернатор заколебался и, принеся извинения Лопатину за недоразумение, приказал отпустить его. Однако полицейский стал настаивать, чтобы губернатор разрешил ему свести Лопатина в гостиницу на очную ставку с приехавшим из Иркутска поляком, знавшим Германа Александровича в лицо. Тут дело повернулось по-иному. Едва переступили они порог комнаты приезжего, как тот, взглянув на Лопатина, вздрогнул и смутился, изумленный его появлением в сопровождении полицейского.

– Что же делать… сорвалось… деваться некуда… – проговорил Герман Александрович. Его взяли под стражу и снова отправили в иркутскую тюрьму.

Яркая личность Лопатина привлекла внимание иркутского генерал-губернатора Синельникова. Он стал посещать Германа

Александровича в тюремной камера подолгу беседовал с ним и постепенно проникся глубоким уважением к уму, знаниям и силе характера этого человека.

Лопатин смело признался Синельникову, что действительно целью его поездки было спасение Чернышевского. Он так горячо и убедительно обрисовал Синельникову тяжесть положения великого узника, обреченного влачить мучительное существование в глухом Вилюйске, что генерал-губернатор решился ходатайствовать перед Третьим отделением о смягчении участи Чернышевского, прося перевести его в Якутск под особый надзор полиции. Дело о побеге самого Лопатина Синельников просил прекратить. В ответ генерал-губернатор получил телеграмму, в которой о Чернышевском не было сказано ни слова, а относительно Лопатина сообщалось, что государь не соизволил дать согласие на прекращение дела Лопатина, «предосудительный образ действий которого памятен его величеству».

10 июня 1873 года Лопатина привезли в иркутский окружной суд для дачи показаний. Проходя по двору суда под стражей, он видел, как приехавший в суд за справками чиновник привязывал к коновязи лошадь. Тотчас в голове его родился дерзкий план. Во время перерыва заседания суда Лопатин, выйдя вместе с «подчаском» освежиться на крыльцо, спрыгнул на землю, быстро подбежал к лошади, оборвал повод, вскочил в седло и ускакал в лес, тянувшийся бесконечно на север вдоль Якутского тракта.

Через месяц, после множества опасных приключений, Лопатин, переодетый крестьянином, в собственной телеге и на собственной лошади не спеша двигался по направлению к Томску.

На этот раз все обошлось здесь для него благополучно. Пароходом он добрался до железной дороги, прибыл в Петербург, а затем вскоре уехал в Париж.

«Я в жизни не встречал более замечательного человека, – говорил впоследствии о Лопатине Глеб Успенский, намеревавшийся даже написать о нем повесть «Удалой, добрый молодец». Жизнь Лопатина представлялась писателю благодарнейшим материалом для художественного произведения. Характеризуя «удалого, доброго молодца», Глеб Успенский писал: «Он видел все и вся. Это целая поэма. Он знает в совершенстве языки, умеет говорить с членом парламента, с частным приставом, с мужиком, умеет сам притворяться и частным приставом, и мужиком, и неучем, и в то же время может взойти сейчас на кафедру и начать о чем угодно вполне интересную лекцию. Это изумительная натура».

Третий побег Лопатина окончательно всполошил сибирскую администрацию. Снова возникли опасения, что Лопатин все-таки осуществит свой план. Снова верховой нарочный мчался с предписанием вилюйскому исправнику принять меры к разысканию Лопатина и усилению надзора за Чернышевским. «Совершенно секретный» циркуляр предписывал неусыпный и ежечасный надзор за вилюйским узником.

В конце 1873 года иркутский генерал-губернатор получил анонимное письмо, в котором указывалось, что революционерами Бакуниным и Утиным разработан план освобождения Чернышевского. В Вилюйск был откомандирован полковник Купенков, который произвел внезапный обыск в остроге. Жандармы, ища подземный ход, взломали полы. У Чернышевского были отобраны рукописи и 310 рублей. Деньги передали исправнику «для удовлетворения нужд Чернышевского по мере надобности».

Только этими «трофеями» и пришлось удовольствоваться полковнику. Во время обыска Купенков заметил Чернышевскому, что те, которые считают себя его друзьями, вредят ему, делая попытки к освобождению его из Сибири. Правительство потому, дескать, и лишено возможности облегчить его положение.

Чернышевский на это ответил:

– Согласитесь, что вы никогда не забудете фамилий Пушкина, Гоголя, Лермонтова, так современная молодежь будет помнить мою фамилию, хотя я этого не ищу… Если те идеи, которые я проводил десять лет тому назад, признаны преступными, то за них я потерпел довольно, подчиняясь суду, и не знаю за что, после истечения срока каторги, отягчают мою участь содержанием здесь и воспрещением печатать мои сочинения.

В рапорте Купенкова о произведенном обыске говорилось: «Сильно похудевший и пожелтевший Чернышевский эксцентричен, странен и необщителен с людьми, кроток и вежлив с надзором, проводит время в чтении и в письме, уничтожая свои работы. Обрядов православной церкви не соблюдает, в церковь не ходит, в пище воздержан, вина и водки не употребляет…»

В заключение Купенков указывал, что побег Чернышевского из Вилюйска почти немыслим в силу географического положения этого города, местных климатических условий и безлюдности вилюйских окрестностей.

Об усиленной страже, охранявшей Чернышевского, Купенков в рапорте не упоминал – это подразумевалось само собою.

Вилюйский старожил Константин Жирков, по прозвищу Ладышка, служивший в казаках в годы заключения

Чернышевского в остроге, рассказывал литератору Б. В. Лунину, посетившему Вилюйск в 1933 году «Двор острога был не очень просторен, пустоватый, больше песку и мало зелени… Лес снаружи отстоял от палей[56] сажен на сорок. А камера его была большая, сама по себе светлая и окнами выходила на юго-восток, но свету мешали пали. Гулял Чернышевский по городу без всякой охраны, но только это одна видимость была, а на деле постоянная за ним слежка велась… Служило при нем нас семеро казаков, один жандарм и два урядника. Ночью мы посменно окарауливали его, ходили снаружи вдоль палей. В карауле стояли по два человека, сменялись через каждые два часа. Зимой на нас были надеты тулупы, катанки и бараньи шапки с красным донышком и кокардой. Так и караулили, ночи-то зимние долги, а Чернышевский сидит с огнем допоздна. Уж куда за полночь небо перейдет. Называли мы его меж собой Николаем Гавриловичем…

Отапливалась камера недурно, да только за зиму все равно промерзнет и отсыреется; он же в морозы почти и не гулял. К нему тоже никто не захаживал. Так и содержали мы его одного-одинешенька во всем остроге…»

Хотя Чернышевский давно уже привык ничему не удивляться, но картина нищенского, дикого существования безответных и бесправных якутов поразила его до глубины души. «Что это такое? – спрашивал он себя. – Люди ли это или хуже забитых собак, животные, которым нет имени?» И отвечал: «Люди, и добрые, и не глупые; даже, может быть, даровитее европейцев… Но это жалкие, нищие дикари, каких нет жальче на свете…»

Сначала он даже избегал выходить в город: так тяжело ему было смотреть на этих забитых, робких людей, которые при встрече с ним, узником вилюйского острога, еще издали снимали шапки и почтительно замирали на месте с непокрытой головой на тридцатиградусном морозе. Русского языка они не понимали, и поэтому Чернышевский пробовал объяснять им знаками, что делать так вовсе не следует. Подойдя к встречному якуту, он брал у него из рук шапку, потом отходил, кланялся ему, надевал свою шапку, показывая знаками, что и якут должен так делать – поклониться и опять надеть шапку. Некоторые понимали его, а иные пускались бежать, как только он протягивал руку к шапке, – им казалось, что он хочет ударить их.

Чернышевский не мог оставаться безучастным к их горестям и нуждам. Он захаживал в самые бедные юрты, вникал в дела их обитателей, лечил больных ребятишек простыми средствами, давал те или иные советы взрослым.

Скоро слух о необыкновенно отзывчивом и справедливом русском человеке достиг соседних наслегов. Короленко

рассказывал со слов бывшего жандармского унтер-офицера Щепина: «Чернышевский был добр бесконечно, всем готов был помочь, особенно якутам, а тем более в болезни. К Чернышевскому часто приезжали якуты. Любили они его. Приедут бывало и спросят: «Есть Никола?» Чернышевский сейчас ставит им самовар и поит их чаем. По-якутски сам не говорил ни слова, но урядники-якуты переводили ему. Чернышевский любил копать канавы и осушил канавами много болотистых мест, сделав их годными к сенокошению для якутов. Якуты и теперь зовут эти канавы и луга «Николиными».

Жизнь русских вилюйчан была так бедна и бескрасочна, круг интересов их так неизменен, узок и жалок, что у Чернышевского пропадала потребность в общении с людьми, безнадежно погрязшими в обывательской тине. Ему скучно было слушать их вечные рассуждения о цене кирпичного чая, белки, коленкора, о грошовой игре в «стукалку». Это были зажиточные, по тамошним понятиям, мещане, занимавшиеся поставками мяса на золотые прииски или незначительными торговыми операциями на чукотской ярмарке. «И вся сумма жизни от истоков Лены до океана составляет такую сумму знаний и новостей, которых достанет на полчаса разговоров в год», – с добродушной иронией писал Чернышевский.

Летом 1874 года власти попытались склонить Чернышевского к подаче просьбы о помиловании. Генерал-губернатор Восточной Сибири направил в Вилюйск своего адъютанта, полковника Винникова, для переговоров с Чернышевским о том, что если им будет подано прошение о помиловании, то его освободят из вилюйского заточения и со временем возвратят в Россию.

Прибыв в Вилюйск, Винников направился в острог. Было два часа дня. Он не застал Чернышевского в помещении.

– Арестант гулять вышел, – доложил Винникову жандарм и указал в сторону небольшого озера невдалеке от острога. Там на скамейке сидел Чернышевский.

Винников подошел к Николаю Гавриловичу, представился и сказал, что имеет поручение генерал-губернатора узнать, нет ли у него жалоб, не нуждается ли он в чем-нибудь.

Чернышевский встал со скамейки и, окинув быстрым взглядом полковника, проговорил:

– Благодарю вас, кажется, всем доволен и претензий не имею.

Винников попросил Чернышевского сесть и сообщил, что у него есть к нему еще одно, более важное дело.

– Николай Гаврилович, – проговорил он, – я послан со специальным поручением от генерал-губернатора. Вот, не угодно ли прочесть и дать мне положительный ответ в ту или другую

сторону.

С этими словами Винников подал Чернышевскому бумагу.

Николай Гаврилович молча взял ее, внимательно прочитал и, помедлив минуту, сказал:

– Благодарю. Но, видите ли, за что же я должен просить помилования? Это вопрос. Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, а об этом разве можно просить помилования? Благодарю вас за труды. От подачи прошения я положительно отказываюсь.

Произошла неловкая пауза. Не ожидавший такого ответа Винников растерянно проговорил:

– Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?

– Положительно отказываюсь, – просто и спокойно подтвердил Чернышевский.

– Буду просить вас, Николай Гаврилович, дать мне доказательство того, что я вам предъявил поручение генерал-губернатора.

– Расписаться в прочтении?

– Да, да, расписаться.

– С готовностью.

Они направились в острог, зашли в камеру Чернышевского. Он присел к столу и написал на бумаге четким почерком: «Читал, от подачи прошения отказываюсь. *Николай Чернышевский*».

«Когда я уезжал из Вилюйска, – заключает свой рассказ Винников, – мне стало стыдно за себя».

Так умел влиять этот могучий духом человек даже на врагов. Недаром вилюйский исправник был официально предупрежден якутским губернатором о том, что «Чернышевский обладает способностью располагать в свою пользу лиц, приставленных к нему для наблюдения».

Вилюйчане рассказывали впоследствии, что Николай Гаврилович успел обучить нескольких своих стражников грамоте, письму и счету. С одним из таких стражников, прожившим с Чернышевским целый год, довелось однажды встретиться в Сибири писателю В. Короленко, и он был поражен его начитанностью.

Начальство хорошо знало об этом. Янковский, служивший в иркутском жандармском управлении, рассказывал за игрою в карты своим партнерам, что жандармские унтер-офицеры, возвращавшиеся в Иркутск по отбытии годичной службы при остроге, оказывались заметно сообразительнее и развитее, чем были до командировки в Вилюйск.

Постоянный состав караульных время от времени сменялся, а

за охранявшими его стражниками велось, в свою очередь, наблюдение.

Всякое появление нового лица в районе вызывало подозрительное внимание местных властей, и тотчас же завязывалась секретная переписка между соответствующими инстанциями.

11 июля 1875 года исполняющий должность вилюйского исправника Иван Жирков получил от письмоводителя Сунтарской инородческой управы письмо, в котором сообщалось, что несколько дней тому назад из Олекминска в Сунтар на наемных лошадях, без конвоя, прибыл некто Мещеринов. Письмоводитель добавлял, что, по словам прибывшего, он едет из Олекминска, а между тем никто не видел Мещеринова в Олекминске.

В тот же день Жирков получил известие и от своего помощника Поротова, встретившего Мещеринова в десяти верстах от Верхне-Вилюйской управы. Из письма было видно, что проезжий расспрашивал Поротова о том, когда идет почта из Якутска в Вилюйск, и потом сказал, что он вернется из Вилюйска не один, но еще не знает, каким путем – на Якутск или на Олекму.

Эти письма заставили Жиркова насторожиться. На следующий день, в два часа тридцать минут пополудни, к нему явился в форме жандармского поручика сам Мещеринов. Он предъявил три важных документа из иркутского жандармского управления на имя вилюйского исправника. Первый документ гласил: «Препровождая при сем телеграмму, полученную в управлении на ваше имя от генерал-губернатора Восточной Сибири, управление, с своей стороны, покорно просит вас не отказать в содействии поручику Мещеринову по исполнению возложенного на него поручения».

В телеграмме из Благовещенска, адресованной в иркутское жандармское управление, предписывалось вилюйскому исправнику оказать необходимое содействие поручику корпуса жандармов Мещеринову, командированному сопровождать Чернышевского в Благовещенск.

И, наконец, в третьем документе от иркутского жандармского управления предписывалось исполнить в точности и без малейшего замедления все приказы поручика корпуса жандармов Мещеринова, относящиеся до перевода посаженного в г. Вилюйске Николая Чернышевского во вновь назначенное место жительства.

Многое могло тут смутить исправника: Мещериков прибыл без подорожной, без конвоя, у него не оказалось бумаги от якутского губернатора – непосредственного начальника.

Подозрительным показался в официальных бумагах термин «посаженный», вместо «государственный преступник». Во всяком случае Жирков наотрез отказался выдать Чернышевского Мещеринову, усилил караул в остроге, не допустил Мещеринова к Чернышевскому, заявив, что без предписания якутского губернатора он не пустил бы и самого шефа жандармов.

Ничего не оставалось делать Мещеринову, как отправиться в Якутск. Исправник снарядил его в дорогу и послал с ним, якобы для сопровождения, двух казаков, с которыми отправил донесение о случившемся. На первой же станции от Вилюйска Мещеринов переоделся, отдал свою форменную одежду казаку Семену Бубякину, приметившему, что в поясе, прикрепленном к брюкам, оказалось два кошелька с большим количеством денег. Переодеваясь, Мещеринов сунул в боковой карман две какие-то бумаги, а остальные отдал казаку.

Дорогою он расспрашивал у казаков названия улусов, наслегов, записывая эти сведения в книжечку. Интересовался он также, где можно купить порох, где достать лодку и можно ли по реке Вилюю попасть в Якутск. На полпути от Вилюйска Мещеринов, заметив, что казаки зорко следят за ним, решил отделаться от них. Улучив момент, он стал стрелять в казаков, ранил одного из них и скрылся в лесу.

Получив это тревожное известие, перепуганный вилюйский исправник немедленно нарядил для поимки беглеца трех казаков из «благонадежных» и знающего «медицинскую часть» купца Добронравова (в Вилюйске ни врача, ни фельдшера не было) для оказания помощи раненому казаку Бубякину. Казакам велено было «принять все меры к розыску Мещеринова, стараясь всеми мерами схватить его живым. Если он будет сопротивляться, то в крайности употребить огнестрельное оружие, стреляя по ногам, не наносить ему смертельных ран и не лишать жизни».

В рапорте на имя якутского губернатора исправник просил усилить местную команду присылкой десяти солдат и двух унтеров, выражая опасение, что если революционеры увезут Чернышевского, а его, исправника, убьют, то будет «большая беспомощность городу Вилюйску и всему казенному интересу». Губернатор, получив донесение, выделил для розысков Мещеринова двух казаков, а для усиления караула вилюйского острога направил команду из шести человек под начальством ефрейтора Годунова.

Вскоре Мещеринов был пойман в Якутском округе и арестован. Он не сразу назвал свою подлинную фамилию, выдавая себя некоторое время за сына вологодского священника Титова. Но запирался он недолго и в конце концов вынужден был

сообщить подлинные сведения. Он оказался разыскиваемым полицией революционером Ипполитом Мышкиным.

Так рушился и этот смелый план освобождения Чернышевского.

После поимки Мышкина вилюйский исправник написал якутскому губернатору, что Чернышевского следует перевести в другое место или назначить для надзора за ним семьдесят человек солдат и одного офицера. «Я и мои помощники находимся в постоянных отлучках, – доносил исправник, – половина казаков местной команды – в постоянных отлучках и командировках. При такой обстановке три-четыре человека, притом вооруженные, могут взорвать пороховой погреб, где имеется сто и более пудов пороху, два спиртных склада, а при пожарах, при отсутствии здесь огнетушительных средств, ничего нельзя сделать. Злоумышленники не оставят своего намерения относительно Чернышевского…»

Ничто не могло сломить волю великого борца. Он попрежнему много и упорно работал. Один из мемуаристов рассказывает: «Мне было известно, что Николай Гаврилович в продолжение зимних ночей что-то писал, а под утро все написанное сжигал. Однажды я спросил его, для чего он это делает. Он мне ответил: «Да, вам это известно? Ну, тогда я вам скажу, для чего я это делаю: если бы все это время я ничего не писал, то я бы мог сойти с ума или все перезабыть; а то, что я раз написал, этого уже не забуду».

В Вилюйске у Чернышевского осталась единственная возможность высказывать свои взгляды по теоретическим вопросам в письмах к родным. Он не пренебрег и этой возможностью. Сохранились вилюйские письма Чернышевского к сыновьям – Александру и Михаилу. Собственно, это и не письма даже, а обширные статьи и трактаты, в форме «бесед» по вопросам естествознания, философии, истории, математических наук.

Он остался верен философскому материализму и, продолжая борьбу за утверждение научно-материалистического мировоззрения, подвергал непримиримой критике входившие тогда в моду на Западе и в России субъективный идеализм, неокантианство и позитивизм.

За долгие годы вилюйского одиночества Чернышевский написал десятки романов, но из всего написанного уцелели и дошли до нас только две части романа «Отблески сияния». Опасаясь внезапных обысков, писатель взял за правило уничтожать все написанное. «Пишу и рву: беречь рукописи не

нужно: остается в памяти все, что раз было написано, – говорит он в письме к Пыпину в 1877 году, – и как услышу от тебя, что могу печатать, буду посылать листов по двадцати печатного счета в месяц…»

Однако попытки его переправить официальным путем хотя бы совершенно «невинные» по содержанию произведения в редакцию журнала «Вестник Европы», к которому был близок Пыпин, терпели неудачу. Посылаемые произведения оставались в недрах Третьего отделения.

В 1877 году до Чернышевского дошла весть о смертельной болезни его друга и соратника – Н.А. Некрасова.

Потрясенный этим известием, Чернышевский писал Пыпину: «…Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов.

Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И, как поэт, он, конечно, выше всех русских поэтов».

Эти слова друга успели дойти до умирающего поэта. «Некрасов еще жив, – писал в ответном письме Пыпин 5 ноября 1877 года. – Сегодня я опять застал у него докторов, но он просил, чтоб я зашел к нему… Я передал ему твои слова. Он был тронут: «Скажите Николаю Гавриловичу, что я очень благодарю его; я теперь утешен; его слова дороже мне, чем чьи-либо слова…»

27 декабря великого народного поэта не стало…

Трагическая участь Чернышевского волновала не только его друзей и соратников. Голоса в защиту его проникали и в печать. В самом начале 1881 года газета «Страна» выступила с передовой статьей о вилюйском узнике: «Далеко в Восточной Сибири, в Якутской области, есть город, призрак города – Вилюйск. Он известен тем, что в нем, – географически далеко от умственных центров страны, но нравственно им близко, – скрывается пример несправедливости, жертва реакции. Там живет, т. е. едва прозябает, отчужденный от семьи, от товарищей в русской литературе, лишенный почти всех условий человеческого существования – Н.Г. Чернышевский».

Тщетны были призывы передовых людей России, тщетны были многократные обращения родных Чернышевского к правительству о смягчении его участи – Александр II был неумолим к вилюйскому узнику, видя в нем своего заклятого

врага.

Дело о перемещении Чернышевского сдвинулось с мертвой точки только после смерти Александра II.[57]

Опасаясь террористических актов со стороны революционеров во время предстоявшей коронации Александра III, правительственные круги вступили через посредников в негласные переговоры с Исполнительным комитетом «Народной воли» об условиях перевода Чернышевского из Вилюйска в Европейскую Россию.

27 мая 1883 года последовало «предварительное соизволение» Александра III «на перемещение Чернышевского под надзор полиции в Астрахань, с тем чтобы по пути следования не делалось ему каких-либо оваций».

XXXI. Астрахань

Прошло три месяца. В конце августа 1883 года в Вилюйск прибыли жандармские унтер-офицеры Шигорин и Машков с предписанием доставить Чернышевского в Иркутск. Сибирские администраторы не сочли нужным сразу же объявить Чернышевскому о том, что ему назначается новое место поселения. Сенатский указ об этом остался неизвестен Николаю Гавриловичу до самого прибытия в Иркутск.

Однако, понимая, что в судьбе его наметился какой-то поворот, Чернышевский стал тотчас же торопить жандармов с отъездом. Он выражал желание немедленно отправиться в путь. Но надо было подготовиться к длительному и очень трудному путешествию; кроме того, жандармы хотели отдохнуть с дороги. Поэтому отъезд был отложен на сутки.

Выехали на рассвете, хотя отъезд был назначен на двенадцать часов дня, и когда некоторые вилюйчане пришли в полдень к острогу, то Чернышевского они там уже не застали.

Жена жандармского унтер-офицера Щепина, состоявшего стражником Чернышевского, позднее рассказывала: «Дело было в августе месяце. Дороги проезжей из Вилюйска нет, только верховая. Кругом страшнейшие болота, мостов тоже не было, речки необходимо было переплывать вплавь на лошади… Дорога – только узкая тропа среди тайги; верхом едешь, ветки бьют в лицо. Ехать верхом он отказался… Хотели сделать на быках качалку, как носилки, к стременам подвязать. Он отказался. И его повезли на санях по земле. Якуты шли впереди саней и расчищали дорогу, где была тайга…»

На одном из перегонов пришлось лошадей заменить собаками. Затем продолжали путь в крытой лодке, по-местному «шитике»; ее тянули бечевой «почтари» – приленские крестьяне, на обязанности которых лежало «гонять почту» и возить проезжающих.

В Якутске Чернышевского доставили к губернаторскому дому. Губернатор Черняев, причинявший прежде своему пленнику всевозможные неприятности, удивил его теперь гостеприимством и внимательностью. К приезду Чернышевского был приготовлен завтрак. Но подлинный смысл губернаторского радушия раскрылся Чернышевскому при отъезде из Якутска, когда он убедился, что перед отправлением в дальнейший путь ему не позволяют задержаться в городе для отдыха и закупок. Губернатор был озабочен только тем, чтобы сохранить, по возможности, в тайне от всех прибытие и отъезд важного

«государственного преступника».

Тогда, усаживаясь в повозку, Чернышевский иронически заметил: «Надо бы хоть к губернатору-то вернуться. Рубль, что ли, ему за завтрак отдать…»

Везли Чернышевского под именем «секретного преступника № 5». Короленко в своих воспоминаниях рассказывает о курьезном эпизоде, связанном с этим «секретом полишинеля», каким окружали тогда отъезд Чернышевского из Сибири, о чем в то время известно было всей России из газет. «За несколько часов до выезда Чернышевского по Лене из Якутска отправилась почта. Почтальон, как и все в городе, конечно, знал, что Чернышевский поедет вслед за ним, и, желая поусердствовать, предупреждал всех смотрителей. Таким образом, подъезжая к станции в лодке, небольшой отряд с важным пересыльным заставал уже на берегу готовыми новую лодку, лошадей для лямки и ямщиков в парадных (по возможности) костюмах. Это, наконец, обратило на себя внимание жандарма Машкова, расторопного служаки, с которым и мне пришлось познакомиться впоследствии, имевшего несколько преувеличенное понятие о своей миссии.

– Что за чорт! – удивился он. – Откуда вы знаете, что мы будем?

– От почтальона такого-то. Проехал с почтой и говорит: готовьтесь, Чернышевского везут.

– А, вот что! Он не обязан даже и знать-то, кого мы везем».

Только по прибытии в Иркутск Чернышевский узнал о том, что его переводят в Астрахань.

Произошло это при следующих обстоятельствах:

«В Иркутске было заранее решено, – передавал впоследствии начальник местного жандармского управления Келер Л. Пантелееву, – что Чернышевский остановится в жандармском управлении на одни сутки, частью для отдыха, частью, чтобы снабдить его всем необходимым для дальнейшей дороги.

Рано утром, так около трех часов, Келеру дали знать, что прибыл Чернышевский. С опущенной головой, облокотясь на стол, Николай Гаврилович сидел так, что оказался спиной к Келеру, когда тот вошел в канцелярию. Одет он был по-дорожному, в каком-то сером пиджаке, в пимах, шуба лежала на полу. На вид ему казалось лет 60 (в действительности было 55); в густых, несколько отливающих рыжеватостью волосах едва замечалась седина. Видно было, что он очень устал…»

Когда Келер объявил Чернышевскому о том, что ему назначен для постоянного жительства один из городов Европейской России, радости Николая Гавриловича не было границ; он заплакал, говоря, что скоро увидит жену и детей. «Затем, –

рассказывал Келер, – мы пошли наверх, е приготовленную Николаю Гавриловичу комнату, и так как он отказался от отдыха, то занялись чаем.

– А могу я узнать, какой город назначен мне? – спросил Чернышевский.

– Я собственно не имею права сказать, но на честное слово, что это останется между нами, сообщаю вам – Астрахань…»

В ту же ночь Чернышевского отправили в тарантасе дальше. «Николай Гаврилович не ехал, а мчался, – добавляет Л. Пантелеев. – По осенней дороге он на пятые сутки был уже в Красноярске – 1 000 верст от Иркутска…»

Губернаторы тех городов, через которые лежал его путь к месту назначения, получали шифрованные телеграммы высших властей о принятии необходимых мер для предупреждения «нарушения общественного порядка».

22 октября, после двухмесячного изнурительного путешествия, Чернышевский был доставлен, наконец, в родной город Саратов, где ему была разрешена кратковременная остановка для свидания с родными.

Привезли его вечером, опасаясь, повидимому, каких-либо явных проявлений сочувствия саратовцев к их знаменитому земляку, и поместили в квартире жандармского полковника.

Семье не был в точности известен день прибытия Чернышевского в Саратов. Ольга Сократовна с необычайным волнением ждала уведомления о свидании. Еще за две недели до выезда Николая Гавриловича из Вилюйска она писала ему в Сибирь: «Милый ты мой! Я до тех пор не буду спокойна, пока сама не увижу тебя собственными глазами. До скорого свидания (написала это слово, а самой все еще не верится, что так будет)… Милый ты мой! Хороший мой! Крепко, крепко целую и обнимаю тебя…»

Получив известие, что Николай Гаврилович уже выехал из Иркутска и находится на пути к Саратову, Ольга Сократовна писала его родным: «Я от радости совсем с ума сошла; и так не помнила, что делаю и что надобно еще делать, а теперь – и подавно! Вот так бы и полетела к нему навстречу… Вот и расплакалась… Ничего не вижу».

Наконец долгожданный день настал. «Вчера вечером, – сообщала В.Н. Пыпина сестре в Петербург, – часов в шесть, явилась горничная, спросила Ольгу Сократовну и подала ей записку. Ольга Сократовна, прочитавши, торопливо и в страшном волнении начала одеваться, то-есть надевать шубу, калоши и пр., и на вопросы шепнула: «Приехал, молчите». Отправилась. Своим я объяснила, что за Ольгой Сократовной прислала какая-то

знакомая и она, может быть, и ночует у нее. Часа через два та же горничная является с запиской ко мне, – если я желаю, могу приехать. Я тотчас поехала, также не сказавши своим, в чем дело, но после они говорили, что они тотчас решили, что Николай Гаврилович здесь. У него мы пробыли часа два…»

Под живым впечатлением этого необычного, короткого свидания с мужем в квартире жандармского полковника после многолетней разлуки Ольга Сократовна писала в Петербург Пыпину:

«Само собою разумеется, все побросал там и едет налегке, на перекладных (делая 230 и 240 верст в день). Скачет день и ночь. Казался не очень утомленным и уверял, что так и есть на самом деле.

Движения его довольно порывисты, несколько взволнован, но довольно весел… Никак не могла уговорить его остаться до 5 часов утра. Спешил, страшно спешил… «Покуда, говорит, сухо, да тепло, голубочка, нужно доехать…»

Я встретила его молодцом: но что чувствовала тогда – того не перескажешь. А Варенька страшно разрыдалась. Насилу уняла ее. А это на него могло подействовать нехорошо. Я все время старалась быть веселой… Делаю так потому, что так нужно…»

В ту же ночь Чернышевский выехал на почтовых, уговорившись с Ольгой Сократовной, что на следующий день и она отправится в Астрахань на пароходе.

Утром 27 октября Николая Гавриловича привезли в казацкую станицу Форпост, расположенную на правом берегу Волги, напротив Астрахани. После переправы через реку на паровом баркасе он был доставлен в гостиницу, находившуюся на площади в центре города.

Астраханский полицмейстер уже составлял рапорт о том, что «Чернышевский прибыл в г. Астрахань в 10 часов утра 27 сего октября и полицейский надзор за ним поручен приставу и агенту Баканову; последнему вменено в обязанность периодически доставлять сведения о поднадзорном начальнику астраханского губернского жандармского управления. При приезде Чернышевского никаких встреч и демонстраций не было».

Здесь, в номере гостиницы, он остался, наконец, один, без «провожатых», – жандармы, выполнив все формальности, покинули его.

Отдохнув немного в номере, Николай Гаврилович вышел в город и направился к пристани. Он хотел встретить Ольгу Сократовну – она должна была приехать в тот же день.

Шумно и многолюдно было в этом городе, где основная масса разноплеменного населения занималась торговыми делами. Здесь

жили русские, украинцы, армяне, греки, персы, татары, хивинцы…

Почти весь день провел он на пристани. Уже надвигался вечер и сгустилась темнота, когда прибыл пароход и он различил среди шагавших по тралу пассажиров фигуру Ольги Сократовны…

Прошло несколько дней. За это время Ольга Сократовна подыскала небольшую квартиру из трех комнат на Почтовой улице. Скудно обставлено было их новое жилище: два стула, шаткий стол, диван, постели и больше ничего.

Едва успели они перебраться на квартиру, как из Петербурга приехали сыновья. В 1862 году Николай Гаврилович оставил их детьми, а теперь Александру было уже двадцать девять лет, а Михаилу – двадцать пять. И теперь отцу и сыновьям предстояло как бы заново узнавать друг друга. За то короткое время, что сыновья пробыли с ним в Астрахани, Николай Гаврилович не успел даже сблизиться с ними, не успел по-настоящему рассказать обо всем, что было пережито им за два десятилетия разлуки с семьей. Ему очень хотелось, чтобы и Александр и Михаил остались теперь в Астрахани, но план совместной жизни с ними оказался, к огорчению Николая Гавриловича, неосуществимым.

И когда сыновья уехали снова в Петербург, Николай Гаврилович писал Пыпину: «Мое знакомство с моими детьми еще очень слабо. Они приехали сюда людьми совершенно «незнакомыми» мне. В неделю или восемь дней, которые провели они со мною, мог ли я хорошо узнать их способности? В особенности Миша, бывший все это время непрерывно занят житейскими хлопотами, едва имел досуг раза два, три в день поговорить со мною по нескольку минут. Приехал он незнакомый к незнакомому и уехал почти незнакомый от почти незнакомого».

Пережитые муки не сломили благородной гордости Чернышевского и большого чувства человеческого достоинства. Одною из главных его забот была теперь забота о погашении долгов близким людям, помогавшим во время его ссылки Ольге Сократовне и сыновьям. Не только близким, но и казне хотел он вернуть свой «долг». И хотя весьма скудны были его средства в первые месяцы жизни в Астрахани, он счел необходимым прежде всего обратиться к губернатору с просьбой сообщить ему, какую сумму составляют его, Чернышевского, «долги» казне, имея в виду выданную ему в Иркутске ссуду на путевые издержки и предоставление нового тарантаса от Иркутска до Оренбурга.

Николай Гаврилович вернулся из Сибири физически надломленным, больным, но вовсе не утратившим готовности

работать. Он заговорил об этом в первых же письмах из Астрахани, адресованных Пыпину, который был одним из членов редакции журнала «Вестник Европы»:

«…Я еще сохранил способность по целым месяцам работать изо дня в день, с утра до ночи, не утомляясь…». «В минуту приезда сюда, как и на каждой станции пути, я был совершенно готов по неутомленности сесть за работу, работать, пока захочется есть, и, поев, продолжать работу до поздней ночи, если начало ее было утром, или до позднего времени дня, если начало ее было ночью…»

Изнурительным, говорил он, был не путь из Сибири в Астрахань. Изнурительно жить без работы.

Он надеялся, что с помощью Пыпина ему удастся начать печатать беллетристические произведения в «Вестнике Европы». Память Николая Гавриловича настолько полно сберегла множество написанных еще в вилюйской ссылке и там же уничтоженных повестей и романов, что теперь он мог бы диктовать их наизусть без запинки.

Сыну Александру, у которого была большая склонность к творчеству (он писал стихи, драматические этюды), Николай Гаврилович в виде опыта в течение двух часов без перерыва рассказал первую главу одной из таких повестей.

Еще в Сибири Николай Гаврилович строил широкие планы литературных работ. Большое место в этих планах занимали беллетристические произведения. Кроме того, он предполагал теперь осуществить издание большого сборника лучших повестей русских писателей и поэтическую антологию. Тут он выступил бы в роли редактора-составителя. Далее Чернышевский рассчитывал на новое, переработанное издание «Очерков политической экономии» Милля со своими обширными комментариями. Он готов был также писать научные статьи для журналов по вопросам философии, истории, экономики, естествознания, языковедения. И, наконец, он изъявлял готовность переводить книги немецких и английских ученых.

Но по ответным письмам Пыпина Чернышевский понял, что издатели журналов не станут печатать его оригинальные произведения без специального разрешения властей. А начать хлопоты об этом никто не решался. Случилось так, что переводы, занимавшие в планах Чернышевского последнее место, стали единственно реальной возможностью заработать кусок хлеба для семьи. Пыпин обещал Николаю Гавриловичу подыскать подходящие для перевода научные книги.

Что ж… На первое время он должен был удовлетвориться этой «грошовой» работой. И он садится за перевод присланной

Пыпиным книги немецкого филолога Шрадера «Сравнительное языкознание:», хотя отлично сознает, что она не имеет подлинной научной ценности. Чернышевский чуть ли не стыдился, что невольно будет содействовать изданию подобных книг, но выбора для него не было даже и в этой области литературной работы. Приходилось утешаться тем, что имя его не будет выставлено на книге.

Однако взявшись «по праву нищего» за этот подневольный труд, он не захотел остаться только переводчиком, пассивным исполнителем литературных заказов. Отсылая в Петербург анонимный перевод книги английского естествоиспытателя Карпентера, Чернышевский писал: «Последние две, три страницы подлинника, противоречащие моим понятиям, я отбросил и заменил несколькими страницами заметок, в которых изложен мой образ мыслей».

В этих заметках Чернышевский подверг резкой критике антинаучные идеалистические рассуждения автора о бессилии науки, об условности человеческого познания и т. п.

Рискуя не получить никакого вознаграждения за свою работу (а нужда в эту пору ежечасно напоминала ему о себе), он требовал от издателя, чтобы тот не вносил никаких изменений в представленную им рукопись. «При малейшем противоречии издателя этому моему требованию рукопись перевода должна быть брошена в печь».

Выполнить ультиматум Чернышевского издатель не мог: цензура не пропустила бы послесловие переводчика, подчеркивавшее его приверженность материалистическому мировоззрению. Но идя все же на уступку Николаю Гавриловичу, издатель Пантелеев не стал настаивать на восстановлении отброшенных страниц в книге Карпентера.

Нужда остро давала чувствовать себя, особенно в первое время жизни Чернышевского в Астрахани. Вопрос о возможности печататься (хотя бы под псевдонимом) долго оставался неразрешенным, и это чрезвычайно тяготило Николая Гавриловича.

Но еще больше тяготил постоянный надзор полиции, неусыпная слежка за всеми его сношениями с внешним миром. «Мы с папашей здесь положительно заживо погребенные, – писала Ольга Сократовна сыновьям, – жить в таком уединении, ни с кем не видеться, ни с кем не поговорить…»

Отправляя ту или иную рукопись Пыпину в Петербург, Чернышевский принужден был ставить каждый раз в известность жандармское управление о характере своей посылки.

Еще до прибытия Чернышевского в Астрахань начальник

губернского жандармского управления Головин разработал план надзора за ним.

«В виду особой важности, – писал Головин в секретном письме губернатору, – самой личности Чернышевского, его популярности среди злоумышленников, которыми неоднократно делались попытки к его освобождению, а также возможности появления в г. Астрахани, по приезде Чернышевского, лиц, политически неблагонадежных, директор департамента (полиции) просит меня принять меры к установлению, по соглашению с вашим превосходительством, самого бдительного негласного наблюдения за всеми сношениями и вообще образом жизни Чернышевского».

Вскоре Николая Гавриловича сфотографировали в жандармском управлении и изготовили 24 карточки с его изображением «для снабжения таковыми полицейских чинов, как в Астрахани, так и в уездах».

Через полтора месяца после переезда Чернышевского в Астрахань, в один из декабрьских дней, квартиру его посетил корреспондент английской газеты «Дейли ньюс». Корреспондента интересовал главным образом «выигрышный» материал для газеты. Самым важным ему представлялось, что вот он *первый* поведает европейским читателям о личном свидании с знаменитым русским революционером, вернувшимся из сибирского заточения.

Беседуя с ним, Чернышевский, разумеется, держался в высшей степени осторожно, не забывая, что каждое лишнее слово может повредить ему.

Статья «Русский политический пленный», явившаяся результатом этого посещения, не могла, конечно, дать представления о подлинном облике великого революционера. Некоторый интерес в ней могли представлять лишь отдельные детали и характерные черточки, подмеченные корреспондентом.

Разговаривали они на русском языке. Правда, Чернышевский прекрасно знал английский, но знал его только книжно и не хотел говорить по-английски, так как не был уверен в правильности произношения.

Однако желая уточнить ту или иную мысль, он нередко в ходе разговора брал карандаш и бумагу и набрасывал несколько строк на правильном, со всеми особенностями, английском языке. (Так поступал он и во время своей поездки в Лондон к Герцену в 1859 году. Именно этим способом изъяснялся он, когда ему надо было разыскать ту или иную улицу, спросить прохожих о чем-нибудь, заказать кушанье в ресторане и тому подобное.)

Сначала корреспондента удивила моложавость

Чернышевского – ему никак нельзя было дать пятидесяти пяти лет: в густых волосах не замечалось седины, держался он прямо и бодро. Но всматриваясь пристальнее в синие глаза, блещущие умом, следя за порывистыми, быстрыми движениями собеседника, корреспондент понял, что десятилетия каторги и ссылки не могли пройти бесследно, не могли не подорвать здоровья Чернышевского. Не понял он, однако, того, что эта нервность объяснялась, конечно, еще и горьким сознанием невозможности гневно высказать всю правду о произволе царизма, о бесправном положении народа, наконец, даже о себе, о своей личной трагедии…

Весть о том, что Чернышевский переведен из Сибири в Астрахань, через некоторое время проникла в среду столичной учащейся молодежи. 12 января 1884 года, в традиционный университетский праздник («Татьянин день») – в годовщину основания Московского университета – группа студентов послала в Астрахань телеграмму Николаю Гавриловичу:

> «Пьем за здоровье лучшего друга студентов.
> *Московские студенты».*

Тщетно пыталась потом полиция установить, по чьей инициативе была отправлена эта телеграмма.

Неуютно жилось Чернышевским в чужом городе. Семья никак не могла соединиться; в ней назревала тяжелая драма из-за душевной болезни старшего сына – Александра. Здоровье Ольги Сократовны также было расшатано; она часто уезжала лечиться, и тогда Николай Гаврилович оставался один с книгами и нескончаемой работой.

Он и здесь, как и в Вилюйске, чувствовал себя одиноким. «Я житель того самого острова, на котором благодушествовал некогда Робинзон Крузо со своим другом Пятницей. Я не лишен нежных приятностей дружбы; но все здешние друзья мои – Пятницы… мы толкуем о том, хорош ли улов рыбы, выгодны ли для рыбопромышленников цены на нее, сколько привезено хлопка и фруктов из Персии, уплатит ли по своим векселям Сурабеков или Усейнов…»

Радостными событиями в этой однообразной обстановке были редкие приезды родственников, друзей и знакомых Николая Гавриловича. В 1884 году его навестили Пыпин, Захарьин, старинный петербургский друг доктор Боков. Однажды артист Писарев привез Чернышевскому его работу о Милле, изданную на французском языке. В Астрахани сблизился он с приезжавшим туда время от времени братом писателя В.Г. Короленко – Илларионом Галактионовичем. Через него заочно познакомился

он и с самим писателем, встретиться с которым довелось ему позднее, уже в Саратове.

Мучимый неопределенностью вопроса о том, возможно ли будет ему печататься, Чернышевский попытался через полгода по приезде в Астрахань разрубить, наконец, этот узел: 29 марта 1884 года он послал А.Н. Пыпину, короткое письмо следующего содержания:

«Милый друг Сашенька, прошу тебя отправить в редакцию наиболее распространенных газет следующее извещение:

«Мы слышали, что Н.Г. Чернышевский приготовляет к изданию собрание своих сочинений»…

Сделай одолжение, не бери на себя судить о том, благоразумна ли моя просьба, а *исполни* ее; исполни, и только всего…»

Зная, что письма, отправляемые им, вскрываются и просматриваются в полиции, он хотел таким своеобразным способом проверить, как отнесутся власти к его попытке возобновить литературную деятельность.

Как только в департаменте полиции стало известно содержание этой записки Чернышевского, оттуда тотчас же последовало отношение в Главное управление печати с просьбою ни в коем случае не допускать опубликования в газетах упомянутого «извещения».

Только по прошествии года одному из друзей Николая Гавриловича, А.В. Захарьину, жившему в Петербурге, удалось выяснить в соответствующих инстанциях условия, на которых власти разрешали Чернышевскому литературную деятельность. Предварительная цензура и псевдоним – вот те изъятия из общего правила, с помощью которых намеревалось царское правительство обезвредить влияние «опасного» писателя.

В 1885 году, благодаря посредничеству Захарьина, книгоиздатель Солдатенков поручил Чернышевскому перевод многотомной «Всеобщей истории» Вебера. Получение этой работы освобождало Чернышевского на несколько лет от поисков литературного заработка. Уже одно это было для него тогда большим облегчением.

Прежние переводы Чернышевского («Сравнительное языкознание» Шрадера, «Энергия в природе» Карпентера) шли без подписи, перевод «Всеобщей истории» он стал подписывать псевдонимом «Андреев».

Поразительная работоспособность Чернышевского при осуществлении этого перевода проявилась с прежней силой, несмотря на то, что здоровье его было подорвано и расшатано многолетней ссылкой.

Для того чтобы работа шла успешнее и быстрее, Чернышевский привлек в качестве секретаря и, как он шутя говорил, «пишущей машины» молодого человека, жителя Астрахани – К.М. Федорова.

Теперь ежедневно Николай Гаврилович вставал в семь часов утра и уже за чаем просматривал корректуры или подлинник, а затем пять часов без перерыва диктовал перевод так свободно, будто читал русскую книгу. В час обедали. После обеда Николай Гаврилович просматривал газеты и журналы, а с трех часов снова начиналась работа над переводом, затягивавшаяся нередко далеко за полночь…

К труду этому Чернышевский приступил с определенным намерением, о котором впоследствии писал Солдатенкову:

«Когда я думал просить Вас о принятии на Ваш счет расходов по изданию Вебера… я имел план издания совершенно не тот, какой пришлось мне исполнить. Дело было вот в чем:

Я не имею права выставлять на моих книгах мою фамилию. Имя Вебера должно было служить только прикрытием для трактата о всеобщей истории, истинным автором которого был бы я. Зная размер своих ученых сил, я рассчитывал, что мой трактат будет переведен на немецкий, французский и английский языки и займет почетное место в каждой из литератур передовых наций…

Вместо того – вышло что?

Я перевожу книгу, положительно не нравящуюся мне; я теряю время на переводческую работу, неприличную для человека моей учености и моих – скажу без ложной скромности – моих умственных сил…»

Как и прежде, он не пожелал удовольствоваться ролью безучастного исполнителя литературного заказа. У него возникла мысль не только «очищать» путем сокращений труд Вебера от «пустословия» и от реакционных рассуждений, но и прилагать к отдельным томам свои, специально для этого издания написанные, вступительные статьи. Так возникли его последние трактаты «О расах», «О классификации людей по языку», «О различии между народами по национальному характеру» и другие, объединенные общим названием «Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории».

Концепция Вебера была густо окрашена влиянием немецкого национализма, что не могло не вызвать протеста со стороны Чернышевского, оставшегося верным интернационализму и материалистическому взгляду на ход исторического процесса.

Еще в своих статьях, напечатанных в «Современнике», он едко высмеивал «ученые забавы» филологов, строивших «расчетливые генеалогии в собственную пользу», «усердно исследующих, на

каком языке изъяснялись Адам и Ева и кто, следовательно, может почитаться древнейшим народом в мире».

И теперь, после многих лет каторги и ссылки, он с прежней последовательностью и силой убеждения снова резко осудил реакционные попытки «ученых» объяснять исторические факты особенностями умственной или нравственной организации рас, называя эти попытки «дикой фантазией, отвергаемой наукой».

Показывая корни снова начинавшего входить тогда в моду «расизма», Чернышевский писал, что большинство европейских ученых слепо подчинилось по вопросу о расах авторитету североамериканских ученых, явившихся прямыми пособниками и слугами американских плантаторов.

«До сих пор еще остается сильна старая привычка объяснять исторические разницы расовыми; но этот метод объяснений устарелый и дающий два очень дурные результата: во-первых, объяснение, основанное на нем, обыкновенно бывает само по себе ошибочно; во-вторых, успокаиваясь на этом фальшивом, мы забываем искать истинного объяснения. Во многих случаях истина была бы ясна сама собою, если бы не была закрыта от нас фантастическим объяснением факта посредством расовых отличий».

Умственные и нравственные качества того или иного народа формируются под преобладающим влиянием самой жизни. «Внимательно разбирая факты, мы должны прийти к мнению, что врожденные склонности… слабы и гибки, что главное дело не в них, а в том, какое оказывают влияние на народы, племя или сословия народов обстоятельства жизни».

Еще в пору работы в «Современнике» Чернышевский в статьях «Национальная бестактность» и «Народная бестолковость» (1861 г.) проводил мысль о том, что национальное движение не может не быть связано с классовым и что последнее определяет характер первого.

Эту же мысль, иллюстрируя ее другими примерами, высказывает Чернышевский и в «Очерке научных понятий по вопросам всеобщей истории».

«По образу жизни, – говорит он, – и по понятиям земледельческий класс всей Западной Европы представляет как будто одно целое; то же должно сказать о ремесленниках, о сословии богатых простолюдинов, о знатном сословии. Португальский вельможа по образу жизни и по понятиям гораздо боле похож на шведского вельможу, чем на земледельца своей нации; португальский земледелец более похож в этих отношениях на шотландского или норвежского земледельца, чем на лиссабонского богатого негоцианта».

Верность Чернышевского революционно-демократическим традициям и философскому материализму проявилась и в других оригинальных его статьях последнего периода жизни. В 1885 году за подписью «Андреев» в «Русских ведомостях» был напечатан философский этюд «Характер человеческого знания». Критическое острие этого этюда было направлено против философов субъективно-идеалистического толка, утверждавших, что «все наши знания о внешних предметах – не в самом деле знания, а иллюзия», то-есть, что явления действительности непознаваемы.

В этом этюде Чернышевский снова воскрешал материалистические традиции передовой русской философской мысли, которые он защищал еще двадцать пять лет назад, создавая «Антропологический принцип в философии».

Статья Чернышевского «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», напечатанная в журнале «Русская мысль» (1888 г.), была направлена против попыток «обосновать» при помощи мальтузианства социальное неравенство, классовый гнет и нищету в обществе. Подобно Марксу и Энгельсу, высоко ценя великие заслуги Дарвина в науке, Чернышевский вместе с тем вскрывал слабые стороны учения Дарвина, заключавшиеся в его приверженности реакционной теории Мальтуса.

Боевым духом воинствующего материализма проникнуто и предисловие его к третьему изданию «Эстетических отношений», которое, однако, было запрещено в 1888 году цензурой. Именно в связи с этим предисловием, где Чернышевский выступает с критикой Канта и тех естествоиспытателей, которые в своих философских выводах идут вслед за Кантом, В.И. Ленин писал: «Чернышевский – единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников».[58]

Кроме философских работ, в этот же период Чернышевским были подготовлены обширные материалы для биографии Н.А. Добролюбова. Часть их была напечатана при жизни Чернышевского в первых номерах «Русской мысли» за 1889 год, а целиком первый том его труда был напечатан уже посмертно, в 1890 году.

С необычайною тщательностью были собраны и прокомментированы Чернышевским документы, освещающие жизненный и творческий путь великого критика, его любимого друга и соратника.

Желая сохранить для будущих читателей картины литературной жизни шестидесятых годов, Чернышевский написал в Астрахани ряд мемуарных произведений, посвященных Некрасову, Добролюбову, Тургеневу и др.

XXXII. В Саратове

Более пяти лет пробыл Чернышевский в астраханской неволе. За это время родные Николая Гавриловича не переставали хлопотать о переводе его в Москву или в Петербург, где ему легче было бы заниматься литературным трудом. Однако просьбы их оставались безрезультатными. Но в середине 1889 года удалось добиться разрешения на переезд в Саратов.

Незадолго до отъезда на родину Чернышевский в разговоре с издателем Пантелеевым, посетившим его в Астрахани, говорил:

– Для меня решительно все равно, что Саратов, что Астрахань, но Ольге Сократовне, конечно, было бы приятнее жить в Саратове. Мне лично хотелось бы перебраться в университетский город, чтобы под рукою была большая библиотека; другого мне ничего не надо.

Говоря об университетском городе, Чернышевский имел в виду Москву. Желание его переселиться сюда было связано с замыслом постепенно вернуть себе журнальную трибуну, взять в свои руки редактирование журнала «Русская мысль».

В то время как пришло известие о разрешении переехать в Саратов, Чернышевский жил в Астрахани один: сыновья были в Петербурге, а Ольга Сократовна гостила у саратовских родственников. С помощью квартирохозяев, своего секретаря Федорова и прислуги Николай Гаврилович отправил пароходом необходимое имущество и 24 июня выехал в Саратов в сопровождении полицейского чиновника. Юный секретарь Николая Гавриловича успел так полюбить его, что с радостью согласился на предложение переселиться в Саратов.

Двадцать восемь лет прошло с тех пор, как Чернышевский в последний раз приезжал гостить в родной город. Многое изменилось здесь за это время. В дни его юности торговая жизнь Саратова еще только начинала по-настоящему развиваться. Теперь по всему берегу Волги тянулись пристани пароходных компаний. Многие улицы, прежде зараставшие травой, были вымощены. Выросло много новых зданий, в городе появилась конка, железная дорога соединила Саратов с Москвой и Петербургом. Неизменными остались только полуразвалившиеся лачуги на окраинах, где ютилась нещадно эксплуатируемая городская беднота.

Дом Чернышевских в Саратове был сдан в это время внаем. Квартиру в нем занимал близкий знакомый Пыпиных и Ольги Сократовны присяжный поверенный Токарский. Они не пожелали отказать ему в квартире до окончания контракта, и потому Ольга

Сократовна еще до приезда Николая Гавриловича сняла квартиру на Соборной улице, в двухэтажном домике Никольского.

На следующий день по приезде в Саратов Николай Гаврилович посетил родной дом, в котором прошли его детство и юношеские годы. Обойдя двор, он прошел к Токарскому и, протянув ему руку, сказал: «Чернышевский». Это вышло у него так просто и непосредственно, что Токарский, заранее готовившийся встретить Николая Гавриловича словами: «Привет дорогому учителю», сразу почувствовал ненужность пышного приветствия и так же просто назвал свою фамилию.

Они вышли вместе, направляясь к дому, где поселились Чернышевские. По дороге Николай Гаврилович оживленно говорил о прошлом Саратова, узнавал дома, которые были еще при нем, называл имена их хозяев.

Прощаясь с Токарским, Чернышевский сказал ему, что намеревается здесь много работать, что время свое распределил по расписанию, назначив для отдыха вечерние часы от семи до девяти, и пригласил его заходить почаще.

Близко общаясь с Николаем Гавриловичем и часто беседуя с ним на различные темы, Токарский вынес впечатление, что ссылка, расшатав здоровье Николая Гавриловича, нисколько не ослабила ни его могучего ума, ни нравственного склада. Чернышевский остался непререкаемо верен своим прежним убеждениям, ни на йоту не проявляя разномыслия с тем, о чем писал в своих статьях в «Современнике».

Он часто говорил Токарскому о своем заветном желании – вернуться к боевой журнальной деятельности.

«Эта мысль его настолько интересовала, что он постоянно к ней возвращался. Как-то, сидя в углу дивана, Николай Гаврилович рассказывал своим эпически-спокойным тоном о Григоровиче, но вдруг прервал рассказ, встал и, ходя крупными шагами по комнате, сказал: «Я вам говорил как-то, что предполагал эмигрировать и взять в руки издание «Колокола» и что я не знаю, хорошо ли я сделал, что отказался. Теперь я знаю. Я сделал хорошо, я здесь, в России, создам журнал. Я создам его». И тут только я понял страшную, невыносимую муку этого человека, ту муку, которую он выносил от того, что был оторван от возможности влиять на жизнь своим словом и убеждением…

Когда он готовился взять в свои руки «Русскую мысль», он бывало говорил: «Первое время я буду писать очень мало и под чужим именем. Я официально не войду в редакцию. Я не буду писать по текущим вопросам. Знаете, к себе нужно приучить». И иногда в разговоре у него вырывались фразы, что во второй раз труднее начинать литератору, чем в первый, что за всяким словом

будет следить цензура. «Ну, да не такая была прежде цензура, а удавалось обходить», – прибавлял он успокоительно.

Таковы были задачи, стремления и цели последней саратовской эпохи жизни Николая Гавриловича».

Но могло ли осуществиться намерение Чернышевского, о котором говорит здесь мемуарист? Время показало, что надеждам этим не суждено было сбыться, если бы даже преждевременная смерть не оборвала деятельность Чернышевского. Либеральные публицисты, руководившие «Русской мыслью», В. Гольцев и В. Лавров, более на словах, чем на деле, проявляли готовность предоставить ему журнальную трибуну.

Незадолго до смерти Чернышевский подчеркнул это в одном из писем; он окончательно убедился, что не годится в сотрудники журнала, имеющего узкий взгляд на вещи.

Вскоре по приезде на родину Николай Гаврилович познакомился с сотрудником местной газеты «Саратовский листок» Горизонтовым. Тот рассказал ему, между прочим, что в шестидесятых годах был изгнан из семинарии за вольномыслие и за чтение романа «Что делать?».

На вопрос Горизонтова, почему он не сотрудничает в журналах, Николай Гаврилович ответил, что разнобой и отсутствие ясной программы и целенаправленности в современных журналах глубоко чужды ему, и добавил, что лучше уж он будет писать в местной газете о саратовской старине и о будущности города Саратова.

– Но, конечно, не под своим именем, чтобы не было неприятностей ни мне, ни вам.

Когда речь зашла о современных писателях, Николай Гаврилович особо выделил Короленко, предрекая ему блестящую будущность. Чернышевскому был близок демократический характер творчества и гуманизм этого прогрессивного писателя, сурово обличавшего общественные порядки царской России.

Еще в Астрахани Николай Гаврилович, прочитаз рассказ Короленко «Сон Макара», дивился той верности, с которой Короленко так мастерски нарисовал портрет якута. «Написать так мог только талантливый человек, хорошо изучивший быт и душу якутов», – говорил он.

Личное знакомство писателей, переживших почти одновременно тяжелую сибирскую ссылку, произошло 18 августа. Короленко, возвращаясь с Кавказа, заехал в Саратов с целью повидать Чернышевского. Он описал потом это памятное событие, запечатлев в проникновенном очерке живые черты своего великого современника. На первый взгляд фигура Чернышевского показалась ему совсем молодой. «Но когда я взглянул ему в

лицо, – вспоминал Короленко, – у меня как-то сжалось сердце: таким это лицо показалось мне исстрадавшимся и изможденным под этой прекрасной молодой шевелюрой. В сущности, он был похож на портрет, только черты его, мужественные на карточке, были теперь мельче, миниатюрнее, – по ним прошло много морщин, и цвет этого лица был почти землистый. Это желтая лихорадка, захваченная в Астрахани, уже делала свое быстрое, губительное дело… Из холодов Якутска Чернышевский приехал в знойную Астрахань здоровым. Мой брат видел его там таким, каков он на портрете. Из Астрахани он переехал в Саратов уже таким, каким мы его увидали, с землистым цветом лица, с жестоким недугом в крови, который уже вел его к могиле.

Это чувство внезапного и какого-то острого сожаления возвращалось ко мне несколько раз в течение разговора, который завязался у нас как-то сразу, точно мы были с Николаем Гавриловичем родные, свидевшиеся после долгой разлуки.

Он говорил оживленно и даже весело. Он всегда отлично владел собою, и если страдал, – а мог ли он не страдать очень жестоко, – то всегда страдал гордо, один, ни с кем не делясь своей горечью».

Беседуя с ним, Владимир Галактионович уловил, что в основных своих взглядах Чернышевский «остался тем же революционером в области мысли, со всеми прежними приемами умственной борьбы».

Перед отъездом из Саратова Короленко зашел проститься с Николаем Гавриловичем. «Поздним вечером Чернышевский проводил меня до ворот, – писал он, – мы обнялись на прощанье, и я не подозревал, что обнимаю его в последний раз…»

Несмотря на ухудшающееся здоровье, Николай Гаврилович попрежнему усиленно и много работал. Перевод «Всеобщей истории» подходил к концу. Он намеревался, завершив этот труд, написать две популярные книги, доступные самым широким слоям читателей – одну по политической экономии, другую по истории.

Мысли его часто возвращались к бурной и славной эпохе шестидесятых годов, когда рядом с ним в «Современнике» рука об руку работали его ближайшие друзья и единомышленники – Некрасов и Добролюбов. Николай Гаврилович свято чтил их память. Зная, как важна для будущего история жизни и творчества этих великих деятелей русской культуры и освободительного движения, он хотел передать следующим поколениям все, что помнил о своих соратниках.

Он стремился завершить подготовку материалов для жизнеописания Добролюбова, считая, что по ним можно будет

создать одну из замечательнейших книг, которая поможет юношеству вырабатывать характер, твердый взгляд, последовательность в поступках.

Теперь написание этой книги облегчалось, потому что Пыпин и Антонович возвратили Николаю Гавриловичу сохраненные ими бумаги, письма и дневники Добролюбова, над которыми он работал перед своим арестом, публикуя в «Современнике» «Материалы для биографии Добролюбова».

Кроме того, Чернышевский вступил в переписку с родственниками и друзьями Николая Александровича, прося их прислать документы и воспоминания о нем. Ольга Сократовна деятельно помогала мужу в этой работе; она сама поехала в Нижний Новгород, на родину Добролюбова, чтобы получить здесь необходимые материалы.

В ту пору еще была жива свидетельница расцвета «Современника» – Авдотья Яковлевна Панаева. Когда Чернышевскому стало известно, что она готовит к отдельному изданию свои мемуары, он выразил желание не только содействовать ей в этом перед издателями, но и дополнить ее книгу приложением своих воспоминаний.

За долгие годы тюрьмы и ссылки в сердце Чернышевского не потускнело чувство глубокой любви к Некрасову. Однажды Николай Гаврилович забрел с поэтом Н.А. Пановым в Барыкинский сад на берегу Волги. Сидя здесь за чайным столиком, они разговорились о прошлом. «Когда зашла речь о «Современнике», – вспоминает Панов, – он глубоко вздохнул и несколько минут сидел молча, как будто в это время воскресало его славное былое. Про Некрасова, как поэта и человека, он сказал следующее: «Его не все из нас понимали и любили, но он-то видел нас насквозь и, ох, как понимал. Зоркое око имел покойный и был подчас немножко строптив; да ведь надо знать – что пережил… не легче, пожалуй, моей каторги. А поэт был большой, как Пушкин, как Лермонтов. Только жаль, не пройти ему теперь в народ, не пройти… Интеллигенция, молодежь его любит, многие почти наизусть знают; но кое-кто поохладел, забывать начинают. Не беда: после оценят, да еще как. Памятник ему в Петербурге поставят, не хуже, может быть, Пушкинского в Москве. И стоит он такого памятника, заслужил… На днях я перечитал его от доски до доски… Неотразим! Взять хотя бы «Последние песни». Он ведь только о себе, о своих страданиях поет, но какая сила, какой огонь!..»

Николай Гаврилович надеялся, что со временем ему удастся написать книгу о жизни своего любимого поэта. Но это его намерение, как и многие другие научно-литературные планы

последнего периода, остались неосуществленными. Только четыре месяца прожил он в родном городе. В октябре он захворал, простудившись по дороге на почту. Болезнь сразу осложнилась, и в ночь на 17(29) октября 1889 года он скончался от кровоизлияния в мозг.

Весть о смерти великого писателя-революционера и ученого всколыхнула все передовое русское общество. Несмотря на предупредительные меры, предпринятые жандармами, похороны Чернышевского вылились в широкую демонстрацию. Тысячные толпы народа следовали за гробом, утопавшим в цветах и лентах венков, привезенных делегациями из различных городов. Со всех концов России в Саратов шли телеграммы и письма с выражением глубокой скорби по поводу тяжелой утраты.

Наследие, оставленное Чернышевским, поражает своим богатством и разнообразием: литературная критика и философия, история и политическая экономия, языкознание и беллетристика… Но дело не только в многогранности дарований и разносторонности интересов Чернышевского. Еще более поразительна действенная сила его революционных идей, претворенных в жизнь ходом исторического развития нашей родины. Недаром гениальным провидцем назвал Чернышевского В.И. Ленин. Его идеи воспитали целые поколения революционеров, подготовили почву для восприятия марксизма-ленинизма, оказали огромное влияние на развитие культуры и науки нашей страны.

Отмечая в мае месяце 1954 года 300-летие воссоединения Украины с Россией, юбилейная сессия Верховного Совета РСФСР особо подчеркнула в своем обращении к великому украинскому народу, что «русские революционные демократы – Белинский, Чернышевский и другие – находили живейший отклик и действительную поддержку со стороны таких выдающихся представителей украинского народа, как великий поэт и мыслитель Т. Г. Шевченко».

Талантливейшие представители науки и искусства Украины, Грузин, Армении, Осетии, Казахстана – Марко Вовчок, Иван Франко, Акакий Церетели, Микаэль Налбандян, Коста Хетагуров, Абай Кунанбаез и Чокан Валиханов – все они испытали на себе благотворное влияние великих идей Чернышевского.

Они получили широкий отклик не только в своем отечестве, но и за рубежом. Передовые деятели западноевропейской общественной мысли и литературы с благодарностью хранили заветы мужественного борца за свободу.

С особым сочувствием демократические традиции вождя

освободительного движения шестидесятых годов были восприняты в братских славянских странах.

По словам болгарского ученого Г. Бокалоза, «прежде чем взяться за Маркса, болгарские социалисты уже знали Чернышевского. Это поколение, начав с Чернышевского, приходило к марксизму, сохраняя горячую любовь к своему учителю».

Основатель марксистской революционной партии в Болгарии Д. Благоев в книге «Наши апостолы» (1886 г.) называет Чернышевского в числе любимых своих авторов наряду с Марксом и Плехановым. Выдающиеся болгарские писатели – Христо Ботев, Л. Каравелов, Иван Вазов – относились к Чернышевскому с признательностью и любовью.

Свою книгу очерков «Памятник народного быта болгар», вышедшую в Москве в 1861 году, Л. Каравелов братски посвятил «тем русским людям, сердцу которых близко великое дело славянской свободы». Говоря так, он имел в виду прежде всего Чернышевского и Добролюбова.

Христо Ботев, испытавший на себе сильное воздействие романа «Что делать?», указывал, что такие писатели, как Чернышевский, подготовляют своею деятельностью лучшее будущее для русского общества.

Видный организатор революционно-демократического движения в Сербии, автор ряда философских и критических работ, Светозар Маркович писал: «Среди сербского народа мы должны быть тем, чем Чернышевский, Добролюбов и другие были среди русского народа».

В своем трактате «Реальность в поэзии» Светозар Маркович опирался на принципы революционно-материалистической эстетики, разработанные Чернышевским в «Эстетических отношениях искусства к действительности».

Он прямо указывал на роман «Что делать?» как на образец реалистического романа.

Экономические взгляды Светозара Марковича сложились под непосредственным влиянием трудов Чернышевского по политической экономии. В одном из своих писем он высказал намерение «по Чернышевскому выработать социалистическую политическую экономию». В своей работе «Принципы народной экономии или наука о народном благосостоянии» он изложил экономические взгляды великого русского революционного демократа.

В статье, посвященной памяти этого выдающегося сербского революционера, его друг и соратник Тодорович назвал его достойным учеником своего великого учителя.

Когда в 1870 году распространились ошибочные слухи о смерти Чернышевского, редакция сербского журнала «Матица» писала: «Это был человек! Такие люди нужны и русским, и нам, остальным славянам, Христо Ботев, испытавший на себе сильное воздействие романа «Что делать?», указывал, что такие писатели, как Чернышевский, подготовляют своею деятельностью лучшее будущее для русского общества.

Видный организатор революционно-демократического движения в Сербии, автор ряда философских и критических работ, Светозар Маркович писал: «Среди сербского народа мы должны быть тем, чем Чернышевский, Добролюбов и другие были среди русского народа».

В своем трактате «Реальность в поэзии» Светозар Маркович опирался на принципы революционно-материалистической эстетики, разработанные Чернышевским в «Эстетических отношениях искусства к действительности».

Он прямо указывал на роман «Что делать?» как на образец реалистического романа.

Экономические взгляды Светозара Марковича сложились под непосредственным влиянием трудов Чернышевского по политической экономии. В одном из своих писем он высказал намерение «по Чернышевскому выработать социалистическую политическую экономию». В своей работе «Принципы народной экономии или наука о народном благосостоянии» он изложил экономические взгляды великого русского революционного демократа.

В статье, посвященной памяти этого выдающегося сербского революционера, его друг и соратник Тодорович назвал его достойным учеником своего великого учителя.

Когда в 1870 году распространились ошибочные слухи о смерти Чернышевского, редакция сербского журнала «Матица» писала: «Это был человек! Такие люди нужны и русским, и нам, остальным славянам, чтобы и мы, наконец, поднялись на поверхность истории».

Чернышевский с юных лет убежденно верил в будущую победу революции и посвятил всю свою жизнь приближению этой победы, хотя и понимал, что сам он не увидит дня и часа торжества ее.

Кроме великого ума, кроме трудолюбия и разносторонних знаний, нужны были еще целеустремленность и неугасимая вера Чернышевского, чтобы выполнить свое историческое призвание. Нужно было то «идеальное благородство характера», то самоотречение, какое он находил в своем предшественнике и учителе – Белинском.

Он знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть…

Эта страсть – служение родине, своему народу, будущему.

Огромное чувство гордости за русскую культуру испытывает всякий из нас, обозревая все многообразие содержания трудов великого революционного демократа, замечательного писателя и ученого. Чернышевский был пролагателем новых путей в науке и в литературе и вместе с тем непримиримым борцом против деспотизма. Вся жизнь его была отдана делу освобождения России от ига самодержавия и крепостничества. Никакие испытания не могли сломить непреклонную волю великого патриота.

«Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества – что может быть выше и вожделеннее этого?» – писал Чернышевский. В основе всей его политической, литературной и научной деятельности лежала пламенная любовь к народу, вера в его неисчерпаемые силы, в светлое будущее России.

Великая Октябрьская социалистическая революция неузнаваемо преобразила облик нашей страны, воплотив в жизнь чаяния и надежды ее лучших сынов. Советский народ, уверенно идущий к коммунизму под руководством славной Коммунистической партии, свято чтит память предшественника научного социализма в России, пламенного борца и замечательного писателя Николая Гавриловича Чернышевского.

Основные даты жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского

1828 – июль 12 (24 по новому стилю) – Николай Гаврилович Чернышевский родился в Саратове, в семье священника Гавриила Ивановича Чернышевского.

1835 – лето – начало учебных занятий под руководством отца.

1836 – декабрь – Чернышевский зачислен в Саратовское духовное училище.

1842 – сентябрь – поступление Чернышевского в Саратовскую духовную семинарию.

1846 – май – отъезд Чернышевского из Саратова в Петербург для поступления в университет. Летом этого года Чернышевский успешно выдержал экзамены и был зачислен на историко-филологическое отделение философского факультета Петербургского университета. В августе, вскоре после начала занятий в университете, Чернышевский знакомится на лекции с поэтом М.Л. Михайловым, будущим революционером и сотрудником «Современника».

1848 – с весны этого года Чернышевский начинает пристально следить за ходом революционных событий во Франции и других странах Западной Европы. Знакомство с петрашевцем А. В. Ханыковым наталкивает Чернышевского на изучение трудов французского социалиста-утописта Фурье. Беседы с Ханыковым укрепляют убеждение Чернышевского в близости и неизбежности революции в России.

1850 – по окончании университета Чернышевский поступил преподавателем словесности во 2-й Петербургский кадетский корпус.

1851–1853 – получив назначение в Саратовскую гимназию в качестве старшего учителя русской словесности, Чернышевский весною 1851 года выехал в Саратов. В 1853 году он знакомится здесь с О.С. Васильевой, ставшей затем его женою. В мае он уезжает с нею в Петербург. Начало сотрудничества в «Отечественных записках». Работа над магистерской диссертацией «Эстетические отношения искусства к действительности». Вторичное поступление учителем словесности во 2-й Петербургский кадетский корпус. Осенью Чернышевский знакомится с Некрасовым и начинает работать в «Современнике».

1854 – в «Современнике» появляются статьи Чернышевского:

о романах и повестях М. Авдеева, «Об искренности в критике», о комедии А.Н. Островского «Бедность – не порок» и др.

1855 – май – публичная защита в университете магистерской диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». В № 12 «Современника» напечатана первая статья Чернышевского из цикла «Очерки гоголевского периода русской литературы».

1856 – знакомство и сближение с Н.А. Добролюбовым. Н.А. Некрасов, уезжая за границу для лечения, передал свои редакторские права на «Современник» Чернышевскому.

1857 – в № 6 «Современника» напечатана статья о «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина. Во второй половине года Чернышевский, передав в ведение Добролюбова литературно-критический отдел журнала, переходит к разработке на страницах «Современника» философских, исторических и политико-экономических вопросов, в частности – вопроса о предстоящем «освобождении» крестьян от крепостной зависимости.

1858 – Чернышевский назначается редактором «Военного сборника». В № 1 «Современника» напечатана статья «Кавеньяк», в которой Чернышевский бичует либералов за измену народному делу. В № 2 «Современника» напечатана статья «О новых условиях сельского быта». В журнале «Атеней» (ч. III, № 18) напечатана статья «Русский человек на rendez-vous». В № 12 «Современника» – статья «Критика философских предубеждений против общинного владения».

1859 – в журнале «Современник» (с № 3) Чернышевский начал печатать систематические обзоры заграничной политической жизни под общим заглавием «Политика». В июне Чернышевский ездил в Лондон к Герцену для объяснения по поводу статьи «Very dangerous!» («Очень опасно!»), напечатанной в «Колоколе». По возвращении из Лондона уезжает в Саратов. В сентябре возвращается в Петербург.

1860 – в № 1 «Современника» напечатана статья Чернышевского «Капитал и труд». Со второго номера «Современника» Чернышевский начинает печатать в журнале свой перевод «Оснований политической экономии» Д. С. Милля, сопровождая перевод своим критическим комментарием. В № 4 «Современника» напечатана статья Чернышевского «Антропологический принцип в философии», являющаяся одной из самых замечательных деклараций материализма в русской литературе.

1861 – поездка в Москву для участия в совещании петербургских и московских редакторов по вопросу о смягчении

цензуры. В № 6 «Современника» напечатана статья Чернышевского «Полемические красоты», являющаяся ответом на выступления реакционных и либеральных литераторов против статьи «Антропологический принцип в философии». В августе провокатор Всеволод Костомаров доставил через своего брата в Третье отделение две рукописные прокламации: «Барским крестьянам» (автор Н.Г. Чернышевский) и «Русским солдатам» (автор Н.В. Шелгунов). Осенью, по свидетельству А.А. Слепцова, Чернышевский обсуждал с ним мероприятия по организации тайного общества «Земля и воля». Полиция учредила систематическую слежку за Чернышевским и дала секретное указание губернаторам о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта.

1862 – Чернышевский присутствовал на открытии Шахматного клуба в Петербурге, имевшего целью объединить представителей передовой общественности столицы. Цензура запретила печатать «Письма без адреса» Чернышевского, так как статья содержала резкую критику крестьянской «реформы» и тогдашнего положения в стране. В марте Чернышевский выступил на литературном вечере в зале Руадзе с чтением на тему «Знакомство с Добролюбовым». В июне «Современник» был запрещен на восемь месяцев. 7 июля Чернышевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

1863 – В № 3 «Современника» напечатано начало романа «Что делать?» (последующие части были напечатаны в № 4 и 5 за 1863 год).

1864 19 мая – публичная «гражданская казнь» Чернышевского на Мытнинской площади в Петербурге и ссылка его в Сибирь. В августе Чернышевский прибыл в Кадаинский рудник (в Забайкалье).

1865–1868 – работа над романом «Пролог пролога», «Дневник Левицкого» и «Пролог».

1866 – О.С. Чернышевская с сыном Михаилом приехала в августе в Кадаю для свидания с Н.Г. Чернышевским. В сентябре Чернышевский отправлен из Кадаинского рудника в Александровский завод.

1871 – в Иркутске в феврале был арестован революционер-народник Герман Лопатин, приехавший в Россию из Лондона с целью освобождения Чернышевского. В декабре Чернышевский отправлен из Александровского завода в Вилюйск.

1875 – попытка И. Мышкина освободить Чернышевского.

1883 – Чернышевского переводят из Вилюйска в Астрахань под надзор полиции.

1884–1888 – в Астрахани Чернышевский ведет большую

литературную работу. Здесь им написаны «Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову», статьи «Характер человеческого знания», «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», подготовлены «Материалы для биографии Добролюбова», переведены с немецкого языка одиннадцать томов «Всеобщей истории» Вебера.

1889 – Чернышевскому разрешено переселиться в Саратов, куда он и переехал в конце июня.

17 (29) октября Чернышевский после непродолжительной болезни скончался от кровоизлияния в мозг.

Краткая библиография

1. Основные издания сочинений Н.Г. Чернышевского

Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание М.Н. Чернышевского. Спб., 1905–1906 гг.

Избранные сочинения в пяти томах. Под ред. А.В. Луначарского, И.Д. Удальцова и др. М.–Л., Соцэкгиз, 1928–1937 гг. (Вышло четыре тома – 1, 2, 4, 5.)

Избранные сочинения. Эстетика и критика. Ред. Н.В. Богословского и А.В. Луначарского. Гослитиздат, 1934 г.

Избранные философские сочинения в трех томах. Под общей ред. М.М. Григорьяна. М., Госполитиздат, 1950–1951 гг.

Избранные экономические произведения в трех томах. Под ред. И.Д. Удальцова. М., Госполитиздат, 1948–1949 гг.

Эстетика и литературная критика. Избранные статьи. Вступительная статья и комментарии Б. И. Бурсова. М.–Л., Гослитиздат, 1951 г.

Полное собрание сочинений в шестнадцати томах. Под общей ред. В.Я. Кирпотина, Б.П. Козьмина, П.И. Лебедева-Полянского и др. М., Гослитиздат, 1939–1953 гг.

2. Издание отдельных произведений

«Антропологический принцип в философии». М., Госполитиздат, 1948 г.

«Эстетические отношения искусства к действительности». М., Госполитиздат, 1948 г.

«Очерки гоголевского периода русской литературы». Послесловие Н. Богословского. М., Гослитиздат, 1953 г.

«Что делать? Из рассказов о новых людях». Послесловие Н.В. Водовозова. М., Гослитиздат, 1947 г.

«Что делать? Из рассказов о новых людях». Л., изд-во «Молодая гвардия», 1948 г.

«Что делать? Из рассказов о новых людях». Подготовка текста, предисловие и примечания Н.В. Богословского. М.–Л., Детгиз, 1950 г.

«Что делать? Из рассказов о новых людях». Роман. Послесловие Б. Рюрнкова. М., Гослитиздат, 5961 г.

«Пролог. Роман из начала шестидесятых годов». Послесловие А. Скафтымова. Саратов, Областное изд-во, 1948 г.

«Пролог. Роман из начала шестидесятых годов». Послесловие А. Груздева. Лениздат, 1952 г.

3. Литература о творчестве Н.Г. Чернышевского

К. Маркс и Ф. Энгельс о Н.Г. Чернышевском

К. Маркс, Капитал. Критика политической экономии, т. 1. Послесловие ко второму изданию. М., Госполитиздат, 1952 г., стр. 13.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 24, стр. 349. (Письмо К. Маркса Ф. Энгельсу 5 июля 1870 г.)

К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 13, ч. 2, стр.596, 603, 604, 606, 639–643. (Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих.)

«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», изд. 2-е. М., Гослолитиздат, 1951 г., стр. 39. (Письмо Маркса членам Комитета Русской секции в Женеве 24 марта 1870 г.)

К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма. М., Госполитиздат, 1948 г., стр. 241. (Письмо К. Маркса И. Ф. Бекеру 2 августа 1870 г.)

К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма. М., Госполитиздат, 1948 г., стр. 256. (Письмо К. Маркса З. Мейеру 21 января 1871 г.)

«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», изд. 2-е. М., Госполитиздат, 1951 г., стр. 72–73. (Письмо К. Маркса Н. Ф. Даниельсону 13 июня 1871 г.)

«Переписка К.Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», изд. 2-е. Госполитиздат, 1951 г., стр. 87. (Письмо К. Маркса Н. Ф. Даниельсону 12 декабря 1872 г.)

«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», изд. 2-е. М., Госполитиздат, 1951 г. стр. 90. (Письмо К. Маркса Н.Ф. Даниельсону 18 января 1873 г.)

К. Маркс и Ф Энгельс, Избранные письма. М., Госполитиздат, 1948 г., стр. 314. (Письмо К. Маркса в редакцию «Отечественных записок». Ноябрь 1877 г.)

«Архив Маркса и Энгельса», т. 11. М., Госполитиздат, 1948 г., стр. 3–20, 172–179 (Конспект работы Н.Г. Чернышевского «Письма без адреса», составленный К. Марксом, и пометки Маркса на «Письмах без адреса».)

«Архив Маркса и Энгельса», т. 12. М., Госполитиздат, 1952 г., стр. 3–28. («Заметки о реформе 1861 г. и пореформенном

развитии России», составленные К. Марксом.)

К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 15, стр. 235. (Статьи Ф. Энгельса «Эмигрантская литература».)

К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 24, стр. 422–423. (Письмо Ф. Энгельса К. Марксу 29 ноября 1873 г.)

«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», изд. 2-е. М., Госполитиздат, 1951 г., стр. 277. (Письмо Ф. Энгельса Е. Паприц 26 июня 1884 г.)

«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», изд. 2-е. М., Госполитиздат, 1951 г., стр. 142. (Письмо Ф. Энгельса Н. Ф. Даниельсону 10 июня 1890 г.)

«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», изд 2-е. М., Госполитиздат, 1951 г., стр. 286–288, 296. (Послесловие Ф. Энгельса к статье «Об общественных отношениях в России».)

В.И. Ленин и И В. Сталин о Н.Г. Чернышевском

В.И. Ленин, Сочинения, т. I, стр. 245, 247–249, 253, 262–264. («Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».)

В.И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 472–473, 492–501 («От никого наследства мы отказываемся?»)

В.И. Ленин Сочинения, т. 3, стр. 541. («Некритическая критика».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 248–249 («Попятное направление в русской социал-демократии».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26–27, 30, 56. («Гонители земства в аннибалы либерализма».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 342. («Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 12, стр. 257. («Проект речи по аграрному вопросу во Второй Государственной думе».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 14, стр. 344–346. («Материализм и эмпириокритицизм».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 107–108. («О «Вехах».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 88. («По поводу юбилея».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 96–97, 100. («Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 15. («Памяти Герцена».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 287. («Еще один поход на демократию».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 55. («Либералы и свобода союзов».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 16. («Критические заметки по национальному вопросу».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 55. («Нужен ли обязательный государственный язык?»)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 100–101. («Народники о Михайловском».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 224. («Из прошлого рабочей печати в России».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 403. («О праве наций на самоопределение».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 85. («О национальной гордости великороссов».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 176. («Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический».)

В.И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 244. («Очередные задачи Советской власти».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 28, стр. 50. («Письмо к американским рабочим».)

В.И.Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 313–314.. («Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства».)

В.И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 52. («Детская болезнь «левизны» в коммунизме».)

В.И. Ленин, Сочинения, т, 33, стр. 201–202. («О значении воинствующего материализма».).

В.И. Ленин, Сочинения, т. 34, стр. 8–9. (Письмо А.Н. Потресову 26 января 1899 г.)

В.И. Ленин, Философские тетради. М., Госполитиздат, 1947 г., стр. 54, 58. (Конспект книги Фейербаха «Легация о сущности религии».)

«Ленинский сборник». М., 1933 г., т. 25, стр. 206–244. (Пометки В.И. Ленина на книге Г.В. Плеханова «Н.Г. Чернышевский», Спб., 1910 г.)

И.В. Сталин, Сочинения, т. 1, стр. 50–51. («Как понимает социал-демократия национальный вопрос?»)

И.В. Сталин, Сочинения, т. 13, стр. 25, 26. («Тов. Демьяну Бедному. Выдержки из письма».)

И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, изд. 5-е. М., Госполитиздат, 1952 г., стр. 30. («24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1941 г.»)

М.И. Калинин, Славный путь комсомола. Сборник. М., изд-во «Молодая гвардия», 1946 г. (на обл. 1947 г.), стр. 11–12. («Славный путь комсомола. К двадцатилетию ВЛКСМ». Октябрь 1938 г.)

М.И. Калинин, О коммунистическом воспитании. Избранные речи в статьи, изд. 3-е. М.т изд-во «Молодая гвардия», 1947 г., стр. 32–47. (Речь на совещании учителей-отличников городских и сельских школ, созванном редакцией «Учительской газеты» 28 декабря 1938 г.)

Н.К. Крупская, Ленин и Чернышевский. В кн. «Ленин о литературе». Сборник статей и отрывков. М., Гослитиздат, 1941 г., стр. 254–260.

А.А. Жданов, Доклад о журналах «Звезда» в «Ленинград». М. Госполитиздат, 1952 г, стр. 11, 17–20.

Г.В. Плеханов, Сочинения, изд. 2-е. М., Госиздат, 1925г., т. 5 стр. 1–363; т. 6, стр. 1–241. (Н.Г. Чернышевский, кн. 1 и 2.)

А.В. Луначарский, Русская литература. Избранные статьи. М., Гослитиздат, 1947 г., стр. 100–148.

В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936 г.

А. Лаврецкий. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. М., Гослитиздат, 1941 г.

Б.П. Козьмин, Н.Г. Чернышевский в редакции «Современника», журн. «Литература в школе», 1947 г., № 3.

Б. Рюриков, Н. Г. Чернышевский. Государственное издательство художественной литературы, 1953 г.

Н.Ф. Бельчиков, Николай Гаврилович Чернышевский. (Критико-биографический очерк.) М., Гослитиздат, 1946 г.

А.А. Озерова, Н. Г. Чернышевский. М., Учпедгиз, 1951 г.

«Процесс Н. Г. Чернышевского». Саратов, Областное изд во, 1939 г.

В.Н. Замятнин, Экономические взгляды Н.Г. Чернышевского. М., Госполитиздат, 1951 г.

М.Т. Иовчук, Н.Г. Чернышевский – великий русский ученый и революционер, журн. «Коммунист», 1953 г., № 11.

В. Кружков, О русской классической философии XIX века. М., Госполитиздат, 1915 г.

М.В. Нечкина, Н.Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. «Исторические записки», 1941 г., № 10.

А.М. Панкратова, Чернышевский и крестьянская реформа 1861 года. В кн. «Н. Г. Чернышевский». Саратов, Областное изд-во, 1939 г., стр. 59–92.

Б.И. Бурсов, Чернышевский как литературный критик. М.–Л.,

Академия наук СССР, 1951 г.

4. Литература о жизни Н.Г. Чернышевского

Н.М. Чернышевская, Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., Гослитиздат, 1953 г.

Н.М. Чернышевская, Н. Г. Чернышевский в Саратове. Саратов, Областное изд-во, 1952 г.

А. Скафтымов, Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского, изд. 2-е, исправл. и дополн. Саратов, Областное изд-во, 1947 г.

А.Н. Пыпин, Мои заметки. М., изд-во Л. Бухгейм, 1910 г.

Н.В. Шелгунов, Воспоминания. М.–Л., Госиздат, 1923 г.

М.А. Антонович, Воспоминания. В кн. «Шестидесятые годы», М.–Л., изд-во «Академия», 1933 г.

А.Я. Панаева, Воспоминания. М., Гослитиздат, 1948 г.

Л.Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого. М.–Л., изд-во «Академия», 1934 г.

В.Г. Короленко. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1948 г. (Воспоминания о Чернышевском.)

notes

Примечания

1

Отправляясь «на долгих», путешествующий нанимал пару или тройку лошадей «от места до места» и, не меняя экипажа, ехал всю дорогу на одних и тех же лошадях.

2

Итого 20 рублей серебром в месяц. «Боже мой! Как дорого, если бы я знал – не поехал бы сюда…»

З

Абеляр – средневековой французский философ схоласт.

4

Стихи подобного рода назывались так по имени древнегреческого морского бога Протея, которому приписывалась способность произвольно менять свой вид.

5

Расправа Николая I над декабристами (в 1826 г.) произвела неизгладимое впечатление на Герцена «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души», – пишет он в «Былом и думах». Через два года, во время прогулки на Воробьевых горах, Герцен поклялся вместе со своим другом Огаревым посвятить всю жизнь борьбе за свободу родины.

6

Пушкин писал в черновых набросках 1833–1835 годов: «Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия».

7

Имеются в виду филологические работы чешского ученого XIX века Шафарика.

8

Кстати, не говорит ли это слово «спасители» о том, что уже тогда Чернышевский был знаком с «Письмом к Гоголю» Белинского? Ведь именно там говорится, что публика видит в русских писателях своих «единственных вождей, защитников и *спасителей*» от русского самодержавия.

9

Это одна из излюбленных мыслей Белинского (см., например, «Обзор русской литературы за 1841 года), как видим, очень рано усвоенная Николаем Гавриловичем.

10

Истинная роль этого мелкобуржуазного французского социалиста стала ясна Чернышевскому лишь несколько позднее. В юности он переоценивал значение Луи Блана.

11

Зрелый Чернышевский совершенно иначе относился к Прудону, отчетливо сознавая порочность его теоретических построений.

12

Фалангой в произведениях французского утопического социалиста Фурье обозначается основная ячейка нового общественного устройства, фаланстером – ее дворец, центр деятельности, место собраний и развлечений. Описание фаланстера дано в главе «Четвертый сон Веры Павловны» романа «Что делать?» Чернышевского.

13

Немецкий политический деятель, демократ, член франкфуртского Национального собрания, расстрелянный в Вене в 1848 году после взятия города войсками австрийского генерала Виндишгреца.

14

Этим именем автора «Жизни Иисуса» условно обозначена здесь тема беседы.

15

Сравни взгляд Гоголя, так замечательно выраженный им я в статье «О малороссийских песнях» и в письме к Максимовичу 1833 г.: «…Песня! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!»

Искандер – псевдоним А.И. Герцена.

17

С Панаевым Чернышевский познакомился, вероятно, у Никитенки и просил у него работы.

18

В.И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 287.

Надобно заметить, что материалы разделов критики и библиографии печатались тогда в журналах большей частью без подписи автора.

Имеется в виду Белинский и Герцен. – *Н. Б.*

21

Для курьеза он послал и отцу в Саратов отпечатанный пригласительный билет на защиту диссертации: «Его высокоблагородию Гавриилу Ивановичу Чернышевскому – ректор императорского Санкт-Петербургского университета почтительнейше приглашает в час пополудни во вторник на защиту кандидатом Чернышевским диссертации, написанной им для получения степени магистра русской словесности. Посторонние лица без билета не входят на собрание». Получив затем вскоре от сына переплетенный экземпляр диссертации, Гавриил Иванович написал ему: «Благодарю тебя, мой милый, неоценимый сыночек, за присылку мне твоего рассуждения. Его я еше не читал. В ознаменование моей благодарности и удовольствия прилагаю при сем 25 рублей». Ознакомившись с диссертацией, Гавриил Иванович робко заметил в письме: «О содержании твоей книжки не мое дело судить, на это есть другие люди, на все новое точащие ножи критики. Мне она дорога потому, что доставила много и премного удовольствия и утешения и как сочинение моего сына».

22

Министр народного просвещения Норов не решился отвергнуть представление университетского совета о присвоении Чернышевскому звания магистра – это было бы резким нарушением обычных правил. Но и утвердить представление Норов не хотел. Только четыре года спустя новый министр, сменивший Норова, утвердил решение Совета университета.

23

В.И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 95.

24

В.И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 541.

25

И.В. Сталин. Сочинения, т 1, стр. 50–51.

26

Г. Маленков. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). Изд-во «Правда», 1952 г., стр. 72–73.

27

В.И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 97.

28

В.И. Ленин. Сочинения, т. 11, стр. 421–422.

29

Сравни. «Единственную надежду на лучшие времена видели в литературе. Эта позорная политическая и социальная эпоха была в то же самое время великой эпохой немецкой литературы» (Ф. Энгельс, «Положение Германии». К. Маркс в Ф Энгельс. Сочинения, т. V, стр. 7).

30

В.П. Боткин – либеральный критик и публицист, примкнувший в шестидесятые годы к лагерю крайней реакции.

31

В.И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 183.

32

И.В. Сталин. Сочинения, т. 1, стр: 206.

33

В.И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 27.

В.И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 95.

35

Осенью 1856 года был образован Секретный комитет под председательством Александра II для обсуждения мер по устройству быта крестьян, в состав которого вошли виднейшие сановники.

36

В.И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 264.

37

В.И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 246.

38

В.И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 97.

39

Чрезвычайно остроумно придуманный Чернышевским «цензурный» термин для определения классового своекорыстия идеологов буржуазно-дворянского общества.

40

Словами «старинное французское устройство» Чернышевский обозначает монархию Людовика XVIII, низвергнутую буржуазной революцией 1789 года.

41

В.И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 9.

42

В.И. Ленин. Сочинения, т. 14, стр. 346.

43

В.И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 12.

В.И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 94–95.

45

Недавно донесено было, что Чернышевский, возвращаясь вечером домой от Добролюбова, привез с собою узел с бумагами.

М.Л. Михайлов.

К. Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 8.

В.И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 342.

Это была родственница Н.В. Шелгунова – Михаэлис – *Н. Б.*

Некоторые из этих «вольнослушателей»-учеников Чернышевского дожили до тридцатых и сороковых годов нашего века.

Одна из этих пьес – «Мастерица варить кашу» – с успехом идет в наши дни на сцене. Впервые эта пьеса была представлена на самодеятельной сцене политическими ссыльными Александровского завода.

52

В.И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 263.

53

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 122.

Далее отсутствуют страницы 509–510.

55

Паузки – крытые лодки, ходящие по сибирским рекам с товарами.

Пали – частокол.

57

«Когда был убит Александр II, – рассказывается в воспоминаниях вилюйчан о последних днях пребывания Чернышевского в Сибири, – это держали от Николая Гавриловича в большом секрете, но раз он пришел к Дауровой и по обыкновению спросил: «Что нового?» Старушка-казачка сообщила ему о смерти Александра II, на что Николай Гаврилович заметил: «Если убить Лаврентия, то Климовский дешевле не продаст». (Лаврентий и Климовский – два купца, торговавшие друг против друга.) («Былое Сибири», 1923 г. № 2, стр 58.)

В.И. Ленин. Сочинения, т. 14, стр. 346.